ДЖЕК

ЛОНДОН

Железная пята
Люди бездны

ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА

Железная пята. Люди бездны
Джек Лондон

Аннотация
Джек Лондон. Железная пята. Люди бездны. Сборник
Железная пята
Предисловие
Глава I. Мой орел
Глава II. Мне и епископу Морхаузу брошен вызов
Глава III. Рука Джексона
Глава IV. Рабы машины
Глава V. Клуб филоматов
Глава VI. Тени будущего
Глава VII. Видение епископа
Глава VIII. Разрушители машин
Глава IX. Математическая непреложность мечты
Глава X. Водоворот
Глава XI. На переломе
Глава XII. Епископ
Глава XIII. Всеобщая стачка
Глава XIV. Начало конца
Глава XV. Последние дни

Глава XVI. Конец
Глава XVII. Ливрейные лакеи
Глава XVIII. В горах Сономы
Глава XIX. Искусство перевоплощения
Глава XX. Исчезновение олигарха
Глава XXI. Ревущий зверь из бездны
Глава XXII. Чикагское восстание
Глава XXIII. Обитатели бездны
Глава XXIV. Кошмар
Глава XXV. Террористы
Люди бездны
Предисловие
Глава I. Сошествие в ад
Глава II. Джонни Апрайт
Глава III. Мое жилище и жилища других
Глава IV. Человек и бездна
Глава V. Те, кто на краю
Глава VI. Переулок Фраинг-Пэн, или я загляды-ваю в ад
Глава VII. Кавалер ордена Виктории
Глава VIII. Возчик и плотник
Глава IX. «На колу»
Глава X. «Хождение с флагом»
Глава XI. «Обжорка»
Глава XII. День коронации
Глава XIII. Дэн Каллен, портовый грузчик

Глава XIV. Хмель и сборщики хмеля
Глава XV. Мать моряков
Глава XVI. Собственность против личности
Глава XVII. Непригодность
Глава XVIII. Заработная плата
Глава XIX. Гетто
Глава XX. Кофейни и ночлежные дома
Глава XXI. Необеспеченность
Глава XXII. Самоубийства
Глава XXIII. Дети
Глава XXIV. Ночные призраки
Глава XXV. Вопль голодных
Глава XXVI. Пьянство, трезвость и экономность
Глава XXVII. Система управления

Аннотация

«Железная пята» – весьма необычный и увлекательный роман-антиутопия, посвященный ближайшему (на момент публикации в 1908 году) будущему США и планеты Земля в целом. Как и никому из мастеров антиутопического (да и утопического) жанра, Лондону не удалось в точности предсказать будущее. Однако сбылось многое из того, о чем он написал в романе, – и гигантские корпорации, поглощающие малый и средний бизнес, и сама идея «корпоративной культуры», и мировые войны с Германией, и даже… 1917 год как дата мощного социального взрыва.

«Люди бездны» – сборник очерков о трагической жизни лондонских бедняков, ради написания которого автор, с присущим ему благородным авантюризмом, переоделся в отставшего от корабля матроса и несколько месяцев прожил среди своих будущих персонажей, деля с ними нищету и невзгоды. Перед читателем проходит целая галерея обитателей этого ада на земле – опустившихся и

несчастных или сильных, целеустремленных и готовых бороться за существование.

Джек Лондон
Железная пята
Люди бездны
Сборник

Jack London
The Iron Heel
The People of the Abyss

* * *

Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

© Перевод. Р. М. Гальперина, наследники, 2021
© Перевод. В. И. Лимановская, наследники, 2021
© ООО «Издательство АСТ», 2021

Железная пята

Предисловие

Записки Эвис Эвергард нельзя считать надежным историческим документом. Историк обнаружит в них много ошибок, если не в передаче фактов, то в их истолковании. Прошло семьсот лет, и события того времени и их взаимосвязь — все то, в чем автору этих мемуаров было еще трудно разобраться, — для нас уже не представляет загадки. У Эвис Эвергард не было необходимой исторической перспективы. То, о чем она писала, слишком близко ее касалось. Мало того, она находилась в самой гуще описываемых событий.

И все же как человеческий документ «Эвергардовский манускрипт» исполнен для нас огромного интереса, хотя и здесь дело не обходится без односторонних суждений и оценок, рожденных пристрастием любви. Мы с улыбкой проходим мимо этих заблуждений и прощаем Эвис Эвергард ту восторженность, с какой она говорит о муже. Нам теперь известно, что он не был такой исполинской фигурой и не играл в событиях того времени столь исключительной роли, как утверждает автор мемуаров.

Эрнест Эвергард был человек выдающийся, но

все же не в той мере, как считала его жена. Он принадлежал к многочисленной армии героев, самоотверженно служивших делу мировой революции. Правда, у Эвергарда были свои особые заслуги в разработке философии рабочего класса и ее пропаганды. Он называл ее «пролетарская наука», «пролетарская философия», проявляя известную узость взглядов, которой в то время невозможно было избежать.

Но вернемся к мемуарам. Величайшее их достоинство в том, что они воскрешают для нас атмосферу той страшной эпохи. Нигде мы не найдем такого яркого изображения психологии людей, живших в бурное двадцатилетие с 1912–1932 год, их ограниченности и слепоты, их страхов и сомнений, их моральных заблуждений, их неистовых страстей и нечистых помыслов, их чудовищного эгоизма. Нам, в наш разумный век, трудно это понять. История утверждает, что так было, а биология и психология объясняют нам, почему. Но ни история, ни биология, ни психология не в силах воскресить для нас этот мир. Мы допускаем его существование в прошлом, но он остается нам чужд, мы не понимаем его.

Понимание это возникает у нас при чтении «Эвергардовского манускрипта». Мы как бы

сливаемся с действующими лицами этой отзвучавшей мировой драмы, живем их мыслями и чувствами. И нам не только понятна любовь Эвис Эвергард к ее героическому спутнику — мы ощущаем вместе с самим Эвергардом угрозу олигархии, страшной тенью нависшей над миром. Мы видим, как власть Железной пяты (не правда ли, удачное название!) надвигается на человечество, грозя его раздавить.

Кстати, мы узнаем, что создателем утвердившегося в литературе термина «Железная пята» явился в свое время Эрнест Эвергард, — небезынтересное открытие, проливающее свет на вопрос, который долго оставался спорным. Считалось, что название «Железная пята» впервые встречается у малоизвестного журналиста Джорджа Милфорда в памфлете «Вы — рабы!», опубликованном в декабре 1912 года. Никаких других сведений о Джордже Милфорде до нас не дошло, и только в «Эвергардовском манускрипте» бегло упоминается, что он погиб во время чикагской резни. По всей вероятности, Милфорд слышал это выражение из уст Эрнеста Эвергарда — скорее всего, во время одного из выступлений последнего в предвыборную кампанию осенью 1912 года. Сам же Эвергард, как сообщает нам манускрипт,

впервые употребил его на обеде у одного частного лица еще весной 1912 года. Эта дата и должна быть признана исходной.

Для историка и философа победа олигархии навсегда останется неразрешимой загадкой. Чередование исторических эпох обусловлено законами социальной эволюции. Эти эпохи были исторически неизбежны. Их приход мог быть предсказан с такой же уверенностью, с какой астроном исчисляет движение звезд. Это правомерные этапы эволюции. Первобытный коммунизм, рабовладельческое общество, крепостное право и наемный труд были необходимыми ступенями общественного развития. Но смешно было бы утверждать, что такой же необходимой ступенью явилось господство Железной пяты. Мы в настоящее время склонны считать этот период случайным отклонением или отступлением к жестоким временам тиранического социального самовластия, которое на заре истории было так же закономерно, как неправомерно стало впоследствии торжество Железной пяты.

Недобрую память оставил по себе феодализм, но и эта система была исторически необходима. После крушения такого мощного централизованного государства, как Римская империя,

наступление эпохи феодализма было неизбежно. Но этого нельзя сказать о Железной пяте. В закономерном течении социальной эволюции ей нет места. Ее приход к власти не был исторически оправдан и необходим. Он навсегда останется в истории чудовищной аномалией, историческим курьезом, случайностью, наваждением, чем-то неожиданным и немыслимым. Пусть же это послужит предостережением для тех опрометчивых политиков, которые так уверенно рассуждают о социальных процессах.

Капитализм почитался социологами тех времен кульминационной точкой буржуазного государства, созревшим плодом буржуазной революции, и мы в наше время можем только присоединиться к этому определению. Следом за капитализмом должен был прийти социализм — это утверждали даже такие выдающиеся представители враждебного лагеря, как Герберт Спенсер. Ожидали, что на развалинах своекорыстного капитализма вырастет цветок, взлелеянный столетиями, — братство людей. А вместо этого, к нашему удивлению и ужасу, а тем более к удивлению и ужасу современников этих событий, капитализм, созревший для распада, дал еще один чудовищный побег — олигархию.

Социалисты начала двадцатого века слишком поздно обнаружили приход олигархии. Когда же они спохватились, олигархия была уже налицо — как факт, запечатленный кровью, как жестокая, кошмарная действительность. Но в то время, по свидетельству «Эвергардовского манускрипта», никто не верил в долговечность Железной пяты. Революционеры считали, что низвергнуть ее — дело нескольких лет. Они понимали, что крестьянское восстание возникло наперекор их планам, а первое вспыхнуло преждевременно, но никто не ожидал, что и второе восстание, хорошо подготовленное и вполне созревшее, обречено на такую же неудачу и еще более жестокий разгром.

Очевидно, Эвис Эвергард писала свои записки в дни, предшествовавшие второму восстанию: в них ни слова нет о его злополучном исходе. Несомненно также: она надеялась опубликовать их сразу же после свержения Железной пяты, чтобы воздать должное памяти погибшего мужа. Но тут наступила катастрофа, и, готовясь бежать или в предвидении ареста, она спрятала записки в дупле старого дуба в Уэйк-Робинлодже.

Дальнейшая судьба Эвис Эвергард неизвестна. По всей вероятности, ее казнили наемники, а

во времена Железной пяты никто не вел учета жертвам многочисленных казней. Одно можно сказать с уверенностью: пряча рукопись в тайник и готовясь к бегству, Эвис Эвергард не подозревала, какой страшный разгром потерпело второе восстание. Она не могла предвидеть, что извилистый и трудный путь общественного развития потребует в ближайшие триста лет еще и третьего, и четвертого восстаний и много других революций, потопленных в море крови, — пока рабочее движение не одержит наконец победы во всем мире. Ей и в голову не приходило, что ее записки, дань любви к Эрнесту Эвергарду, семь долгих столетий пролежат в дупле векового дуба в Уэйк-Робинлодже, не потревоженные ничьей рукой.

Антони Мередит[1]

Ардис, 27 ноября 419 года эры Братства людей

---

[1] Примечания: 1

Антони Мередит — по замыслу Лондона, человек XXVII в., первый издатель и комментатор записок Эвис Эвергард. *Примечания к тексту романа идут от его имени, кроме специально оговоренных случаев. — Примеч. ред.*

Глава I
Мой орел

Земной Театр! Нам стыд и горе —
Картин знакомых карусель…
Но потерпи, узнаешь вскоре
Безумной драмы смысл и цель!

Легкий летний ветерок шелестит в могучих секвойях, шаловливая Дикарка неумолчно журчит между мшистыми камнями. В ярких лучах солнца мелькают бабочки; воздух напоен дремотным гудением пчел. Тишина и спокойствие вокруг, и только меня гнетут думы, гложет тревога. Безмятежная тишина надрывает мне душу. Как она обманчива! Все притаилось и молчит, но это затишье перед грозой. Я напрягаю слух и всем существом ловлю ее приближение. Только б она не разразилась слишком рано. Горе, горе, если

она разразится слишком рано![2]

У меня немало причин для тревоги. Мысли, неотвязные мысли не покидают меня. Я так долго жила кипучей, деятельной жизнью, что тишина и покой кажутся мне тяжким сном, и я не могу забыть о том яростном шквале смерти и разрушения, который вот-вот пролетит над миром. В моих ушах звенят вопли поверженных, а перед глазами все те же призраки прошлого[3]. Я вижу поруганную, истерзанную человеческую плоть, вижу, как насилие исторгает душу из прекрасного гордого тела, чтобы в злобном неистовстве швырнуть ее к престолу творца. Так мы, люди, через кровь и разрушение идем к своей цели, стремясь навсегда установить мир и радость на земле.

И одиночество… Когда я не думаю о том, что будет, мысли мои обращаются к тому, что было и не

---

[2] Примечания: 2

Второе восстание было в значительной степени делом рук Эрнеста Эвергарда, хотя он, конечно, готовил его в тесном контакте с европейскими лидерами. Сам Эвергард был схвачен и тайно казнен весной 1932 г. христианской эры, однако восстание было так тщательно подготовлено, что товарищам удалось полностью осуществить его планы, избежав растерянности и промедления. Эвис Эвергард после казни мужа уединилась в Уэйк-Робинлодже, небольшой усадьбе в Калифорнии, в Сономских горах.

[3] Примечания: 3

Здесь, очевидно, имеется в виду усмирение Чикагского восстания.

возвратится вновь, — к тебе, мой орел, парящий на мощных крыльях, устремленный ввысь, к солнцу, ибо солнцем был для тебя светлый идеал свободы. Я не в силах сидеть и ждать сложа руки прихода великих событий, которые вызваны к жизни моим мужем, хоть ему и не суждено было увидеть их рождение. Он отдал нашему делу свои лучшие годы и умер за него. Это плоды его трудов, его создание[4].

Итак, эти томительные дни я хочу посвятить воспоминаниям о моем муже. Есть многое, о чем из всех живущих могу рассказать лишь я одна, а ведь о таком человеке, как Эрнест, сколько ни рассказывай, все мало. В Эрнесте жила великая душа, и когда в моей любви умолкает все личное, я больше всего скорблю при мысли, что его не будет здесь завтра, чтобы встретить зарю нового дня. В том, что мы победим, не может быть сомнений. Он строил так прочно, так надежно, что здание устоит. Смерть Железной пяте! Близок день, когда поверженный человек поднимет голову. Как только эта весть разнесется по всему

---

[4] Примечания: 4

При всем уважении к Эвис Эвергард мы должны отметить, что муж ее был только одним из многих талантливых руководителей, подготовивших второе восстание. Теперь, спустя много столетий, можно сказать с уверенностью, что если бы Эвергард остался жив, это бы нисколько не изменило трагической развязки.

миру, повсюду восстанут армии труда. Свершится то, чего еще не знала история. Солидарность рабочих обеспечена, а это значит, что международная революция впервые развернется во всю свою необъятную ширь[5].

Как видите, я вся во власти надвигающихся событий. Я жила этим день и ночь так долго, что ни о чем другом не в силах думать. А тем более, говоря о моем муже, могу ли я не говорить о его деле! Он был душой этого великого начинания, и для меня они нераздельны.

Как я уже сказала, есть многое, что только я одна могу рассказать об Эрнесте. Все знают, что он, не щадя себя, работал для революции и немало перенес. Но как он работал и сколько перенес, знаю я одна. Двадцать грозных лет мы были с ним неразлучны, и мне больше, чем кому-либо, известно его терпение, его неистощимая энергия и безграничная преданность делу революции, за

---

[5] Примечания: 5

Второе восстание действительно приобрело международный характер. Это был поистине грандиозный замысел, и уже потому трудно считать его созданием одного человека. Организованные рабочие всех олигархий готовы были подняться по первому сигналу. Германия, Италия, Франция и вся Австралазия — в то время государства рабочих с социалистическими правительствами — обещали революции свою помощь, и они действительно оказали ее, поэтому разгром второго восстания стал также и их разгромом. Их правительства были низложены, и объединившиеся олигархии навязали им олигархический строй.

которое он два месяца назад сложил голову.

Постараюсь просто и по порядку рассказать, как Эрнест вошел в мою жизнь, — о нашей первой встрече, о том, как он постепенно овладел моей душой и перевернул весь мой мир. И тогда вы увидите его моими глазами, узнаете таким, каким знала я, — кроме самого заветного и дорогого, что слова бессильны передать.

Мы познакомились в феврале 1912 года, когда Эвергард по приглашению моего отца[6] явился к нам, в наш особняк в городе Беркли, на званый обед. Не могу сказать, чтоб он понравился мне с первого взгляда, — скорее наоборот. В гостиной, где собралось все общество, Эрнест производил странное, чтобы не сказать «дикое», впечатление. Среди почтенных служителей церкви на этом обеде, который отец шутя назвал «синедрионом», Эвергард казался человеком с другой планеты.

Прежде всего одет он был ужасно. Костюм из

---

[6] Примечания: 6

Джон Каннингхем, отец Эвис Эвергард, был профессором Калифорнийского университета в городе Беркли. С преподаванием физики он совмещал исследовательскую работу, которая принесла ему широкую известность. Выдающимся вкладом в науку явились его изыскания в области природы электрона, а также капитальный труд «Тождество материи и энергии», где было незыблемо и на все времена установлено, что элементарная единица материи и элементарная единица энергии тождественны. Положение это до профессора Каннингхема выдвигалось сэром Оливером Лоджем и другими исследователями радиоактивности, но лишь на правах гипотезы.

дешевого темного сукна, купленный в магазине готового платья, сидел на нем убийственно. Да Эрнесту, при его сложении, и нельзя было покупать ничего готового. Его богатырские мускулы выпирали из-под жиденького сукна, на атлетических плечах набегали складки. Глядя на его шею, массивную и мускулистую, как у профессионального боксера[7], я невольно подумала: так вот оно, последнее увлечение папы — философ-социолог, в недавнем прошлом кузнечный подмастерье. Он и сейчас напоминает кузнеца — достаточно взглянуть на эти мускулы и бычий загривок; должно быть, из этих самородков, «Слепой Том»[8] рабочего класса.

А его рукопожатие! Оно было крепким и властным, и взгляд его черных глаз слишком пытливо, как мне показалось, задержался на моем лице. Так рассуждала я, дитя своей среды, девушка с классовыми предрассудками. Человеку моего круга я не простила бы такой смелости. Помню,

---

[7] Примечания: 7

В те времена на спорт смотрели как на средство наживы. Противники избивали друг друга в кулачных поединках, и боксер, убивший товарища или исколотивший его до полусмерти, получал за это кучу денег.

[8] Примечания: 8

Намек неясен. Возможно, имеется в виду слепой от рождения негр-музыкант, концерты которого во второй половине XIX в. хр. эры пользовались огромным успехом.

я невольно опустила глаза и с чувством облегчения поспешила навстречу епископу Мохаузу, нашему старому другу, — это был обаятельный человек средних лет, лицом и кротким нравом напоминавший Христа, к тому же очень начитанный и образованный.

Между тем оскорбившая меня смелость составляла, пожалуй, основную черту Эрнеста Эвергарда. Человек прямой и открытой души, он ничего не боялся и презирал условности. «Ты мне понравилась, — объяснял он мне впоследствии. — Разве не естественно смотреть на то, что нравится?»

Как я уже говорила, Эрнест ничего не боялся. Это был аристократ по натуре, несмотря на свою принадлежность к совершенно противоположному общественному лагерю. Ницше[9] узнал бы в нем своего сверхчеловека, или, как он выражался, «белокурую бестию», — с той существенной разницей, что Эрнест отдал сердце демократии.

Занятая гостями, я и думать забыла о неприятном философе из рабочих, но, когда мы сели

---

[9] Примечания: 9

Ницше Фридрих (1844–1900) — бесноватый философ, который в минуты прозрения видел причудливые отблески истины, но, обойдя весь положенный круг человеческой мысли, дофилософствовался до полного безумия.

за стол, мое внимание раз-другой привлекли искорки смеха в его глазах, очевидно, вызванные беседой их преподобий. «Он не лишен юмора», — подумала я и почти простила гостю его нескладный костюм. Но время шло, обед близился к концу, а Эвергард так и не сказал ничего в ответ на бесконечные речи священников о церкви и рабочем классе, о том, что церковь сделала и что собирается сделать для блага рабочих. Я заметила, что папа огорчен упорным молчанием своего протеже. Воспользовавшись небольшой заминкой в разговоре, он прямо обратился к Эрнесту и предложил ему высказать свои соображения. Тот только пожал плечами и равнодушно бросил: «У меня нет никаких соображений», — и после чего с удвоенным усердием занялся соленым миндалем.

Но от папы не так-то легко было отделаться. Немного погодя он заявил:

— Среди нас присутствует представитель рабочего класса. Не сомневаюсь, что мы можем услышать от него много нового и поучительного. Попросим же мистера Эвергарда высказаться.

Все любезно поддержали это предложение. Их преподобия с таким снисходительным видом приготовились слушать молодого оратора, что

только-только не хлопали его по плечу. Я заметила, что Эрнест это чувствует и потешается в душе. Он медленно обвел глазами весь стол, и я опять уловила в них искорки смеха.

— Я не искушен в учтивостях церковных словопрений, — начал он и замялся, по-видимому, борясь с робостью и смущением.

— Просим, просим! — раздалось со всех сторон, а доктор Гаммерфилд сказал:

— Мы приветствуем слово истины, от кого бы оно ни исходило. — И прибавил: — Если оно сказано от чистого сердца.

— Так, по-вашему, истина может исходить и не от чистого сердца? — усмехнулся Эрнест.

Доктор Гаммерфилд оторопел, однако вышел из положения:

— Даже лучшие из нас ошибаются, молодой человек, даже лучшие…

Тон Эрнеста мгновенно изменился. Сейчас это был совсем другой человек.

— Отлично, — сказал он резко. — Тогда начну с того, что все вы жестоко ошибаетесь. Никто из вас понятия не имеет о рабочем классе. Мало того, вы на него клевещете. Ваша социология так же порочна и бесплодна, как и весь ваш метод мышления.

Поражали не столько слова, сколько тон, каким они были сказаны. При звуках этого голоса я встрепенулась. В нем было столько же смелости, сколько и во взгляде Эрнеста. Он звучал как призывный горн и отозвался во мне глубоким волнением. Да и все за столом оживились. Безразличие и сонливость как рукой сняло.

— В чем же, молодой человек, выражается бесплодность и вопиющая порочность нашего метода мышления? — вскинулся Гаммерфилд; ни в его голосе, ни в тоне не осталось и следа прежнего добродушия.

— Вы, господа, метафизики! С помощью метафизики вы можете доказать все, что вашей душе угодно. А доказав, вывести черным по белому, что все остальные метафизики ошибаются, после чего вам останется только почить на лаврах. В сфере мысли вы совершеннейшие анархисты. Вы рехнувшиеся изобретатели космогонических систем. Каждый из вас обитает в собственной вселенной, оборудованной по его собственному вкусу и разумению. Вы плохо представляете себе окружающий мир, вашим измышлениям нет места в реальном мире, разве что в качестве примера умственной аберрации.

Знаете ли вы, о чем я думал, сидя за этим сто-

лом и слушая ваши бесконечные разговоры? Вы мне напомнили средневековых схоластов, которые самым серьезным образом исследовали и обсуждали животрепещущий вопрос о том, сколько ангелов может уместиться на острие иглы. Вы, дражайшие сэры, так же далеки от интеллектуальной жизни двадцатого столетия, как индеец-шаман, десять тысяч лет назад творивший заклинания в глуши девственного леса.

Казалось, Эрнест охвачен негодованием. Лицо его пылало, глаза метали молнии, в губах и подбородке чувствовалась сосредоточенная ярость. Но такова была его манера спорить — он старался разжечь противника, вывести его из себя. Его размашистые, разящие удары, сокрушительные, как удары кузнечного молота, лишали собеседника самообладания. Это и случилось с нашими гостями. Епископ Морхауз наклонился вперед и ловил каждое слово Эрнеста. Лицо доктора Гаммерфилда побагровело от возмущения и гнева. Возмущение овладело всеми, хотя кое-кто улыбался иронически, с видом насмешливого превосходства. Что касается меня, то я наслаждалась общим смятением. Искоса поглядывая на отца, я видела, что он от души радуется действию бомбы, которая его стараниями попала в нашу

столовую.

— Вы выражаетесь крайне туманно, — прервал оратора доктор Гаммерфилд. — Что, собственно, вы хотите сказать, называя нас метафизиками?

— Я называю вас метафизиками потому, что вы рассуждаете как метафизики, — отвечал Эрнест. — Весь ход ваших рассуждений противоречит научному мышлению. Ваши выводы взяты с потолка. Вы можете доказать все, что вам угодно, и это совершенно впустую, так как каждый из вас всегда остается при особом мнении. Вы ищете объяснения Вселенной и самих себя в собственном сознании. Но скорее вы оторветесь от земли, ухватив себя за уши, чем объясните сознание сознанием.

— Я не совсем понимаю, — отозвался епископ Морхауз. — Ведь если говорить о явлениях духовного мира, то все они относятся к области метафизики. Самая точная и убедительная из наук — математика — тоже чистейшая метафизика. Мысль ученого всегда воспаряет в метафизику. С этим-то вы согласны?

— Я согласен, что вы не понимаете, как сами сказали, — возразил Эрнест. — Метафизик в своих рассуждениях пользуется дедуктивным методом, исходит из ложных предпосылок. Ученый же

пользуется индуктивным методом, исходит из данных опыта. Метафизик от теории идет к фактам, ученый от фактов — к теории. Метафизик, отправляясь от себя, хочет объяснить весь мир. Ученый, познавая мир, познает самого себя.

— Хвала Создателю, мы не ученые, — самодовольно осклабился доктор Гаммерфилд.

— Кто же вы? — обратился к нему Эрнест.

— Философы.

— Вот именно, — рассмеялся Эрнест. — Вы оторвались от твердой, устойчивой земли и витаете в облаках, а между тем ваш летательный аппарат — это одна словесность. Но, может быть, вы спуститесь на землю и скажете мне, только поточнее, что называете философией?

— Философия — это… — Доктор Гаммерфилд откашлялся. — Это нечто, что не поддается объяснению и доступно только людям того склада ума, который можно назвать философским. Ограниченный ученый, уткнувшийся в свою пробирку, никогда не поймет, что такое философия.

Но Эрнест презрел этот выпад. Его обычным приемом было бить противника его же оружием, что он теперь и сделал с видом самого братского расположения.

— В таком случае, надеюсь, вы поймете то

определение философии, которое я намерен вам предложить. Но только предупреждаю: вам придется либо его опровергнуть, либо сложить оружие и отныне оставаться метафизиком про себя. Философия — это всего лишь наиболее объемлющая из наук. По своему методу она нисколько не отличается от любой точной науки, равно как и от всех наук вместе взятых. Пользуясь этим методом, а именно методом индуктивным, философия объединяет все знания в одну великую науку. По словам Спенсера, данные каждой отдельной науки представляют собой частицу единого знания. Философия же объединяет те познания, которые составляют вклад отдельных наук. Философия есть, таким образом, наука наук, наука в точном смысле слова, если хотите. Ну, что скажете о моем определении?

— Похвально, весьма похвально, — промямлил доктор Гаммерфилд.

Но Эрнест был неумолим.

— Не забывайте, — предостерег он, — что от этого определения не поздоровится вашей метафизике; раз вы его не опровергаете, значит, вы побитый метафизик и вам больше не подобает выступать на этом поприще. Придется вам теперь перейти на положение метафизика в отставке

или искать изъяна в моих рассуждениях, до тех пор пока вас не осенит счастливая догадка.

Эрнест ждал ответа. Наступило тягостное молчание, особенно томительное для доктора Гаммерфилда. Он, видимо, был даже не столько задет, сколько озадачен. Аргументы Эрнеста, увесистые, как удары кузнечного молота, оглушили его. Прямые и открытые методы спора были ему, очевидно, в новинку. Почтенный доктор жалобно оглядел своих сотрапезников, но ни один не пришел ему на помощь. Я заметила, что папа смеется, закрывшись салфеткой.

— Существует и другой метод дискредитации метафизиков, — продолжал Эрнест, когда поражение доктора Гаммерфилда стало для всех очевидным. — Это судить о них по их делам. Что сделали для человечества метафизики, кроме того, что пичкали его всякими бреднями и выдавали ему свои собственные тени за богов? Развлекали его на все лады? Согласен. Но какую они принесли ощутимую пользу? Они разводили философию — да простится мне неправильное употребление этого слова — по поводу того, что сердце есть вместилище страстей, в то время как ученые исследовали законы кровообращения. Они провозглашали, что голод и чума — это кары

небесные, между тем как ученые строили элеваторы и проводили в городах канализацию. Они создавали богов по своему образу и подобию, в то время как ученые строили мосты и прокладывали дороги. Они заявляли, что Земля — пуп Вселенной, а ученые в это время открывали Америку и исследовали пространство в поисках новых звезд и законов, управляющих движением звезд. Словом, метафизики ничего — ровным счетом ничего — не сделали для человечества. По мере того как наука двигалась вперед, метафизики шаг за шагом сдавали свои позиции. Но как только новые научные данные опрокидывали их субъективные теории, они выдумывали новые субъективные теории, предусмотрительно расчистив в них местечко для новооткрытых данных. Этим они и будут пробавляться до скончания века. Метафизики, господа, — это шаманы. Разница между вами и эскимосами, чей бог носит оленью шкуру и питается ворванью, — это тысячелетиями накопленный опыт, и только.

— Мысль Аристотеля владычествовала в Европе двенадцать столетий, — напыщенно провозгласил доктор Боллингфорд. — Хотя Аристотель был метафизиком.

Сказав это, он обвел глазами присутствующих,

с удовлетворением отмечая сочувственные улыбки и одобрительные кивки.

— Ваш пример неудачен, — возразил Эрнест. — Вы ссылаетесь на самый темный период истории. Он так и называется: «темное Средневековье». Это был период, когда метафизика подавила науку. Физику она свела к поискам философского камня, химию — к алхимии, астрономию — к астрологии. Ваше «владычество Аристотелевой мысли» — битая карта!

Доктор Боллингфорд явно приуныл. Затем лицо его прояснилось.

— Да, все ужасы, которые вы нам изобразили, бесспорно, имели место. Но согласитесь, что та же метафизика заключала в себе и силы, которые вывели человечество из мрака Средневековья к свету последующих столетий.

— Метафизика тут ни при чем, — отрезал Эрнест.

— Как? — вскричал доктор Гаммерфилд. — Разве умозрительная философия и спекулятивное мышление не породили эру кругосветных путешествий и великих открытий?

Эрнест с улыбкой повернулся к нему.

— Дражайший сэр, вас, помнится, лишили права публичных выступлений. Ведь вы так

и не опровергли мое определение философии. Вы теперь у нас на птичьих правах, но так как это участь всех метафизиков, я, так и быть, прощаю вас. Повторяю: не метафизика породила эру великих открытий. Хлеб насущный, шелка, драгоценности, золото, наконец, закрытие сухопутных путей в Индию — вот то, что заставило человека пуститься в плавание к далеким берегам. После падения Константинополя в тысяча четыреста пятьдесят третьем году турки закрыли караванные пути, по которым европейские купцы ездили в Индию. Пришлось искать новые пути. Вот чем было вызвано развитие мореплавания. Вот чем было вызвано и путешествие Колумба. Вы найдете это в любом учебнике истории. А заодно были добыты новые данные о размерах, форме и строении Земли, в результате чего система Птолемея полетела вверх тормашками.

Доктор Гаммерфилд фыркнул.

— Вы не согласны? — обратился к нему Эрнест. — В чем же, скажите, я не прав?

— Я не согласен, вот и все, — огрызнулся доктор Гаммерфилд. — Эта тема завела бы нас слишком далеко в дебри философии.

— Науке не страшны никакие дебри и никакие дали, — кротко ответил Эрнест. — Потому-то она

и добилась кой-чего. Потому-то она и открыла Америку.

Я не стану описывать весь вечер, хотя для меня нет большей радости, чем вспоминать каждую подробность моего первого знакомства с Эрнестом Эвергардом.

Битва продолжалась все с тем же ожесточением, и наши гости все больше багровели и кипятились, особенно когда Эрнест стал честить их такими словами, как «горе-философы», «очковтиратели» и тому подобное. И все время он отсылал их к фактам. «Факт, сударь, неопровержимый факт!» — восклицал он торжествующе, уложив противника на обе лопатки. Факты были его оружием. И он засыпал ими противника, загонял в ловушки и ямы, обрушивал на него смертоносный огонь фактов.

— Вы, очевидно, молитесь фактам, — съязвил доктор Гаммерфилд.

— Нет бога, кроме факта, и мистер Эвергард — пророк его, — вторил ему доктор Боллингфорд.

Эрнест весело кивнул в знак согласия.

— Я как тот техасец, — сказал он и, заметив, что от него ждут разъяснений, продолжил: — Уроженец штата Миссури всегда скажет вам: «Не поверю, пока сам не увижу», — техасец же

скажет: «Не поверю, пока не подержу в руках». Из чего следует, что он отнюдь не метафизик.

Другой раз, когда Эрнест сказал, что метафизиками утрачен критерий истины, на него насел доктор Гаммерфилд.

— Так что же является критерием истины, молодой человек? Может быть, вы нам скажете? Кстати, на этот вопрос не могли ответить и более мудрые головы.

— Вот то-то и есть, что не могли! — подхватил Эрнест. Его несокрушимая самоуверенность бесила их больше всего. — Эти мудрецы потому не нашли критерия истины, что искали его где-то в эмпиреях. Если бы они держались твердой земли, то не только нашли бы его без труда, но и увидели бы, что каждое их действие, каждая мысль является проверкой истины.

— К делу, к делу! — кипятился доктор Гаммерфилд. — Мы обойдемся без предисловий. Вы обещали возвестить нам критерий истины, который мы так долго искали. Просветите же нас, дабы мы уподобились богам.

Открытый вызов и глумление в его словах и тоне, по-видимому, находили отклик в сердцах слушателей, и только епископу Мохаузу было явно не по себе.

— Доктор Джордан[10] определил критерий истины очень точно, — сказал Эрнест. — Он учил: «Проверяйте его в действии. Годится только то, чему вы без страха доверили бы свою жизнь!»

— Пфф! — Доктор Гаммерфилд насмешливо улыбался. — А епископ Беркли?[11] Его еще никто не опроверг!

— Король метафизиков! — рассмеялся Эрнест. — Ваш пример неудачен. Беркли и сам не доверял своей метафизике.

Доктор Гаммерфилд пришел в негодование, в священное негодование. Можно было подумать, что он изобличил Эрнеста в воровстве или во лжи.

— Молодой человек, — загремел он. — Ваше утверждение так же возмутительно, как и все, что нам пришлось здесь выслушать. Это низкое и необоснованное утверждение.

— Я уничтожен, убит! — покорно отозвался Эрнест. — Но я хотел бы знать, какой кирпич

---

[10] Примечания: 10

Видный научный деятель конца XIX — начала XX в. Был ректором Стенфордского университета, основанного на частные средства.

[11] Примечания: 11

Родоначальник идеалистического монизма; его учение, полностью отрицающее материю, ставило в тупик философов того времени; окончательно отвергнуто философией с тех пор, как в ней восторжествовал метод обобщения данных научного опыта.

свалился мне на голову. Нельзя ли подержать его в руках, доктор Гаммерфилд?

— Извольте, извольте! — Доктор Гаммерфилд отчаянно брызгал слюной. — Откуда вы это взяли? Где это сказано, будто бы епископ Беркли сам признавал, что его метафизика порочна? Какие у вас доказательства? Молодой человек, метафизика епископа Беркли живет в веках!

— Доказательство того, что Беркли не доверял своей метафизике, я усматриваю в следующем: Беркли, входя в комнату, всегда и неизменно пользовался дверью, а не лез напролом через стену. Беркли, дорожа своей жизнью и предпочитая действовать наверняка, налегал на хлеб и на масло, не говоря уже о ростбифе. Когда Беркли брился, то обращался к помощи бритвы, ибо на опыте убедился, что она начисто снимает щетину с его лица.

— Но это дела житейские! — воскликнул доктор Гаммерфилд. — Метафизика же ведает сверхчувственным миром.

— Так значит, метафизика надежный кормчий в сверхчувственном мире? — вкрадчиво спросил Эрнест.

Доктор Гаммерфилд усиленно закивал.

— Что же, и сонмы ангелов могут отплясывать

на острие иголки — в сверхчувственном мире, — вслух размышлял Эрнест. — И питающийся ворванью, одетый в моржовую шкуру эскимосский божок имеет все права на существование — в сверхчувственном мире. Там это, пожалуй, не встретит никаких возражений. А сами вы, доктор, тоже живете в сверхчувственном мире?

— «Мой разум — мир, где я живу», — ответствовал доктор.

— Вы хотите сказать, что чужды всему земному, но к обеду, разумеется, не забываете спуститься на землю. И от землетрясения тоже не ищете укрытия в облаках. Кстати, вы не боитесь, доктор, что, случись у нас землетрясение, вас может основательно хватить по вашей нематериальной макушке этаким увесистым нематериальным кирпичом?

Доктор Гаммерфилд невольно поднес руку к затылку, где еще можно было разглядеть заросший волосами шрам. Эрнест неожиданно попал в точку. Во время Великого землетрясения[12] доктора Гаммерфилда чуть не убило кирпичной трубой. За столом поднялся дружный хохот.

— Так как же? — продолжал Эрнест, когда ожив-

[12] Примечания: 12

Так называли землетрясение, разрушившее город Сан-Франциско в 1906 г.

ление улеглось. — Я жду ваших возражений.

Все молчали, и он снова сказал:

— Я жду. — А затем добавил: — Что ж, и это аргумент, но только не в вашу пользу.

Доктор Гаммерфилд временно выбыл из строя, и вскоре спор перекинулся в другую область. Пункт за пунктом Эрнест разбивал доводы церковников. Когда они заявляли, что знают рабочих, Эрнест доказывал, что им не знакомы простейшие, азбучные истины о положении рабочего класса, и требовал, чтобы они его опровергли. И все время он забрасывал их фактами, напоминал о фактах, возвращал к фактам и реальной действительности.

Эта сцена неизгладимо живет в моей памяти. Голос Эрнеста с его столь знакомыми мне металлическими нотками и сейчас еще звучит в моих ушах, и каждый факт, которым он разит своих противников, кажется мне метким ударом гибкого, жалящего бича. Эрнест был безжалостен: не просил пощады[13] сам и никого не щадил. Особенно памятна мне взбучка, которую он задал

[13] Примечания: 13

В этом выражении отразился обычай тех времен. Когда один из противников, сцепившихся, подобно диким зверям, в смертельной схватке, складывал оружие, от победителя зависело — умертвить его или оставить ему жизнь.

нашим гостям под самый конец.

— Сегодня вы не раз доказали, что не знаете рабочих; некоторые из вас заявляли это прямо, за других говорило невежество их ответов. Впрочем, вас трудно и винить — где уж вам знать рабочих! Вы не живете с ними, а предпочитаете селиться в кварталах богачей. Да почему бы и нет? Ведь богачи и содержат, и кормят вас, и обряжают вот в эту самую добротную одежду, в которой вы сегодня пожаловали сюда. Ну и вы, чтобы не остаться в долгу, расхваливаете ту марку метафизики, которая им всего более по душе. А известно, какая марка философии и религии по душе капиталистам: та, которая не угрожает существующему строю.

Ответом на эти слова был ропот возмущения.

— Я не обвиняю вас в двоедушии, — продолжал Эрнест. — Вы и в самом деле так чувствуете. Вы проповедуете то, во что верите. Этим-то вы и дороги капиталистам, в этом ваша сила. Но стоит вам изменить свой образ мыслей и выступить против существующих порядков, как вам немедленно укажут на дверь: такие проповеди неприемлемы для ваших хозяев. Признайтесь: ведь подобные

случаи бывали[14], не правда ли?

На этот раз никто не спорил. Все молчаливо согласились с оратором, и только доктор Гаммерфилд сказал:

— Указывают на дверь тем, кто сбился с пути истинного.

— Называйте как хотите. Сбиться с пути истинного — это и значит проповедовать то, что не показано, — возразил Эрнест и продолжил: — Так вот что я вам скажу. Проповедуйте, что вам положено, и получайте, что вам причитается. Но только, бога ради, оставьте в покое рабочих. Ваше место — в стане их врагов. У вас с рабочими не может быть ничего общего. Ваши руки изнежены оттого, что за вас работают другие. Вон вы какие телеса нагуляли — это от сытой, привольной жизни. — (Доктор Боллингфорд невольно поежился, чувствуя, что все взгляды устремлены на его солидное брюшко, которое, как говорили злые языки, давно уже мешало ему видеть собственные ноги.) — Ваши головы набиты доктринами, полезными для поддержания существующего строя. Вы такие же наемники

[14] Примечания: 14

В те годы немало священников было отлучено от церкви за то, что проповедовали взгляды, неугодные правящим классам, а особенно такие, которые отражали влияние социалистических идей.

(преданные наемники, допустим), какими была в свое время швейцарская гвардия[15]. Служите же своим хозяевам верой и правдой, стойте на страже их интересов, но не сбивайте с толку рабочих, не обманывайте их своими лжеучениями. Нельзя быть воином двух станов: это прежде всего нечестно. До сих пор рабочий класс обходился без ваших услуг. Поверьте, они ему не понадобятся и в дальнейшем. Напротив, вы не принесете ему ничего, кроме вреда.

[15] Примечания: 15

Наемная дворцовая стража Людовика XVI, французского короля, казненного народом.

Глава II
Мне и епископу Морхаузу брошен вызов

Когда гости разошлись, отец упал в кресло и от души расхохотался. С тех пор, как мы схоронили матушку, я не видела его таким веселым.

— Ручаюсь, что доктору Гаммерфилду не приходилось еще бывать в такой переделке, — потешался он. — Вот тебе и «учтивости церковных словопрений»! Ты заметила, как этот Эвергард сначала прикинулся овечкой и вдруг обернулся львом рыкающим. А какой дисциплинированный ум! Он мог бы стать прекрасным ученым, только интересы у него направлены не в ту сторону.

Нечего и говорить, что и меня взволновала встреча с Эрнестом Эвергардом. И не только смысл и своеобразная форма его речей, меня заинтересовал сам человек. В нашем кругу не встречались такие люди. Может быть, поэтому я все еще не помышляла серьезно о замужестве, несмотря на свои двадцать четыре года. Эрнест мне нравился, я должна была себе в этом со-

знаться. И это говорил мне не ум, не рассудок. Невзирая на его атлетическое сложение и шею боксера, я угадывала в нем детски наивную душу. В неукротимом бунтаре скрывалась нежная, чувствительная натура. Трудно сказать, что внушило мне эти мысли, — вернее всего, их подсказало сердце.

Голос Эрнеста, в котором слышался чистый звон металла, проникал мне в душу. Интонации этого голоса все еще звучали в моих ушах, и мне хотелось снова слышать его, ловить искорки смеха в глазах этого человека, лицо которого, казалось, выражало одну лишь решительность и суровость. Встреча эта пробудила во мне и другие, еще смутные и неопределенные, желания и ощущения. Я, может быть, уже тогда полюбила Эрнеста, хотя эти неясные чувства, вероятно, угасли бы без следа, если бы нам не довелось больше встретиться.

Судьба не допустила этого. Этого не допустило новое увлечение моего отца социологией и задуманная им серия обедов. Отец не был социологом по образованию. Его брак с моей матерью был счастливым союзом, а работа в любимой области — физике — давала ему огромное удовлетворение. Но со смертью матушки в жизни его образовалась

пустота, которую старые, привычные занятия не могли заполнить. Отец заинтересовался философией — скорее как любитель, а потом серьезно увлекся социологией и политической экономией. В нем всегда было сильно чувство справедливости, а теперь оно стало его главной страстью: он мечтал об уничтожении несправедливости на земле. Я радовалась его возвращению к деятельной жизни, не подозревая, чем это может для него кончиться. С энтузиазмом юноши окунулся он в новую для него сферу, нимало не задумываясь над тем, куда это может его привести.

Лабораторные занятия были для отца привычной стихией, и теперь он превратил нашу столовую в своего рода социологическую лабораторию. На его обедах бывали люди всех рангов и сословий — ученые, политики, банкиры, коммерсанты, профессора, профсоюзные деятели, социалисты и анархисты. Отец вызывал своих гостей на беседы и споры, а потом анализировал их взгляды на жизнь и общество.

С Эрнестом он познакомился незадолго до нашего «синедриона». В тот вечер, после ухода гостей, отец рассказал мне, как недавно, проходя по улице, остановился послушать агитатора, обращавшегося к толпе рабочих. Это и был Эрнест.

Впрочем, Эрнест был не только агитатором: он занимал видное положение в социалистической партии, его считали авторитетом в вопросах социалистической философии. Он умел ясно излагать самые сложные вещи и, будучи прирожденным учителем и пропагандистом, не пренебрегал и уличной трибуной, стремясь к распространению среди рабочих экономических знаний.

Заинтересовавшись молодым оратором, отец тут же условился с ним о новой встрече, а затем, как знакомого, пригласил на обед с представителями церкви. И только после обеда он рассказал мне то немногое, что успел узнать о новом приятеле.

Эрнест родился в рабочей среде, несмотря на то что род его, восходивший к американским пионерам, уже двести с лишним лет как поселился в Америке[16]. Десятилетним мальчуганом Эрнест поступил на фабрику, выучился кузнечному делу и работал кузнецом. Он не получил систематического образования, но, занимаясь самостоятельно, изучил даже французский и немецкий языки, и теперь перебивался перевода-

[16] Примечания: 16

В то время между коренным населением США и пришлым элементом проводилось резкое и оскорбительное различие.

ми научных и философских книг для небольшого чикагского социалистического издательства. Кое-какие крохи приносили ему его собственные брошюры по вопросам философии и экономики, весьма туго распродававшиеся.

Все это я узнала в тот самый вечер и потом долго не могла уснуть, взволнованная новыми впечатлениями, прислушиваясь к мощному голосу, который не переставал звучать в моих ушах. Я непрестанно думала об Эрнесте и сама пугалась своих мыслей. Этот человек был так непохож на тех, кого я знала, от него веяло незнакомой, суровой силой. Его властность и привлекала, и страшила меня, так как, отдавшись вольной игре воображения, я уже рисовала его себе своим возлюбленным, своим мужем. Я часто слышала, что сила в мужчине неотразимо привлекает женщин. Но этот человек был слишком силен. «Нет, нет, — восклицала я, — немыслимо, невозможно!» Но утром я уже опять мечтала о новой встрече с Эрнестом. Я жаждала вновь увидеть его в горячей схватке с противниками, услышать звон металла в его голосе, наблюдать, с какой уверенностью и силой он расправляется со своими оппонентами, выколачивая из них спесь и самодовольство, как расшатывает их привыч-

ные верования и убеждения. Пусть он не знает удержу. Говоря его собственными словами, это «действует», дает результаты. Его стремительность увлекала за собой, волновала, словно звуки трубы перед атакой.

Прошло несколько дней. За это время я познакомилась с теми книжками Эрнеста, которые нашлись у папы. Писал он так же, как говорил, — ясно и убедительно. Вы могли не соглашаться с ним, но вас невольно восхищала простота и прозрачность его слога. Мысль его работала необыкновенно четко. Это был популяризатор по призванию, но, несмотря на все достоинства изложения, со многим в его писаниях я не могла согласиться. Он слишком подчеркивал то, что называл классовой борьбой, антагонизмом между трудом и капиталом, столкновением интересов.

Папа сообщил мне, посмеиваясь, что доктор Гаммерфилд отозвался об Эрнесте как о «дерзком щенке, который возомнил о себе, начитавшись плохих книжек». Почтенный пастырь наотрез отказался от дальнейших встреч с Эрнестом.

Зато епископ Морхауз проявлял интерес к молодому агитатору и очень хотел еще раз встретиться с ним. «Энергичный юноша, — сказал он отцу, — в нем много жизни, много сил, но только

очень уж самоуверен».

Как-то вечером отец опять привел к нам Эрнеста. Пришел и епископ, и нам подали чай на веранде. Здесь уместно пояснить, что затянувшееся пребывание Эрнеста в нашем городе было вызвано тем, что он слушал в университете специальный курс биологии, а кроме того, прилежно работал над своей книгой «Философия и революция»[17].

До чего же тесной показалась мне наша веранда с появлением на ней Эрнеста! Собственно, он был не такой уж высокий — пять футов девять дюймов, — но все как-то тускнело и терялось рядом с ним. Здороваясь со мной, он заметно смутился, и меня удивила застенчивая неуклюжесть его поклона, не вязавшаяся ни с его решительным взглядом, ни с крепким рукопожатием. И опять его глаза смело и уверенно заглянули в мои. На этот раз я прочла в них вопрос, и снова он слишком пристально смотрел на меня.

— Я прочла вашу «Философию рабочего класса», — сказала я.

Глаза Эрнеста потеплели.

---

[17] Примечания: 17

В течение трехсотлетнего владычества Железной пяты эта книга неоднократно выходила в подпольных изданиях. Несколько экземпляров ее хранятся в Ардисе, в Национальной библиотеке.

— Надеюсь, вы приняли во внимание, что эта книжка рассчитана на определенную аудиторию? — сказал он.

— Да, и как раз поэтому я хочу с вами поспорить, — продолжила я отважно.

— Я тоже хочу с вами поспорить, мистер Эвергард, — вставил епископ Морхауз.

Эрнест слегка пожал плечами и принял из моих рук чашку чая.

Епископ легким поклоном в мою сторону дал понять, что просит меня говорить первой.

— Вы разжигаете классовую ненависть, — начала я. — Я считаю недостойным и даже преступным такое обращение к самым темным инстинктам рабочего класса, к его ограниченности и жестокости. Классовая ненависть — это чувство антисоциальное; что общего может быть между ней и социализмом?

— Не виновен ни словом, ни помышлением, — возразил Эрнест. — Ни в одной из моих книг нет ни строчки о классовой ненависти.

— Полноте! — воскликнула я с упреком и, достав брошюру, принялась перелистывать ее.

Он спокойно пил чай и с улыбкой поглядывал на меня.

— Вот, страница сто тридцать вторая, — при-

ступила я к чтению. — «На современном этапе общественного развития отношения между классом, покупающим рабочую силу, и классом, продающим ее, принимают характер классовой борьбы».

Я посмотрела на Эрнеста с торжеством.

— Тут ни слова нет о классовой ненависти, — сказал он, улыбаясь.

— Но разве здесь не сказано: классовая борьба?

— Так это же разные вещи, — возразил Эрнест. — Поверьте, мы не разжигаем ненависть. Мы говорим, что классовая борьба — это закон общественного развития. Не мы несем за нее ответственность, не мы ее породили. Мы только исследуем ее законы, как Ньютон исследовал законы земного притяжения. Мы объясняем, в чем существо противоречивых интересов, столкновение которых приводит к классовой борьбе.

— Но никаких противоречий быть не должно! — воскликнула я.

— Согласен, — ответил Эрнест. — Мы, социалисты, и добиваемся устранения этих противоречий. Разрешите мне прочитать вам небольшой отрывок. — Он взял книжку и полистал. — Страница сто двадцать шестая: «Период классовой борьбы, возникающий с распадом первобытного

коммунизма и переходом к периоду накопления частной собственности, должен завершиться обобществлением частной собственности...»

— Позвольте мне все же с вами не согласиться, — вмешался епископ. Легкий румянец на его бледном аскетическом лице казался отблеском внутреннего огня. — Я отвергаю ваше исходное положение. Между интересами капитала и труда нет противоречий — во всяком случае, не должно быть.

— Покорнейше благодарю, — ответил Эрнест, на этот раз с величайшей серьезностью. — Ваши последние слова только подкрепляют мое исходное положение.

— Да и откуда бы взяться этому противоречию? — допытывался епископ.

Эрнест развел руками:

— Вероятно, люди так устроены.

— Нет, люди не так устроены! — горячился епископ.

— Кого же вы имеете в виду? — спросил Эрнест. — Быть может, вам мерещатся какие-то идеальные натуры, чуждые корысти и мирских интересов? Но ведь это столь редкостные явления, что о них и говорить не стоит. Или вы имеете в виду обыкновенного, рядового человека?

— Я имею в виду обыкновенного, рядового человека, — последовал ответ.

— Наделенного слабостями, склонного к ошибкам и заблуждениям?

Епископ кивнул.

— Мелочного, эгоистичного?

Епископ снова кивнул.

— Берегитесь! — воскликнул Эрнест. — Я сказал «эгоистичного».

— Средний человек эгоистичен, — храбро подтвердил епископ.

— Ему сколько ни дай, все мало!..

— Да, ему сколько ни дай, все мало… Как это ни прискорбно, я согласен с вами.

— Ну, тогда вы попались! — Челюсти Эрнеста грозно сомкнулись, точно захлопнулась ловушка. — Смотрите сами. Возьмем человека, работающего, скажем, в трамвайной компании.

— Эту работу предоставил ему капитал, — ввернул епископ.

— Правильно, но капитал не мог бы существовать без рабочих, обеспечивающих ему дивиденды.

Епископ промолчал.

— Согласны?

Епископ кивнул.

— В таком случае мы квиты и можем начать сначала. — Тон у Эрнеста был самый деловой. — Итак, трамвайные рабочие дают свой труд. Акционеры дают капитал. Совместными усилиями труда и капитала создается новая стоимость[18]. Она делится между рабочими и предпринимателями. Доля капитала называется дивидендами, доля труда — заработной платой.

— Совершенно верно, — сказал епископ. — Но почему же этот дележ не может быть полюбовным?

— Вы забыли, с чего мы начали, — возразил Эрнест. — Мы установили, что средний человек — эгоист. Нас ведь интересуют настоящие, живые люди. Вы же опять вознеслись в эмпиреи и говорите о бескорыстных существах, достойных всякой похвалы, но не существующих в природе. Спустившись на землю, мы должны сказать, что рабочий, будучи обыкновенным смертным, хочет получить при дележе возможно большую долю. Капиталист тоже норовит получить возможно больше. Но там, где разделу подлежат точно определенные, реальные ценности и где та

[18] Примечания: 18

В те времена объединения частных собственников грабительски присваивали себе все средства передвижения и за пользование ими взимали с населения плату.

и другая сторона хочет получить большую долю, неминуемо возникает столкновение интересов. Вот вам и конфликт между трудом и капиталом. И, надо сказать, конфликт неразрешимый. До тех пор, пока существуют труд и капитал, будут существовать разногласия между ними в вопросе о разделе материальных благ. Если бы вы сегодня оказались в Сан-Франциско, вам пришлось бы передвигаться пешком. Сегодня на линию не вышел ни один вагон.

— Опять забастовка?[19] — горестно воскликнул епископ.

— Да. Очередные разногласия у рабочих и трамвайной компании по вопросу о заработной плате.

Епископ Морхауз был вне себя от огорчения.

— Какая пагубная ошибка!.. — воскликнул он. — Как это недальновидно со стороны рабочих. Разве могут они надеяться на сочувствие, если…

— Если заставляют нас ходить пешком, — лукаво подсказал ему Эрнест.

---

[19] Примечания: 19

Такие неурядицы были частым явлением в те времена неразумной анархической системы: то рабочие отказывались выходить на работу, то капиталисты отказывались допускать их к работе. Возникали беспорядки и акты насилия, отчего гибло много ценного имущества и человеческих жизней. Все это в такой же мере непонятно нам, как и распространенное в ту пору среди низших классов явление, когда муж, обозлившись на жену, бил посуду и ломал мебель.

Но епископ пропустил мимо ушей его замечание.

— Это непростительная ограниченность и узость. Человек не должен становиться диким зверем. Опять насилие, убийство! Сколько безутешных вдов, бесприютных сирот! Рабочим и предпринимателям следовало бы быть верными союзниками. Они должны работать дружно, это выгодней и для тех и для других.

— Опять вы парите в небесах, — холодно остановил его Эрнест. — Вернитесь на землю. Вспомните: человек эгоистичен.

— Но этого не должно быть! — воскликнул епископ.

— Согласен, — последовал ответ. — Человек не должен быть эгоистом, но он останется им при социальной системе, основанной на неприкрытом свинстве.

У епископа перехватило дыхание. Папа втихомолку смеялся.

— Да, неприкрытое свинство, — продолжал неумолимо Эрнест, — вот истинная сущность капиталистической системы. И вот за что ратует ваша церковь, вот что и сами вы проповедуете, всходя на кафедру. Свинство! Другого названия не подберешь.

Епископ жалобно посмотрел на отца, но тот, все так же смеясь, энергично закивал.

— Боюсь, что мистер Эвергард прав, — сказал он. — У нас господствует принцип «Laissez faire», иначе говоря — «Каждый за себя, черт за всех». Как мистер Эвергард говорил в прошлый раз, церковь стоит на страже существующего порядка, а основа этого порядка именно такова.

— Христос не этому учил нас! — воскликнул епископ.

— Нынешней церкви нет дела до учения Христа, — вмешался Эрнест. — Потому-то она и растеряла своих приверженцев среди рабочих. В наши дни церковь поддерживает ту чудовищную, зверскую систему эксплуатации, которую установил класс капиталистов.

— Нет, церковь ее не поддерживает, — настаивал епископ.

— Но она и не восстает против нее. А раз так, значит, она эту систему поддерживает. Да оно и естественно, ведь церковь существует на средства капиталистов.

— Мне это никогда не приходило в голову, — простодушно возразил епископ. — Думаю, что вы не правы. Я знаю, в этом мире немало тяжелого и несправедливого. Знаю, что церковь утратила

часть своих сынов — так называемый «пролетариат»...[20]

— Пролетариат никогда не был вашим, — загремел Эрнест. — Он рос вне церкви, церковь меньше всего им занималась.

— Я вас не понимаю, — пролепетал епископ.

— А не понимаете, так я объясню вам. Вам, конечно, известно, что с появлением машин и возникновением фабрик во второй половине восемнадцатого века огромное большинство трудящегося населения было оторвано от земли. Условия труда в корне изменились. Бросив родные деревни, рабочий люд вынужден был селиться в тесных, скученных кварталах больших городов. Не только мужчины, но и матери семейств и дети были приставлены к машинам. Рабочий не имел семьи. Его жизнь была ужасна. Эти страницы истории залиты кровью.

— Знаю, знаю, — перебил его епископ, страдальчески морщась. — Все это ужасно. Но это было полтора века назад.

— Полтора века назад и возник современный

---

[20] Примечания: 20

Пролетариат — от лат. proletarii. Под этим названием в цензовом кодексе Сервия Туллия значились те римские жители, которые ничего не могли дать государству, кроме своего потомства (proles). Это были люди, не имевшие ни состояния, ни общественного положения, а также не выделявшиеся из общей массы своими способностями.

пролетариат, — подхватил Эрнест. — А где была тогда церковь? Капитал погнал на бойню чуть ли не целый народ, а как отнеслась к этому церковь? Церковь молчала. Она не протестовала, как и сейчас не протестует. Вспомните, что говорит по этому поводу Остин Льюис[21]: «Те, кому было заповедано: „Пасите овец моих“, — спокойно смотрели, как их овец продавали в рабство и замучивали до смерти тяжелой работой»[22]. В эти страшные годы церковь безмолвствовала. Но прежде чем продолжать, я хочу, чтобы вы мне ответили: согласны вы со мной или не согласны? Так это или не так?

Епископ колебался: он не привык к тактике «лобовой атаки», как называл ее Эрнест.

— История восемнадцатого века уже написана, — настаивал Эрнест. — Если бы церковь что-нибудь сделала в те времена, об этом можно

---

[21] Примечания: 21

Кандидат социалистов на пост калифорнийского губернатора во время выборов 1906 г.; англичанин по рождению, автор многих книг по философии и политической экономии, Льюис был одним из руководящих социалистических деятелей своего времени.

[22] Примечания: 22

Чудовищная эксплуатация женщин и детей на английских фабриках во второй половине XVIII в. представляет собой один из самых страшных и позорных эпизодов человеческой истории; крупнейшие состояния того времени возникли в этой преисподней английской промышленности.

было бы прочитать в книгах.

— Боюсь, что церковь действительно молчала, — вынужден был признать епископ.

— Сегодня она также молчит.

— Нет, с этим я не могу согласиться, — возразил епископ.

Эрнест не сразу ответил. Он испытующе посмотрел на своего собеседника, потом, видно, принял решение.

— Ладно, — сказал он, — посмотрим. В чикагских швейных мастерских женщины за целую неделю работы получают девяносто центов. Протестовала против этого церковь?

— Для меня это новость. Девяносто центов! Неслыханно, ужасно!

— Протестовала церковь? — повторил Эрнест.

— Церкви это неизвестно, — отчаянно защищался епископ.

— А разве не церкви было заповедано: «Пасите овец моих»? — издевался Эрнест. И тут же спохватился: — Простите, епископ, но с вами всякое терпение теряешь. А протестовали вы, обращаясь к своим богатым прихожанам, против применения детского труда на текстильных фабриках

Юга?[23] Знаете ли вы, что шести-семилетние дети работают там в ночную смену, и это сплошь и рядом — при двенадцатичасовом рабочем дне? Они никогда не видят солнца. Они мрут, как мухи. Дивиденды выплачиваются их кровью. Зато потом где-нибудь в Новой Англии на эти самые дивиденды вам выстроят роскошные церкви, чтобы ваш брат священник лепетал с амвона этим держателям дивидендов, гладким и толстопузым, всякие умильные пошлости!

— Я ничего этого не знал, — чуть слышно прошептал епископ, побледнев и, казалось, борясь с тошнотой.

— Стало быть, вы не протестовали?

Епископ отрицательно покачал головой.

— Стало быть, церковь и ныне безмолвствует,

---

[23] Примечания: 23

Эвергард мог бы привести и более яркие примеры, вспомнив, как церковь на Юге открыто ратовала за рабовладение в годы, предшествовавшие так называемой «Гражданской войне». Приведем здесь несколько примеров из документов того времени. В 1835 г. Всеамериканский собор пресвитерианской церкви постановил: «Рабство признано как Ветхим, так и Новым Заветом и, следовательно, не противоречит воле Всевышнего». В том же 1835 г. Чарлстонская община баптистов в своем обращении к верующим провозгласила: «Право господина располагать временем своих рабов освящено Творцом всего сущего, ибо он волен любое свое творение передать в собственность кому пожелает». Его преподобие И. Д. Саймон, доктор богословия и профессор Рандолф-Мэконского методистского колледжа в Виргинии, писал: «Текстами Священного Писания непререкаемо утверждается право рабовладения со всеми вытекающими из него последствиями. Право купли и продажи рабов установлено с полной

ясностью. Обратимся ли мы к еврейскому закону, дарованному самим Господом Богом, или же к общепринятым воззрениям и обычаям всех времен и народов, или же к предписаниям Нового Завета и его нравственному учению — повсюду находим доказательства того, что в рабовладении нет ничего безнравственного. Поскольку первые рабы, привезенные в Америку из Африки, были законно проданы в рабство, в рабстве должны оставаться и их потомки. Все это убеждает нас в том, что рабовладение в Америке освящено законом». Естественно, что, выступая несколько десятилетий спустя в защиту капиталистической собственности, церковь прибегала к таким же доводам. В богатейшем Эсгардском книгохранилище имеется труд некоего Генри Ван Дейка, изданный в 1905 г. под заглавием «Опыты толкования». Очевидно, Ван Дейк был видным церковником. Книга его — яркий образчик того, что Эвергард назвал бы «буржуазным мышлением». Сравните заявление чарлстонских баптистов со следующим заявлением Ван Дейка, сделанным семьдесят лет спустя: «Библия учит нас, что Господь — владыка мира, а следовательно, он волен одарить каждого из живущих по своему соизволению, в согласии с существующими законами».

как в восемнадцатом веке?

Епископ опять промолчал, но Эрнест и не настаивал на ответе.

— Кстати, не забудьте, что, если бы священник и осмелился протестовать, ему пришлось бы немедленно распроститься со своей кафедрой и приходом.

— По-моему, вы преувеличиваете, — кротко заметил епископ.

— И вы решились бы протестовать? — спросил Эрнест.

— Укажите мне подобные факты в нашей общине, и я буду протестовать.

— Я покажу их вам, — спокойно сказал Эрнест. — Можете располагать мной. Я проведу вас через ад.

— Хорошо. И тогда я буду протестовать. — Епископ выпрямился в своем кресле, его кроткое лицо выражало решимость воина. — Церковь больше не будет безмолвствовать!

— Вас лишат сана, — предостерег Эрнест.

— Я докажу вам обратное, — ответил епископ. — Если все, что вы говорите, правда, я докажу вам, что церковь заблуждалась по неведению. Мало того, я уверен, что все ужасы нашего промышленного века объясняются полным неве-

дением, в коем пребывает и класс капиталистов. Увидите, как все изменится, едва до него дойдет эта весть. А долг принести ему эту весть лежит на церкви.

Эрнест рассмеялся. Грубая беспощадность этого смеха заставила меня вступиться за епископа.

— Не забывайте, — сказала я, — что вам знакома только одна сторона медали. В нас тоже много хорошего, хоть мы и кажемся вам закоренелыми злодеями. Епископ прав: те ужасы, которые вы здесь рисовали, мало кому известны. Вся беда в том, что пропасть, разделяющая общественные классы, слишком уж велика.

— Дикари индейцы не так жестоки и кровожадны, как ваши капиталисты, — ответил Эрнест.

В эту минуту я ненавидела его.

— Вы нас не знаете. Совсем мы не жестоки и не кровожадны!

— Докажите! — В голосе его прозвучал вызов.

— Как могу я доказать это… вам? — Я не на шутку рассердилась.

Эрнест покачал головой.

— Мне вы можете не доказывать — докажите себе.

— Я и без того знаю.

— Ничего вы не знаете, — отрезал он грубо.

— Дети, дети, не ссорьтесь, — попробовал успокоить нас папа.

— Мне дела нет… — начала я возмущенно, но Эрнест прервал меня:

— Насколько мне известно, вы или ваш отец, что одно и то же, состоите акционерами Сьеррской компании.

— Какое это имеет отношение к нашему спору? — с негодованием спросила я.

— Ровно никакого, если не считать того, что платье, которое вы носите, забрызгано кровью; пища, которую вы едите, приправлена кровью; кровь малых детей и сильных мужчин стекает вот с этого потолка. Стоит мне закрыть глаза, и я явственно слышу, как она капля за каплей заливает все вокруг.

Он и в самом деле закрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Слезы обиды и оскорбленного тщеславия брызнули из моих глаз. Никто еще не обращался со мной так грубо. Поведение Эрнеста смутило даже папу, не говоря уж о добряке епископе. Они тактично старались перевести разговор в другое русло, но не тут-то было. Эрнест открыл глаза, посмотрел на меня в упор и жестом попросил их замолчать. В углах его рта залегла суровая складка, в глазах — ни искорки смеха.

Что он хотел сказать, какую готовил мне казнь, я так и не узнала, ибо в эту самую минуту кто-то внизу, на тротуаре, остановился у нашего дома и посмотрел на нас. Это был рослый мужчина, бедно одетый, который тащил на спине гору плетеной мебели — стульев, этажерок, ширм. Он оглядывал наш дом, видимо, раздумывая, стоит или не стоит предлагать здесь свой товар.

— Этого человека зовут Джексон, — сказал Эрнест.

— Такому здоровяку следовало бы работать, а не торговать вразнос[24], — раздраженно отозвалась я.

— Взгляните на его левый рукав, — мягко сказал Эрнест.

Я взглянула — рукав был пустой.

— За кровь этого человека вы тоже в ответе, — все так же миролюбиво продолжал Эрнест. — Джексон потерял руку на работе, он старый рабочий Сьеррской компании, однако вы, не задумываясь, выбросили его на улицу, как гонят со двора разбитую клячу. Когда я говорю «вы»,

---

[24] Примечания: 24

В те времена тысячи полунищих торговцев ходили из дома в дом, предлагая свой товар. Это было, разумеется, нецелесообразным расходованием человеческих сил. В сфере распределения наблюдалась та же бессистемность и хаотичность, которая характеризовала весь общественный уклад в целом.

то имею в виду вашу администрацию, всех тех, кому акционеры Сьеррской компании поручили управлять своим предприятием, кому они платят жалованье. Джексон — жертва несчастного случая. Его погубило желание сберечь компании несколько долларов. Ему бы оставить без внимания кусочек кремня, попавший в зубья барабана: поломались бы два ряда спиц, зато рука была бы цела, — а Джексон потянулся за кремнем; вот ему и размозжило руку по самое плечо. Дело было ночью. Работали сверхурочно. Те месяцы принесли акционерам особенно жирные прибыли. Джексон простоял у машины много часов, мускулы его потеряли упругость и гибкость, движения замедлились. Тут-то его и зацапала машина. А ведь у него жена и трое детей.

— Что же сделала для него компания? — спросила я.

— Ничего. Виноват! Кое-что сделала: она опротестовала иск Джексона о возмещении за увечье, предъявленный после выхода из больницы. К услугам компании, как вам известно, опытнейшие юристы.

— Вы освещаете дело односторонне, — уверенно сказала я. — Может, вам не все известно. Человек этот, должно быть, дерзко вел себя.

— Дерзко вел себя? Ха-ха-ха! — саркастически рассмеялся Эрнест. — Человек с начисто отхваченной рукой осмелился кому-то дерзить! Нет, Джексон смирный, безответный малый. Таких художеств за ним не водится.

— А суд? — не сдавалась я. — Если бы все было так, как вы говорите, дело не решилось бы против Джексона.

— Главный юрисконсульт компании, полковник Ингрэм, весьма искушенный юрист. — С минуту Эрнест пристально смотрел на меня, потом сказал: — Вот, мисс Каннингхем, вам бы заняться делом Джексона. Расследуйте этот судебный казус.

— Я и без вашего совета собиралась это сделать, — холодно ответила я.

— Прекрасно. — Он смотрел на меня с подкупающим добродушием. — Я расскажу, где его найти, но только мне страшно подумать, что раскроет вам рука Джексона.

Так мы с епископом Морхаузом оба приняли вызов Эрнеста. Вскоре гости ушли, оставив меня с щемящим чувством обиды: мне и моему классу было нанесено незаслуженное оскорбление. Я решила, что человек этот просто чудовище. Я ненавидела его всей душой, но утешала себя тем,

что такое поведение естественно для бывшего рабочего.

Глава III
Рука Джексона

Могла ли я думать, отправляясь на поиски Джексона, что рука его сыграет в моей жизни такую огромную роль?

Сам Джексон не произвел на меня большого впечатления. Он ютился с семьей в покосившейся хибарке[25], на окраине города, у самого залива, в тесном соседстве с болотом. Вокруг домика, в огромных лужах, затянутых густой зеленоватой пеной, гнила стоячая вода, распространяя невыносимую вонь.

Джексон оказался именно тем тихим безответным малым, каким описал его Эрнест. Он что-то мастерил во время нашего разговора и ни на минуту не отрывался от своей работы. Но как он ни был кроток и забит, мне все же почудились нотки озлобления в его голосе, когда он сказал:

---

[25] Примечания: 25

Ветхий облезлый домишко — обычное жилье рабочего, за которое вносилась домохозяину непомерно высокая плата, нимало не соответствовавшая стоимости такого помещения.

— Уж местечко сторожа[26] они могли бы мне дать.

Он разговаривал неохотно и мог показаться тупицей, если бы не та ловкость, с какой работал, управляясь одной рукой. Наблюдая за его проворными движениями, я с удивлением спросила:

— Как же это вы так оплошали, Джексон, что ухитрились потерять руку?

Он задумчиво посмотрел на меня и покачал головой:

— Сам не знаю. Так уж получилось.

— Неосторожность? — не отставала я.

— Нет, — отвечал он. — Я бы не сказал. Нас тогда замучили сверхурочной работой, и я, видно, устал. Я ведь семнадцать лет оттрубил на этой фабрике и скажу вам, что большинство несчаст-

---

[26] Примечания: 26

Воровство было в те времена повальным явлением. Каждый старался украсть у другого. Богатые и сильные воровали на законном основании или так или иначе узаконивали свое воровство; бедняки воровали, невзирая на закон. Чтобы уберечь имущество от воров, приходилось нанимать сторожей, и много людей было занято тем, что стерегли чужое добро. Дом каждого более или менее зажиточного человека представлял собой своеобразное сочетание банковского сейфа, кладовой и крепости. В тех случаях, когда у наших детей проявляется желание завладеть чужой вещью, мы, очевидно, имеем дело с пережитком этой столь распространенной когда-то страсти к хищениям.

ных случаев бывает как раз перед гудком[27]. За весь рабочий день их не наберется столько. Когда много часов простоишь у машины, всякое соображение теряешь. На моей памяти сколько народу перекалечило! Иной раз так изувечит человека, что родная мать не узнает.

— И много произошло таких случаев?

— Сотни. С ребятишками тоже бывает.

За исключением этих страшных подробностей рассказ Джексона не дал мне ничего нового. На мой вопрос, не погрешил ли он против правил обращения с машиной, Джексон отрицательно покачал головой.

— Я правой рукой сбросил привод, а левой думал выхватить кремень. Мне бы, конечно, надо проверить, точно ли я освободил колесо. А я понадеялся на себя, вот в чем моя ошибка. Ремень соскочил только наполовину, и мне втянуло левую руку по самое плечо.

— Больно было? — посочувствовала я.

— Да уж что хорошего, когда машина дробит тебе кости.

Джексон плохо представлял себе, что было на суде, и только повторял, что суд «ничего ему не

---

[27] Примечания: 27

Рабочих сзывал на работу и провожал с работы пронзительный, режущий слух свист паровой машины.

присудил». Он считал, что ему повредили показания мастеров и главного управляющего. «Не по совести они показывали», — повторял он. Я решила допросить этих свидетелей.

Одно не подлежало сомнению: положение Джексона самое бедственное. Жена у него постоянно хворает, а сам он своей торговлей не может прокормить семью. Они много задолжали за квартиру, и старший мальчуган, лет одиннадцати, недавно поступил на фабрику.

— Уж местечко сторожа они могли бы для меня найти, — сказал мне Джексон, прощаясь.

Последующие свидания с адвокатом Джексона, который так неудачно защищал его интересы, а также с мастерами и управляющим, выступавшими свидетелями на суде, убедили меня, что Эрнест не далек от истины в своих предположениях.

Адвокат, щуплое, загнанное существо, производил впечатление законченного неудачника. Глядя на него, я не удивилась, что он проиграл дело Джексона, и подумала: ведь надо же было выбрать себе такого адвоката. Но мне вспомнились два замечания Эрнеста: «К услугам Компании, как вам известно, опытнейшие юристы» и «Полковник Ингрэм — весьма искушенный юрист».

Я только сейчас поняла, что Компании легче заручиться содействием юридических светил, чем бедняку рабочему. Но все это, как я догадывалась, играло второстепенную роль. Существовали гораздо более серьезные причины, чтобы Джексону было отказано в иске.

— Почему вы проиграли дело? — спросила я адвоката.

Первое мгновение он как-то съежился и растерялся; во мне пробудилось даже что-то вроде жалости к этому тщедушному созданию. Потом начал ныть. Нытье, вероятно, было его естественным состоянием. Казалось, невезение преследовало этого человека с колыбели. Он пожаловался на свидетелей. Все их показания были на руку ответчику. Он не мог вытянуть из них ни одного слова в пользу своего клиента. Это народ ученый, они знают, что к чему. Джексон — болван. Полковнику Ингрэму ничего не стоило запугать его и сбить с толку. С полковником Ингрэмом не потягаешься, он — король перекрестного допроса. Ему удалось добиться от Джексона убийственных для дела показаний.

— Как мог Джексон дать убийственные для себя показания? Ведь прав-то был он?

— Что значит «прав»? — ответил он вопросом

на вопрос. — Видите эти книги? — И он показал на ряды полок, тянувшиеся вдоль стен его крошечной конторы. — Все это мной изучено от корки до корки. Зато я теперь знаю, что одно дело — правда, а другое — закон. Спросите любого юриста. Что такое правда, вам расскажут в воскресной школе, а закон — он здесь, в этих книгах.

— Вы хотите сказать, что Джексон был прав, но что это не помешало ему проиграть дело? Вы хотите сказать, что судья Колдуэлл судит не по правде?

Адвокат вызывающе уставился на меня, но постепенно воинственный задор потух в его глазах.

— Поймите и меня тоже, — захныкал опять он. — Ведь они разыграли не только Джексона, они и меня оставили в дураках. Поймите, в каком я оказался положении. Полковник Ингрэм — светило юридического мира. Если б он не был светилом, думаете, Сьеррская компания поручала бы ему свои дела? И не только Сьеррская, а и Эрстоновский земельный синдикат, Берклийское акционерное общество и три электрокомпании — Окленд, Сан-Леандро и Плезантонская. Он поверенный корпораций, а поверенные корпораций получают большие оклады не для того,

чтобы проваливать дела в суде[28]. Как вы думаете, почему одна только Сьеррская компания платит полковнику Ингрэму двадцать тысяч в год? Потому что он стоит этих денег! Я не стою таких денег. Если бы я стоил хотя бы половину, то не промышлял бы чем Бог пошлет и не брался за такие дела, как иск Джексона. Как вы думаете, много бы я заработал, выиграв это дело?

— Очевидно, вы обокрали бы Джексона, — ответила я.

— Можете не сомневаться, — рассердился адвокат. — Жить-то мне надо, как вы полагаете?[29]

— Но у него жена и дети, — пожурила я его.

— А у меня, думаете, нет жены и детей? И ни одна душа, кроме меня, не заботится о том, есть ли у них кусок хлеба.

---

[28] Примечания: 28

Обязанности поверенных корпораций заключались в том, чтобы при помощи жульнических махинаций служить грабительским замыслам и планам своих хозяев. Сохранилось интересное свидетельство Теодора Рузвельта, в то время президента Соединенных Штатов. В 1905 г., на выпускных торжествах в Гарвардском университете, он сказал: «Ни для кого не секрет, что у большинства наших крупных предприятий имеются высокооплачиваемые юристы, чьи остроумные и смелые советы позволяют их богатым клиентам, будь то отдельные лица или корпорации, успешно обходить законы, принятые в интересах общества для упорядочения деятельности крупного капитала».

[29] Примечания: 29

Яркий пример борьбы за существование, этого основного закона тогдашнего общества. Люди пожирали друг друга, как звери, мелкие хищники становились добычей крупных. В этой волчьей стае Джексон

принадлежал, очевидно, к самым смирным и беззащитным.

Лицо его внезапно посветлело, он достал часы и показал мне на внутренней стороне крышки карточку женщины с двумя девочками.

— Вот они. Взгляните. Нелегко им живется, бедняжкам. Я мечтал отправить их на дачу, если бы удалось выиграть дело Джексона. Они у нас все хворают. Но какая там дача! На это нужны средства.

Когда я собралась уходить, он опять заныл:

— Ничего бы у меня не вышло, так или иначе. Полковник Ингрэм и судья Колдуэлл — добрые друзья. Конечно, этим еще не все сказано: если бы мне удалось на перекрестном допросе вытянуть из свидетелей благоприятные показания, не дружба их решила бы дело. Но судья Колдуэлл не пожалел сил, чтобы не допустить таких показаний. Да и неудивительно. Судья Колдуэлл и полковник Ингрэм — члены одной ложи и одного клуба, да и живут рядом. Мне было бы не по карману поселиться с ними по соседству. И жены их бывают друг у друга. Постоянно званые вечера, вист и все такое — то у одной, то у другой.

— Так Джексон все-таки был прав? — спросила я уже с порога.

— Еще бы! Сначала я даже верил, что можно выиграть это дело, но жене не говорил — из осто-

рожности, знаете, чтобы зря не волновать ее. Очень уж ей, бедняжке, хотелось на дачу.

— Почему вы не сказали суду, что Джексон старался спасти машину? — спросила я Питера Донелли, одного из мастеров, дававших показания на суде.

Он долго думал, прежде чем ответить, потом боязливо огляделся и сказал:

— Потому что у меня славная жена и трое ребятишек — таких ребят поискать надо, — вот почему!

— Я вас не понимаю, — сказала я.

— Проще говоря, мне бы не поздоровилось…

— Вы хотите сказать…

Но он прервал меня с ожесточением:

— Я хочу сказать то, что сказал. Я не первый год работаю на фабрике. Вот таким мальчишкой стал за машину и достиг кое-чего. Нелегко мне это далось. Сейчас я мастер, заметьте, и если буду тонуть, ни одна душа на фабрике не окажет мне помощи. Когда-то и я был членом союза, но во время последних двух забастовок соблюдал интересы компании. Меня и ославили штрейкбрехером. И теперь ни один рабочий не согласился бы со мной выпить, если бы я ему предложил. Видите, как меня разукрасили? Это

неведомо откуда на голову мне сыплются кирпичи. Нет мальчишки у прядильной машины, который не бранил бы меня последними словами, стоит мне отвернуться. Один друг у меня на свете — компания. Тут не то что мой долг, тут и хлеб мой, и жизнь моих детей... Вот почему я и шагу не сделаю против компании.

— Ну а Джексон? Правильно, что его лишили компенсации?

— Нет, неправильно. Он работал добросовестно. И человек он смирный, мы за ним ничего плохого не знаем.

— Значит, вы не сказали на суде правду, как присягали?

Он покачал головой.

— Правду, всю правду и одну только правду? — торжественно произнесла я.

Что-то исступленное мелькнуло в его взгляде. Он поднял глаза — не на меня, на небо.

— Пусть мою душу и тело терзает вечный огонь — я все вытерплю ради моих детей! — сказал он.

Управляющий Генри Даллес, господинчик с лисьей физиономией, смерил меня наглым взглядом и наотрез отказался отвечать. Я так и не добилась от него ни одного слова в объяснение его поведения на суде. Больше посчастливилось

мне с другим мастером, Джеймсом Смитом. На первый взгляд его угрюмое лицо не сулило ничего хорошего. Вскоре выяснилось, что и он не волен в своих словах и поступках, но по развитию этот человек показался мне выше простого рабочего. Так же, как и Питер Донелли, он подтвердил, что Джексону полагалась компенсация. Он даже сказал, что недобросовестно и жестоко было выбросить на улицу беспомощного калеку, пострадавшего на производстве, и добавил, что случай с Джексоном не единственный: компания на все пойдет, чтобы не дать рабочему компенсации за увечье.

— Это стоило бы акционерам не одну сотню тысяч в год, — сказал он.

Я вспомнила дивиденды, выплаченные нам последний раз: свое нарядное платье, книги, купленные для отца; вспомнила слова Эрнеста о том, что платье у меня залито кровью рабочих, — и внутренне поежилась.

— В своих показаниях вы умолчали о том, что Джексон пострадал, желая спасти машину от поломки, — сказала я.

— Да, умолчал. — Смит сурово стиснул губы. — Я сказал, что Джексон поплатился за собственную небрежность и что компания тут ни при чем.

— Он действительно проявил небрежность?

— Называйте как хотите. Человек не в силах выдержать такую работу. У него сдают нервы.

Я невольно заинтересовалась Смитом. Он и в самом деле не был похож на простого рабочего.

— Вы, по-видимому, образованнее многих рабочих, — сказала я.

— Я получил среднее образование, — ответил Смит. — Пока учился, работал дворником. Собирался и в университет. Но после смерти отца пришлось все бросить и пойти работать. Моей мечтой было стать натуралистом, — смущенно прибавил он, словно признаваясь в непозволительной слабости. — Я очень люблю животных. А вот пришлось поступить на фабрику. Потом стал мастером, женился, пошли дети, то да се — словом, я уже себе не хозяин.

— Что вы этим хотите сказать? — спросила я.

— Я объясняю, чем вызвано мое поведение на суде, почему я согласился дать требуемые показания.

— Кто их от вас потребовал?

— Полковник Ингрэм. Он научил меня, как отвечать на суде.

— И это погубило Джексона?

Смит кивнул. По лицу его расползался темный

румянец.

— У Джексона жена и трое детей, он их единственный кормилец.

— Знаю, — спокойно подтвердил Смит, хотя лицо его все больше багровело.

— Скажите, — продолжала я, — трудно вам было из человека, каким вы были, скажем, в старших классах, превратиться в такого, который способен так держаться на суде?

Внезапность последовавшего взрыва ошеломила меня и испугала. Смит, выйдя из себя, чертыхнулся[30] и стиснул кулаки, словно готов был меня избить.

— Простите, — сказал он, опомнившись. — Да, это было трудновато. А теперь пора вам уходить. Вы из меня вытянули все, что хотели, но предупреждаю: вы просчитаетесь, если вздумаете где-нибудь на меня сослаться. Я вам ничего не сказал, так и знайте; тем более что свидетелей у вас нет. Я буду отрицать каждое ваше слово — если понадобится, под присягой.

После разговора со Смитом я зашла к отцу на химический факультет и неожиданно застала в

---

[30] Примечания: 30

Здесь стоит отметить энергичную грубоватость лексики, характерную для того времени волчьих нравов и повадок. Мы разумеем, конечно, не брань Смита, а слово «чертыхнулся» в устах Эвис Эвергард.

его кабинете Эрнеста. Он поздоровался со мной как ни в чем не бывало, и меня опять поразила его непринужденная и вместе с тем застенчивая манера. Казалось, он не помнит нашего недавнего бурного спора, но я отнюдь не собиралась предавать его забвению.

— Я тут занялась делом Джексона, — сразу начала я.

Эрнест насторожился и, по-видимому, с интересом ждал рассказа. В глазах его я читала уверенность, что прежние мои взгляды уже поколеблены.

— С ним и правда обошлись бесчеловечно, — призналась я. — Я… я даже думаю, что кровь его в самом деле стекает с нашей крыши.

— Разумеется, — сказал Эрнест. — Если бы с Джексоном и его товарищами по несчастью поступали как должно, не видать бы вам таких дивидендов.

— Боюсь, что у меня навсегда пропал вкус к красивым платьям, — сказала я.

Было отрадно виниться перед Эрнестом, довериться ему, как своему исповеднику. Его сильная натура и впоследствии была мне опорой, его присутствие успокаивало меня и согревало ощущением безопасности.

— В мешковине вы будете чувствовать себя не лучше, — совершенно серьезно заметил Эрнест. — На джутовых фабриках такие же порядки. Да и везде то же самое. Вся наша хваленая цивилизация воздвигнута на крови и полита кровью, и ни мне, ни вам, и ни кому бы то ни было другому не стереть со лба кровавого клейма. С кем же вам удалось поговорить?

Я рассказала ему все.

— Да, никто из этих людей в себе не волен, — заметил Эрнест. — Все они пленники промышленной машины. И самое страшное то, что путы, привязывающие их к этой машине, впиваются им в сердце. Дети, хрупкая юная поросль, взывают к их нежности — и этот инстинкт повелительнее догматов морали. Мой отец был не лучше. Он обманывал, воровал, готов был на любой бесчестный поступок, только бы накормить меня и моих братьев и сестер. Он тоже был невольником промышленной машины — она искалечила ему жизнь, преждевременно состарила его и убила.

— Ну а вы? — прервала я его. — Ведь вы же сами себе хозяин?

— Не совсем, — возразил он. — Но по крайней мере сердце у меня не на привязи. Я часто благословляю судьбу за то, что нет у меня семьи, хотя

нежно люблю детей. Если бы я женился, то не позволил бы себе иметь детей.

— Ну, это никуда не годная точка зрения! — воскликнула я.

— Знаю, — сказал он печально, — но она не лишена смысла. Я революционер, а это опасная профессия.

Я недоверчиво рассмеялась.

— Если бы я ночью забрался к вам в дом, чтоб украсть у вашего отца его дивиденды, что бы он сделал? Как вы думаете?

— У папы на ночном столике всегда лежит револьвер. Вероятно, он застрелил бы вас.

— А если бы я и мои товарищи ввели в жилища богачей полуторамиллионную армию[31], — представляете, какая началась бы пальба?

— Но вы этого не делаете, — возразила я.

— Ошибаетесь, я именно это и делаю. И мы намерены забрать у богачей не только сокровища, припрятанные у них в домах, но также и источники этих богатств — рудники, железные дороги, заводы, банки, магазины. Вот что такое

---

[31] Примечания: 31

Намек на число голосов, поданных в США за социалистов на выборах 1910 г. Их неуклонный рост свидетельствовал о быстром укреплении революционных сил в Америке. В 1888 г. за социалистов в США было подано 2068 голосов; в 1902-м — 127 713; в 1904-м — 435 040; в 1908-м — 1 108 427 и, наконец, в 1910-м — 1 688 211.

революция. Это действительно опасное занятие. Боюсь, пальба начнется такая, что превзойдет даже и мои ожидания. Но, как я уже говорил, все мы в той или иной мере рабы промышленной машины. Каждый из нас так или иначе захвачен ее колесами. Вы убедились в этом относительно себя и тех людей, с кем вам пришлось беседовать. Поговорите с другими, с тем же полковником Ингрэмом. Поговорите с репортерами, которые предпочли умолчать о деле Джексона, поговорите с редакторами газет. Вы убедитесь, что все они — рабы этой машины.

В течение дальнейшей беседы я спросила Эрнеста, чем объясняется огромное число несчастных случаев на производстве. В ответ на этот простой вопрос я услышала целую лекцию с массой статистических данных.

— На эту тему написано немало исследований, — говорил Эрнест. — Установлено, что в первые часы рабочего дня несчастных случаев почти не бывает, зато по мере истощения у рабочего мускульной и нервной энергии число их быстро растет.

Знаете ли вы, что у вашего отца в три раза больше шансов сохранить здоровье и жизнь, чем у простого рабочего? Это как нельзя лучше

известно страховым обществам[32]. За тысячедолларовый полис, страхующий от несчастного случая, ваш отец должен платить в год четыре доллара двадцать центов, а рабочему за такой же полис приходится платить пятнадцать долларов в год.

— А каковы ваши шансы? — спросила я и тут же почувствовала, что мой вопрос выдает слишком большое участие.

— У революционера по сравнению с рабочим в восемь раз больше шансов быть убитым или искалеченным, — ответил он беспечно. — Страховые общества берут с химиков, работающих со взрывчатыми веществами, в восемь раз больше, чем с рабочих. А я для них, пожалуй, и вовсе неприемлемый клиент. Но почему вы спрашиваете?

Я не знала, куда смотреть, чувствуя, как горячий румянец заливает щеки. И не потому, что сердце мое открылось Эрнесту, а потому, что оно

---

[32] Примечания: 32

В условиях волчьей борьбы за существование человек не был уверен в завтрашнем дне, как бы ни был богат сегодня. Опасение за участь семьи заставляло его прибегать к различным видам страхования. В наш разумный век подобные мероприятия кажутся до смешного примитивными, но в те времена страхованию придавали большое значение. Характерно, что фонды страховых обществ часто расхищались и растрачивались теми самыми лицами, которые были уполномочены ими ведать.

открылось мне самой — в его присутствии.

Вошел папа и начал собираться домой. Эрнест вернул ему взятые у него книжки и попрощался. На пороге он обернулся и сказал:

— Кстати, раз вы уж заняты тем, что губите свое душевное спокойствие, как я занят тем, что гублю душевное спокойствие епископа, хорошо бы вам навестить миссис Уиксон и миссис Пертонуэйт. Мужья их, как вы знаете, главные акционеры Сьеррской компании. Как и все мы, грешные, обе эти дамы привязаны к промышленной машине, с той лишь разницей, что они забрались на самую вышку.

Глава IV
Рабы машины

Рука Джексона не давала мне покоя. Впервые я столкнулась с действительностью, впервые увидела жизнь. Мои университетские занятия, наука, цивилизация — все оказалось миражом. До сих пор жизнь и общество были известны мне по книгам, но то, что казалось убедительным и разумным на бумаге, рухнуло при первом же соприкосновении с действительностью. Рука Джексона была фактом живой действительности. «Факт, сударь, неопровержимый факт!» — эти слова Эрнеста не переставали звучать в моих ушах.

Чудовищным, немыслимым казалось мне утверждение, будто все наше общество воздвигнуто на крови. Но как же Джексон? Я не могла от него отмахнуться. Мысль моя возвращалась к нему подобно компасной стрелке, всегда указывающей на север. С Джексоном поступили ужасно. Ему отказались заплатить за его кровь, чтобы отсчитать акционерам тем большие дивиденды. Я знала множество беспечно-благодушных семейств, которые получили эти дивиденды, а с

ними и малую толику крови Джексона. Но если так поступили с одним человеком и общество равнодушно проходит мимо, та же участь, должно быть, постигает многих. Я вспомнила рассказы Эрнеста о женщинах Чикаго, что гнут спину за девяносто центов в неделю, и о малолетних тружениках на текстильных фабриках Юга. Это их худенькие, восковые ручки сработали ткань, из которой сшито мое платье. А наше участие в прибылях Сьеррской компании разве не говорит о том, что кровь Джексона брызнула и на мое платье. Джексон неотступно преследовал меня. Каждая моя мысль приводила к Джексону.

Какой-то тайный голос говорил мне, что я стою на краю пропасти. Вот-вот упадет завеса, и моим глазам откроется страшная неведомая действительность. И не только моим глазам. Весь наш маленький мирок был в смятении, и прежде всего мой отец, — я не могла не видеть, какое влияние оказывает на него Эрнест. А епископ? Последний раз он произвел на меня впечатление больного. Весь он как натянутая струна, в глазах застыл невыразимый ужас. По некоторым намекам я догадывалась, что Эрнест сдержал свое обещание провести его через преисподнюю. Но какие картины ада открылись глазам епископа,

оставалось для меня тайной: бедняга был так ошеломлен, что не мог говорить об этом.

Однажды, когда ощущение, что все рушится, охватило меня с особенной силой, я стала мысленно обвинять Эрнеста. «Если бы не он, мы жили бы так счастливо и спокойно...» И тут же испугалась этой мысли как отступничества, и Эрнест предстал мне преображенным: со светлым, сияющим челом, словно ангел Господень, не ведающий страха, он явился мне глашатаем правды, борющимся с ложью и несправедливостью за лучшую жизнь для бедных, сирых и угнетенных. Я подумала о Христе. Ведь и он был заступником смиренных и обездоленных — против установленной власти священников и фарисеев. И, вспомнив кончину распятого, я испугалась за Эрнеста. Неужели и он обречен на гибель, этот юноша с прекрасным сильным телом, юноша, чей голос звучит как призыв горна и звон оружия!

В эту минуту я поняла, что люблю Эрнеста, что горю желанием внести в его жизнь тепло и ласку. Какая угрюмая, суровая, бесприютная жизнь! Отец его, чтобы прокормить семью, вынужден был изворачиваться и воровать, пока непосильная борьба не свела его в могилу. Сам Эрнест

десятилетним мальчиком пошел работать на фабрику. Я жаждала обнять его, прижать к груди эту голову, отягченную суровыми думами, дать ему, хотя бы на короткий миг, покой — только покой и светлое забвение.

С полковником Ингрэмом мне довелось встретиться на церковном собрании. На правах давнишней знакомой я увлекла его в укромный уголок, весь заставленный фикусами и пальмами. Полковник, не подозревая, что попал в западню, приветствовал меня с обычной своей галантностью и непринужденностью. Это был приятный обходительный человек, тактичный и любезный собеседник. Среди наших мужчин он выделялся своей аристократической внешностью. Рядом с ним даже почтенный ректор университета выглядел незначительным и простоватым.

Как выяснилось, полковник Ингрэм был не в лучшем положении, чем малограмотный рабочий. Он тоже не был в себе волен. Он тоже был рабом промышленной машины. Никогда не забуду, какую перемену в нем вызвал первый же мой вопрос о Джексоне. Куда девалось его ласковое добродушие! Ни следа благовоспитанности на холеном лице, искаженном гримасой злобы. Я испугалась, вспомнив ярость, овладевшую ми-

стером Смитом. Правда, полковник Ингрэм не стал браниться — единственное, что отличало его от фабричного рабочего, — но даже обычная находчивость — полковник слыл остряком — на этот раз изменила ему. Озираясь по сторонам, он, казалось, искал, куда бы улизнуть. Но пальмы и фикусы держали его в западне.

Господи, опять этот Джексон! Что за фантазия докучать ему этим человеком? Подобные шутки не делают чести ни уму моему, ни такту. Разве я не понимаю, что человеку его профессии приходится забывать о личных чувствах? Отправляясь в суд, он оставляет их дома. В суде он чувствует и действует только как профессионал.

Я спросила, полагалась ли Джексону компенсация.

— Разумеется, — сказал он. — Вернее, таково мое личное мнение. Но формально он был не прав.

Очевидно, полковник вновь обретал свою обычную находчивость.

— Разве сила закона не в том, что он служит справедливости? — спросила я.

— Сила закона в том, что он служит силе, — улыбаясь, парировал полковник.

— А где же наше хваленое правосудие?

— Что ж, сильный всегда прав — тут нет никакого противоречия.

— И это тоже суждение профессионала?

Как ни странно, на лице у полковника Ингрэма проступила краска стыда. Глаза его снова забегали по сторонам, но я решительно загораживала ему единственный выход.

— Скажите, а разве подчинение своих личных взглядов профессиональным не является нравственным самокалечением, своего рода умышленным членовредительством?

Ответа не последовало. Полковник пустился наутек, повалив в своем бесславном бегстве кадку с пальмой.

Я решила обратиться в газеты и написала спокойную, сдержанную, вполне объективную заметку о случае с Джексоном. Никого не обвиняя, ни словом не касаясь тех, с кем мне пришлось беседовать, я ограничилась одними лишь фактами: рассказала, сколько лет Джексон проработал на фабрике, как, желая спасти машину от поломки, он пострадал сам и в каком отчаянном положении оказался и он, и его семья. Мою заметку не напечатала ни одна из трех местных газет и ни один из журналов.

Тогда я разыскала Перси Лейтона. Он совсем

недавно окончил университет и стажировался в качестве репортера в самой влиятельной нашей газете. Когда я спросила его, почему вся наша пресса так боится дела Джексона, он рассмеялся.

— Такова наша издательская политика. Мы, мелкая сошка, тут ни при чем. Это дело редакций.

— Какая политика? — спросила я.

— А такая, что мы всегда заодно с корпорациями. Никто не поместит такой заметки, хоть бы вы заплатили за это как за объявление. Всякий, кто помог бы вам протащить ее в печать, слетел бы в два счета. Заплатите как за десять объявлений, все равно никто ее у вас не возьмет.

— Какова же ваша роль в этой политике? — спросила я. — Вы, верно, часто поступаетесь правдой — в угоду начальству, как начальство жертвует ею в угоду корпорациям?

— Меня это не касается. — Лейтон смутился, но ненадолго. — Мне не приходится писать неправду, и совесть у меня чиста. Но, конечно, в нашем деле нельзя иначе. Такая уж это работа, — закончил он с мальчишеской лихостью.

— Но когда-нибудь ведь и вы станете редактором и будете проводить эту политику?

— К тому времени я уже буду прожженным

журналистом, — усмехнулся он.

— Но пока вы не прожженный журналист, скажите, что вы лично думаете о газетной политике?

— Ничего не думаю, — ответил он без запинки. — Выше лба уши не растут — вот золотое правило для всякого журналиста, если он хочет преуспеть в жизни.

И Лейтон преважно тряхнул головой.

— А хорошо это? — настаивала я.

— Хорошо все, что хорошо кончается, не правда ли? Не мы установили правила этой игры, и нам остается только им подчиниться. По-моему, это ясно.

— Да уж чего ясней, — пробормотала я. Но мне больно было за его молодость, и я не знала — возмущаться или плакать.

Я начинала понимать, что скрывает в себе общество, в котором я жила, и за внешним благообразием угадывала ужасную действительность. Казалось, против Джексона существовал молчаливый заговор, и я уже с сочувствием думала о плаксивом адвокатишке, который так неудачно вел его дело. Но молчаливый заговор был много шире и касался не только Джексона. Участь Джексона разделяли и другие рабочие, искалеченные

машиной, и не только на фабриках Сьеррской компании, но и на других заводах и фабриках, да и во всей промышленности.

А если так, значит, все наше общество зиждется на лжи! В ужасе останавливалась я перед этим заключением. Но передо мной живым укором стоял Джексон, рука Джексона, кровь, обагрившая мое платье и каплями стекавшая с нашей крыши. Передо мной было много Джексонов — разве Джексон не рассказывал, что видел их сотни? Никуда не денешься от Джексона.

Я побывала также у мистера Уиксона и мистера Пертонуэйта, крупнейших акционеров Сьеррской компании. На них мои рассказы о Джексоне не произвели никакого впечатления; их люди оказались куда отзывчивее. С удивлением увидела я, что эти джентльмены не считаются с общепринятой моралью, что у них в обиходе своя, аристократическая мораль, мораль господ[33]. Они напыщенно рассуждали о своей особой «политике», утверждая, что то, что для них полезно, то и справедливо. Со мной они говорили по-оте-

[33] Примечания: 33

Задолго до рождения Эвис Эвергард Джон Стюарт Милль в своем очерке «О свободе» писал: «Повсюду, где налицо правящий класс, господствующая мораль в значительной мере определяется его классовыми интересами и чувством классового превосходства».

чески наставительно, снисходя к моей молодости и неопытности. Среди тех, с кем столкнули меня мои расследования, эти оказались самыми бесчувственными и зачерствелыми. Оба были абсолютно уверены в своей правоте. Оба смотрели на себя как на спасителей человечества, считая, что только от них зависит благополучие масс. И они самыми мрачными красками рисовали страдания, на которые были бы обречены рабочие, если бы не мудрость богачей, обеспечивающих им работу.

При первой же встрече с Эрнестом я изложила ему все.

Он просиял от удовольствия:

— Да вы, оказывается, молодчина. Решили самостоятельно доискиваться правды! Ну что ж, ваши обобщения основаны на опыте, и они верны. Ни один человек, прикованный к промышленной машине, не волен в своих мыслях и поступках, кроме крупных капиталистов, а те и подавно не вольны, — простите мне этот ирландизм[34]. Как видите, наши властелины настаивают на своей правоте. Ну разве это не верх комизма? В них так еще сильна человеческая природа, что они и

[34] Примечания: 34

Подобные каламбуры считались особенностью ирландского остроумия.

шагу не ступят, не спросясь собственной совести. Им, видите ли, нужна моральная санкция для их многообразных дел.

Всякий раз, как затевают что-нибудь новенькое — в области бизнеса, конечно, — они норовят опереться на соответствующую доктрину — религиозную, нравственную, научную или философскую, — подтверждающую их правоту. А там — за дело; неважно, что ум человеческий слаб и желание свое нередко принимает за объективную истину. Что бы они ни задумали, за санкцией дело не станет. Это беспардонные казуисты. К тому же они и иезуиты, так как пускаются на любые злодеяния, уверяя, что из этого воспоследует добро. Одна из их любимейших аксиом — что они цвет нации, квинтэссенция ее мудрости и энергии. Это дает им право держать на пайке все остальное человечество и каждому устанавливать его рацион. Они даже возродили учение о божественном происхождении королевской власти — разумея королей финансовых и промышленных[35].

---

[35] Примечания: 35

В прессе 1902 г. часто цитировалось изречение, автором которого считался председатель каменноугольного треста Джордж Ф. Бэр: «Права и нужды трудового народа находятся под защитой добрых христиан, которым Господь Бог, в своей неизреченной мудрости, доверил материальные интересы страны».

Слабость их положения в том, что они дельцы, и только, и никакие не философы, биологи или социологи. Если бы они были тем, или другим, или третьим, это бы еще куда ни шло. Делец, который был бы в то же время биологом и социологом, представлял бы себе в какой-то мере нужды человечества. Но нет, вне своей области они круглые невежды. Они знают только свой бизнес. Ничего другого у них нет за душой. Интересы общества и человечества — для них книга за семью печатями. И эти-то самозванцы берутся вершить судьбы миллионов голодных людей да и всего остального человечества в придачу! Когда-нибудь история зло посмеется над ними!

Разговор с миссис Уиксон и миссис Пертонуэйт уже не мог принести мне ничего нового. Обе они были дамы из общества[36]. У каждой был свой пышный дворец в нашем городе и множество других пышных дворцов — в горах, на взморье, на берегах живописных озер. В их распоряжении были целые полчища слуг. Обе дамы были вид-

[36] Примечания: 36

Слово «общество» употреблено здесь в ограничительном смысле, как обычное для тогдашних времен обозначение разъевшихся трутней, которые сами не трудились, а лишь пожирали мед, собранный другими. Ни дельцы, ни рабочие не входили в «общество», не располагая для этого ни временем, ни соответствующими возможностями. Игра в «общество» была забавой праздных богачей.

ные патронессы, оказывавшие покровительство университету и нескольким храмам в городе, — священники особенно ценили их благодеяния и пресмыкались перед ними[37]. Словом, это были влиятельные дамы, дамы с весом, причем вес им давали деньги, а влияние заключалось в том, что они успешно пускали эти деньги в оборот для идейного подкупа своих сограждан. Все это я вскоре узнала от Эрнеста.

Подобно своим мужьям, они напыщенно рассуждали о «политике» богачей, об их ответственности и обязанностях; подобно им, верили в свое право руководствоваться особой моралью, составляющей прерогативу их класса; обе много и пространно рассуждали, причем смысл их громких фраз был темен и для них самих.

Обе дамы разгневались, когда я рассказала им о тяжелом положении семьи Джексона, а особенно когда выразила удивление, как это они ничего не сделали для бедного калеки по собственному почину. Мне было заявлено, что они не нуждаются в непрошеных советах и указаниях. Когда же я прямо попросила их помочь Джексону, обе дамы категорически отказались. Меня особенно

---

[37] Примечания: 37

«Несите нам свои грязные деньги» — было лозунгом церкви того времени.

удивило, что отказ их прозвучал одинаково, хоть я и говорила с каждой в отдельности и ни та ни другая не знали, что я навестила или собираюсь навестить ее подругу. Каждая из них была рада случаю подчеркнуть, что не в ее правилах награждать рабочих за небрежность; к тому же это значило бы вводить в соблазн бедняков — все они, пожалуй, так и начнут себя калечить[38].

Обе дамы и в самом деле так думали. Они упивались сознанием своего классового и личного превосходства. Каждый их поступок был освящен классовой моралью. Покидая пышный дворец Пертонуэйтов, я невольно оглянулась назад, вспоминая слова Эрнеста, что эти богачки тоже прикованы к промышленной машине, но только сидят наверху.

[38] Примечания: 38

В еженедельнике «Аутлук», популярном органе разоблачительного направления, в номере от 18 августа 1906 г. приведен случай с калекой-рабочим, во всех деталях совпадающий с историей Джексона, как она рассказана Эвис Эвергард.

Глава V
Клуб филоматов[39]

Эрнест часто бывал у нас, и не только общество отца и наши обеды с традиционными дискуссиями привлекали его к нам. Я втайне лелеяла надежду, что без меня наш дом не обладал бы для него такой притягательной силой, и вскоре это подтвердилось. Эрнест нисколько не походил на обычного воздыхателя. Его рукопожатие становилось все крепче, все настойчивее, а глаза, в которых я с первых же дней улавливала какой-то вопрос, вопрошали все повелительнее.

Я уже говорила, что сначала Эрнест не понравился мне. Потом меня повлекло к нему, но вскоре оттолкнули его яростные нападки на меня и мой класс. Затем, убедившись, что он не злопыхательствует и даже не сгущает краски, я стала искать его дружбы. Он сделался моим учителем. Он обнажил передо мной подлинную сущность окружающего общества и научил под масками и личинами распознавать жестокую правду.

Как я уже сказала, Эрнест не был похож на

---

[39] Примечания: 39
Филоматы — любители науки (*греч.*).

обычного воздыхателя. Нет девушки в университетском городе, которая в двадцать четыре года не имела бы кое-какого опыта в сердечных делах. Наряду с атлетами из спортклуба и коренастыми футболистами мне объяснялись в любви и безусые первокурсники, и почтенные профессора. Но ни один из них не выражал своих чувств так, как Эрнест. Сама не знаю, как я впервые очутилась в его объятиях. Не успела я опомниться, как губы его завладели моими. Перед его простотой и искренностью казалась бы смешной чопорность оскорбленной девы. Он вихрем ворвался в мою жизнь и увлек за собой со всей порывистостью своей натуры. Он так и не сделал мне предложения. Его поцелуи и объятия сказали мне яснее всяких слов, что мы поженимся. И никаких разговоров, объяснений. Если и были разговоры, то значительно позднее, и только о том, когда мы поженимся.

Все это было так изумительно, что казалось каким-то сном. Но подобно тому, что Эрнест говорил об истине, это выдержало испытание, я доверила этому свою жизнь. Благословенна будь моя вера! И все же в первые дни нашей любви я не раз с тревогой думала о горячности Эрнеста. Напрасные опасения! Ни одной женщине не

был дарован такой нежный, преданный супруг. Нежность и неудержимая порывистость так же чудесно сочетались в его натуре, как в его внешнем облике угловатость и непринужденность движений. Милая мальчишеская угловатость! Эрнест так и не преодолел ее, меня же она всегда умиляла. В нашей гостиной он казался вежливым слоном, попавшим в посудную лавку[40].

Если у меня еще оставались какие-то неясные сомнения в моих собственных чувствах, то вскоре и они рассеялись. Это произошло на вечере в клубе филоматов, на котором Эрнест дал нашим городским тузам форменный бой, напав на них в их собственном логове. Клуб филоматов считался самым изысканным на Тихоокеанском побережье, в него допускали только избранных. Он был созданием мисс Брентвуд, богатейшей старой девы, которая только им и дышала и которой он заменял и мужа, и детей, и комнатную собачку. Членами клуба состояли первейшие богачи города, причем главным образом оголтелые

[40] Примечания: 40

В те годы еще не вывелся обычай наполнять комнаты всякими безделушками и украшениями. Преимущество простора не было еще открыто. Комнаты напоминали музей, и стоило огромных трудов содержать их в чистоте. В каждом доме властвовал демон пыли, и ему приносились многочисленные жертвы. Существовали тысячи приспособлений для борьбы с пылью, но мало кто думал о том, чтобы вовсе ее не заводить.

реакционеры; для придания клубным сборищам некоторой видимости духовных интересов в члены принимали и кое-кого из наших ученых.

У филоматов не было постоянного помещения. Это был клуб особого рода. Раз в месяц собирались у кого-нибудь из постоянных членов послушать доклад или лекцию. Лекторы обычно бывали платные. Если в Нью-Йорке какому-нибудь химику удавалось открыть что-то новое, скажем — в области радия, клуб не только оплачивал ему дорожные расходы в оба конца, но и щедро вознаграждал за потраченное время. Точно так же приглашался и знаменитый путешественник, вернувшийся из полярной экспедиции, писатель или художник, стяжавший шумную славу. Посторонние на эти вечера не допускались, и дискуссии филоматов не подлежали оглашению в прессе. Благодаря этому видные государственные деятели имели возможность — и это не раз бывало — высказываться здесь без стеснения.

Я достаю пожелтевшее от времени смятое письмо Эрнеста, написанное двадцать лет назад, бережно расправляю его и выписываю следующие строки:

«Твой отец — член клуба филоматов, воспользуйся этим и приходи на их очередное собрание

в будущий вторник. Ручаюсь, что не пожалеешь. Во время твоих недавних встреч с нашими властителями тебе не удалось задать им встряску. Приходи, и я сделаю это за тебя. Увидишь, какой они поднимут вой. Ты взывала к их совести, но на это они отвечают лишь надменным презрением. Я же буду угрожать их карману. Тут-то они и покажут свое звериное естество. Приходи, и ты увидишь, как пещерный человек во фраке, лязгая зубами и огрызаясь, рычит над костью. Обещаю тебе грандиозный кошачий концерт и поучительную демонстрацию нравов и повадок хищных зверей.

Меня зовут, чтобы растерзать на части. Эта счастливая мысль принадлежит мисс Брентвуд. Она сама проговорилась мне, приглашая на вечер. Оказывается, ей не впервой угощать своих клубменов таким пикантным блюдом. Им, видишь ли, нравится, когда ручные радикалы преданно смотрят им в глаза. Мисс Брентвуд полагает, что я ласков, как теленок, и туп и флегматичен, как вол. Не скрою, я помог ей утвердиться в этом мнении. Она долго пытала меня на все лады, пока не убедилась в полной моей безобидности. Мне обещан завидный гонорар — двести пятьдесят долларов, какой и подобает человеку, который,

будучи радикалом, баллотировался однажды в губернаторы. Приказано явиться во фраке. Это обязательно! Я в жизни не облачался во фрак. Придется, видно, взять напрокат. Но я пошел бы и на большее, чтобы добраться до филоматов».

Собрание по случайному совпадению происходило во дворце Пертонуэйтов. Огромная гостиная была заставлена стульями: послушать Эрнеста собралось человек двести. Все это были наши столпы. Я развлекалась тем, что мысленно подсчитывала общую сумму представленных здесь состояний, и скоро насчитала несколько сот миллионов. Владельцы всех этих миллионов не были праздными богачами, из тех, что стригут купоны. Это были дельцы, игравшие видную роль в промышленности и политике.

Слушатели уже заняли свои места, когда мисс Брентвуд ввела Эрнеста. Войдя, они сразу же прошли туда, где было приготовлено место для оратора. Эрнест был великолепен в черном фраке, хорошо оттенявшем его мужественную фигуру и благородную посадку головы. Чуть заметная неловкость движений нисколько не портила его. А я, кажется, за одну эту мальчишескую неуклюжесть влюбилась бы в Эрнеста. При взгляде на него здесь, в этом зале, меня охватило чувство

огромной радости. Я снова держала его руку в своей, снова ощущала его поцелуи и готова была с гордостью встать и прокричать на весь зал: «Он мой! Меня он сжимал в своих объятиях и ради меня забывал о высоких мыслях, что безраздельно владеют его душой».

Мисс Брентвуд представила Эрнеста полковнику Ван Гилберту, и я поняла, что это он будет вести собрание. Среди юристов корпораций Ван Гилберт считался знаменитостью. К тому же он был неимоверно богат. Говорили, что он не берется за дело, если оно не сулит ему по меньшей мере стотысячного гонорара. В своей области это был виртуоз. Закон становился в его руках игрушкой, с которой он делал что вздумается. Он мял его, как глину, ломал, корежил, кроил, выворачивал наизнанку. В одежде и приемах красноречия полковник следовал старой моде, зато догадкой, изворотливостью и находчивостью был молод, как новоиспеченный закон. Известность пришла к нему после того, как он добился пересмотра

шардуэлловского завещания[41].

Этот процесс принес ему полумиллионный гонорар, и с тех пор полковник Ван Гилберт сделал головокружительную карьеру. Его часто называли первым адвокатом страны, имея в виду, разумеется, адвокатов корпораций. А уж к тройке лучших адвокатов Америки его причисляли все.

Полковник поднялся с места и произнес несколько затейливых вступительных фраз, не без скрытой иронии представляя оратора собравшимся. Его заявление, что они видят перед собой борца за рабочее дело, к тому же рабочего по происхождению, прозвучало даже игриво и вызвало веселые улыбки. Возмущенная, я взглянула на Эрнеста и тут окончательно рассердилась. Он, казалось, не придавал значения этим намекам, более того — видимо, не понимал их. Он сидел

---

[41] Примечания: 41

В то время были распространены тяжбы между наследниками. Обладателей больших состояний немало беспокоило посмертное устройство их капиталов. За утверждением последней воли завещателя так же неизбежно следовало его нарушение, как за совершенствованием огнестрельного оружия — совершенствование защитной брони. Для составления нерушимых завещаний призывались хитроумнейшие юристы. И все же завещания потом пересматривались, зачастую с помощью тех же самых юристов. Несмотря на это, богачи продолжали тешить себя надеждой, что можно оставить предсмертное распоряжение, нерушимое вовеки. Так завещатели и юристы из поколения в поколение гнались за призраком. Это была такая же несбыточная мечта, как поиски средневековыми учеными философского камня.

полусонный и вялый, с видом благодушного увальня и совершенного простака. Я подумала: «А что, если Эрнест и вправду ошеломлен этой выставкой учености и власти?» И тут же рассмеялась. Нет, Эрнесту не удастся провести меня. Зато других он действительно обманул, как раньше обманул мисс Брентвуд. Почтенная дева сидела в первом ряду и, сияя улыбкой, переговаривалась с соседями.

Когда полковник Ван Гилберт закончил, слово было предоставлено Эрнесту. Он заговорил тихо и скромно, слегка запинаясь от видимого смущения. Начал с того, что сам он вышел из рабочей среды и провел свое детство в нищете, среди грязи и невежества, которые равно калечат душу и тело рабочего человека. Он описал честолюбивые стремления своей юности, которые влекли его в тот рай, каким, по его представлению, была жизнь привилегированных классов. Он говорил:

— Я верил, что там, наверху, можно встретить подлинное бескорыстие, мысль ясную и благородную, ум бесстрашный и пытливый. Я почерпнул эти сведения из многочисленных романов серии

«Сисайд»[42], где все герои, исключая злодеев и интриганок, красиво мыслят и чувствуют, возвышенно декламируют и состязаются друг с другом в делах бескорыстия и доблести. Короче говоря, я скорее усомнился бы в том, что солнце завтра снова взойдет на небе, чем в том, что в светлом мире надо мной сосредоточено все чистое, прекрасное, благородное, все то, что оправдывает и украшает жизнь и вознаграждает человека за труд и лишения.

Затем Эрнест описал свою жизнь на заводе, годы ученичества в кузнечном цеху и встречи с социалистами. Среди них, рассказывал он, было немало талантливых, выдающихся людей: священники, чье понимание христианства оказалось слишком широким для почитателей маммоны, и бывшие профессора, не сумевшие ужиться в университете, где насаждаются угодничество и раболепие перед правящими классами. Социалисты, говорил Эрнест, — это революционеры, стремящиеся разрушить современное, неразумное общество, чтобы на его развалинах построить новое, разумное. Он рассказывал еще

[42] Примечания: 42

Ни с чем не сообразные фантастические писания, рассчитанные на то, чтобы внушить рабочим ложные в корне понятия о паразитирующих классах.

многое, всего не перечесть, но особенно памятно мне, как он описывал жизнь революционеров. В голосе его зазвучала уверенность и сила, и слова жгли, как огонь его души, как сверкающая лава его мыслей. Он говорил:

— У революционеров я встретил возвышенную веру в человека, беззаветную преданность идеалам, радость бескорыстия, самоотречения и мученичества — все то, что окрыляет душу и устремляет ее к новым подвигам. Жизнь здесь была чистой, благородной, живой. Я общался с людьми горячего сердца, для которых человек, его душа и тело дороже долларов и центов и которых плач голодного ребенка волнует больше, нежели шумиха по поводу торговой экспансии и мирового владычества. Я видел вокруг себя благородные порывы и героические устремления, и мои дни были солнечным сиянием, а ночи — сиянием звезд. В их чистом пламени сверкала предо мной чаша святого Грааля — символ страждущего, угнетенного человечества, обретающего спасение и избавление от мук.

Если раньше я в мечтах видела Эрнеста преображенным, то теперь мечты мои стали явью. Лицо его горело вдохновением, глаза сверкали, радужное сияние окутывало его словно плащом.

Но так как никто, кроме меня, не видел этого сияния, я вынуждена была сказать себе, что это слезы любви и радости застилают мне глаза. Во всяком случае, мистер Уиксон, сидевший позади, не проявлял никаких признаков волнения, и я слышала, как он насмешливо процедил сквозь зубы: «Несбыточный бред! Утопия!»[43].

Эрнест рассказывал, как, получив доступ в привилегированные круги, он впервые столкнулся с представителями господствующего класса, с людьми, занимающими видное общественное положение. Но тут для него началась пора разочарований, и об этой поре он говорил в выражениях, весьма нелестных для аудитории. Он возмущался ничтожеством человека, жизнью, лишенной красоты и смысла. Его ужасал эгоизм этих людей,

---

[43] Примечания: 43

Люди того времени были рабами слов. Нам сегодня трудно представить себе всю степень их умственного рабства. Слова оказывали на них магическое действие, с которым не сравнится никакое искусство заклинателя. Мозг этих людей был так затуманен, в мыслях царил такой хаос, что достаточно было одного брошенного слова, чтобы опорочить в их глазах самые здравые выводы и обобщения, плоды трудов и поисков целой жизни. Такую магическую силу имело тогда слово «утопия». Произнести его значило перечеркнуть любое экономическое учение, любую теорию преобразования общества, как бы она ни была разумна. Целые поколения носились с такими фразами, как: «Беден, но честен» — или: «Умывальники и чистые полотенца для рабочих». В изобретении подобных фраз и словечек видели чуть ли не проявление гениальности.

удивляло полное отсутствие у них духовных интересов. После встреч с революционерами он не мог надивиться тупости и ограниченности представителей правящих классов. Сколько бы они ни возводили пышных церквей и какие бы оклады ни платили своим проповедникам, все они, как мужчины, так и женщины, были грубыми материалистами. Хоть у них имелись про запас их грошовые идеалы и ханжеские сентенции, главным стимулом их поведения был грубый расчет. Заветы любви были им чужды — в том числе и те, которые преподал нам Христос и которые были теперь окончательно забыты.

— Я знал людей, — рассказывал Эрнест, — которые на словах ратовали за мир, а на деле раздавали оружие пинкертонам[44] и посылали их убивать бастующих рабочих; людей, которые с пеной у рта кричали о варварстве бокса, а сами были повинны в фальсификации продуктов, отчего ежегодно умирает младенцев больше, чем их было на совести кровавого Ирода.

Вот утонченный джентльмен с аристократической внешностью, он зовется директором

[44] Примечания: 44

Первоначально — частные сыщики, вскоре превратившиеся в наемных охранников капитала; впоследствии составили наемную армию олигархии.

фирмы, на деле же он пешка, орудие фирмы в ограблении вдов и сирот. А этот видный покровитель искусств, коллекционер редких изданий, радеющий о литературе, — им вертит скуластый звероподобный шантажист, босс муниципальной машины. Вот издатель, рекламирующий в своей газете патентованные средства[45], — когда я предложил ему статью, разоблачающую эти знахарские снадобья, он назвал меня подлым демагогом. Этот коммерсант, благочестиво рассуждающий о бескорыстии и всеблагом Провидении, только что бессовестно обманул своих компаньонов. Вот видный столп церкви, щедрой рукой поддерживающий миссионеров, — он принуждает своих работниц трудиться по десять часов в день, платя им гроши, и таким образом толкает их на проституцию. Вот филантроп, на чьи пожертвования основаны новые кафедры в университете и воздвигнуты пышные храмы, — он дает ложные показания на суде, чтобы выгадать возможно больше долларов и центов. Вот железнодорожный магнат, нарушающий

[45] Примечания: 45

Патентованные средства были патентованным шарлатанством. Это был такой же грубый обман доверчивого потребителя, как и амулеты или индульгенции Средних веков, с той лишь разницей, что патентованные средства стоили дороже и приносили больше вреда.

слово джентльмена, гражданина и христианина тем, что он тайно входит со своими клиентами в соглашения о льготных тарифах и делает это часто. Вот почтенный сенатор, послушное орудие, раб, безответная марионетка грубого, невежественного босса и его политической машины[46], равно как и присутствующий здесь губернатор и член верховного суда, — всем троим открыт бесплатный проезд по железной дороге. А вон тому холеному господину принадлежат и босс, и его политическая машина, и железные дороги, отпускающие бесплатные проездные билеты.

Так случилось, что вместо рая я попал в бесплодную пустыню, где процветала только купля и продажа. Во всем, что не касалось торгашеских сделок, здесь царили невежество и бездарность. Ничего чистого, благородного, живого — зато какое приволье для всякой гнили и разложения! Повсюду я наталкивался на чудовищное бессердечие и эгоизм да на грубое, плотоядное, черствое и очерствляющее делячество.

---

[46] Примечания: 46

Сейчас и представить себе трудно, что еще в 1912 г. преобладающее большинство народа упорно верило, будто, опуская в урны избирательные бюллетени, оно управляет страной. В действительности страной управляли боссы при помощи своих политических машин. Вымогая у капиталистов огромные взятки, боссы добивались угодных им законов, однако вскоре капиталисты предпочли взять политические машины в свои руки и выплачивать боссам жалованье.

Эрнест еще много говорил своим слушателям о них самих и о постигшем его разочаровании. Интеллектуально они жалки, морально и духовно — отвратительны; он с радостью возвратился в стан революционеров, где люди боролись за чистое, благородное и живое дело, где можно было найти все то, чего не знали капиталисты.

— А теперь, — продолжал Эрнест, — я расскажу вам, что такое революция.

Но прежде чем перейти к дальнейшему, я должна заметить, что яростные нападки Эрнеста нисколько не затронули слушателей. Оглядевшись вокруг, я увидела на всех лицах выражение каменного равнодушия и самодовольства. Я вспомнила замечание Эрнеста о том, что доводы морального порядка не оказывают на капиталистов никакого действия. Одна только мисс Брентвуд была встревожена несдержанностью и резкостью своего протеже и поглядывала на него растерянно, с опаской.

Эрнест начал с описания того, что представляет собой армия революции, и когда стал называть цифры, характеризующие ее боевую мощь в каждой стране (количество голосов, поданных на выборах), собрание начало проявлять признаки беспокойства. Лица слушателей теперь выра-

жали тревогу, губы были плотно сжаты. Но вот Эрнест бросил им вызов, заговорив об интернациональной организации социалистов и о том, что полтора миллиона американских рабочих она объединяет с двадцатью тремя с половиной миллионами рабочих всего мира.

— Двадцатипятимиллионная армия революционеров, — говорил Эрнест, — это такая грозная сила, что правителям и правящим классам есть над чем призадуматься. Клич этой армии: «Пощады не будет! Мы требуем всего, чем вы владеете. Меньшим вы не отделаетесь. В наши руки всю власть и попечение о судьбах человечества! Вот наши руки! Это сильные руки! Настанет день, и мы отнимем у вас вашу власть, ваши хоромы и раззолоченную роскошь, и вам придется так же гнуть спину, чтобы заработать кусок хлеба, как гнет ее крестьянин в поле или щуплый голодный клерк в ваших городах. Вот наши руки! Это сильные руки!»

Говоря это, Эрнест простер вперед свои могучие руки, и его кулаки кузнеца яростно сжимались, хватая воздух, словно когти орла. В этой позе, сильный, плечистый, с грозно поднятыми руками, он казался символом победившего пролетариата, готового разить и крушить своих

врагов. Еле заметное движение пробежало по залу, словно слушатели содрогнулись перед этим мощным, грозным и таким ощутимым видением революции. Вернее, содрогнулись женщины: на их лицах был написан страх. Мужчины не испугались: здесь собрались не беспечные лежебоки, а энергичные, деятельные люди, бойцы по натуре. Глухой гортанный ропот пронесся по рядам и тут же затих. Это был предвестник злобного ворчания, которое в тот вечер не раз поднималось в зале, указывая на пробуждение зверя в человеке, изобличая первобытную силу его страстей. Они сами не знали, что ворчат. Это бесновалась вся свора — вся свора глухо рычала, сама того не замечая. Наблюдая растущее ожесточение на их лицах и воинственный блеск в глазах, я поняла, что нелегко будет вырвать из их лап господство над миром.

Атака продолжалась. В Соединенных Штатах потому полтора миллиона революционеров, заявил Эрнест, что капитализм обанкротился, власть его оказалась пагубной для общества. Эрнест обрисовал те условия, в которых когда-то жил пещерный человек, а ныне живут дикари. Они не знали употребления орудий и машин и в борьбе за существование опирались толь-

ко на свои природные способности и силу — с коэффициентом производительности, который он условно приравнял к единице. Проследив постепенное развитие техники и общественных отношений, Эрнест указал, что производительность труда современного человека увеличилась по сравнению с производительностью дикаря в тысячу раз.

— Пятеро рабочих, — говорил он, — выпекают хлеб для тысячи человек. Один рабочий изготовляет хлопчатобумажной ткани на двести пятьдесят, шерстяной ткани на триста, обуви на тысячу человек. Естественно было бы думать, что в правильно организованном обществе современному цивилизованному человеку живется в тысячу раз лучше, нежели его предку, пещерному человеку. Но так ли это? Давайте посмотрим! Сегодня пятнадцать миллионов[47] граждан Соединенных Штатов живут в нищете, то есть в таких условиях, когда вследствие недостатка пищи и отсутствия нормального жилья силы человека не восстанавливаются и работоспособность снижается. Сегодня в Соединенных

[47] Примечания: 47

По данным Роберта Хантера (см. «Нищета», 1906), в Соединенных Штатах того времени десять миллионов человек влачило нищенское существование.

Штатах, несмотря на пресловутое рабочее законодательство, насчитывается три миллиона малолетних рабочих[48]. За двенадцать лет число их возросло вдвое. Кстати, разрешите спросить вас, хозяева страны, почему не опубликованы данные переписи тысяча девятьсот десятого года? Впрочем, можете не беспокоиться, я отвечу за вас: вы боитесь, как бы эти цифры, показатели человеческого злополучия, не ускорили революцию, которая собирается над вашей головой.

Но вернемся к моему обвинению. Если производительность труда человека наших дней по сравнению с временами пещерного человека возросла тысячекратно, почему же сегодня в Соединенных Штатах пятнадцать миллионов американцев голодны и не имеют жилья? Почему в Соединенных Штатах три миллиона детей работают на фабрике? Капиталисты оказались плохими хозяевами — это обвинение нельзя опровергнуть. Убедившись, что современный человек живет хуже своего пещерного предка, хотя его производительность труда возросла тысячекратно, мы с неизбежностью приходим к

[48] Примечания: 48

Переписью 1900 г. (последней, результаты которой были преданы гласности) установлено, что в Соединенных Штатах занято на фабрично-заводской работе 1 752 187 детей.

выводу, что капитализм обанкротился, что вы, господа, ваши преступные, хищнические методы хозяйничанья ввергли человечество в нищету. И здесь, на этой очной ставке, вы так же не в состоянии ответить на мое обвинение, как весь класс капиталистов не в состоянии на него ответить полутора миллионам американских революционеров. Вы мне не ответите, хоть я и призываю вас к ответу. Мало того: вы постараетесь не заметить брошенного вам обвинения. Вы предпочтете молчать, хотя каждый из вас будет бесконечно распространяться на другие темы.

Вы обанкротились. Цивилизацию вы превратили в бойню. Вот что сделала ваша слепота и жадность! Потеряв всякий стыд, всходите вы на трибуну в ваших законодательных собраниях, заявляя, что только труд младенцев и детей может спасти ваши прибыли. Это не голословное обвинение, против вас говорят ваши же официальные отчеты. Вы убаюкиваете свою совесть, болтая о каких-то грошовых идеалах и ханжеской морали. Распираемые властью и богатством, опьяненные могуществом, вы напоминаете праздных трутней, которые роями вьются над медовыми сотами, но настанет день, и работницы-пчелы налетят со всех сторон, чтобы избавить мир от

разъевшихся лодырей. Ваша власть оказалась пагубной для общества — значит, нужно отнять у вас власть! Полтора миллиона американских рабочих заявляют, что они объединят вокруг себя весь рабочий люд и отнимут у вас власть… Это, господа, и есть революция! Попробуйте остановить ее!

Когда Эрнест умолк, раскаты его голоса еще долго отдавались в притихшей гостиной. Но вот в рядах поднялось то характерное гортанное ворчание, которое я уже слышала раньше, и полтора десятка человек вскочили с мест, требуя внимания председателя. Заметив, что у мисс Брентвуд, сидевшей впереди, судорожно прыгают плечи, я вообразила, что она смеется над Эрнестом, но оказалось, что это истерика. Бедняжка считала себя в ответе за бомбу, взорвавшуюся среди ее возлюбленных филоматов.

Полковник Ван Гилберт, видимо, не замечал, что десятка полтора человек с перекошенными злобой лицами требуют у него слова. Его лицо тоже было перекошено злобой. Вскочив с места и отчаянно размахивая руками, он силился что-то сказать, но из горла его вырывалось только мычание. Наконец он заговорил. Однако на сей раз речь полковника не была блестящим образчиком

его стотысячедолларового искусства, не блистала и старосветской риторикой.

— Вздор и софистика! — заорал он во все горло. — Слыхано ли дело! Битый час вы заставили нас сидеть здесь и выслушивать вздор и софистику. Знайте же, молодой человек, что за весь вечер вы не сказали ни одного нового слова. Меня пичкали всем этим еще в колледже, когда вас и на свете не было. Жан Жак Руссо опередил всю вашу братию ни много ни мало на двести лет, это ему принадлежит честь открытия ваших социалистических теорий! Клич «Назад к земле!» — нашли чем удивить! Возвращение к первобытному состоянию! Биология учит нас, что даже природа не знает движения вспять. Вот уж, действительно, ничего нет страшнее недоучки, в этом вы сегодня лишний раз убедили нас своими сумасшедшими теориями. Вздор и софистика! Сыт по горло! Вот и все, что я имею сказать в ответ на ваши скороспелые обобщения и ребяческие доказательства.

Полковник презрительно щелкнул пальцами и уселся на свое председательское место. Послышались восторженные возгласы женщин и одобрительное мычание мужчин. Половина ораторов, давно уже требовавших слова, заговорили

разом. Началось невообразимое смятение и шум. Никогда еще просторная гостиная миссис Пертонуэйт не видела в своих стенах ничего подобного. С удивлением узнавала я наших надменных промышленных королей, наших столпов общества в этих хрипящих, ревущих дикарях, облаченных во фраки. Эрнесту удалось-таки расшевелить их тем, что он потянулся к их бумажнику руками, за которыми им виделись руки полутора миллионов революционных американских рабочих.

Но Эрнест никогда не терял присутствия духа. Едва полковник Ван Гилберт опустился на свое место, как Эрнест вскочил и рванулся вперед.

— Не все сразу! — загремел он во всю силу своих легких.

Раскаты этого зычного голоса покрыли шум в зале. Одним лишь властным воздействием своей личности Эрнест добился тишины.

— Поодиночке. Не все сразу, — повторил он уже обычным голосом. — Дайте мне ответить полковнику Ван Гилберту, а потом выходите кто хочет. Но только по одному, помните! Это вам не массовые игры. Мы с вами не на футбольной площадке.

Он обратился к полковнику:

— Что касается вас, должен заметить, что вы

не ответили ни на один мой вопрос. Вы отпустили по моему адресу несколько пристрастных и раздраженных замечаний и этим ограничились. Может, на суде такие вещи и помогают, но со мной это не выйдет. Я не рабочий, с непокрытой головой просящий прибавки или защиты от машины, которая его убивает. Разговаривая со мной, будьте добры придерживаться истины. А эти повадки приберегите для своих наемных рабов. Они не посмеют вам возражать — ведь их хлеб, вся их жизнь в ваших руках.

Что до возвращения к природе, о котором, по вашим словам, вы слышали в колледже, когда меня еще и на свете не было, могу вам сказать одно: с тех пор вы больше ничему и не научились. Между социализмом и возвращением в естественное состояние столько же общего, сколько между дифференциальным исчислением и Библией. Я уже говорил, что вне деловых отношений ваш класс отличается феноменальной глупостью. Вы, сэр, блестяще подтвердили мою мысль!

Слабые нервы мисс Брентвуд не выдержали зрелища публичного посрамления, которому подвергся ее стотысячедолларовый юрист. То плача, то смеясь, она билась в истерике, пока соседи, подхватив с двух сторон, не вывели ее из

зала. И, надо сказать, вовремя, потому что дальше пошло еще хуже.

— И это не голословное обвинение, — продолжал Эрнест, как только мисс Брентвуд благополучно скрылась за дверью. — Ваши же собственные авторитеты не замедлят упрекнуть вас в глупости. Ваши высокооплачиваемые поставщики науки скажут вам, что вы не правы. Обратитесь к самому смирному и забитому доцентику при кафедре социологии и спросите его, какая разница между учением Руссо о возврате к природе и учением социализма; обратитесь к своим знаменитейшим правоверно-буржуазным политэкономам и социологам; перелистайте любую книжку на эту тему в субсидируемой вами библиотеке — повсюду вас ждет один ответ: учение о возврате к природе ничего общего не имеет с социализмом. Наоборот, все ваши источники вам скажут, что учения эти исключают друг друга. Повторяю: я не хочу быть голословным, — но любая книжка из тех, что вы покупаете, чтобы поставить на полку, не читая, скажет вам, что вы невежественны и глупы. И в этом вы достойный сын своего класса.

Вы сведущий законник и бизнесмен, полковник Ван Гилберт. Ваше дело — угождать корпорациям

и пригонять закон к интересам и требованиям ваших работодателей. Это занятие вам как раз по плечу. Держитесь же за него. Ведь вы, можно сказать, фигура! Но, будучи хорошим юристом, вы тем не менее никуда не годный историк и такой же социолог, а ваша биология — ровесница Плинию.

Полковник Ван Гилберт беспокойно ерзал на стуле. В зале царила полная тишина. Каждый сидел, затаив дыхание, каждый слушал как завороженный. Казалось странным, немыслимым, диким, что кто-то обошелся так с полковником Ван Гилбертом, чье появление в зале суда повергало судей в трепет. Но Эрнест не щадил врагов и продолжал:

— Все это нисколько не порочит вас, полковник. У каждого свое ремесло — у вас свое, у меня свое. Вы мастер своего дела. Когда вопрос коснется того, чтобы обойти старый закон или придумать новый в угоду нашим вороватым корпорациям, тут я мизинца вашего не стою. Но если речь идет о социологии, то уж это по моей части, полковник, и тут вам приличествует скромность. Запомните же это. И не забывайте, что ваши познания ненадежны, ибо законы живут недолго. То, что не укладывается в сегодняшний день, не входит

в вашу компетенцию. А потому все ваши решительные утверждения и скороспелые выводы по части истории и социологии — пустая трата времени и слов.

Остановившись на минуту, чтобы перевести дыхание, Эрнест задержался взглядом на своем противнике. Шея у полковника налилась кровью, лицо злобно подергивалось, белые тонкие пальцы сжимались и разжимались; он нетерпеливо вертелся на стуле, словно намеревался вот-вот вскочить.

— Но вы, очевидно, еще не истратили весь свой порох. Что ж, милости просим, для него найдется применение. Я предъявил вашему классу обвинение и жду, что вы его опровергнете. Я указал вам на тяготы, от которых страдает современный человек, я упомянул о трех миллионах детей-рабов, которые гарантируют американским капиталистам их высокие прибыли, и о пятнадцати миллионах голодных, раздетых и, по существу, бесприютных бедняков. И поскольку производительность труда современного человека при новых производственных отношениях и новой технике в тысячу раз выше, чем производительность пещерного человека, я сделал вывод, что капитализм обанкротился. В этом и

заключается мое обвинение, и я обратился к вам с убедительнейшей просьбой опровергнуть его. Больше того. Я позволил себе предсказать, что вы оставите мой вопрос без ответа. Вот вам прекрасный случай дать выход вашей избыточной энергии! Вы назвали мое выступление софистикой. Докажите это, полковник Ван Гилберт! Дайте ответ на обвинение, которое я и полтора миллиона моих товарищей сегодня бросаем вам и вашему классу.

Полковник Ван Гилберт, очевидно, забыл о своих председательских функциях, которые давно обязывали его дать слово другим желающим. Он вскочил и, яростно жестикулируя (куда делось его самообладание, его прекраснодушная риторика!), стал изливать свой гнев то на Эрнеста, называя его молокососом и демагогом, то на рабочий класс, который будто бы сам ни на что не способен и от него нечего ждать.

— Для юриста вы, право же, недостаточно сильны в логике, — отвечал Эрнест на эту тираду. — Ведь речь у нас шла не о моей молодости и не о способностях рабочего класса. Я обвинил капитализм в том, что он обанкротился. Вы не ответили мне. Вы даже не пытались ответить. Почему же? Потому что у вас нет ответа. Здесь,

на этом собрании, вы, можно сказать, первое лицо. Все присутствующие, кроме меня, конечно, с нетерпением ждут, что вы ответите за них, поскольку сами они не в силах ничего ответить. Я-то знаю, что вы не только не ответите мне, но и не сделаете ни малейшей попытки в этом направлении…

— Довольно! — загремел полковник Ван Гилберт. — Кто дал вам право оскорблять меня? Это возмутительно!

— Возмутительно то, что вы уклоняетесь от ответа, — серьезно возразил Эрнест. — Я ничем не оскорбил вас. Если люди расходятся во мнениях — это вовсе не основание кричать о своих оскорбленных чувствах. Призовите же себя к порядку и дайте разумный ответ на мое разумное обвинение в том, что капитализм обанкротился.

Полковник Ван Гилберт молчал с видом уничтожающего презрения, ясно говорившим, что он намерен впредь игнорировать выпады этого грубияна.

— Ничего, не огорчайтесь, — сказал ему Эрнест. — Черпайте утешение в том, что ни один представитель вашего класса еще не дал ответа на этот вопрос. А теперь ваша очередь, — обратился он к ораторам, давно уже рвавшимся

в бой. — Валяйте! Но прежде всего я прошу вас ответить на вопрос, перед которым спасовал полковник Ван Гилберт.

Немыслимо хотя бы вкратце пересказать здесь все, что говорилось на дискуссии. Трудно себе представить, чего только не могут нагородить разгоряченные спорщики за каких-нибудь три часа! Я веселилась от души. Чем больше входили в азарт оппоненты, тем спокойнее и увереннее разжигал их Эрнест. Пользуясь своими обширными познаниями, он — где смелым словом, где удачно ввернутой фразой — расправлялся со своими противниками, поражая их легчайшими, но убийственными уколами, словно прокалывая резиновую шину. Он ловил их на логических ошибках: то это было порочное умозаключение, то вывод, не вытекающий из предпосылки, то ложная предпосылка, скрывающая в себе искомый вывод. Здесь он находил ошибку, там — произвольное допущение или же безграмотное утверждение, противоречащее всякой очевидности.

Бой не утихал ни на миг. Иногда Эрнест заменял рапиру дубинкой и бил ею наотмашь, разя врагов направо и налево. И от каждого он требовал фактов, отказываясь входить в обсуждение

всяких домыслов и теорий. Факты стали для них новым Ватерлоо. Когда они нападали на рабочий класс, он говорил: «Зачем кивать на других? От этого ваши руки не станут чище». И каждому задавал вопрос: «А как же обвинение в том, что капитализм обанкротился? Вы не ответили на него. Или у вас нет ответа?»

Только к концу дискуссии слово взял мистер Уиксон.

Он единственный из собравшихся сохранял хладнокровие и единственный заслужил уважение Эрнеста.

— Никакого ответа и не нужно, — медленно и веско произнес мистер Уиксон. — Я следил за всей этой перепалкой и не знаю, удивляться или негодовать. Я отказываюсь понять вас, джентльмены, мои коллеги и соратники. Вы ведете себя как глупые школьники. Вы унизились до таких доводов, как соображения морали, и до такой ажитации, какая свойственна только вульгарным политикам. Вы позволили противнику обойти вас и одержать верх. Вы говорили много, но не сказали ничего. Вы, словно комары, жужжали вокруг медведя. Джентльмены, вот он перед вами, ваш медведь, — (он указал на Эрнеста), — он цел и невредим, вы только позабавили его своим кома-

риным писком.

А между тем, поверьте, положение весьма серьезно. Медведь сегодня занес лапу, угрожая нам. Он говорил, что в Соединенных Штатах насчитывается полтора миллиона революционеров. И это правда. Он говорил, что они намерены отнять у нас нашу власть, наши дворцы и раззолоченную роскошь. И это тоже правда. Перемена, великая перемена назревает в обществе. Но, по счастью, не та перемена, которой ждет медведь. Медведь грозит, что нас раздавит. На самом деле как бы мы его не раздавили!

Опять по залу пронеслось глухое рычание, люди переглядывались и кивали друг другу со спокойной уверенностью. Лица их выражали энергию и решимость. Чувствовалось, что это враг, твердый, непоколебимый.

— Медведя не испугаешь комариным писком, — холодно и бесстрастно продолжал мистер Уиксон. — Мы его затравим. И отвечать медведю будем не словами, а свинцом. Власть принадлежит нам, этого никто не отрицает. Силой этой власти мы и удержим власть.

Он внезапно повернулся к Эрнесту. Весь зал затаил дыхание.

— Итак, вот наш ответ. Нам не о чем с вами

разговаривать. Но как только вы протянете руки, ваши хваленые руки силачей, к нашим дворцам и нашей роскоши, — мы вам покажем, где сила. В грохоте снарядов, в визге картечи и стрекоте пулеметов вы услышите наш ответ[49]. Вас же, революционеров, мы раздавим своею пятой, втопчем в землю.

Мир принадлежит нам, мы его хозяева, и никому другому им не владеть! С тех пор как существует история, ваше рабочее воинство всегда копошилось в грязи (как видите, мы тоже кое-что смыслим в истории) и будет и дальше копошиться в грязи, пока мне, и тем, кто со мной, и тем, кто придет после нас, будет принадлежать вся полнота власти. Власть! — вот слово, равного которому нет в мире. Не Бог, не богатство — власть! Вдумайтесь в это слово, проникнитесь им, чтобы оно дрожью отдалось во всем вашем существе. Власть!

— Что ж, я удовлетворен, — спокойно ответил Эрнест. — Это и есть тот единственный ответ, какой вы могли нам дать. Власть — как раз то,

---

[49] Примечания: 49

Сравните с этим заявлением следующее место из «Словаря циника» (1906 г.) некоего Амброза Бирса, известного мизантропа той эпохи: «Картечь (сущ. ед. ч. ж. р.) — ответ, который готовит будущее на требования американских социалистов».

чего добивается рабочий класс. Наученные горьким опытом, мы знаем, что никакие призывы к справедливости, человечности, законности на вас не действуют. Сердца ваши равнодушны, как пята, которой вы топчете бедняков. Поэтому мы и добиваемся захвата власти. И мы завоюем ее на выборах, мы заставим вас отдать нам власть…

— Если бы вам и удалось одержать победу, и даже решающую победу, — прервал его Уиксон, — уж не думаете ли вы, что мы добровольно откажемся от власти, после того как она достанется вам на выборах?

— И к этому мы готовы, — возразил Эрнест. — И мы вам ответим не словами, а свинцом. Власть — идол, которому вы поклоняетесь! Пусть будет так. Если в день, когда мы добьемся победы на выборах, вы откажетесь передать нам власть, завоеванную мирным конституционным путем, мы, повторяю, сумеем вам ответить. В грохоте снарядов, в визге картечи, в стрекоте пулеметов вы услышите наш ответ.

Вам не уйти от нашего суда! Это верно, что вы кое-что смыслите в истории. Это верно, что рабочий люд с незапамятных времен копошится в грязи, — как верно, что он так и будет копошиться в грязи, пока вы и те, кто с вами, и те, кто будет

после вас, стоите у власти. Тут я с вами согласен, как согласен и в другом: решать между нами будет сила, как и решала всегда. Это война классов. Но как ваш класс низверг старую феодальную знать, так и мы, рабочий класс, низвергнем ваше господство. Если бы наряду с уроками истории вы не гнушались уроками биологии и социологии, для вас была бы очевидна неизбежность предстоящей вам гибели. Через год, через десять, ну пусть через тысячу лет ваш класс будет низвергнут. Мы добьемся этого силой, силой проложим себе дорогу к власти. Мы, рабочее воинство, хорошо затвердили это слово, и оно звенит во всем нашем существе. Власть! Это великое слово.

Так кончился вечер у филоматов.

Глава VI
Тени будущего

Тем временем над головой у нас сгущались грозовые тучи. Эрнест не раз выражал опасение, как бы моему отцу не пришлось пострадать из-за того, что он принимает у себя рабочих лидеров и социалистов и сам бывает на их собраниях. Но отец только смеялся над его тревогами. Я же, как губка, впитывала то, что давали мне встречи с руководителями рабочего класса и его теоретиками. Впервые видела я перед собой людей другого общественного лагеря. И меня увлекало их бескорыстие, их пламенная вера, хотя, признаться, немало страшила обширная философская и научная литература, которая теперь открылась передо мной. В общем, я делала быстрые успехи, хотя и недостаточно быстрые для того, чтобы оценить всю опасность нашего положения.

А между тем тревожных признаков было много, только я не обращала на них внимания. Миссис Уиксон и миссис Пертонуэйт — мнение этих дам было законом в наших университетских кругах — отзывались обо мне как о развязной и самоуве-

ренной молодой особе с вредным направлением ума: я будто бы вечно что-то из себя корчу и вмешиваюсь в то, что меня не касается. Памятуя о своем расследовании дела Джексона, я нисколько не удивлялась этому и не задумывалась над тем, какое впечатление произведет на наше общество приговор столь высоких судей.

Правда, от меня не скрылось, что старые друзья стали ко мне заметно холоднее, но я приписывала эту перемену недовольству, с которым было встречено известие о моей помолвке с Эрнестом. Впоследствии он объяснил мне, что за этой видимостью словно бы естественного классового недовольства скрывалось нечто более серьезное. «Ты осмелилась приютить у себя классового врага, — говорил он. — Мало того, ты отдала ему свою любовь. Это будет сочтено предательством, изменой. Берегись, тебе не избежать кары».

Но еще до этого разговора отец как-то вечером вернулся домой, охваченный возмущением — философическим возмущением! Папа редко сердился, но некоторую долю возмущения разрешал себе, считая его прекрасным тоническим средством. И вот, как только он появился перед нами в тот вечер, мы с Эрнестом почувствовали, что он возмущен, приятно возмущен.

— Ну, что вы скажете, — обратился он к нам. — Я нынче завтракал с самим Уилкоксом.

Престарелый ректор университета Уилкокс считался у нас музейной древностью, так как сохранил в полной неприкосновенности идеи и взгляды семидесятых годов.

— Я получил приглашение. За мной было послано! — продолжал папа.

Он выдержал паузу, мы с интересом ждали дальнейшего.

— Все было мило, чинно — не придерешься. Но меня отчитали как мальчишку. Меня! И кто же? Это ископаемое!

— Нетрудно догадаться, за что, — сказал Эрнест.

— Ручаюсь, что и с трех раз не угадаете, — рассмеялся папа.

— Угадаю с первого же. Тут и смекалки особой не требуется, а только самое обыкновенное умозаключение. Вам поставили на вид вашу частную жизнь.

— Верно! — воскликнул отец. — Как вы догадались?

— Этого надо было ожидать. Я не раз говорил вам.

— Говорили, правда, — подтвердил папа. — Но

мне что-то не верилось. Зато какой материал для моей книги!

— Погодите, то ли еще будет, — продолжал Эрнест, — если вы не раззнакомитесь со всякими радикалами и социалистами, включая и меня…

— То же самое говорил мне и старикашка Уилкокс. Нес бог знает что! Эти-де знакомства обличают дурной вкус, они ничего не дают ни уму, ни сердцу, а главное, никак не вяжутся с нашими университетскими традициями и правилами, и все в том же туманном роде, — мне так и не удалось из него вытянуть, что за этим кроется. Я, признаться, не пожалел старика: бедняга уж и так и этак вилял, расписывал, как и он и весь мир чтят мои научные заслуги. Он, видимо, был и сам не рад, что впутался в это дело, и сидел как на угольях.

— Уилкокс действовал не по своей воле, — сказал Эрнест. — Не всякому дано с грацией носить кандалы[50].

— В этом-то он и сам сознался. В университете предвидятся расходы, значительно превышающие сумму, отпущенную правительством штата. Придется обратиться за помощью к городским

---

[50] Примечания: 50

В кандалы заковывали африканских рабов и преступников; полностью вышли из употребления только в эру Братства людей.

тузам, и, значит, нельзя их раздражать: университет должен остаться верен высоким идеалам аполитичного преподавания аполитичной науки. Когда же я прямо спросил, какое отношение ко всему этому имеет моя частная жизнь, Уилкокс предложил мне двухгодичную командировку в Европу — для отдыха и научных изысканий! — с полным сохранением оклада. Разумеется, я ее не принял.

— А не мешало бы, — серьезно заметил Эрнест.

— Так ведь это же взятка! — запротестовал отец. Эрнест только молча кивнул в ответ. — Негодяй плел что-то насчет пересудов, предметом которых служит моя дочь: ее повсюду видят с вами, а ведь известно, что вы за человек, — будто это несовместимо с университетскими представлениями о достоинстве и приличии. Он клялся, что это не его личное мнение — боже упаси! — но идут всякие разговоры: сами, мол, понимаете…

Эрнест с минуту размышлял, а потом сказал с мрачным спокойствием, за которым таился сдержанный гнев:

— За этим кроется что-то посерьезнее университетских идеалов. Кто-то, видно, нажал на Уилкокса.

— Вы думаете? — спросил отец; по его лицу

было видно, что он скорее заинтригован, чем испуган.

— К сожалению, мне трудно с достаточной ясностью рассказать вам об одной догадке, которая с недавних пор беспокоит меня, — сказал Эрнест. — Никогда в истории человеческое общество не находилось в таком неустойчивом состоянии, как сейчас. Бурные перемены в экономике вызывают такие же бурные перемены в религиозной и политической жизни и в структуре общества. Где-то в недрах общества происходит невидимый глазу, но грандиозный переворот. Эти процессы скорее угадываешь, воспринимаешь каким-то шестым чувством. Но это носится в воздухе — здесь, сегодня, у нас. Что-то надвигается — огромное, неясное, грозное. Ум мой в страхе отступает перед предположениями, во что это может вылиться. Вы слышали, что тогда говорил Уиксон? За его словами стояла та же безымянная, смутная угроза. Он тоже скорее догадывается, чем знает что-либо определенное.

— Вы ждете?.. — спросил отец и остановился.

— Я жду прихода каких-то гигантских и грозных событий, тени которых уже сегодня омрачают горизонт. Назовем это угрозой олигархии — дальше я не смею идти в своих предположениях. Трудно

даже представить себе ее характер и природу[51]. Мне хотелось сказать только следующее: вам угрожает опасность, которой я тем больше страшусь, что у меня нет возможности судить о ее размерах. Послушайтесь моего совета и поезжайте в отпуск.

— Но это значило бы струсить!

— Никоим образом. Вы человек уже немолодой. Вы свое дело сделали, и это немало. Предоставьте же борьбу тем, кто молод и силен. Это наша жизненная задача. Эвис будет со мной. Смотрите на нее как на своего представителя в наших рядах.

— Ничего они мне не сделают, — возразил отец. — Я, слава Создателю, от них не завишу. Мне хорошо известно, какие гонения они могут обрушить на профессора, всецело зависящего от

---

[51] Примечания: 51

Немало людей, подобно Эвергарду и задолго до него, улавливали эти тени будущего, хотя и представить себе не могли, что оно несет с собой. Так, Джон Кэлхун (*Кэлхун Джон Колдвелл* (1782–1850) — один из наиболее влиятельных политиков в истории США, главный идеолог рабовладельческой политики южных штатов и лоббистских интересов в федеральном правительстве. — *Примеч. ред.*) говорил: «В наше время у власти стоят силы, с которыми народу трудно тягаться, ибо они представляют собой множество разнообразных могущественных интересов, спаянных воедино огромными банковскими прибылями». Напомним также известные слова великого человеколюбца Авраама Линкольна, сказанные незадолго до гибели: «В недалеком будущем наступит перелом, который крайне беспокоит меня и заставляет трепетать за судьбу моей страны… Приход к власти корпораций неизбежно повлечет за собой эру продажности и разложения в высших органах страны, и капитал будет стремиться утвердить свое владычество,

играя на самых темных инстинктах масс, пока все национальные богатства не сосредоточатся в руках немногих избранных, — а тогда конец республике».

университетской службы. Но мне это не страшно: я преподаю не ради жалованья, с меня достаточно моих доходов, — так что пусть лишают меня профессорского оклада.

— Вы меня не понимаете, — возразил Эрнест. — Если свершится то, чего я страшусь, вас лишат не только профессорского места. С такой же легкостью у вас могут отнять все ваши доходы, да и все, чем вы владеете.

Некоторое время прошло в молчании. Отец напряженно думал; наконец глаза его загорелись решимостью, и он сказал:

— Никуда я не поеду. — И после небольшой паузы: — Я предпочитаю писать мою книгу[52]. Вы, возможно, еще ошибаетесь, но если даже вы и правы, у меня свои принципы. И я от них не отступлю.

— Как хотите, — сказал Эрнест. — Боюсь, вы

---

[52] Примечания: 52

Книга эта, под заглавием «Экономика и образование», вышла в том же году. Сохранилось всего лишь три ее экземпляра, два в Ардисе и один в Эсгарде. В ней на основе многочисленных фактов была подвергнута детальному анализу одна из сторон практики воинствующего капитализма, а именно классовый характер университетского и школьного образования в США. В целом книга представляет собой уничтожающий обвинительный акт, направленный против всей системы американского образования, которое внедряло в умы учащихся только идеи, неопасные для капиталистического строя, и изгоняло все, что вело к его критике и ниспровержению. Появление книги вызвало сенсацию, и власти немедленно конфисковали ее.

идете по той же дорожке, что епископ Морхауз, и так же, как он, плохо кончите. Первым делом у вас отнимут все до нитки, будете оба тогда пролетариями.

Разговор перешел на епископа, мы попросили Эрнеста рассказать нам, что претерпел наш друг по его милости.

— Епископ совсем потерял душевный покой после своего нисхождения в ад под моим руководством. Я повел его к нескольким рабочим, познакомил с калеками, выброшенными на улицу промышленностью, он потолковал с ними, послушал их рассказы. Я показал ему трущобы Сан-Франциско, и он понял, что пьянство, проституция и преступления — это порождения куда более страшного зла, чем природная порочность человека. Он болен, но, что хуже всего, совершенно выбит из колеи. У него гипертрофия совести, он жестоко потрясен, к тому же, как всегда, далек от жизни. Сейчас он носится со всякими моральными иллюзиями и рвется к миссионерской деятельности среди культурных слоев общества. Он считает себя призванным воскресить первоначальный дух христианской церкви и думает обратиться с проповедью к правящим классам. Бедняга взвинчен до крайности. Не сегодня зав-

тра наступит кризис — и тогда жди беды! Трудно сказать, что он может выкинуть. Это чистая, восторженная душа, но он совершенно не знает жизни! Я ничего не могу с ним поделать. Мне не удается удержать его на земле, он рвется к своему Гефсиманскому саду. Как бы не кончилось распятием — ведь таков удел возвышенных душ.

— И твой удел? — спросила я.

Я улыбалась, но в моем вопросе таилась вся глубина, вся жгучая тревога любви.

— Ну нет, — рассмеялся Эрнест. — Меня могут казнить или убить из-за угла, но только не распять. Я слишком крепко стою на земле.

— Зачем же было доводить до этого? Ведь ты не станешь отрицать, что сам втянул епископа в беду.

— Зачем оставлять счастливца в его блаженном неведении, когда миллионы обречены на труд и горе?

— Но папе ты советуешь уйти в отпуск?

— Так я ведь не чистая восторженная душа, как твой епископ. Я практик и расчетливый эгоист. А кроме того, я люблю тебя и, подобно библейской Руфи, считаю твоих родных моими. У епископа же, как известно, нет дочки. Кроме того, сколь ни бессильны его вопли, свое маленькое дело

они сделают, а революция не отказывается ни от какой помощи, даже самой незначительной.

Я не могла согласиться с Эрнестом: слишком хорошо знала благородную душу епископа Морхауза и не хотела верить, что его голос, поднятый за правду, окажется бессильным воплем. Изнанка жизни не была мне так знакома, как Эрнесту. Он ясно видел обреченность этого прекраснодушного мечтателя, и дальнейшие события убедили в том же и меня.

Вскоре Эрнест рассказал мне то, что назвал забавным анекдотом: ему была предложена правительственная должность уполномоченного Штатов по вопросам труда. Я обрадовалась. Это место сулило моему будущему мужу хороший оклад и обещало нам обеспеченное существование. Кроме того, я считала, что такая работа будет Эрнесту по душе, не говоря уже о том, что моя ревнивая гордость видела в этом лестном предложении признание его блестящих способностей.

Но тут я заметила ироническую искорку в его глазах: Эрнест явно надо мной смеялся.

— Уж не думаешь ли ты отказаться? — спросила я дрогнувшим голосом.

— А разве ты не понимаешь, что это взятка? Я вижу за этим руку Уиксона, а за Уиксоном стоит

кто-то и поважнее. Это старый прием! Старый, как классовая борьба: у пролетариата стараются похитить его руководителей. Бедный рабочий класс! Если б ты знала, скольких вождей он лишился таким образом. Ведь гораздо дешевле купить генерала, чем сражаться с ним и с его армией. Вот, например... нет, не буду называть имена. Зачем бередить старые раны! Дорогая, я один из полководцев армии пролетариата. Я не могу продаться его врагам. Но если бы даже ничто другое меня не удерживало, я не сделал бы этого уже ради памяти отца, ради его тяжелой загубленной жизни.

В глазах моего сильного мужественного героя блистали слезы. Он всегда с горечью вспоминал, как надругалась жизнь над его отцом: необходимость прокормить много голодных ртов заставляла его изворачиваться, лгать, пускаться на мелкое воровство.

— Отец у меня был хороший человек, — рассказывал мне Эрнест, — но страшная, уродливая жизнь исковеркала его и пришибла. Хозяева, эти архискоты, заездили его, как рабочую клячу. Он и сейчас мог бы жить, ведь он ровесник твоему отцу. Он был богатырского сложения, но и его сгубила фабрика: он погиб ради хозяйских бары-

шей. Подумай только! Это значит, что кровь его понадобилась кому-то на веселый ужин с вином, или на дорогую побрякушку, или какую-нибудь другую пошлую забаву этих гнусных паразитов, этих архискотов.

Глава VII
Видение епископа

«С нашим епископом просто сладу не стало, — писал мне Эрнест. — Он витает в облаках. Нынче вечером он начинает свой поход за восстановление справедливости в нашем злополучном мире. Он принесет людям благую весть. Все это епископ доложил мне сам, но я не в силах его удержать. Он председательствует на съезде ИПГ[53] и собирается вместо вступительного слова обратиться к съезду с воззванием.

Не хочешь ли послушать его вместе со мной? Беднягу ожидает жестокий провал. Представляю, каким это будет ударом для тебя и для него, но тебе это послужит превосходным уроком. Ты ведь знаешь, голубка, как я горжусь твоей любовью. Я хочу, чтобы ты ценила все, что есть во мне хорошего, а потому не удивляйся моему желанию рассеять у тебя малейшее облачко сомнения. Гордость моя требует, чтобы ты поняла, как правильны и разумны мои взгляды. Тебе известна их суровость. Но бессилие прекраснодушного

[53] Примечания: 53
Полное название организации установить не удалось.

епископа, быть может, покажет тебе всю неизбежность такой суровости. А потому едем со мной сегодня вечером. Мы переживем горькие минуты, но я чувствую, что они нас еще больше сблизят».

Съезд ИПГ происходил на сей раз в Сан-Франциско[54]. На повестке дня стоял вопрос об упадке морали в современном обществе и мерах борьбы с этим злом. Председательствовал епископ Морхауз. Видно было, что он волнуется, — я на расстоянии чувствовала, как напряжены у него нервы. Рядом с ним в президиуме сидели: епископ Диккинсон, профессор Г. Г. Джонс, возглавлявший кафедру этических учений на философском факультете Калифорнийского университета, миссис У. У. Херд, видная деятельница в области общественного призрения, Филипп Уорд, известный филантроп, и еще несколько менее видных деятелей из той же сферы морального воспитания и благотворительности. Епископ Морхауз встал и начал без предисловий:

— Как-то я проезжал по городу в своей карете. Дело было вечером, я рассеянно наблюдал в окно

---

[54] Примечания: 54

От Беркли до Сан-Франциско было несколько минут езды паромом. Все города, расположенные у бухты Сан-Франциско, представляли собой одну общину.

привычные картины городской жизни, как вдруг глаза мои отверзлись — и действительность предстала предо мной во всей своей наготе. Сначала я закрыл лицо руками, чтобы не видеть всех этих ужасов, и тогда во тьме предо мной встал вопрос: что же делать? Что делать? Потом возник другой вопрос: что сделал бы Учитель на моем месте? И великий свет пролился вокруг, и долг мой открылся мне словно в ярком сиянии солнца, как открылся он Савлу на пути его в Дамаск.

Я приказал остановить лошадей, вышел на тротуар и, обратившись к двум уличным женщинам, убедил их занять место в карете рядом со мной. Если то, чему учил нас Иисус, — истина, эти несчастные были мне сестрами, и только моя преданная любовь могла очистить их.

Я живу в одном из лучших кварталов Сан-Франциско. Мой дом оценен в сто тысяч долларов, а обстановка, книги и картины стоят и того больше. Это огромный особняк, вернее — дворец; целый штат слуг заботится о нем. До сих пор я не знал, в чем истинное назначение такого дворца, и думал, что мне и подобает жить в нем. Теперь я знаю. Я взял к себе этих женщин и приютил их. Я намерен все комнаты в своем дворце заселить такими же женщинами, моими сестрами.

Весь зал насторожился, у сидевших в президиуме лица выражали ужас и смятение. Епископ Диккинсон встал и демонстративно покинул собрание, но епископ Морхауз, поглощенный своим видением, продолжал словно в каком-то забытьи:

— О, сестры и братья, в этом вижу я единственный выход. Я не знал, зачем нужны кареты, а теперь знаю: для того, чтобы перевозить больных, немощных и престарелых; для того, чтобы оказывать почет тем, в ком угасло даже естественное чувство стыда.

Я не знал, зачем нужны дворцы, а теперь нашел, что с ними делать. Дворцы, принадлежащие церкви, должны быть превращены в больницы и убежища для тех, кто без сил свалился на краю дороги и погибает.

Епископ умолк, по-видимому, не справляясь со своими мыслями и силясь подыскать для них простые, выразительные слова.

— Не мне, дорогие братья, учить вас праведной жизни, — снова начал он. — Я слишком долго коснел во лжи и лицемерии, чтобы советовать другим. Но принятое мною решение касательно тех женщин, сестер моих, показывает, что всякий из нас может вступить на праведный путь. Для

тех, кто верит в Иисуса и его святое Евангелие, не может быть иного чувства к ближнему, кроме чувства любви. Только любовь сильнее греха, сильнее смерти. А потому я взываю к тем из вас, кто богат: делайте то же, что делаю я. Возьмите к себе в дом вора и обращайтесь с ним как с братом; приютите у себя блудницу и назовите ее сестрой, и тогда в Сан-Франциско минует надобность в суде и полиции. Тюрьмы будут обращены в больницы, и вместе с преступлением исчезнет и преступник.

Но не только деньги — надо отдать ближним и самого себя. Будем же во всем следовать примеру Христа — вот в чем заключается ныне послание церкви. Мы отступились от заветов Учителя. Мы убиваем душу, потворствуя плоти. На место Христа мы поставили маммону. Я захватил с собой стихотворение, где все это прекрасно сказано. Разрешите прочитать его. Оно написано великим грешником, который, однако, много видел и понимал[55]. И не думайте, что он упрекает здесь только католическую церковь. Нет, он бичует все церкви, клеймит роскошь и хвастливое великолепие всех церквей, что сбились с истинного

[55] Примечания: 55

Оскар Уайльд (1856–1900) — английский писатель, один из представителей модернизма конца XIX в.

пути, указанного нам Учителем, и отгородились от овец его. Слушайте же:

Орган гремел. Все пали ниц, и жег
Сердца людей благоговейный страх, —
То плыл по храму на людских плечах
Первосвященник Рима, словно Бог.
Как жрец – в одеждах пены волн белей,
Как властелин – в сиянье трех корон
И в пурпуре, – свой путь направил он
К святилищу – надменный царь царей.
И вихрь сквозь тьму веков меня унес
К тому, кто у пустынних вод бродил,
Не находя пристанища для сна…
«Птенцу – гнездо, нора лисе дана, —
Лишь я, лишь я один бреду без сил
И пью вино, соленое от слез»[56].

Слушатели волновались, но не потому, что речь епископа встретила в них сочувственный отклик, однако епископ, не замечая этого, продолжал:

— И я говорю тем из вас, кто богат, а также и всем прочим богатым людям в мире: тяжко

---

[56] Примечания: 56
Пер. Б. Лейтина. — *Примеч. ред.*

притесняете вы тех, кого Учитель назвал своими овцами. Вы ожесточили сердца свои. Вы зажали уши, дабы не слышать, как вопиет и стонет вся страна. То вопли горя, то стоны страдания. И если вы не захотите их услышать — придет день, и они будут услышаны. И еще говорю вам…

Но тут Г. Г. Джонс и Филипп Уорд, давно уже стоявшие наготове, подхватили епископа под руки и свели с помоста, провожаемые потрясенным молчанием зала.

Выйдя вместе со мной на улицу, Эрнест злобно захохотал. Смех этот резанул меня по сердцу. Я с трудом сдерживала слезы.

— Вот он и принес людям благую весть! — воскликнул Эрнест. — Он открыл им свое мужественное и нежное сердце, а его верные почитатели христиане решили, что он сошел с ума. Ты заметила, как заботливо они свели его с помоста? Воображаю, как веселился при этом зрелище весь ад!

— И все же слова епископа и его поступки оставят свой след в сознании людей, — сказала я.

— Ты думаешь? — иронически отозвался Эрнест.

— Увидишь, какую это произведет сенсацию. Ты заметил? Пока он говорил, репортеры строчи-

ли напропалую.

— А завтра ни строчки об этом не появится в газетах.

— Не может быть! — горячо воскликнула я.

— Вот увидишь! Ни строчки, ни единого намека на то, что он говорил. Разве ты не знаешь нашу печать? Ее дело — изымать и запрещать.

— А репортеры? Ведь я сама их видела.

— Ни одно слово епископа не появится в печати. Ты забыла о редакторах. Они знают, за что им платят деньги. Их задача в том и состоит, чтобы не пропустить в печать ни одной строчки, представляющей угрозу существующему порядку. Сегодняшнее выступление епископа было лобовым ударом по установленной морали, призывом еретика. Его и увели с трибуны, чтобы прекратить соблазн. Но газеты очистят скверну, вытравят ее молчанием. Разве ты не знаешь, что такое пресса в Соединенных Штатах? Это паразитический нарост на теле капитализма. Ее дело — обработка общественного мнения для поддержания существующего порядка, чем она и занимается с похвальным усердием.

Хочешь, я предскажу тебе дальнейший ход событий? Завтра в газетах будет сказано вскользь, что вследствие переутомления здоровье еписко-

па пошатнулось и на вчерашнем собрании ему стало дурно. Пройдет несколько дней, и будет объявлено, что нервное истощение заставило епископа временно покинуть свою паству и уйти в длительный отпуск. А затем возможны два варианта: либо епископ поймет свою ошибку и вернется из отпуска здоровым человеком, не знающим, что такое видения среди бела дня, либо утвердится в своем безумии, и тогда в газетах промелькнет участливое сообщение о его помешательстве, после чего ему останется только лепетать о своих видениях звуконепроницаемым стенам сумасшедшего дома.

— Ну, ты уж слишком, — запротестовала я.

— Но ведь в глазах общества он и будет сумасшедшим. Какой порядочный и нормальный человек возьмет к себе в дом воров и падших женщин и станет обращаться с ними как со своими близкими? Правда, Христос был распят между двумя разбойниками, но ведь это же совсем не из той оперы. Да и что такое безумие? Мысли, с которыми мы не можем согласиться, всегда кажутся нам неверными, и мы говорим, что у человека ум за разум зашел. А там недолго сказать, что он просто сошел с ума! Все мы склонны считать сумасшедшим того, кто не согласен с общепри-

знанными истинами.

Вот тебе прекрасный пример в сегодняшней вечерней газете. Мери Маккенна проживает южнее Маркет-стрит. Это бедная, но честная женщина, к тому же патриотка. По своей наивности она поверила, что американский флаг — прибежище американских граждан. И вот что с ней случилось. Муж ее пострадал от несчастного случая и три месяца пролежал в больнице. Мери стала брать на дом стирку, что, однако, не помешало ей задолжать хозяину за квартиру. Вчера ее пришли выселять. Тогда она выставила у порога американский флаг, завернулась в его полотнище и заявила, что пусть ее посмеют выбросить на улицу: она под защитой американского флага! Ну и знаешь, что с ней сделали? Арестовали и отправили на медицинское обследование. Сегодня ее подвергли экспертизе, признали душевнобольной и засадили в сумасшедший дом.

— Ну, уж это извини, — заспорила я. — Предположим, у меня свое мнение о том, как написана такая-то книга, и это мнение не совпадает с общепринятым. Не посадят же меня в сумасшедший дом!

— Нет, не посадят, — согласился Эрнест. — Но такое расхождение с общепринятым мнением

не угрожает общественному порядку. В этом вся разница. Еретические же заявления Мери Маккенна и епископа угрожают. А что, если все бедняки станут под защиту американского флага и откажутся платить за квартиру? Ведь это покушение на права домовладельцев. Взгляды епископа тоже опасны для общества. А потому пусть он посидит в сумасшедшем доме.

Я все еще не верила.

— Ладно, увидишь, — сказал Эрнест.

Тем наш спор и кончился.

На другое утро я послала купить все выходившие в городе газеты. Эрнест оказался прав: нигде ни одной строчки по существу речи епископа. Две-три газеты глухо упоминали, что епископ Морхауз произнес взволнованную речь, а между тем плоские разглагольствования последующих ораторов комментировались весьма пространно.

Несколько дней спустя появилась краткая заметка о том, что в связи с сильным переутомлением епископ уходит в отпуск, однако ни слова о нервном расстройстве, не говоря уже о душевном заболевании. Мне тогда и в голову не приходило, как близок наш друг к своему Гефсиманскому саду и Голгофе, о которых говорил Эрнест.

Глава VIII
Разрушители машин

Незадолго до выборов в конгресс, на которых Эрнест выступал кандидатом по социалистическому списку, отец устроил обед, который у нас в домашнем кругу именовался обедом лабазников. Эрнест называл его обедом разрушителей машин. На этот раз были приглашены бизнесмены — не из самых преуспевающих, конечно. Думается, среди наших гостей не нашлось бы ни одного владельца или совладельца предприятия стоимостью свыше двухсот тысяч долларов. Это были подлинные представители средних классов — разумеется, их деловой части.

Среди гостей присутствовал Оуэн, представитель фирмы «Силверберг, Оуэн и К°», большой бакалейной торговли с несколькими филиалами. Мы были их постоянными покупателями. Присутствовали оба компаньона фирмы «Коуолт и Уошборн» и мистер Асмунсен, владелец каменоломни в округе Контра-Коста, а также много других владельцев и совладельцев небольших фабрик и предприятий. Словом, собрались капи-

талисты средней руки.

Это были дельцы с неглупыми характерными физиономиями, с ясной и простой речью. Все они в один голос жаловались на корпорации и тресты. Их общим девизом было: «Долой тресты!» Все они вопили, что им житья нет от трестов и что в их бедах виноваты тресты. Наши гости были сторонниками передачи государству таких предприятий, как телеграф и железные дороги, и стояли за самое жестокое прогрессивное обложение доходов, направленное против крупного капитала. Спасение от местных трудностей и неустройств они видели в передаче городу коммунальных предприятий, таких как вода, газ, телефон и трамвай.

Особенно заинтересовала нас иеремиада мистера Асмунсена, поведавшего о своих мытарствах в качестве владельца каменоломни. Он уверял, что каменоломня не дает ему никакой прибыли, несмотря на благоприятные условия, созданные недавним землетрясением. За те шесть лет, что Сан-Франциско отстраивается, предприятие его расширилось в восемь раз, а между тем он сейчас не богаче прежнего.

— Железнодорожная компания знает мои дела лучше, чем я сам, — жаловался он. — От нее

ничего не укроется: ни мои эксплуатационные расходы, ни условия контрактов. Кто им обо всем докладывает — ума не приложу: не иначе как кто-то из моих же служащих для них шпионит, — а кроме того, у них теснейшая связь с моими контрагентами. Посудите сами: едва только мне удается получить большой заказ на выгодных условиях, как железнодорожная компания непременно повышает тарифы на мой груз; они не входят ни в какие объяснения, а просто слизывают у меня всю прибыль. Характерно, что мне не удается добиться от них ни малейшей скидки. А ведь бывает, что в случае какой-либо неудачи — или больших расходов, или если контракт невыгодный — они идут мне навстречу. Но, так или иначе, всю мою прибыль, какова бы она ни была, кладет себе в карман железнодорожная компания.

— То, что вам остается, — прервал его Эрнест, — это примерно жалованье, которое компания платила бы, если бы каменоломня принадлежала ей, а вы были бы ее управляющим. Не правда ли?

— Вот именно. Недавно мы просмотрели все книги за последние десять лет. И представляете? Я убедился, что вся моя прибыль за это время

равна примерно жалованью управляющего. Компания могла бы с таким же успехом владеть моей каменоломней и платить мне за труды.

— С той лишь разницей, — подхватил Эрнест смеясь, — что в этом случае весь риск несла бы компания, тогда как сейчас вы любезно берете его на себя.

— Совершенно верно, — сокрушенно вздохнул мистер Асмунсен.

После того как гости высказались, Эрнест начал задавать им вопросы. Он обратился к мистеру Оуэну:

— Вы, кажется, полгода назад открыли новый филиал в Беркли?

— Как же, как же, — ответил мистер Оуэн.

— И с тех пор, как я заметил, три маленькие лавочки здесь по соседству вынуждены были закрыться одна за другой.

Мистер Оуэн самодовольно улыбнулся.

— Им трудно тягаться с нами.

— Почему же?

— Мы располагаем большим капиталом и, значит, работаем гораздо производительнее при меньших издержках.

— Стало быть, ваш филиал поглотил прибыли, которые раньше принадлежали трем коммерсан-

там? Понятно… А куда девались эти люди?

— Один из них служит у нас возчиком. Что сталось с другими — не знаю.

Эрнест повернулся к мистеру Коуолту.

— Вы часто устраиваете у себя в аптеке дешевые распродажи[57]. Скажите, не знаете ли вы что-либо об участи мелких аптекарей, которым оказалось не под силу конкурировать с вами?

— Один из них, мистер Хазфуртер, заведует у нас рецептурным отделом.

— Стало быть, все их прибыли отошли к вам?

— А как же! Для того и стараемся.

— Ну вот вы, — неожиданно повернулся Эрнест к мистеру Асмунсену, — вы возмущены тем, что все ваши прибыли поглощает железная дорога…

Асмунсен кивнул.

— В то время как вы предпочитали бы наживаться сами?..

Асмунсен снова кивнул.

— За счет других?..

Асмунсен промолчал.

— Я говорю: за счет других? — настаивал Эрнест.

---

[57] Примечания: 57

Обычный прием конкуренции — продажа товара по себестоимости или даже в убыток. Крупные предприятия шли на это с большей легкостью, чем мелкие, которым поневоле приходилось закрываться.

— Иначе и не бывает, — сухо ответил мистер Асмунсен.

— Стало быть, правила игры в том, чтобы наживаться за счет других и не давать другим наживаться за ваш счет? Ведь так?

Эрнесту пришлось повторить свой вопрос, прежде чем мистер Асмунсен на него ответил.

— Так-то оно так, — сказал он, — но мы не мешаем и другим наживаться, мы только против грабительских прибылей.

— Грабительские прибыли — это большие прибыли. Но ведь вы, верно, и сами не отказались бы от больших прибылей?

Мистер Асмунсен добродушно подтвердил, что не отказался бы. Тут Эрнест обратился к мистеру Кэлвину, в прошлом владельцу большой молочной фермы.

— Вы, как я слышал, не так давно воевали с молочным трестом, а теперь ударились в политику и вошли в фермерскую партию[58]. Как это понять?

— Не думайте, что я сложил оружие, — воин-

---

[58] Примечания: 58

В то время немало было потрачено усилий на организацию разоряющегося фермерства в политическую партию, ставившую себе целью решительную борьбу с трестами при помощи законодательных мероприятий. Все эти попытки ни к чему не привели.

ственно воскликнул мистер Кэлвин. — Напротив, я борюсь с трестом в той единственной области, какая еще остается, — политической. Разрешите, я поясню свою мысль. Еще недавно у нас, в молочном деле, не было засилья трестов.

— А конкуренция была? — прервал его Эрнест.

— Да, и конкуренция снижала прибыли. Пробовали мы сорганизоваться, но неорганизованные фермеры срывали все попытки. А потом на сцену явился молочный трест.

— Финансируемый свободными капиталами «Стандард ойл»[59].

— Да, но мы еще не знали этого. Агенты треста прямо-таки хватали нас за горло. «Идите к нам, с нами не пропадете, — говорили они, — а не то наплачетесь». Ну, большинство и пошло, а кто не пошел, тому и в самом деле худо пришлось. Поначалу нам даже выгодно показалось... Трест поднял цену на цент за кварту: четверть цента получали мы, три четверти — трест. Потом смотрим — молоко вздорожало еще на цент, но нам на этот раз ничего не уделили. Мы, конечно, стали требовать свою долю, да никто и ухом не повел. Ведь хозяин-то — трест! Тут только мы

[59] Примечания: 59

Первое мощное объединение трестов, чуть ли не на полвека опередившее другие.

хватились, что влипли, что трест может из нас веревки вить. Скоро перестали нам давать и эту четверть цента. Дальше — больше! А что мы могли поделать? В конце концов выжали нас досуха, и теперь самостоятельных молочных совсем не стало, есть только молочный трест.

— Но когда молоко подорожало на два цента, почему вы не вступили в борьбу с трестом? — коварно спросил Эрнест.

— Пробовали. — Мистер Кэлвин выдержал паузу. — Это-то нас и прикончило. Трест мог продавать молоко дешевле, чем мы. Когда мы торговали в убыток, он все еще получал небольшую прибыль. Я на этом потерял пятьдесят тысяч. Многие обанкротились[60]. В общем, от самостоятельных молочных предприятий осталось одно воспоминание.

— Значит, трест отнял у вас ваши прибыли, и вы обратились к политике, надеясь покончить с ним в законодательном порядке и вернуть свои доходы?

Мистер Кэлвин просиял:

---

[60] Примечания: 60

Банкротство — своеобразный юридический институт, который позволял должнику, потерпевшему крах в условиях промышленной конкуренции, уклониться от уплаты долгов. В обществе, где борьба шла не на жизнь, а на смерть, банкротство зачастую играло роль спасительной лазейки.

— Вот это самое я и объясняю нашим фермерам. Вся наша программа тут как в капле воды.

— Но тресту молоко обходится дешевле, чем организованному фермеру? — продолжал допрашивать Эрнест.

— Еще бы! При таком-то капитале да при новейшем оборудовании нетрудно поставить дело как следует.

— Бесспорно. Я и говорю, что оно поставлено как следует.

Тут мистер Кэлвин разразился пространной речью в защиту своей программы. Все горячо его поддержали, все единодушно требовали уничтожения трестов.

Эрнест сказал мне вполголоса:

— Вот простаки! Кажется, и неглупые люди, а ни один дальше своего носа не видит.

Потом Эрнест опять овладел разговором и, как всегда, руководил им весь остаток вечера.

— Я внимательно вас выслушал, — сказал он, — и убедился, что вы желаете играть в игру, именуемую бизнесом, по старинке. Смысл жизни вы видите только в наживе. Каждый из вас уверен, что родился на свет с единственной целью — наживаться. И вдруг — заминка! В самом разгаре погони за наживой появляется трест и

похищает у вас ваши прибыли. Для вас это катастрофа, нарушающая гармонию мироздания, и, по-вашему, существует один только выход — уничтожить то, что мешает вам наживаться.

Повторяю, я внимательно вас слушал и нахожу, что есть название, которое очень вам подходит. Вы — разрушители машин. Знаете, что это такое?

Позвольте, я расскажу вам. В Англии, в восемнадцатом веке, когда не были еще изобретены машины, рабочие и работницы ткали сукно у себя дома на ручных станках. Это был кропотливый и трудоемкий способ производства, к тому же и дорогой. Но вот появилась паровая машина, а с ней механические станки. Сотни таких станков, собранные в одном месте, при одной машине, производили сукно и быстрее, и дешевле, чем это могли делать вольные ткачи на своих ручных станках. Концентрация производства убивала всякую конкуренцию. Мужчины и женщины, раньше работавшие на дому, каждый для себя, теперь стали работать на фабрике, на хозяина-капиталиста. В дальнейшем к ткацким станкам были приставлены дети — им можно было платить дешевле, чем взрослым, и постепенно детский труд начал вытеснять труд взрослых

ткачей. Для рабочих настали тяжелые времена. Им жилось все хуже и хуже, они голодали. А так как причину зла они видели в машинах, то и начали уничтожать машины. Это ни к чему не привело, да и вообще было неразумно.

Этот урок истории ничему вас не научил. Спустя сто пятьдесят лет после английских разрушителей машин появляетесь вы и тоже хотите ломать машины. Сами же вы признаете, что трестовская машина работает и дешевле, и производительнее вашего, конкурировать с ней вам не под силу, — вот вы и жаждете ее уничтожить. Вы ничуть не умнее отсталых английских рабочих. А пока вы тщитесь вернуть век конкуренции, тресты преспокойно расправляются с вами.

Все вы говорили здесь, в сущности, одно и то же: уходит век конкуренции, и на смену ему идет век концентрации производства. Вы, мистер Оуэн, убили конкуренцию в Беркли, открыв у нас один из своих филиалов: ваша фирма оказалась сильнее торговавших здесь мелких лавочников, — но есть объединения и посильнее вашего — это тресты. Стоит вам почувствовать их давление, как вы кричите: «Караул, грабят!» Однако это только потому, что сами вы не трест. Будь вы единственный бакалейщик-монополист на все

Соединенные Штаты, вы бы не так рассуждали, вы кричали бы: «Да здравствуют тресты!» Но ваш небольшой синдикат не только не может сравняться с трестом, он и сам-то по себе еле дышит. Вы чувствуете, что долго не протянете. Вы понимаете, что вы и ваши филиалы только пешки в большой игре. Вы видите, как вырастают вокруг могущественные силы, как они крепнут день ото дня — и неуязвимые, закованные в броню руки тянутся к вашим прибылям, вырывая клок то тут, то там. Железнодорожный трест, угольный, нефтяной, стальной. Вы знаете, что вам несдобровать, что они отнимут у вас ваши прибыли — все, до последнего цента.

Как видите, сэр, вы незадачливый игрок. Когда вам удалось раздавить своих мелких конкурентов здесь, в Беркли, в силу преимуществ вашего синдиката, успех вскружил вам голову. Вы только и говорили что о предприимчивости и деловитости и, поживившись за счет своих конкурентов, отправили жену прокатиться в Европу. Так уж водится, что хищник пожирает хищника, — вот и вы слопали своих предшественников. Но, на вашу беду, есть хищники и покрупнее, и вам предстоит попасть им на завтрак. Потому-то вы и вопите. А с вами вопят все сидящие здесь. Они в

таком же положении. У всех у вас на руках плохая карта, вот вы и жалуетесь.

Но, жалуясь, вы отказываетесь смотреть правде в глаза и называть вещи своими именами. Вы не говорите, что сами заритесь на чужие прибыли и только не хотите, чтобы кто-то зарился на ваши. Нет, для этого вы слишком хитры. Вы говорите другое. Вы произносите политические речи в защиту мелких капиталистов вроде той, какую мы сегодня выслушали от мистера Кэлвина. Но что он здесь говорил? Кое-что я могу повторить по памяти: «Наши исконные принципы были правильны», «Единственное, что Америке нужно, — это возвращение к ее основному принципу: равные возможности для всех», «У колыбели этой нации стоял дух свободы», «Вернемся к заветам наших предков...»

Под равными возможностями для всех мистер Кэлвин подразумевает возможность загребать побольше прибылей, в чем он сейчас встречает помеху со стороны трестов. Но вы столько раз повторяли эти громкие слова, что, как ни странно, сами в них уверовали. Все, что вам нужно, — это грабить ближнего в меру своих сил, полегоньку да потихоньку, и вы на этом основании вообразили себя борцами за свободу. Вы

самые обыкновенные плуты и стяжатели, но под магическим действием красивых фраз готовы возомнить себя патриотами. Свою жажду прибылей, проистекающую из чистейшего эгоизма, вы выдаете за бескорыстную заботу о страдающем человечестве. Так давайте же хоть здесь, среди своих, — дерзните быть самим собой. Не бойтесь смотреть правде в лицо и называйте вещи своими именами.

Я видела кругом неприязненные, побагровевшие лица и затаенный страх. Казалось, наши гости трепетали перед этим юнцом, перед спокойствием и силой его речей и его ужасающей, непозволительной манерой называть черное черным. Мистер Кэлвин, однако, не растерялся.

— А почему бы и нет? — заявил он. — Почему бы нам не вернуться к обычаям и нравам наших предков, основателей нашей республики? Вы сказали нам немало правды, мистер Эвергард, — пусть жестокой и горькой правды. Но, поскольку мы здесь и в самом деле в своей среде, не будем этим смущаться. Давайте сбросим маски и примем те обвинения, которые мистер Эвергард так прямолинейно нам предъявляет. Верно, что мы, мелкие капиталисты, гонимся за прибылями и что тресты отнимают их у нас. Верно, что мы

хотим избавиться от трестов, чтобы сохранить наши прибыли. Но почему бы нам и не добиваться этого? Почему? Я вас спрашиваю.

— Вот тут-то мы и дошли до главного, — сказал Эрнест с довольной улыбкой. — Я объясню вам, почему, хоть это и не так-то легко. Все вы в какой-то мере учились коммерции, но никому из вас не приходилось изучать законы социального развития. А между тем вы находитесь сейчас в переходной стадии экономического развития; сами вы этого не видите и не понимаете — отсюда и все недоразумения. Почему вам нельзя возвратиться назад? Да потому, что это невозможно. Вы так же бессильны повернуть вспять поток экономического развития, как заставить ручей течь в гору. Иисус Навин приказал солнцу остановиться над Гаваоном, а вы намерены перещеголять Иисуса Навина! Вы хотите заставить солнце катиться по небу вспять. Вы хотите вернуть время от полудня к утру.

Презрев усовершенствованные машины, презрев возросшую производительность труда и все преимущества концентрации, вы хотите вернуть экономику назад на целое поколение — к тому времени, когда не было еще крупного капитала и развитой техники, не было железных дорог,

когда мелкие капиталисты пожирали друг друга в обстановке экономической анархии, когда производство было примитивным, расточительным, неорганизованным, непомерно дорогим. Поверьте, Иисусу Навину было легче остановить солнце, не говоря уж о том, что ему помогал сам бог Саваоф. Но от вас, мелких капиталистов, Бог отвернулся. Ваше солнце клонится к закату. Больше ему не взойти в небе. И вам не изменить предначертанного ему пути. Вы уходите с исторической арены, и вскоре в истории затеряется и след ваш.

Таков закон эволюции. Так повелел Господь Бог. Концентрация сильнее, чем конкуренция. Первобытный человек был жалким существом, прятавшимся в расщелинах скал. Но он объединился с себе подобными и пошел войной на своих плотоядных врагов. Эти хищники охотились в одиночку, так сказать, на началах конкуренции. Первобытный же человек был хищник, тяготевший к объединению, потому-то он и поднялся над прочими тварями. С тех пор люди вступали во все более обширные объединения. Концентрация против конкуренции — таков смысл общественной борьбы, которая заполняет многие тысячелетия. И всегда конкуренция терпит

поражение. Тот, кто становится под знамя конкуренции, неизменно гибнет.

— Но ведь и тресты — порождение конкуренции, — прервал Эрнеста мистер Кэлвин.

— Совершенно верно, — отвечал Эрнест. — Но тресты и уничтожают конкуренцию. Вы, например, сами рассказали нам, как вам пришлось распроститься с вашим молочным хозяйством.

Впервые за столом раздался смех, и мистер Кэлвин невольно к нему присоединился.

— Но раз мы снова заговорили о трестах, давайте условимся кое о чем, — продолжал Эрнест. — Я выскажу здесь несколько положений, и всех, кто с ними не согласен, прошу мне возражать. Ваше молчание будет для меня знаком согласия. Разве механический станок не дает больше сукна и по более дешевой цене, нежели ручной? — Эрнест подождал ответа и, не дождавшись, продолжил: — Разве, следовательно, не безумие сломать машины и возвратиться к более трудоемким и дорогим методам кустарной работы? — Несколько человек кивнули в знак согласия. — Разве не верно, что объединение, именуемое трестом, может производить товары и лучше, и дешевле, чем тысячи маленьких, конкурирующих между собой предприятий? — Возражений опять не

было. — Разве, следовательно, не безумие отказываться от этой более дешевой и рациональной формы производственной организации?

Все долго молчали. Наконец заговорил мистер Коуолт.

— Так что же вы нам-то прикажете делать? — спросил он. — В уничтожении трестов мы видим единственный способ избавиться от их владычества.

Эрнест так и загорелся.

— Я покажу вам другой способ! — воскликнул он. — Предлагаю не разрушать эти великолепные машины, работающие и хорошо, и дешево. Давайте возьмем их себе. Пусть они радуют нас своей производительностью и дешевизной. Будем сами управлять ими. Спустим с лестницы хозяев этих чудесных машин и сами станем их хозяевами. Это, господа, и есть социализм, еще более обширное объединение, чем тресты, — самое обширное экономическое и социальное объединение из всех, какие знает наша планета. Социализм — в ладу с законами экономического развития. Мы противопоставим трестовским объединениям более мощную организацию. А это значит, что будущее за нами. Переходите к нам, социалистам, ставьте на верную карту!

Этот призыв не встретил поддержки. Послышался недовольный ропот, многие покачивали головой.

— Ладно! — рассмеялся Эрнест. — Вам, видно, нравится быть ходячим анахронизмом. Вы предпочитаете играть в обществе роль атавистического придатка. Что ж, с богом, но только помните, что, как и всякий атавизм, вы обречены на гибель. Спрашивали вы себя, что будет с вами, когда появятся объединения покрупнее нынешних трестов? Где вы окажетесь, когда наши огромные тресты начнут сливаться в такие организации, какие нынешним и не снились, — пока над вами не воздвигнется единый социальный, экономический и политический трест?

Эрнест неожиданно повернулся к мистеру Кэлвину.

— Скажите, прав я или нет? Разве вам и вашим единомышленникам не приходится сколачивать новую политическую партию, потому что старые в руках у трестов? И разве ваша пропаганда не встречает с их стороны упорного сопротивления? За каждым провалом, за каждым препятствием на вашем пути, за каждым ударом, нанесенным вам из-за угла, разве не чувствуете вы руку трестов? Скажите, верно это или нет?

Мистер Кэлвин сидел, понурив голову.

— Говорите, не стесняйтесь, — не отставал Эрнест.

— Что верно, то верно, — согласился мистер Кэлвин. — Нам удалось добиться большинства в законодательном собрании штата Орегон, но когда мы провели ряд прекрасных законопроектов, охраняющих права мелких промышленников, губернатор, ставленник трестов, наложил на них вето. Когда же мы в Колорадо избрали своего губернатора, палата не утвердила его. Дважды нам удавалось провести подоходный налог в федеральном масштабе, и всякий раз верховный суд отвергал его как не соответствующий конституции. Все суды в руках у трестов. Мы, народ, не можем платить судьям высокие оклады. Но придет время, когда…

— … когда объединение трестов будет контролировать все наше законодательство. Когда оно, это объединение, и будет нашим правительством, — прервал его Эрнест.

— Никогда этого не будет! — послышались со всех сторон воинственные крики. Всеми овладело возмущение.

— Скажите, — настаивал Эрнест. — Что вы предпримете, когда такие времена наступят?

— Мы подымемся все, как один! Мы двинем в бой все свои силы! — воскликнул мистер Асмунсен, и множество голосов поддержало его.

— Но это означает гражданскую войну, — предостерег Эрнест.

— Мы не остановимся и перед гражданской войной! — провозгласил мистер Асмунсен под дружное одобрение всех присутствующих. — Мы не забыли славных дел наших предков. Если нужно будет, мы постоим и умрем за наши свободы.

Эрнест усмехнулся.

— Не забудьте, господа, мы согласились на том, что свобода в вашем понимании — это свобода беспрепятственно грабить конкурента.

Атмосфера за обеденным столом накалилась. Всеми овладел воинственный пыл. Но голос Эрнеста перекрыл поднявшийся шум.

— Еще один вопрос. Не забывайте, что, когда двинете в бой все свои силы, вы двинете их против трестов, захвативших в свои руки правительство Соединенных Штатов. А это означает, что тресты двинут против вас регулярную армию, флот, национальную гвардию, полицию — словом, всю военную машину США. Какое значение будут тогда иметь ваши силы?

Слушатели растерялись. Не давая им опом-

ниться, Эрнест нанес им следующий удар:

— Как вам известно, еще недавно наша армия насчитывала пятьдесят тысяч человек. Год за годом ее увеличивали, и в настоящее время ее численность — триста тысяч.

И дальше — следующий удар:

— Но это еще не все. В то время как вы очертя голову гнались за призраком наживы и сокрушались о своем излюбленном детище — конкуренции, произошли события еще более знаменательные. Национальная гвардия…

— Национальная гвардия и есть наша сила! — воскликнул мистер Коуолт. — С ней мы отразим натиск регулярных войск.

— Вы сами будете призваны в национальную гвардию, — возразил ему Эрнест, — и вас пошлют в штат Мэн, во Флориду или на Филиппины, а то и еще бог весть куда, чтобы потопить в крови восстание, которое подняли ваши же товарищи, борющиеся за свои гражданские права. А ваши товарищи из Канзаса, Висконсина или любого другого штата, вступив в национальную гвардию, будут посланы сюда, в Калифорнию, чтобы потопить в крови ваше восстание здесь.

На сей раз слушатели Эрнеста были действительно подавлены. Все молчали. Наконец мистер

Оуэн пробормотал:

— Так мы не вступим в национальную гвардию — только и всего. Ищите дураков в другом месте!

Эрнест расхохотался.

— Вы не в курсе происшедших перемен. Вас не спросят. Вы пойдете служить в принудительном порядке.

— Существуют гражданские права, — не унимался мистер Оуэн.

— Они существуют до тех пор, пока правительство не сочтет нужным их отменить. В тот день, когда вы вознамеритесь обрушить на правительство свои силы, эти силы обратятся против вас. В национальную гвардию вам придется вступить — хотите вы того или не хотите. Кто-то из вас сослался сейчас на «хабеас корпус»[61]. Берегитесь, как бы вам вместо этого не прописали «со святыми упокой». Если вы откажетесь вступить в войска национальной гвардии или, по зачислении туда, вздумаете бунтовать, вас предадут военно-полевому суду и пристрелят, как собак. Таков закон.

— Такого закона нет! — решительно заявил мистер Кэлвин. — Такого закона нет и в помине. Все

---

[61] Примечания: 61

Habeas corpus act (*лат.*) — закон о неприкосновенности личности. — *Примеч. ред.*

это одно ваше воображение, молодой человек. Вы здесь говорили, что войска национальной гвардии можно угнать чуть ли не на Филиппины. Но это противоречит конституции. Особый пункт конституции говорит о том, что территориальные войска не могут быть посланы за пределы страны.

— Бросьте ссылаться на конституцию, — возразил Эрнест. — Толкованием конституции, как известно, занимаются суды, а наши судьи, по справедливому замечанию мистера Асмунсена, — холопы трестов. К тому же, как я сказал, такой закон существует. К вашему сведению, господа, он существует уже девять лет.

— О том, что нас могут призвать в национальную гвардию? — не поверил мистер Кэлвин. — И что, в случае отказа, будут судить военно-полевым судом?..

— Да, именно так.

— Как же мы ничего не слышали? — удивился и мой отец. Он тоже с недоумением глядел на Эрнеста.

— Вы не слыхали о нем по двум причинам, — отвечал Эрнест. — Во-первых, до сих пор еще ни разу не было необходимости применять его на деле. Если бы такая необходимость появилась,

вы не замедлили бы о нем услышать. Во-вторых, закон этот был проведен через конгресс и сенат втихомолку, почти без обсуждения. Газеты, разумеется, не обмолвились о нем ни словом. Мы, социалисты, знали об этом и писали, но вы не читаете наших газет.

— А я все-таки полагаю, что это одно только ваше воображение, — упрямо настаивал мистер Кэлвин. — Страна никогда не позволила бы…

— Представьте, позволила, — возразил Эрнест. — А что касается моего воображения, — и он достал из кармана какую-то брошюру, — вот, судите сами, похоже ли это на игру воображения.

Он нашел нужное место и начал читать вслух:

– «**Статья первая**. Во всех штатах, территориях и округе Колумбия вменяется в обязанность лицам мужского пола от восемнадцати до сорока пяти лет, признанным годными по состоянию здоровья, вступать в войска национальной гвардии.

Статья седьмая. Всякий военнообязанный…» – напоминаю вам, господа, по статье первой все вы военнообязанные, – «… не явившийся без уважительных

причин к своему воинскому начальнику, предается военно-полевому суду и несет должное наказание.

Статья восьмая. Военно-полевые суды, коим подсудны и офицеры, и нижние чины, комплектуются только из офицеров национальной гвардии.

Статья девятая. Солдаты и офицеры национальной гвардии, будучи призваны на действительную службу, подчиняются тому же воинскому уставу, а также законам и постановлениям, что и регулярные войска Соединенных Штатов».

С чем и поздравляю вас, господа американские граждане и дражайшие сослуживцы по национальной гвардии! Девять лет назад мы, социалисты, полагали, что этот закон направлен против рабочих. Оказывается, он имел в виду также и вас. Во время дозволенного свыше краткого обсуждения в конгрессе депутат Уайли сказал, что «новый закон создает необходимые резервы для расправы с чернью (под „чернью“ разумеетесь вы, господа) и в защиту от ее покушений на жизнь, свободу и собственность…». А потому, когда вы вознамеритесь восстать, помните, что

это будет равносильно покушению на собственность трестов и на охраняемую законом свободу трестов присваивать себе ваши прибыли. Так-то, господа! Вам выбили зубы, вам сломали хребет, а следовательно, в день, когда вы вознамеритесь двинуть в бой свои силы, вы, армия беззубых, бесхребетных воинов, будете представлять не большую опасность, чем армия моллюсков.

— Не может быть! — повторял свое мистер Коуолт. — Нет такого закона! Это утка, пущенная вами, социалистами!

— Законопроект был внесен в палату тридцатого июля тысяча девятьсот второго года депутатом Диком из штата Огайо, — продолжал Эрнест. — Был принят палатой почти без обсуждения, в обстановке крайней спешки. Четырнадцатого января тысяча девятьсот третьего года он получил единодушную поддержку сената, а ровно неделю спустя его утвердил президент Соединенных

Штатов[62].

[62] Примечания: 62

Характеризуя закон 1903 г. о национальной гвардии, Эвергард допустил только одну неточность: законопроект был внесен в конгресс не 30 июля, а 30 июня. В «Протоколах конгресса» приведены следующие даты официального прохождения билля: 30 июня, 9, 15, 16, 17 декабря 1902 г. и 7, 14 января 1903 г. Неудивительно, что дельцы, собравшиеся у профессора Каннингхема, ничего не знали о законе, — он был мало кому известен в стране. Брошюра Э. Винтермана 1903 г. «Билль о национальной гвардии» (вышла в г. Джирарде, Канзас) получила некоторое распространение среди рабочих. Однако пропасть между различными классами была в то время так велика, что читателю средних классов брошюра осталась неизвестной.

Глава IX
Математическая непреложность мечты

Пользуясь растерянностью, воцарившейся за столом после этого неожиданного сообщения, Эрнест продолжал:

— Многие из вас говорили, что социализм — несбыточная мечта. Вы кричите о невозможности, так позвольте мне показать вам неизбежное. Неизбежное же не только в том, что все ваше племя мелких капиталистов обречено на вымирание, — к такой же вымирающей породе относятся и крупные капиталисты вместе с трестами. Помните: поток развития нельзя повернуть вспять. Он течет все дальше и дальше — от конкуренции к концентрации, от малых объединений к большим, а от больших к еще большим и большим, устремляясь к социализму, объединению всемирного масштаба.

Вы скажете, что это мечта. Не спорю. Но я берусь доказать вам математическую непреложность этой мечты. Вас же я попрошу, чтобы, следя за ходом моих рассуждений, сразу же указывали,

где я допустил ошибку. Сперва я докажу вам, что капиталистическая система обречена на гибель, докажу с математической непреложностью. И прошу вас не сердиться, если вам покажется, что я начал несколько издалека.

Прежде всего разберем с вами конкретный пример из области промышленности, и как только вам что-нибудь покажется спорным, прошу меня остановить. Возьмем обувную фабрику. Кожа здесь перерабатывается в обувь. Предположим, фабрика закупила кожи на сто долларов. Пройдя через фабричный процесс, кожа эта превращается в обувь стоимостью, скажем, двести долларов. Что же случилось? К стоимости кожи прибавилось сто долларов. Как это произошло? Давайте рассудим.

Вновь произведенную стоимость создали капитал и труд. Капитал предоставил для промышленного процесса фабрику и машины и оплатил все расходы. Труд дал труд. Совместными усилиями капитала и труда была создана новая стоимость в размере ста долларов. Пока нет возражений?

Все отрицательно покачали головой.

— Создав эту новую стоимость, капитал и труд делят ее между собой. Отвлечемся от сложных

соотношений, какие дает статистика, и возьмем для удобства круглые цифры. Положим, капитал берет себе пятьдесят долларов и столько же отдает рабочим в виде заработной платы. Мы не станем вникать в те конфликты, которые при этом возникают[63]. Каковы бы они ни были и к чему бы ни приводили, дележ — так или иначе, в том или другом процентном соотношении — производится. Но то же самое верно и для других отраслей промышленности. Согласны?

И снова все согласились с Эрнестом.

— Допустим теперь, что рабочие, получив свои пятьдесят долларов, захотели бы купить на них обувь. Им удалось бы купить только часть всей изготовленной обуви, не правда ли?

Разобрав этот конкретный случай, обратимся ко всей американской промышленности, которая занята переработкой не только кожи, но и всякого другого сырья, а также включает в себя транспорт, торговлю и прочее. Опять-таки для

---

[63] Примечания: 63

Здесь правильно указана главная причина рабочих беспорядков того времени. При разделе новой стоимости между трудом и капиталом каждая из сторон стремилась получить возможно больше. Это было непримиримое противоречие. Пока существовала капиталистическая система производства, конфликты между обеими заинтересованными сторонами по вопросу о разделе новой стоимости не прекращались. Нам это сейчас кажется смешным, но нельзя забывать, что речь идет о событиях и нравах семивековой давности.

круглого счета скажем, что Соединенные Штаты в общей сложности производят в год товаров на четыре миллиарда долларов. За этот период рабочие получат два миллиарда долларов заработной платы. Всего же произведено промышленных товаров на четыре миллиарда долларов. Какую же часть этих товаров могут купить рабочие? Ясно, что не больше половины. Об этом спорить не приходится. И я беру, конечно, наиболее благоприятный случай. Капитал всеми правдами и неправдами старается урезать долю рабочих, в действительности же им не выкупить и половины товарной продукции в стране.

Итак, повторяю. Рабочие могут приобрести и потребить товаров на два миллиарда. А это значит, что останется еще излишек товаров стоимостью два миллиарда, которых рабочие не в состоянии купить и употребить.

— Рабочие не проживают даже и своих двух миллиардов, — отозвался мистер Коуолт. — Иначе у них не было бы вкладов в сберегательные кассы.

— Вклады рабочих в сберегательные кассы — это не более чем подвижной резервный фонд, который тут же и расходуется по мере накопления. Это деньги про черный день, на случай

болезни или инвалидности, это сбережения на старость и похороны. Вклады в сберегательную кассу — все равно что краюха хлеба, отложенная на полку, чтоб было чем встретить завтрашний день. Нет, рабочие потребляют весь товар, какой они в состоянии купить на свои заработки.

На долю капитала тоже приходится два миллиарда долларов. Он оплатит из них все свои издержки, ну а там — израсходует ли остальную сумму на приобретение товаров? Иначе говоря, проживет ли целиком свои два миллиарда?

Вопрос был поставлен в упор группе гостей, сидевших против Эрнеста. Все они отрицательно покачали головой. И только один откровенно признался:

— Не знаю.

— Ну как не знаете? — возразил Эрнест. — Рассудите сами. Если бы предприниматели проживали свою долю прибылей, не было бы никакого накопления капитала. Он так и оставался бы на точке замерзания. А между тем история американской экономики показывает, что общая сумма капитала в стране неуклонно растет. Стало быть, капиталисты не проживают своей доли. Вы помните время, когда Англия владела львиной долей наших железнодорожных облигаций? По-

степенно Америка выкупила эти облигации. Что это означает? Да то, что часть свободных капиталов пошла на выкуп облигаций. А как объяснить, что капиталисты США приобрели на сотни миллиардов мексиканских, русских, итальянских и греческих облигаций? Ясно, что на эту покупку капитал выделил часть свободных средств. С тех пор как существует капиталистическая система, капиталисты никогда не проживали своей доли прибылей.

Но тут-то мы и подходим вплотную к интересующему нас вопросу. Ежегодно в Соединенных Штатах производится товаров на четыре миллиарда. Рабочие потребляют товаров на два миллиарда. Капитал не покупает товаров на всю причитающуюся ему долю прибыли. Остается свободный резерв товаров. Что делать с этим резервом? Куда его девать? Рабочие не могут его раскупить. Они уже истратили свою зарплату. Капитал купил все, что способен потребить. И все же остается излишек. Куда его девать? Что с ним обычно делают?

— Вывозят за границу, — догадался мистер Коуолт.

— Вот именно, — подтвердил Эрнест. — Наличие товарных излишков приводит к поискам

иностранных рынков. Их вывозят за границу, другого применения им нет. И эти-то товарные излишки, вывезенные за границу, и составляют то, что называется активным торговым балансом. Пока нет возражений?

— Не стоило тратить время на преподавание нам этих азов коммерции, — съязвил мистер Коуолт. — Они каждому из нас известны.

— А между тем этими азами я и собираюсь вас доконать, — парировал Эрнест. — Чем проще доказательства, тем убедительнее. И доконать я вас собираюсь, нимало не медля. Итак, внимание!

Соединенные Штаты — капиталистическая страна с высокоразвитой промышленностью. При ее капиталистическом методе производства у нее постоянно остается избыток промышленных товаров, от которого ей необходимо

избавиться путем вывоза их за границу[64]. Но то, что верно относительно Соединенных Штатов, применимо и ко всякой другой стране с высокоразвитой промышленностью. Каждая такая страна имеет свой излишек товаров. Я говорю о том положении, когда обычный обмен уже состоялся и налицо товарные излишки в чистом виде. Рабочие во всех странах израсходовали свою зарплату и не в состоянии ничего купить; капитал полностью удовлетворил свои нужды и не намерен покупать ничего больше. А между тем у этих стран имеются товарные излишки. Передать их одна другой они не могут. Что же им делать? Как избавиться от свободных товаров?

— Продать их странам с менее развитой промышленностью, — подсказал мистер Коуолт.

— Правильно! Видите, мои рассуждения так

---

[64] Примечания: 64

За несколько лет до описываемых событий тогдашний президент Соединенных Штатов Теодор Рузвельт заявил: «Необходима более либеральная и гибкая политика в вопросах купли и продажи, для того чтобы наши излишки производства могли с успехом экспортироваться за границу». Под «излишками производства» здесь, конечно, разумеются товары, которые остаются в распоряжении капитала, после того как все его нужды и потребности удовлетворены. По словам сенатора Марка Хенна, относящимся к тому же времени, «ежегодное производство товаров в США на одну треть превышает ежегодное их потребление». Его коллега, сенатор Чонси Депью, заявил: «Американцы ежегодно производят ценностей на два миллиарда долларов больше, чем они в состоянии потребить».

ясны и элементарны, что каждый из вас может продолжить их сам. А теперь дальше. Предположим, Соединенные Штаты избавятся от своих излишков, вывезя их в страну с неразвитой промышленностью — например, в Бразилию. Заметим, что это происходит, когда внутренний рынок насыщен до отказа и не может поглотить излишки производства. Итак, что же получат Соединенные Штаты от Бразилии за эти товарные излишки?

— Золото, — ответил мистер Коуолт.

— Ну, на золото не шибко расторгуешься, не так уж его много, — возразил Эрнест.

— Золото в виде облигаций и всяких других ценных бумаг, — поправился мистер Коуолт.

— Совершенно верно, — сказал Эрнест. — Соединенные Штаты получат от Бразилии облигации и другие ценные бумаги. А что это означает? Это означает, что железные дороги Бразилии, а также фабрики, рудники и земельные владения перейдут в собственность Соединенных Штатов. А что это означает, в свою очередь?

Мистер Коуолт подумал и покачал головой.

— Я скажу вам, — продолжал Эрнест. — Это означает, что и Бразилия начнет разрабатывать свои ресурсы, а стало быть, и у нее появится сво-

бодный излишек товаров. Может ли Бразилия сбыть его Соединенным Штатам? Нет, Соединенные Штаты сами заинтересованы в вывозе товаров. А могут ли Соединенные Штаты, как раньше, сбывать свои товары в Бразилию? Нет, потому что и у Бразилии теперь такое же положение.

Что же тогда произойдет? И Соединенные Штаты и Бразилия вынуждены будут заняться поисками стран с неразвитой промышленностью, куда они могли бы сплавлять свои товарные излишки. Но так как законы сбыта остаются все теми же, то вскоре и эти страны начнут развивать свои ресурсы. И у них также появится избыточный продукт, и они также начнут искать рынки, чтобы его реализовать. А теперь, господа, прошу вашего внимания. Наша планета небезгранична. Существует лишь определенное число стран. Что же будет, когда и последняя, самая отсталая страна станет на ноги и включится в число стран, не знающих, куда девать свой избыточный продукт?

Эрнест остановился и обвел взглядом слушателей. Лица их выражали забавное недоумение. За недоумением, однако, сквозил страх. Эрнесту удалось, несмотря на сухость его выкладок, вызвать

перед ними яркое видение кризиса, и все они сидели как завороженные, со страхом заглядывая в будущее.

— Я начал с азов, мистер Кэлвин, — лукаво продолжал Эрнест, — но только для того, чтобы познакомить вас со всеми буквами алфавита, до самой последней. Как видите — все это очень просто. Но чем проще, тем убедительней, не так ли? Я уверен, что каждый из вас додумался до ответа. Так как же? Если каждая страна в мире будет иметь свой избыточный продукт, что будет со всей капиталистической системой?

Но мистер Кэлвин только озабоченно покачал головой. Он, видимо, мысленно проверял аргументы Эрнеста, стараясь найти в них скрытую ошибку.

— Давайте проверим еще раз ход моих мыслей, — сказал Эрнест. — Мы начали с конкретного, частного случая: с обувной фабрики. Мы установили, что дележ вновь произведенной стоимости между рабочими и предпринимателем обувной фабрики не отличается принципиально от дележа ее во всей промышленности в целом. Мы также установили, что рабочие могут выкупить лишь часть полученного продукта и что капитал не может потребить всей причитающейся ему

доли. Мы обнаружили к тому же, что, когда рабочие накупят товаров на все заработанные деньги, а капиталисты возьмут столько, сколько им требуется, останутся свободные товарные излишки. Мы пришли к заключению, что единственный способ сбыть с рук эти излишки — это вывезти их за границу. Мы увидели, что страны, куда вывозятся товарные излишки, также приступают к развитию своих естественных ресурсов и что в скором времени у них оказывается свой избыточный продукт. Распространив этот процесс на все страны мира, мы пришли к выводу, что настанет день, когда все страны будут ежегодно, ежечасно производить излишки товаров, которые им некуда будет девать. Спрашивается: что нам делать с этими излишками?

Опять никакого ответа.

— Мистер Кэлвин!

Мистер Кэлвин развел руками.

— Признаюсь, я смущен.

— Вот уж не думал, — сказал мистер Асмунсен. — И ведь все как будто верно, ничего не скажешь.

Мне еще не приходилось слышать о Марксовой теории прибавочной стоимости, но Эрнест изложил ее так просто, что я была поражена не

менее других.

— Я скажу вам, как можно избавиться от этих излишков, — заявил наконец Эрнест. — Выбросьте их в море! Выбрасывайте ежегодно на сотни миллионов долларов обуви, платья, пшеницы и всяких других товаров. Разве это не выход?

— Выход, конечно, — ответил мистер Кэлвин. — Но только нелепый выход. Странные вы даете советы.

Эрнест вихрем налетел на него.

— Поверьте, не более странные, чем даете вы, разрушители машин, зовущие человечество к допотопным порядкам наших предков. А вы что предлагаете, чтоб избавиться от товарных излишков? Вы предпочли бы вовсе их не производить? Но как же вы надеетесь этого добиться? Не возвратом ли к примитивной системе производства, столь несовершенной, хаотичной, расточительной и дорогой, что ни о каких излишках уже не пришлось бы и мечтать?

Мистер Кэлвин пожевал губами. Удар Эрнеста попал в цель. Он снова пожевал губами, потом откашлялся и сказал:

— Ваша правда. Вы убедили меня. Конечно, это в высшей степени нелепо. Но ведь что-то нам нужно делать. Для нас, представителей средних

классов, это вопрос жизни и смерти. Мы не хотим своей гибели. Нет, уж лучше возвратиться к кустарным и расточительным методам наших предков, чем погибнуть. Мы вернем промышленность к дотрестовским временам! Мы сломаем машины! Кто может запретить нам?

— Нет, вы не сломаете машины, — возразил Эрнест. — Вы не повернете жизнь вспять. Вам противостоят две великие силы, и каждая из них превосходит мощью вас, средние классы. Крупный капитал — иначе говоря, тресты — не позволит вам повернуть историю назад. Уничтожение машин не в его интересах. Но еще более великая, могучая сила — рабочий класс. Он не допустит уничтожения машин. Между трестами и рабочим классом идет борьба за овладение миром, а следовательно, и машинами. Такова военная диспозиция. Ни одна из сторон не заинтересована в уничтожении машин, но каждая стремится владеть ими. В этой борьбе нет места среднему классу. Средний класс — это пигмей между двумя великанами. Разве не видите вы, злополучный, обреченный средний класс, что зажаты между двумя жерновами и рано или поздно вас раздавят?

Я доказал вам, как дважды два — четыре, что

гибель капиталистической системы неизбежна. Настанет время, когда у каждой страны в мире окажется избыток товаров, который нельзя будет ни употребить, ни продать, и капиталистический строй рухнет, раздавленный системой головокружительных прибылей, которую он же и породил. Но и тогда никто не станет уничтожать машины. Борьба будет вестись за то, кому ими владеть. Если победит рабочий класс, вам нечего бояться. Соединенные Штаты, да и весь остальной мир вступят в новую великую эру. Машины, вместо того чтобы истреблять жизнь, сделают ее прекраснее, счастливее, благороднее. И вы, обломки уничтоженного среднего класса, вместе с трудящимися — так как в мире не останется никого, кроме трудящихся, — будете участвовать в справедливом распределении благ, созданных чудесными машинами. Потому что мы будем изобретать все новые и новые машины, одна другой чудеснее. С уничтожением системы прибылей сам собой отпадет вопрос о товарных излишках.

— А если битву за овладение машинами и всем миром выиграете не вы, а тресты? — спросил мистер Коуолт.

— Тогда, — отвечал Эрнест, — и вы, и мы, и весь

рабочий класс будем раздавлены железной пятой деспотизма, не ведающего удержу и жалости, — деспотизма, какого не знала доселе ни одна, даже самая темная эпоха в жизни человечества. Вот имя для него — Железная пята![65]

Наступило долгое молчание. Каждый погрузился в глубокие, непривычные думы.

— И все же ваш социализм — мечта, несбыточная мечта! — сказал мистер Коуолт.

— В таком случае я покажу вам то, что отнюдь не мечта, — отвечал Эрнест, — олигархию, или, употребляя более привычное вам слово, плутократию. В обоих случаях имеется в виду владычество крупного капитала или трестов. Разберемся, кому в наши дни принадлежит власть. А для этого рассмотрим, на какие классы делится наше общество.

Общество состоит из трех крупных классов. Это плутократия — богатейшие банкиры, железнодорожные магнаты, заправилы корпораций и трестов; далее идете вы, господа, средние классы — фермеры, коммерсанты, мелкие промышленники, люди свободных профессий; и, наконец, мой класс — пролетариат, представители наем-

---

[65] Примечания: 65

Первый известный нам случай, когда олигархия была названа этим именем.

ного труда[66].

Вы не станете отрицать, что в наши дни в Соединенных Штатах власть является прерогативой богатства. Но как же распределяются национальные богатства между этими тремя классами? Вот цифры: владения плутократии оцениваются в шестьдесят семь миллиардов. Плутократия составляет всего лишь девять десятых процента взрослого населения США, а между тем семьдесят процентов национального достояния принадлежит ей. Средний класс владеет имуществом стоимостью двадцать четыре миллиарда. Средний класс представляет двадцать девять процентов взрослого населения США, при этом он владеет двадцатью пятью процентами национального достояния. Остается пролетариат. Пролетариату принадлежит имущество стоимостью четыре миллиарда. По численности он составляет семьдесят процентов взрослого населения США, а между тем на его долю падает только четыре процента общенационального достояния. Какому же классу принадлежит власть,

---

[66] Примечания: 66

В своем подразделении общества на классы Эвергард следует одному из самых видных статистиков своего времени, Люсьену Сэниелу. Последний, на основании переписи Соединенных Штатов 1900 г., так определял численность населения по занятиям: плутократия — 250 251, средний класс — 8 429 845, пролетариат — 20 393 137 человек.

господа?

— Уже ваши цифры говорят о том, что мы, средний класс, сильнее пролетариата, — сказал мистер Асмунсен.

— То, что вы называете нашей слабостью, не прибавит вам силы по сравнению с той силищей, какую представляет плутократия, — возразил Эрнест. — А кроме того, я не закончил: есть еще и другая сила, превышающая силу богатства, потому что ее нельзя отнять. Наша мощь, мощь пролетариата, — это его мускулы, это руки, опускающие в урну избирательный бюллетень, это пальцы, спускающие курок. Нашу мощь никто у нас не отнимет. Это первозданная сила, присущая всему живому. Она могущественнее богатства, потому что богатству ее у нас не отнять.

Ваша же сила мнимая. Вы можете в любую минуту ее лишиться. Уже сейчас плутократы понемногу теснят вас. Пройдет время — и ее как не бывало. И тогда вы перестанете быть средним классом. Вы опуститесь до нас, сделаетесь пролетариями. И — что самое забавное — умножите наше число, укрепите наши ряды. Мы будем с вами плечом к плечу бороться за светлое будущее.

С рабочих, как видите, ничего не возьмешь. Их доля в общенациональном достоянии состоит из

кое-какой одежды и мебелишки да, в отдельных редких случаях, из очищенного от долга домика. Вы же самые настоящие, заправские богачи, у вас двадцать четыре миллиарда — есть чем поживиться! Плутократия и экспроприирует их, если только — что вполне возможно — ее не опередит пролетариат! Итак, господа, уразумели вы свое положение? Средний класс — это тщедушный ягненок между львом и тигром. Ушел от одного — как раз попадешь в пасть другому. И если с вами расправится плутократия, рано или поздно с плутократией расправится пролетариат.

Даже и сейчас ваша власть уже несоизмерима с вашим богатством. Могущество, на которое вы притязаете, — пустой мираж. Вот почему вы и провозгласили свой смехотворный клич: «Назад к предкам!» Вы страдаете бессилием и сами это знаете. Сейчас я покажу вам, что ваша пресловутая сила — мыльный пузырь.

Возьмите фермеров. Какая же это сила? Большая их часть рабы, рабы аренды или закладной. И все они вместе — рабы трестов, которым принадлежат или под чьим контролем находятся (что почти равнозначно) средства вывоза и сбыта урожая: холодильники, железные дороги, элеваторы, пароходы. Мало того, тресты контролируют

и рынки сбыта. Во всем этом фермеры — пешки. Что же касается их политического или государственного веса, то этим вопросом мы займемся, говоря о среднем классе в целом.

Тресты систематически разоряют фермеров, так же как разорили мистера Кэлвина и многих других. Они разоряют и торговцев. Помните, как табачный трест в течение полугода в одном только Нью-Йорке заставил закрыться четыреста табачных лавок? Где прежние владельцы угольных копей? Вы знаете не хуже моего, что железнодорожный трест захватил в свои руки всю добычу антрацита и битуминозного угля. А разве «Стандард ойл» не владеет десятками пароходных компаний? И разве не контролирует всю медную промышленность, не говоря уже о такой мелочишке, как литейный трест, его побочное детище? Осветительная сеть десятков тысяч наших городов также принадлежит «Стандард ойл» или контролируемым им компаниям, равно как и электротранспорт — городской, пригородный и междугородный. Бесчисленных дельцов, когда-то владевших этими предприятиями, нет уже и в помине. Вы это знаете. И вам выходит та же дорога.

Мелкие промышленники недалеко ушли от фермеров. И те и другие сведены на положение

феодальных держателей. Да и так называемые представители свободных профессий свободны только по названию, это холопы. А политики разве не послушные клевреты? Почему вы, мистер Кэлвин, столь ревностно стараетесь организовать фермеров и других представителей средних классов в новую партию? Да потому, что деятели старых партий и слышать не хотят о ваших допотопных идеях, — это лакеи, прислужники плутократии.

Я назвал представителей свободных профессий и искусства холопами. Как же их еще назвать? Все, все они — профессора, проповедники, журналисты — на службе у плутократии; служба же их в том, чтобы проповедовать идеи либо вовсе безвредные, либо угодные правящему классу. Стоит им выступить в защиту идей, неугодных властителям, как их лишают работы. Если они ничего не припасли себе про черный день, им одна дорога — вниз, к пролетариату, а там они либо гибнут, либо становятся рабочими агитаторами. Не забудьте, что печать, церковь и университет определяют общественное мнение страны, задают тон ее умственной жизни. Что же до людей искусства, то они приноравливаются к вульгарным вкусам плутократии.

Однако само по себе богатство еще не власть: это лишь средство к власти; власть же принадлежит правительству. Но кто же в наше время контролирует правительство? Двадцать миллионов американских рабочих? Видите, вам смешно при одной этой мысли. Или восемь миллионов представителей среднего класса? Нет, они так же тут ни при чем, как и пролетариат. Тогда кто же контролирует правительство? Плутократия численностью какие-то жалкие четверть миллиона? Нет, и эта четверть миллиона не контролирует правительство, только служит ему не за страх, а за совесть. Контролирует правительство мозг плутократии — семь небольших, но чрезвычайно влиятельных групп[67]. И не забудьте, что эти группы фактически действуют сейчас заодно.

---

[67] Примечания: 67

Еще в 1907 г. принято было считать, что Соединенными Штатами управляют одиннадцать могущественных групп, но после того как пять железнодорожных трестов слились в единую железнодорожную корпорацию, число их снизилось до семи. Вот перечень пяти объединившихся компаний с указанием их политических и финансовых руководителей: 1) Джеймс Хилл, захвативший всю железнодорожную сеть Северо-Запада; 2) Пенсильванская железнодорожная группа, поддерживаемая крупнейшими банками Филадельфии и Нью-Йорка с Джейкобом Шиффом в качестве финансового директора; 3) Гарриман, объединивший под своим контролем центральные и юго-западные железные дороги, а также дороги Южно-Тихоокеанского побережья, — юрисконсульт Фрик, политический руководитель Оделл; 4) Группа железных дорог, принадлежащих семейству Гулд, и 5) Мур, Рейд и Лидс — так называемая «Рок-Айлендская группа». Все эти могущественные олигархии оказались победителями в условиях конкуренции, и все

они следовали по неизбежному пути объединения.

Разрешите охарактеризовать вам аппарат власти хотя бы одной из этих групп, а именно железнодорожных магнатов. Сорок тысяч юристов защищают ее интересы в суде против интересов трудового народа. Она выпускает тысячи бесплатных проездных билетов для подкупа судей, банкиров, журналистов, министров, профессоров, членов конгресса и законодательных собраний. Она держит на хлебах — и весьма привольных хлебах — лоббистские шайки[68] в столице каждого штата, не говоря уже о Вашингтоне. И во всех городах и поселках страны она содержит целую армию крючков и мелких политиканов, на чьей обязанности лежит укомплектование своими политическими единомышленниками предвыборных собраний и съездов; их дело также подбирать присяжных, подкупать судей и всеми возможными средствами наблюдать интересы

[68] Примечания: 68

Организации, цель которых — подкуп, растление и запугивание депутатов, законодателей и других так называемых «народных представителей».

компании[69].

Господа, я только бегло охарактеризовал здесь аппарат власти одной из семи правящих групп, представляющих мозг плутократии[70]. Ваши двадцать четыре миллиарда не дают вам и на двадцать пять центов политической власти. Ваша власть — пустая видимость, детская погремушка, которую скоро у вас отнимут. Вся политическая власть в наши дни в руках у плутократии. Это она издает законы: сенат, конгресс, суды и законодательные палаты штатов отданы ей на откуп. Но этим дело не ограничивается. Закон должен опираться на силу. И плутократия не только издает законы, но и обеспечивает их выполнение: к ее услугам полиция, армия, флот и, наконец, национальная гвардия — иначе говоря, и вы, и я,

---

[69] Примечания: 69

За десять лет до Эвергарда то же самое утверждала Нью-Йоркская торговая палата, из отчета которой мы заимствуем следующее: «Железнодорожные компании контролируют законодательство большинства наших штатов. Они назначают и смещают сенаторов, депутатов и губернаторов и, как диктаторы, определяют всю правительственную политику».

[70] Примечания: 70

Рокфеллер вышел из рабочей среды. Удачливый и ловкий делец, он стал основателем первого настоящего треста, пресловутого «Стандард ойл». Мы не можем отказать себе в удовольствии привести здесь любопытную страничку из журнальной хроники тех времен, чтобы показать, как свободные капиталы «Стандард ойл», искавшие применения, вытесняли отовсюду мелких капиталистов, способствуя тем самым краху капиталистической системы в целом. Автор этого

отрывка — радикальный журналист Дэвид Грейм Филиппс; статья была напечатана в «Сатэрдэй ивнинг пост» от 4 октября 1902 г. Это единственный дошедший до нас номер журнала, который, судя по внешнему виду и содержанию, пользовался широкой популярностью и выпускался большим тиражом. Вот этот отрывок: «Лет десять назад доходы Рокфеллера, по сообщению авторитетных лиц, составляли тридцать миллионов в год. Нефтяная промышленность была насыщена капиталовложениями до отказа, а между тем на имя одного лишь Джона Дэвисона Рокфеллера поступало ежемесячно два миллиона чистоганом. Вопрос о дальнейшем помещении прибылей становился все более серьезным, можно сказать — угрожающим. Доходы нефтяной промышленности росли и росли, а возможности для новых надежных вложений становились все ограниченнее: их было даже меньше, чем сейчас. Проникновение Рокфеллеров во все новые отрасли промышленности диктовалось не столько их ненасытной жадностью, сколько стремлением дать выход неуклонно нараставшему прибою миллионов, которые нефтяная монополия притягивала, как магнит. Решением этой задачи был занят целый штаб изыскателей и разведчиков. Как говорят, начальник этого штаба получал сто двадцать пять тысяч в год. В первую очередь новые флибустьеры заявили о себе в железнодорожном деле. В 1895 г. Рокфеллеры контролировали уже одну пятую всей железнодорожной сети США. А что можно сказать об их нынешних владениях? Рокфеллерам подвластны почти все железнодорожные линии, веером расходящиеся от Нью-Йорка на север, восток и запад, за исключением одной, в которой им принадлежит пай всего в несколько миллионов. Они контролируют большую часть разветвленных железных дорог, скрещивающихся в Чикаго, а также тех, что тянутся на запад, к Тихоокеанскому побережью. Это их поддержке обязан своим могуществом мистер Морган, хотя они, пожалуй, больше нуждаются в его советах, чем он в их поддержке. Вот уж поистине где чувствуется „общность интересов“! Но одно только железнодорожное дело не могло поглотить эти каскады золота.

Доходы Джона Д. Рокфеллера продолжали расти с двух с половиной миллионов до четырех, пяти и шести миллионов в месяц — до семидесяти пяти миллионов в год. Керосин приносил сказочные доходы. Новое инвестирование барышей добавляло к этой прорве денег свою ежегодную многомиллионную лепту. Как только газ и электричество стали доходным делом, Рокфеллеры бросили сюда свои капиталы, и с той поры каждый американец, чуть стемнеет, становится данником Рокфеллеров, каким бы освещением он ни пользовался. Рокфеллеры занялись кредитованием фермеров, предоставляя им ссуды под залог земли. И когда фермерам во времена недавнего процветания удалось расплатиться по закладным, Джон Д., говорят, с досады чуть не плакал. Восемь миллионов, которые он так удачно пристроил, казалось бы, на долгие годы и за большой процент, вдруг снова повисли у него на шее и теперь хныкали, прося найти им пристанище. Какая обуза для человека с безнадежно испорченным пищеварением, человека, который и без того сбился с ног, пристраивая на хорошие местечки потомство своих нефтяных дивидендов, и потомков их потомков, и потомков этих новых потомков! Рокфеллеры занялись горнорудным делом: железо, уголь, медь, свинец, — не пренебрегая и другими видами промышленности. Трамвай, займы — государственные, городские и по отдельным штатам, грузовое и пассажирское пароходство, телеграф, спекуляция земельными участками и застройка целых городских кварталов — небоскребы, доходные дома, здания под конторы и банки, наконец, страховое и банковское дело. Вскоре в Америке не осталось ни единого уголка, куда бы не проникли миллионы Рокфеллеров. Их „Нэшнл сити банк“ принадлежит к крупнейшим в Соединенных Штатах, с ним могут поспорить разве только Английский и Французский государственные банки. Вклады в этот банк составляют в среднем свыше ста миллионов долларов в день. Он контролирует биржу на Уолл-стрит (Одна из старейших улиц Нью-Йорка, где помещалась фондовая биржа. Здесь под прикрытием господствовавшего в то время экономического хаоса совершались незаконные сделки, предметов

которых служила промышленность всей страны. — *Примеч. ред.*) и весь денежный и фондовый рынок. Но это не единственный банк Рокфеллеров, он возглавляет целую сеть богатых и влиятельных отделений во всех деловых центрах страны — четырнадцать в одном Нью-Йорке! У Джона Д. Рокфеллера одних только акций „Стандард Ойл“ по биржевому курсу — на сумму от четырехсот до пятисот миллионов долларов, сто миллионов в Стальном тресте, почти столько же в одной из Тихоокеанских железных дорог да половина этой суммы в другой — и так далее и так далее, всего не перечтешь. Его доходы за прошлый год достигли сотен миллионов долларов — а это, пожалуй, больше, чем доходы всех Ротшильдов, вместе взятых. И они растут не по дням, а по часам».

и все мы вместе взятые.

После этого спор уже не возобновлялся, обед подходил к концу. Все присмирели и приуныли, прощались тихо, приглушенными голосами. Казалось, гости напуганы видениями грядущих лет.

— Положение действительно серьезное, — сказал Эрнесту мистер Кэлвин. — И вы в общем правильно его изобразили. Я расхожусь с вами в одном. Очень уж вы мрачно смотрите на судьбы среднего класса. Увидите, мы еще себя покажем, мы еще свалим тресты!

— И вернетесь к временам предков, — досказал за него Эрнест.

— А хоть бы и так, — серьезно возразил ему мистер Коуолт. — Я понимаю, вам это кажется чем-то вроде разрушения машин — словом, совершеннейшим абсурдом. Что поделаешь, такова сейчас жизнь; вспомните хотя бы все эти махинации плутократии, о которых вы здесь рассказывали. Во всяком случае, наша политика разрушения ставит себе трезвые, практические цели, чего нельзя сказать о вас, мечтателях. Ваши мечты о социализме не более как мечты. Нет, нам не по пути с вами!

— Если бы вы, господа, хоть мало-мальски

разбирались в законах эволюции и социологии, — говорил Эрнест, пожимая ему руку на прощание, — от скольких бед это избавило бы всех нас!

Глава X
Водоворот

Вскоре после обеда дельцов ударами грома разразились события одно другого ужаснее. И я, скромная профессорская дочка, все свои годы прожившая в тиши университетского мирка, оказалась ввергнутой в мировую катастрофу. Трудно сказать, любовь ли к Эрнесту или же ясное понимание законов общественного развития — понимание, которым я была обязана тому же Эрнесту, — сделали меня революционеркой, но, став ею, я была подхвачена вихрем событий, которые еще три месяца назад казались бы невозможными.

С грандиозными переменами в жизни общества совпал и перелом в моей личной жизни. Началось с того, что отца уволили из университета. Разумеется, не буквально уволили — ему было предложено уйти в отставку, только и всего. Само по себе это не имело для нас большого значения. Напротив, папа был в восторге. Его забавляло, что терпение университетских властей окончательно истощилось после выхода его книги

«Экономика и образование». «Еще один аргумент в мою пользу», — говорил он, торжествуя. Да и трудно было найти более убедительное доказательство того, что класс капиталистов наложил лапу на всю нашу образовательную систему.

Но «доказательство» повисло в воздухе. Никто так и не узнал, что отец ушел из университета не по своей воле. Если бы это событие вместе с привходящими обстоятельствами получило огласку, это могло бы стать своего рода сенсацией, принимая во внимание известность, которую папа снискал себе как ученый. Но нет, газеты расшаркивались перед ним, поздравляя с тем, что он решил отказаться от черной лекторской работы и целиком посвятить себя научным изысканиям.

Вначале папа смеялся, потом им овладел гнев — «живительный» гнев. А вскоре был наложен запрет на его книгу. Это было сделано потихоньку, мы ни о чем и не догадывались. Появление книги не прошло в стране незамеченным. В капиталистической прессе она была вежливо обругана: критики с убийственной учтивостью заявляли, что такому большому ученому не следовало бы жертвовать своей работой и забираться в дебри социологии, где он сразу же и заплутался. Так продолжалось с неделю; отец посмеивался и

говорил, что книга, по-видимому, задела господ капиталистов за живое, — и вдруг как отрезало: газеты и журналы перестали о ней писать. Из продажи она исчезла. В книжных лавках нельзя было найти ни одного экземпляра. Отец запросил издателей, и ему сообщили, что матрицы случайно повреждены. Наконец после длительной и бесплодной переписки отцу было сообщено, что книга вторично набираться не будет и что издательство отказывается от всяких прав на нее.

— Ни один издатель в Америке не захочет взять ее теперь, — предупредил папу Эрнест. — И вот что я скажу вам: на вашем месте я бы уже сейчас подыскал себе какое-нибудь укромное местечко и укрылся в нем до лучших времен. Хватит с вас этого первого знакомства с Железной пятой, не советую идти дальше.

Как истинный ученый, отец никогда ничего не принимал на веру: каждое лабораторное исследование доводил до конца, добиваясь исчерпывающей полноты и ясности. Так и сейчас, запасшись терпением, он стал обращаться во все издательства подряд, но всюду находились какие-то отговорки, и ни один издатель так и не взял книгу.

Когда отец убедился, что книга его под запре-

том, то попробовал обратиться в прессу, но его жалобы нигде не встретили отклика. И вот однажды, на социалистическом митинге, где присутствовало много репортеров, он решил выступить с открытым заявлением. Взяв слово, он рассказал всю историю своих мытарств и на следующий день с интересом схватился за газеты, заранее радуясь тому, что там прочтет, но постепенно лицо его принимало все более возмущенное выражение: по правде сказать, гнев его на этот раз перешел уже в ту стадию, когда это чувство теряет свое тонирующее действие. Ни одна газета ни словом не упомянула о его книге, зато сам он был повсюду изображен каким-то извергом: слова его безбожно перевирались или же произвольно выхватывались из контекста; умеренные и сдержанные выражения были представлены анархистскими выкриками. Это было сделано не без искусства. Мне запомнился следующий пример: отец употребил термин «социальная революция», репортер же просто-напросто выкинул слово «социальная». Неудивительно, что, когда стараниями Ассошиэйтед Пресс сообщение о митинге пошло гулять по всей Америке, отовсюду посыпались ожесточенные протесты. Отца ославили нигилистом и анархистом, а в

одной популярной карикатуре он был изображен с красным флагом, во главе целой орды косматых людей с дикими глазами, потрясающих ножами, бомбами и зажженными факелами.

Пространные и злобные газетные статьи изобличали отца в анархизме, попутно намекая, что он выжил из ума. По словам Эрнеста, капиталистическая печать так всегда и поступала. Газеты нарочно засылали репортеров на социалистические митинги, чтобы потом изобразить все в искаженном, карикатурном виде. Это делалось с целью внушить среднему классу ужас перед пролетариатом и помешать им между собой сговориться. Эрнест снова и снова убеждал отца отказаться от борьбы и заблаговременно скрыться от своих преследователей.

Социалистическая пресса, разумеется, не стала молчать: ее подписчикам, рабочим, вскоре стало известно, что такая-то книга запрещена. Но широкая публика этого не знала. Вскоре большое социалистическое издательство «Знамя разума» предложило отцу выпустить его труд. Папа торжествовал, а Эрнест еще больше встревожился.

— Говорю вам, мы на пороге неведомых событий, — настаивал он. — Что-то готовится вокруг нас в глубочайшей тайне. Мы не знаем, какие

нас ждут перемены, и только предчувствуем их приход. Все общество потрясено до основания. Не спрашивайте меня ни о чем, я и сам ничего не знаю. Но наше общество сейчас — это насыщенный раствор, из которого что-то должно выкристаллизоваться. Процесс уже начался. Конфискация вашей книги — знамение времени. Сколько еще таких книг запрещено, мы понятия не имеем. Мы бродим в потемках. Никто нам ничего не расскажет. На очереди запрещение социалистических газет и издательств. Боюсь, это уже не за горами. Нас хотят задушить.

Эрнест необычайно чутко улавливал пульс своего времени и в этом отношении выделялся даже среди социалистов. Не прошло и двух дней после его разговора с папой, как был нанесен первый удар. Издательство «Знамя разума» выпускало еженедельник того же названия тиражом семьдесят пять тысяч экземпляров, который полностью расходился среди рабочих. Отдельные, специальные, номера журнала выходили массовым тиражом от двух до пяти миллионов. Это издание субсидировалось и распространялось друзьями журнала, которые вокруг него группировались. Первый сокрушительный удар был нанесен массовой серии. Почтовое ведомство запретило

принимать ее к пересылке под тем предлогом, что она не соответствует установленному типу журнала. Неделю спустя запрещен был и еженедельник — как якобы «призывающий к мятежу». Делу социалистической пропаганды был нанесен большой урон. Издательство оказалось в отчаянном положении. Попытка организовать доставку журнала подписчикам через посредство железнодорожных или транспортных контор ни к чему не привела, все они наотрез отказались. Дни издательства были сочтены, однако оно не сдавалось и решило продолжать издание книг. Двадцать тысяч экземпляров «Экономики и образования» находились в переплетном цеху, а остальные печатались, когда однажды ночью к типографии подошла толпа громил с американским флагом. Толпа ворвалась в здание с пением патриотических песен и сожгла его дотла.

А между тем Джирард в штате Канзас, где это произошло, тихий, мирный городок, в нем за всю его историю никогда не бывало рабочих беспорядков. «Знамя разума» платило положенные ставки. Типография была главным промышленным предприятием во всей округе, кормившим сотни семейств. Толпу громил составляли, по-видимому, не жители Джирарда. Казалось, они

вышли из-под земли и, сделав свое гнусное дело, опять провалились сквозь землю. Эрнест считал это событие зловещим симптомом.

— В Соединенных Штатах, очевидно, организованы «черные сотни»[71], — говорил он. — Но это только начало. Самое худшее впереди. Железная пята наглеет с каждым днем.

Так книга отца и погибла в огне. В дальнейшем нам все чаще приходилось слышать о выступлениях «черных сотен». Список запрещенных социалистических изданий все увеличивался, немало было случаев, когда банды громил добирались и до типографских станков и предавали их уничтожению. Капиталистическая печать, разумеется, преданно служила реакции. Послушная своим хозяевам, она чернила и поносила удушенную социалистическую прессу, а черносотенцев выставляла патриотами и спасителями общества. Кампания велась так успешно, что много честных священников, поддавшись пропаганде, благословляли с кафедры зверства черносотенцев, не переставая сокрушаться о прискорбной

[71] Примечания: 71

«Черными сотнями» назывались шайки громил, которые обреченное на гибель самодержавие организовало для борьбы с русской революцией. Эти шайки нападали на революционеров, а также бесчинствовали и грабили, чтобы дать властям повод пустить в дело казаков.

неизбежности насилия.

События назревали. Приближались осенние выборы в конгресс, на которых Эрнест должен был баллотироваться от социалистической партии. Его шансы были очень высоки. После срыва стачки трамвайных служащих в Сан-Франциско такая же неудача постигла стачку возчиков. Оба провала нанесли рабочему движению чувствительный удар. Забастовку возчиков поддерживала федерация портовых рабочих, а также союзы строителей, — все эти организации потерпели тяжелое поражение. Немало тут пролилось рабочей крови. Увесистые полицейские дубинки работали без отказа, но особенно жестоко косил забастовщиков пулемет, установленный на крыше склада Марсденовской компании срочных доставок.

Среди рабочих царило угрюмое, озлобленное настроение. Они жаждали мести, кровавой расплаты. Потерпев неудачу в экономических боях, они стремились свести счеты со своими противниками на политической арене. У них все еще были профсоюзы, и это составляло их силу в приближающейся политической борьбе. Шансы Эрнеста на избрание поднимались. С каждым днем все больше профсоюзов заявляло о под-

держке социалистического кандидата, и Эрнест немало смеялся, когда в ряды его избирателей влились факельщики и массажисты. Рабочие закусили удила. Восторженными толпами валили они на социалистические митинги, не обращая внимания на заигрывания и посулы других партий. Ораторы буржуазных партий выступали перед пустыми скамьями или же встречали такой прием, что приходилось вызывать полицию.

События стремительно развивались, надвигались грозой. Страна была на грани кризиса[72]. После ряда лет усиленного промышленного развития наступил период перепроизводства. Заводы работали неполный день, многие гигантские предприятия закрылись на время, пока страна не разгрузится от избытка товаров. Рабочим то и дело урезали заработную плату.

Следующей была сломлена забастовка механиков. Двести тысяч механиков вместе с полумиллионной армией рабочих-металлистов — своей союзницей — потерпели поражение в тяжелых классовых боях: быть может, самых

---

[72] Примечания: 72

Капиталистическая система производства неизбежно приводила к кризисам, которые ввергали народ в бедствия столь же неизбежные, как и бессмысленные. За периоды процветания он расплачивался периодами экономического застоя и безработицы, вызванными перепроизводством.

кровопролитных в истории Соединенных Штатов. Рабочие вступали в форменные сражения с отрядами вооруженных штрейкбрехеров[73], которых выставила против них ассоциация нанимателей. «Черные сотни», появляясь то тут, то там, учиняли погромы и поджоги, и для расправы с рабочими вызваны были регулярные войска. Часть руководителей забастовки были приговорены к смертной казни, остальных засадили в тюрьму; рядовых рабочих толпами загоняли на скотобойни[74] и беспощадно избивали.

Народу приходилось расплачиваться за годы процветания. Все рынки были забиты товарами, на бирже царила паника, на фоне общего катастрофического падения цен самым катастрофическим было падение цен на труд. В стране не

---

[73] Примечания: 73

Штрейкбрехеры во всем, кроме названия, были частной армией капиталистов. Их хорошо вымуштрованные, вооруженные до зубов отряды по первому требованию перебрасывались в любой конец страны, где рабочие объявляли предпринимателю стачку или же где предприниматель объявлял рабочим локаут. В те удивительные времена не раз случалось, что какой-нибудь предводитель штрейкбрехеров, вроде пресловутого Фарли, вместе со своей армией из двух с половиной тысяч хорошо снаряженных и вооруженных молодцов садился в специальный поезд и мчался через весь континент — из Нью-Йорка в противоположный конец страны, — чтобы сломить забастовку, как это было, например, во время стачки вагоновожатых Сан-Франциско. Все это находилось в вопиющем противоречии с существующими законами, но капиталистам и не такие беззакония сходили с рук, так как американский суд был в полном подчинении у плутократии.

[74] Примечания: 74

«Загнать на скотобойню» — ходячее выражение того времени, обозначавшее насильственный разгон рабочей демонстрации; вошло в обиход с тех пор, как во время одной из горняцких забастовок в Айдахо в конце XIX в. рабочие были загнаны войсками в скотобойню и там избиты. Как выражение, так и само мероприятие перекочевало и в XX в.

утихала классовая борьба. Повсюду вспыхивали забастовки, а там, где рабочие не бастовали, их пачками увольняли с заводов. Газеты были испещрены сообщениями о погромах и беспорядках, и ко всем этим злодеяниям приложили руку «черные сотни»[75]. Разбой, произвол и бесцельное уничтожение имущества были делом их рук. Все силы регулярной армии были двинуты против забастовщиков, и каждый раз появление военных отрядов провоцировалось «черными сотнями». Города и поселки были превращены в вооруженные лагеря, на рабочих охотились, как на зверей. Ряды штрейкбрехеров пополнялись за счет армии безработных, а когда союзы пытались бороться со штрейкбрехерами, на выручку спешили войска и расправлялись с союзами. В

[75] Примечания: 75

Чисто американские организации — только название перенесено в Америку из России; «черные сотни» вербовались из многочисленных тайных агентов, которых капитализм уже в XIX в. широко использовал в борьбе с рабочим движением. Это подтверждается свидетельством хотя бы такого высокоавторитетного современника, как Кэролл Д. Райт, государственный уполномоченный по вопросам труда. В своей книге «Рабочее движение» он отмечает, что «во время особенно памятных нам грандиозных забастовок предприниматели умышленно вызывали рабочих на акты насилия»; компании часто сами провоцировали забастовки, чтобы избавиться от товарных излишков; во время железнодорожных забастовок агенты компаний поджигали товарные вагоны, стремясь создать впечатление беспорядков. Из этих тайных агентов и возникли «черные сотни». Впоследствии олигархия использовала их как провокаторов — одно из самых страшных своих орудий.

подавлении беспорядков принимала участие и национальная гвардия. Закон, о котором говорил Эрнест, не был еще приведен в действие, и власти обходились регулярными войсками, но на этот период террора число их было увеличено на сто тысяч человек.

Никогда еще пролетариат не терпел такого поражения. Короли промышленности, олигархи, впервые боролись плечом к плечу с ассоциациями нанимателей — организациями среднего класса. Напуганные кризисом и катастрофическим падением цен, поддерживаемые промышленными королями, предприниматели нанесли организованному пролетариату жестокое поражение. Это был могущественный союз, но по существу — союз льва с ягненком, и средний класс скоро в этом убедился.

Рабочие затаили жажду мести, но пока что были раздавлены. Однако разгромить рабочих еще не означало покончить с кризисом. Банки, представлявшие одну из важнейших сил олигархии, повсеместно требовали возвращения взятых ссуд. Биржа превратилась в чудовищный водоворот: здесь финансовые магнаты Уолл-стрита ежечасно пускали ко дну национальные богатства Америки. И над этими развалинами и

обломками вставало грозное видение нарождающейся олигархии, безучастной, невозмутимой, уверенной в себе. Ее равнодушие и цинизм среди всеобщего крушения и хаоса были поистине ужасны. К услугам олигархии, для выполнения ее планов, были не только ее огромные средства, но также и средства государственной казны.

Нанеся поражение пролетариату, промышленные короли взялись за средний класс. Ассоциации предпринимателей, которые еще недавно помогли олигархии расправиться с рабочими организациями, теперь сами оказались ее жертвой. Среди крушения и гибели, постигшей мелких дельцов и промышленников, уцелели только тресты, и не только уцелели, но и развили кипучую деятельность. Они сеяли ветер, чтобы пожать бурю, ведь буря сулила им неисчислимые богатства. И какие богатства! Чудовищные! Чувствуя себя достаточно крепкими и устойчивыми, чтобы выдержать натиск стихий, которые сами же они выпустили на волю, они шныряли среди обломков кораблекрушения, вылавливая из пучины все, что могло им пригодиться, беззастенчиво грабя своих жертв. Акции американских предприятий продавались за бесценок, и тресты скупали все, что ни попадется, прибирая к рукам

все новые и новые отрасли промышленности, наживаясь на разорении средних классов.

И вот летом 1912 года среднему классу был нанесен решающий удар. Даже Эрнест был поражен тем, как быстро это совершилось. С опасением смотрел он в будущее, не ожидая от осенних выборов ничего хорошего.

— Ничего не выйдет, — говорил он. — Мы разбиты. Железная пята у власти. Еще недавно я возлагал надежды на выборы, на то, что нам удастся завоевать власть мирным путем, и оказался не прав. Прав был Уиксон. Скоро мы лишимся и последних жалких свобод. Железная пята втопчет нас в землю. Остается одно: решительное, кровопролитное восстание рабочего класса. Конечно, мы победим, но я содрогаюсь при мысли, во что обойдется нам победа.

С тех пор Эрнест все надежды возложил на революцию. В этом отношении он намного опередил своих единомышленников. Его товарищи социалисты не соглашались с ним. Они все еще верили, что победы можно добиться на выборах. Они не то чтобы растерялись — это были люди большой выдержки и мужества, — но все еще не понимали того, что происходило на их глазах. Опасность, о которой твердил Эрнест, предвидев-

ший приход к власти олигархии, не казалась им серьезной. Он призывал их к бдительности, но они слишком верили в свои силы. В их теории социальной эволюции не было места для олигархии, и они отказывались ее видеть.

— Вот пошлем тебя в конгресс, и все устроится, — говорили они Эрнесту на одном из наших конспиративных собраний.

— А если меня выкинут из конгресса, — холодно спрашивал Эрнест, — а потом поставят к стенке и разнесут мне череп? Как это вам понравится?

— Тогда мы подымемся все, как один! — сразу откликнулось несколько голосов. — Мы двинем против них все свои силы!

— И захлебнетесь в собственной крови, — ответил Эрнест. — То же самое утверждал и средний класс, а где сейчас его хваленые силы?

Глава XI
На переломе

Мистер Уиксон не посылал за папой, они встретились неожиданно — на пароме, шедшем в Сан-Франциско, и, следовательно, предостережение, с которым он обратился к папе, было делом случая. Если бы не эта встреча, никакого предостережения не было бы. Правда, это ничего не изменило. Отец вел свой род от пассажиров «Мейфлауэра»[76], и его не так-то легко было сломить.

— Эрнест был совершенно прав! — сообщил он мне уже с порога. — Твой Эрнест — умница! Я бы такого зятя не променял ни на Рокфеллера, ни на короля английского.

— Что случилось? — испуганно спросила я.

— Олигархия и в самом деле точит зубы — на нас с тобой во всяком случае. Мне сообщил об этом Уиксон чуть ли не этими самыми словами. Собственно, для олигарха он проявил величай-

---

[76] Примечания: 76

Один из первых кораблей, на которых вскоре после открытия Нового Света прибыли в Америку колонисты. Потомки этих ранних поселенцев чрезвычайно гордились своей родословной, однако с течением времени семя их рассеялось по всей стране, так что, в сущности, каждый американец мог считать, что в его жилах течет кровь первых колонистов.

шую любезность — предложил мне вернуться в университет. Как это тебе нравится? Грязный обирала Уиксон решает вопрос, быть или не быть мне профессором Калифорнийского университета! Впрочем, он осчастливил меня и еще более лестным предложением: возглавить грандиозный институт физических наук — это новый проект наших олигархов: ведь им нужно куда-то девать свои прибыли.

«Помните, что я сказал этому социалисту, приятелю вашей дочери? — спросил он меня. — Я заявил ему, что мы раздавим рабочий класс. И так оно и будет. Перед вами я преклоняюсь как перед ученым. Но если вы свяжете свою судьбу с судьбой рабочего класса, вам тоже солоно придется. Вот и все, что я вам хотел сказать». И он повернулся и пошел прочь.

— Значит, нам нужно поторапливаться со свадьбой, — сказал Эрнест, узнав об этом.

Тогда я не поняла, что он имеет в виду, но вскоре мне это стало ясно. Мы как раз ждали квартальной выплаты сьеррских дивидендов, однако все сроки прошли, а отец не получил обычного извещения. Повременив несколько дней, он написал в контору. Оттуда немедленно ответили, что имя отца не значится в книгах компании; более того,

у него вежливо попросили объяснений.

— За объяснениями дело не станет, черт бы их побрал совсем! — сказал папа и отправился в банк взять из сейфа свои акции.

— Твой Эрнест просто гений, — заявил он мне, возвратившись, когда я помогала ему снять пальто в прихожей. — Слышишь, дочка, твой будущий муж — гений!

Такие преувеличенные похвалы, я знала по опыту, не предвещали ничего хорошего.

— Со мной эта публика уже расправилась, — продолжал папа. — Представь себе, акций как не бывало! В сейфе одни только голые стенки. Видно, вам с Эрнестом действительно придется поторапливаться со свадьбой.

Отец и на этот раз остался верен своим лабораторным методам. Он предъявил Сьеррской компании иск, но, к сожалению, не мог представить суду ее конторских книг. К тому же с компанией в суде считались, а с папой — нет. Словом, все вышло как по-писаному: отец потерпел полнейшее поражение, и открытый грабеж восторжествовал.

Сейчас мне и грустно, и смешно вспомнить, что после этого свалилось на голову бедного папы. Повстречав мистера Уиксона на улице в

Сан-Франциско, он позволил себе назвать этого джентльмена отъявленным негодяем. Папу тут же арестовали, предъявив ему обвинение в оскорблении действием, приговорили к штрафу и обязали впредь не нарушать общественной тишины. Это было так нелепо, что он сам хохотал, вернувшись домой после всей этой эпопеи. Но какой шум подняли местные газеты! Они самым серьезным образом кричали о «микробе насилия», который поражает всякого, кто соприкасается с социалистами. Тихое, мирное житие моего отца выставлялось примером тлетворного действия этого ужасного микроба. Некоторые газеты утверждали, что престарелый профессор не выдержал умственного напряжения и сошел с ума и что самое целесообразное — отвести ему палату в соответствующем казенном заведении. И это было не пустой угрозой. Такая опасность действительно существовала: папа убедился в этом на примере епископа Морхауза, — и так хорошо усвоил этот урок, что никакие преследования не могли уже вывести его из равновесия; мне думается, даже его враги становились в тупик перед такой сверхъестественной кротостью.

Следующим на очереди оказался наш дом, где прошло мое детство. Папе была предъявлена

неведомо откуда взявшаяся просроченная закладная и предложено немедленно выехать. На самом деле ни о какой закладной не могло быть и речи: за участок было полностью заплачено при покупке, а дом строился на наличные деньги; и участок, и дом были свободны от долгов. Но это не помешало нашим гонителям составить закладную по всей форме, со всеми полагающимися подписями и даже с отметками об уплате процентов за много лет. На сей раз папа и не пикнул: раз у него забрали все деньги — значит, могли забрать и дом. Искать защиты было негде. У власти были те, кто решил его уничтожить. Папа был истинный философ — он даже не сердился больше.

— Меня решено раздавить, — говорил он, — но отсюда еще не следует, что я должен сам рыть себе могилу. Нет, уж пощажу свои старые кости. Достаточно меня били. Не хватает мне еще на старости лет угодить в сумасшедший дом!

Кстати, это возвращает меня к нашему епископу Морхаузу, о котором я давно не упоминала. Но сначала расскажу о нашей с Эрнестом свадьбе. Я понимаю, что по сравнению с описываемыми здесь событиями все личное должно отступить на второй план, и расскажу об этом коротко.

— Вот мы и настоящие пролетарии, — сказал мне отец, когда мы покидали свой дом. — Я часто завидовал твоему жениху: очень уж хорошо он знает пролетариат. Ну а теперь и мне представляется возможность узнать и изучить его.

Очевидно, в папе заговорила романтическая жилка. Он и наши бедствия склонен был рассматривать как своего рода приключение. В душе его не было места ни злобе, ни обиде. Простодушный мудрец, он не способен был к мстительным чувствам, а широкие духовные интересы позволяли ему легко мириться с утратой привычных житейских удобств. Когда мы переехали в плохонькую четырехкомнатную квартирку в пролетарском районе Сан-Франциско, южнее Маркет-стрит, папа радовался этой перемене, как ребенок. С этой свежестью восприятия он соединял зрелость и безошибочную ясность мысли, свойственную выдающемуся ученому. Ум его и в преклонном возрасте не утратил своей гибкости. Он не был рабом предубеждений, условное, привычное не имело над ним власти. Только научные и математические истины были для него обязательны, только с ними он считался. Мой отец был великий ученый. У него была душа и ум выдающегося человека. В некоторых отношениях он превосхо-

дил даже Эрнеста, а выше Эрнеста для меня не было никого.

Меня тоже отчасти радовала перемена в нашей жизни. Она спасала нас от организованного остракизма, которому мы подвергались в родном городе, с тех пор как навлекли на себя немилость нарождающейся олигархии. К тому же «приключение» это и для меня было исполнено романтики, тем более волнующей, что то была романтика любви. Изменение наших жизненных обстоятельств ускорило мой брак, и в четырехкомнатную квартирку на Пелл-стрит, в одной из трущоб Сан-Франциско, я въехала уже как жена Эрнеста.

А самое главное — я дала Эрнесту счастье! Я вошла в его бурную жизнь не как новая, беспокойная сила, но как сила, проливающая мир и радость. Со мной Эрнест отдыхал. Это было для меня лучшей наградой, а также свидетельством того, что я выполняю свой долг. Зажечь улыбку светлой радости и забвения в этих милых усталых глазах — разве не было для меня величайшим счастьем?

Милые усталые глаза! Эрнест работал, как редко кто работает, и всю жизнь трудился для других — это лучшее мерило его мужества, его высокого

сознания. А сколько было в нем человечности и нежности! Бесстрашный борец с телом гладиатора и душой орла, он был чуток и ласков со мной, как поэт. Да он и был поэтом. Дело его было для него песней. Всю жизнь пел он песнь о человеке. Душу Эрнеста переполняла любовь к человеку, и этой любви он отдал жизнь, ради нее принял мученический венец.

И это — без всякой надежды на воздаяние. В мировоззрении Эрнеста не было места вере в загробную жизнь. Весь устремленный в бессмертное, он отрицал бессмертие. Не правда ли, какой парадокс! Пламенный дух, он обрек себя холодной и суровой философии — материалистическому монизму. Я спорила с ним, говоря, что залогом бессмертия служит мне его крылатая душа и что мне, видно, придется прожить не одну вечность, чтобы измерить величие ее полета. И Эрнест обнимал меня и шутя называл своим маленьким метафизиком; усталости в глазах как не бывало, из них струился свет любви, который уже сам по себе был вернейшим доказательством его бессмертия.

И еще он называл меня своей милой дуалисткой и объяснял, что Кант, создавший учение о чистом разуме, предал разум во имя служения

Богу. Он приводил мне этот пример, уверяя, что я способна сделать то же самое! И когда я, приняв это обвинение, храбро заявляла, что никакой вины тут не вижу, он еще крепче прижимал меня к себе и смеялся, как может смеяться только душа, возлюбившая Бога. Я утверждала, что наследственность и среда так же бессильны объяснить своеобразие и одаренность его натуры, как неуклюжие холодные пальцы науки не способны нащупать, отделить и препарировать то неуловимое, что является основой всякой жизни.

Я считала пространство атрибутом божества и видела в человеческой душе отражение божественной сущности. И когда Эрнест называл меня своим неисправимым метафизиком, я называла его моим бессмертным материалистом. Так мы любили друг друга и были счастливы. Я прощала ему материализм ради его высокого служения, к которому не примешивалось и тени корысти, ради его безграничной скромности, исключавшей всякое самодовольство и самолюбование.

Но гордость была ему присуща. Какой же орел не знает гордости! Эрнест говорил: куда больше величия в том, чтобы слабый огонек жизни почитал себя богоподобным, чем чтобы божество почитало себя божеством. И он прославлял в

человеке все то, что мнил земным и смертным. Он любил читать мне вслух один поэтический отрывок. Всего стихотворения он не знал и не мог доискаться, кто его автор[77]. Я привожу здесь эти строки не только потому, что Эрнест любил их, но и потому, что вижу в них отражение той же противоречивости, что жила в моем муже, узнаю ту же силу духа и то же отрицание его. Ибо как может человек, с восторгом, страстью и пламенным вдохновением повторяющий эти строки, быть только прахом земным, мимолетной тенью, зыбким, ускользающим облачком!

Мой по праву рожденья удел – торжество
И удача в суровой борьбе.
Жизнь я славлю свою, всей земле я пою
О моей высокой судьбе.

Узнай не одну я – мильоны смертей,
Что нас ждут до конца времен, —
Все ж, как чашу вина, пью я счастье до дна
Всех стран, веков и племен.

---

[77] Примечания: 77

Имя автора стихотворения, известного нам только по этому отрывку, навсегда утеряно.

О пенная Гордость, о терпкая Власть,
О сладкая Женственность! Я
На коленях пью, славя чашу мою,
Золотой нектар бытия.

Я пью за Жизнь, я пью за Смерть,
Воспевая и эту и ту.
Пусть умру я – другой бокал круговой
Подхватит, как я, на лету.

Я тот, кого ты в мир труда и мечты
Из рая изгнал, мой Творец.
Здесь я прожил века, здесь пребуду, пока
Не придет Вселенной конец.

Ведь это мой мир, мой прекрасный мир,
Мир страданий, душе дорогих:
Здесь я сердцем постиг и младенческий крик,
И пытку мук родовых.

Пульс грядущих веков в юной алой крови!
Страсти целого мира вместив,

Этот дикий поток все сметает с дорог,
Самый ад на пути загасив.

От плоти до праха – я человек,
От трепетной плоти земной,
От сладостной тьмы нашей первой тюрьмы
До сиянья души нагой.

Кость от кости моей и от плоти плоть,
Мир покорен веленьям моим,
И к Эдему пути он стремится найти,
И порыв его непобедим.

Дай мне выпить, Господь, кубок жизни до дна,
Весь в радуге красок живых,
И вечную ночь я смогу превозмочь
Виденьями снов золотых.

Я тот, кого ты в мир труда и мечты
Из рая изгнал, мой Творец.
Здесь я прожил века, здесь пребуду, пока

Не придет Вселенной конец.

Ведь это мой мир, мой прекрасный мир,

Царство радости светлой моей —

От сверкающих льдов заполярных краев

До тьмы любовных ночей[78].

Эрнест работал, выбиваясь из сил. Выносливый организм многое дозволял ему, но глаза его говорили об утомлении. Милые усталые глаза! Эрнест спал всего каких-нибудь четыре-пять часов в сутки и все же не успевал переделать все свои ежедневные дела. Он продолжал пропагандистскую работу, и его лекции в рабочих аудиториях были расписаны на недели вперед. Много времени отнимала избирательная кампания: возни было столько, что другому хватило бы на целый рабочий день. С разгромом социалистических издательств его скудные авторские доходы прекратились, и надо было думать о новом заработке; не только революционная работа, но и жизнь предъявляла свои требования. Эрнест переводил для журналов научные и философские

---

[78] Примечания: 78
Пер. Б. Лейтина. — *Примеч. ред.*

статьи и, придя домой поздно вечером, утомленный сутолокой избирательной кампании, садился за стол и работал далеко за полночь. Ко всему прочему он еще и учился, учился до самой смерти, и умудрялся делать большие успехи.

И он еще находил время дарить мне любовь и счастье. Разумеется, это было возможно только потому, что я всецело жила его жизнью. Я научилась стенографировать и писать на машинке и стала его секретарем. Эрнест уверял, что этим я наполовину его разгружаю. Во всяком случае, это позволяло мне целиком войти в его работу. Мы жили одними интересами, вместе трудились и вместе отдыхали.

А сколько драгоценных минут мы урывали для себя, похищая их у работы, пусть это было только слово, короткий поцелуй, мгновенная вспышка любви… Взятые у жизни украдкой, эти минуты были тем сладостней. Ибо мы жили на сверкающих высотах, где воздух был прозрачен и чист, где труд был обращен на пользу человечества и куда низменным, эгоистическим побуждениям не было доступа. Мы любили нашу любовь и никогда ничем ее не осквернили. И самое главное: я выполняла свой долг. Я давала отдых и покой тому, кто самоотверженно работал для других, — мое-

му милому материалисту с усталыми глазами.

Глава XII
Епископ

Когда мы поженились, случай опять свел меня с епископом Мохаузом. Но расскажу по порядку. После своего ошеломляющего выступления на съезде ИПГ епископ, добрая душа, не устоял перед уговорами заботливых друзей и взял отпуск. Однако вернулся он, еще более утвердившись в своем решении проповедовать веру истинную. Первая же его проповедь повергла в ужас всех прихожан, так как она была почти дословным повторением того, что епископ говорил съезду. Снова и снова твердил он, что церковь отринула учение Христа и на место Спасителя поставила маммону.

В результате беднягу отправили, уже не спросясь, в частную психиатрическую лечебницу, меж тем как газеты скорбели о его душевном заболевании и умилялись его кротости и голубиной чистоте. В лечебнице епископа держали на положении узника. Я несколько раз пыталась навестить его, но не была допущена. Меня глубоко волновала трагедия разумного, нормального, чи-

стого душой человека, раздавленного жестоким насилием общества, так как мне были хорошо знакомы и здравый ум, и благородные побуждения епископа. Эрнест говорил, что его погубило незнание законов биологии и социологии: оно-то и помешало ему стать на правильный путь в борьбе с торжествующим злом.

Меня страшила беспомощность нашего друга. Если он не отступится от своих убеждений, его ждет смирительная рубашка. И ничто не спасет его — ни деньги, ни высокое положение, ни образование. Его взгляды казались обществу опасными, и общество не допускало, что их может исповедовать нормальный человек. Так по крайней мере дело рисовалось мне.

Но голубиная кротость не помешала епископу проявить на этот раз мудрость змия. Он понял грозящую ему опасность и, увидев себя в сетях, сделал попытку освободиться. Он вынужден был один бороться за свое спасение, не рассчитывая на помощь таких друзей, как папа, Эрнест или я. Принудительное затворничество его отрезвило. Вскоре душевное здоровье вернулось к епископу Морхаузу: видения не посещали его больше, он окончательно излечился от мании, будто долг общества — пасти Христову паству.

Короче говоря, он выздоровел, совсем выздоровел, и газеты, а также церковники радостно приветствовали его возвращение. Я однажды зашла в храм, где он служил. Его проповедь ничем не отличалась от тех, какие он произносил, когда ему еще не являлись видения. Разочарование, возмущение овладели мной. Неужели нашего епископа все-таки удалось сломить? Так значит, он трус? И отречение вырвали у него угрозами? А может быть, этот подвиг оказался ему не под силу и он вынужден был сдаться перед тиранией установленного?

Я побывала у епископа в его роскошном особняке. Как он изменился! Исхудал, лицо избороздили морщины, которых я раньше не замечала. Чувствовалось, что он смущен и не рад моему приходу. Во время нашего разговора он все теребил рукав, глаза его бегали по сторонам, не решаясь встретиться с моими. Видно было, что мысли его где-то блуждают: он то умолкал, то говорил бессвязно, перескакивая с одного на другое. Ничто не напоминало в нем знакомого мне спокойного человека с благостным лицом Христа, с ясными, прозрачными глазами, со взором светлым и безбоязненным, как его душа. Беднягу, конечно, истязали, решила я, побоями привели к смире-

нию. Он не устоял перед этой волчьей стаей.

Мне было грустно, бесконечно грустно. Речи епископа звучали уклончиво, и он так настораживался при каждом моем слове, что я не решалась ни о чем расспрашивать. Туманно упомянул он о своей болезни, а потом мы толковали о вопросах, касающихся его храма, о недавно отремонтированном органе и всяких благотворительных делах. Когда я собралась уходить, епископ так откровенно обрадовался, что я, наверно, не сдержала бы смеха, когда бы сердце мне не жгли слезы.

Бедный подвижник! Если бы только я знала! Он сражался, как титан, а я и не подозревала. Один, совсем один среди миллионов своих ближних, он продолжал борьбу. Колеблясь между страхом и верностью долгу и правде, он не предал долга и правды. И так глубоко было его одиночество, что даже мне он не доверился. Горе научило его осторожности.

Вскоре все это открылось мне. Однажды епископ исчез. Он никого не предупредил о своем уходе. Так как дни проходили за днями, а он все не появлялся, в городе возникли слухи, что в припадке внезапного помешательства он наложил на себя руки. Но эти предположения рассеялись,

когда стало известно, что епископ распродал все свое имущество: городской дом и загородную виллу в Менло-парке, все картины, коллекции и даже заветное свое сокровище — библиотеку. Словом, готовясь к решительному шагу, епископ втихомолку разделался со всем своим земным достоянием.

Все это произошло в то время, когда мы были заняты собственными горестями. И только после переезда на новую квартиру, когда для нас началась новая жизнь, мы стали думать и гадать о том, что случилось с епископом.

Разгадка не заставила себя долго ждать. Однажды, в сумерки, я спустилась вниз, в мясную, чтобы купить к ужину отбивные котлеты. (Теперь, в нашем новом положении, мы последнюю дневную трапезу называли не обедом, а ужином.)

Когда я выходила из мясной, кто-то вынырнул из дверей зеленной лавки, тут же рядом. Что-то знакомое в этой нахохленной фигуре заставило меня обернуться. Но заинтересовавший меня человек свернул за угол и быстро удалился. Я вгляделась. Сутулые плечи незнакомца и седая бахромка волос между воротником и полями шляпы, безусловно, кого-то мне напоминали. Вместо того чтобы вернуться домой, я бросилась

за ним следом, стараясь отогнать мысли, невольно приходившие мне в голову. Не может быть, говорила я себе. В этом выцветшем комбинезоне, обтрепавшемся и не по росту длинном — нет, ни за что не поверю!

Я остановилась, смеясь над собой, готовая прекратить нелепую погоню. Но эти плечи и седые кудри… И я снова побежала следом. Обгоняя незнакомца, я бросила на него испытующий взгляд, а потом круто повернулась. Да, никаких сомнений, это и в самом деле был епископ Морхауз.

Епископ остановился. От неожиданности у него пресеклось дыхание, большой бумажный пакет выскользнул из рук и упал на тротуар. Из разорванной бумаги нам под ноги покатилась картошка. Епископ смотрел на меня с удивлением и испугом. Он весь как-то поник, плечи еще больше ссутулились.

Я протянула ему руку. Он пожал ее — его рука была холодная и влажная, — смущенно откашлялся, и я заметила у него на лбу капли пота. Видно было, что он не может прийти в себя от испуга.

— Картошка, — чуть слышно пробормотал он. — Какая жалость!

Мы оба нагнулись и начали подбирать картошку и укладывать в рваный пакет. Епископ бережно, локтем прижал его к себе. Между тем я выразила радость по поводу нашей нечаянной встречи и начала упрашивать его сейчас же идти к нам.

— Папа так обрадуется, — уговаривала я. — И живем мы совсем рядом.

— Нет-нет, — отвечал он. — Мне нельзя. Прощайте.

Он боязливо огляделся, словно опасаясь, что за ним следят, и вдруг пошел прочь.

— Дайте мне ваш адрес, я как-нибудь зайду, — предложил он, видя, что я упорно следую за ним с явным намерением не упускать из виду, после того как я так счастливо на него набрела.

— Нет, — твердо сказала я. — Я не отпущу вас.

Он посмотрел на картошку, вываливавшуюся из пакета, и на сверток в другой руке.

— Поверьте, это невозможно. Простите меня. Если бы вы только знали…

Казалось, он был готов разрыдаться, но уже в следующую минуту овладел собой, и голос его зазвучал уверенно.

— Видите, у меня провизия, — продолжал он. — Это очень печальная история. Ужасная история,

я бы сказал. Есть тут одна старушка. Она голодает. Надо ей сейчас же это отнести. Позвольте же мне. Вы сами понимаете… А потом я вернусь. Обещаю вам.

— Ну что ж, пойдемте вместе, — предложила я. — Это далеко?

Он снова вздохнул, но подчинился.

— В квартале отсюда… Но только, пожалуйста, скорее.

В этот вечер благодаря епископу я кое-что узнала о том, что непосредственно меня окружало. До сих пор я и не догадывалась, какая ужасная, беспросветная нужда ютится со мною рядом. Я не занималась благотворительностью. Эрнест не раз говорил мне, что облегчать нужду делами милосердия — все равно что лечить язву примочками. Ее надо удалить, говорил он. Дайте рабочему его полный заработок. Назначьте пенсию тому, кто честно потрудился в жизни, и вам не придется заниматься благотворительностью. Убежденная его доводами, я все силы отдавала нашему делу и не растрачивала их на облегчение тех страданий, которые на каждом шагу порождает несправедливый общественный строй.

Я последовала за моим спутником, который вскоре привел меня в тесную каморку во дво-

ровом флигеле. Здесь жила старушка — немка лет шестидесяти, как сообщил мне епископ. Она удивленно вскинула на меня глаза, но, приветливо поздоровавшись, опять повернулась к своей работе. На коленях у нее лежали мужские брюки. Рядом на полу высилась кипа таких же брюк. Увидев, что в комнате нет ни угля, ни растопки, епископ снова куда-то ушел.

Заинтересовавшись ее работой, я подняла с пола пару брюк.

— Шесть центов, — сказала старушка, ласково кивая головой, но не поднимая на меня глаз.

Она не слишком проворно управлялась со своим делом, зато ни на минуту не отрывалась от него. Видно было, что все ее существо подчинено одному только импульсу — шить и шить, класть стежок за стежком.

— Только и всего? — удивилась я. — За такую работу? Сколько же времени берет одна пара?

— Да-да, — сказала она. — Так они платят. Шесть центов за отделку брюк. На каждую пару у меня уходит два часа. Хозяин этого не знает, — добавила она, видимо, боясь, как бы не повредить своему работодателю. — Он не виноват, что я так долго копаюсь. Ревматизм совсем замучил. Молодые, пожалуй, вдвое быстрее справляются.

На хозяина грех жаловаться. Видите, он дает мне работу на дом — знает, как на меня действует шум машины. Кабы не его доброе сердце, пришлось бы с голоду помирать.

Да, швеям в мастерской он платит восемь центов с пары. Но что поделаешь!.. Теперь и молодым не хватает работы. А уж старуха пропадай совсем. Бывает, что домой принесешь одну только пару. Ну а сегодня до вечера с восемью нужно справиться.

Я спросила, сколько часов она проводит за работой. Она сказала, что это зависит от сезона.

— Летом, когда срочные заказы, работаю с пяти утра до девяти вечера. А зимой холод не позволяет. Бывает, руки так сведет, что пальцы не гнутся. Пока их еще разогреешь. Зато уж потом засиживаюсь за полночь. Да, последнее лето было трудное. Кризис, сами знаете. Прогневили мы, видно, Бога. На этой неделе у меня первый раз работа. А известно, когда работы нет, туговато приходится. Я всю жизнь с иглой. И дома, в Германии, и здесь, в Сан-Франциско, вот уже тридцать три года. Главное, было бы чем уплатить за квартиру. Домохозяин у нас добрый, но насчет квартирной платы строг. Что ж, это его право. Хорошо хоть за квартиру недорого берет.

Три доллара за эту вот комнату. Разве это много? Но только попробуй наскреби каждый месяц эти три доллара!

Она умолкла и, все так же покачивая головой, склонилась над шитьем.

— У вас, должно быть, каждый цент на счету? — снова вызвала я ее на разговор.

Она закивала головой.

— Только бы за квартиру отдать, а там уж как-нибудь. Конечно, мяса не купишь. И кофе пустой попьешь, забелить-то его нечем. Но уж раз-то в день обязательно покушаешь, а когда и два.

Старушка сказала это не без гордости, с тем оттенком удовлетворения, какое дает жизненный успех. Она продолжала шить молча, и я заметила, как внезапно набежавшая грусть затуманила ее добрые глаза и залегла у рта горькими складками. Взгляд ее устремился куда-то далеко. Старушка быстро отерла непрошеную слезу. Она мешала ей шить.

— Нет, это не с голоду сердце ноет, — пояснила она. — К голоду нам не привыкать. Дочку мне схоронить пришлось — машина ее сгубила. Нелегко ей жилось, бедняжке, — всегда в работе да в заботе. А все же я никак не пойму — уж такая была крепкая, ей, бывало, все нипочем. И совсем

молодая: сорок лет — небольшие года. Работала всего-то каких-нибудь тридцать лет. Правда, сызмальства ей начать пришлось. Муж у меня рано помер: котел у них разорвался на заводе. Что было делать? Ей как раз одиннадцатый годок пошел, но большая была девочка, крепкая. Это ее машина извела. Нет-нет, не говорите, я знаю, что машина. Проворнее моей дочки не было работницы на фабрике. Уж я сколько передумала — а теперь знаю... Потому-то и не могу работать в мастерской: машина на меня действует. Все мне чудится, будто она твердит: «Да-да, я-я». И так весь день-деньской. Поневоле вспомнишь дочку и уж с работой никак не сообразишь.

На старые ее глаза опять навернулись слезы. Старушка утерла их ладонью и низко склонилась над шитьем.

Я услышала, как епископ, спотыкаясь, поднимается вверх по лестнице, и поспешила открыть ему. Боже, какое это было зрелище! Он тащил на спине полмешка угля, сверху лежала растопка. Все лицо у него было черное, пот струйками сбегал по щекам. Он сбросил свою ношу у печки и, достав из кармана пестрый платок, принялся вытирать им лицо. Я не верила своим глазам. Трудно было узнать нашего епископа в этом

чумазом, как угольщик, рабочем, одетом в расстегнутую у ворота дешевую блузу (пуговицу он где-то потерял), а главное — в комбинезон. Особенно неприглядным казался мне его комбинезон: сильно потертые брюки спускались на самые пятки, а в поясе стянуты были ремешком, как у поденщика.

Епископу было жарко от натуги, но у бедной старушки коченели пальцы, и, прежде чем уйти, он растопил печку. Я начистила картошки и поставила ее на огонь. Впоследствии мне не раз приходилось слышать о еще более тяжких горестях, погребенных в мрачных колодцах окрестных домов.

Наконец мы явились домой, где Эрнест уже ждал меня с беспокойством. Когда первая радость и волнение, вызванные нашим приходом, улеглись, епископ с наслаждением откинулся на спинку кресла, вытянул ноги в обвисших штанах и облегченно вздохнул. Он сказал, что впервые со дня своего исчезновения встречается с друзьями. Очевидно, он сильно истосковался за эти недели одиночества. Он многое порассказал нам, но больше всего говорил о том, какое для него счастье выполнять заветы Учителя.

— Теперь я поистине пасу его овец. Мне препо-

дан великий урок. Нельзя насыщать душу, пока голодно тело. Накормите их сперва хлебом, маслом и картофелем — только тогда они возжаждут пищи духовной.

Он с удовольствием ел мои котлеты. Никогда в прежнее время я не замечала у него такого аппетита. Когда мы заговорили об этом, епископ сказал, что чувствует себя превосходно, как никогда в жизни.

— Я теперь все пешком хожу, — сказал он и залился краской при мысли о том времени, когда разъезжал в карете, как будто это бог весть какой грех. — Вот и здоровье мое поправилось, — прибавил он поспешно. — А главное — я счастлив: трудно сказать, как счастлив. Наконец-то я в самом деле принял посвящение.

И все же на лице его была печать скорби — то была вся скорбь мира, которую он взвалил себе на плечи. Теперь он видел жизнь во всей ее неприглядности, и это была не та жизнь, о которой ему говорили убористые тома его библиотеки.

— И всем этим я обязан вам, молодой человек, — обратился он к Эрнесту.

Тот смутился.

— Я предупреждал вас, — сказал он неловко.

— Вы не поняли меня, — возразил епископ. — Я

говорю не в упрек вам, а в благодарность. Вам я обязан тем, что вышел на путь истинный. От теорий вы привели меня к подлинной жизни. Вы раскрыли мне глаза на обман, царящий в обществе. Вы были светом, светившим во тьме, а ныне и я узрел свет. И я был бы счастлив, если бы не… — Голос его болезненно дрогнул, глаза расширились от страха. — Если бы не мои гонители. Я никому не причиняю зла. Почему они не оставят меня в покое? Хотя дело не в этом. Такова природа всякого гонения. Но лучше бы они меня исполосовали бичами или сожгли на костре, лучше бы распяли вниз головой. Самое страшное для меня — смирительный дом. Каково это — быть брошену в узилище бесноватых! Все во мне содрогается при этой мысли. В лечебнице я насмотрелся на них. Они неистовствуют. Кровь леденеет в жилах при одном воспоминании. И провести остаток дней среди воплей мятущегося безумия! О, только не это! Только не это!

Больно было смотреть на бедного епископа. Руки у него тряслись, тело дрожало, как в ознобе — казалось, всем существом он стремится отогнать страшные видения, встающие в памяти… Но он так же внезапно успокоился.

— Простите, — сказал он кротко. — Это все

нервы. Если путь мой и приведет меня в бездну ужаса, да свершится воля его. Мне ли роптать на пославшего меня в мир?

Рыдания подступили у меня к горлу. Великий епископ! Воин! Воин во имя Божие!

За этот вечер он многое рассказал нам.

— Я продал свой дом, вернее — дома, и все мое достояние, и сделал это тайно, иначе мне ничего не оставили бы. Это было бы ужасно. Я просто надивиться не могу, сколько картофеля, хлеба, мяса и топлива можно купить на двести-триста тысяч долларов. — Епископ повернулся к Эрнесту. — Вы были правы, молодой человек. Труд оплачивается ужасающе низко. Я никогда не трудился и только велеречиво взывал к фарисеям, думая, что проповедую Слово Божие, а между тем у меня у самого было полумиллионное состояние. Я представления не имел, что значат полмиллиона, пока не научился исчислять деньги стоимостью картофеля, хлеба, масла, мяса. А тогда я понял и другое. Я понял, что мне принадлежат горы картофеля, хлеба и мяса и что я и пальцем не пошевелил, чтобы добыть их. И мне стало ясно, что кто-то другой трудился, добывал — и был потом ограблен. А столкнувшись с бедняками, я воочию увидел тех, кто ограблен, кто голодает и

нуждается, потому что их всего лишили.

По нашей просьбе он опять вернулся к рассказу о себе.

— Деньги? Я открыл счета на несколько вымышленных имен в различных банках. Никогда их не отнимут у меня — хотя бы потому, что не найдут. И я так рад этим деньгам! Сколько на них можно купить всякой провизии! Никогда я не знал, на что нужны деньги.

— Деньги нужны, между прочим, и нам — на пропагандистскую работу, — сокрушенно вздохнул Эрнест. — Большая была бы польза.

— Вы думаете? Не знаю… Я не поклонник политики. Боюсь, что тут я совершеннейший профан…

Эрнест, со свойственной ему в этих вопросах деликатностью, промолчал, хотя ему лучше, чем кому-либо, было известно, как нуждается в средствах социалистическая партия.

— Живу я в меблированных комнатах, — продолжал епископ, — и нигде не засиживаюсь подолгу — боюсь. Снимаю еще две каморки в рабочих семьях, в разных концах города. Это непростительное мотовство с моей стороны, но оно вызвано необходимостью. Экономлю деньги тем, что сам стряпаю, хотя время от времени поз-

воляю себе роскошь зайти в дешевое кафе. Кстати, я сделал открытие. Раньше я только слышал о тамала[79], — представьте, это превосходное блюдо, особенно вечером, когда вас до костей пробирает ветер и сырость. Дорогое оно, конечно, но я знаю один ресторанчик, где вам за десять центов отпустят тройную порцию; качеством оно несколько хуже, но согревает замечательно.

Итак, молодой человек, с вашей помощью я обрел свое призвание. Тружусь на ниве Господней. — Он посмотрел на меня с улыбкой. — Вы застигли меня на работе. Но никто из вас, разумеется, меня не выдаст.

Епископ сказал это с видимой беспечностью, но чувствовалось, что на душе у него неспокойно. Он обещал вскоре зайти опять, но неделю спустя мы прочитали о трагической судьбе епископа Мохауза, которого пришлось свезти в городскую больницу для умалишенных. Как говорили газеты, он был в тяжелом, но не безнадежном состоянии. Тщетно добивались мы свидания с узником, а также врачебной экспертизы. На все наши вопросы мы не получали никакого ответа,

[79] Примечания: 79

Мексиканское блюдо, часто упоминаемое в книгах того времени. Очевидно, обильно сдабривалось пряностями. Рецепт его приготовления до нас не дошел.

за исключением все той же стереотипной фразы: «Состояние тяжелое, но не безнадежное…»

— Христос велел богатому юноше продать свое имущество и деньги раздать нищим, — говорил Эрнест с горечью. — Епископ последовал его завету — и угодил в сумасшедший дом. Сейчас другое время, другие порядки: богача, раздающего свое имущество беднякам, объявляют сумасшедшим. Вопрос не подлежит обсуждению! Общество высказалось — и баста!

Глава XIII
Всеобщая стачка

Эрнест был избран в конгресс осенью 1912 года, когда политическая обстановка в стране сложилась для социалистов благоприятно. Этому немало способствовало падение Херста[80]. Плутократия справилась с ним шутя. Издание многочисленных газет обходилось Херсту в восемнадцать миллионов долларов ежегодно, причем издержки эти с лихвой покрывала плата за печатаемые им объявления. Таким образом, источником финансового могущества Херста был средний класс. Тресты не нуждались в рекламе[81]. Для того, чтобы свалить Херста, достаточно

---

[80] Примечания: 80

Херст Уильям Рандолф (1863–1951) — молодой калифорнийский миллионер, один из влиятельнейших издателей страны. Его газеты, выходившие во всех больших городах США, были рассчитаны на массового читателя — рабочих и средний класс. Популярность Херста выдвинула его в первые ряды демократической партии, которая давно уже была демократической только по названию. Политическая программа Херста, демагогически сочетавшая проповедь некоего выхолощенного социализма с мелкобуржуазной апологетикой капитала, представляла собой нечто ни с чем не сообразное. Несмотря на явную нелепость этой программы, пытавшейся соединить несоединимое, плутократы одно время серьезно побаивались Херста.

[81] Примечания: 81

В те времена экономической анархии реклама стоила очень дорого.

Конкурировали друг с другом только небольшие фирмы — они-то и нуждались в рекламе. Тресты были вне конкуренции.

было лишить его объявлений.

Уничтожен был пока что не весь средний класс: наиболее стойкая его часть все еще цеплялась за жизнь, — но те мелкие фабриканты и дельцы, которые еще кое-как тянули, были всецело отданы на милость плутократии. Их лишили всякой самостоятельности, как экономической, так и политической. Достаточно было хозяйского окрика, чтобы они отняли у Херста свои объявления.

Херст отчаянно сопротивлялся. Он продолжал выпускать свои газеты, терпя ежемесячный убыток в полтора миллиона долларов; мало того, продолжал печатать объявления, за которые ему никто не платил. Новый хозяйский окрик — и мелкие дельцы и фабриканты забросали его письмами, требуя, чтобы он прекратил печатание их старых объявлений. Но Херст гнул свою линию. Со всех сторон сыпались на него судебные предостережения. Херст пропускал эти угрозы мимо ушей. В конце концов его засадили на полгода под арест за ослушание и неуважение к суду и вдобавок разорили многочисленными исками. Это решило его судьбу. Плутократия вынесла Херсту приговор, подвластный ей суд привел его в исполнение. Вместе с Херстом рухнула демократическая партия, которую он только недавно

возглавил.

С разгромом демократической партии и падением ее лидера у последователей Херста оставалось только два пути: либо к социалистам, либо к республиканцам. Большинство повернуло к социалистам. Неожиданно нам, социалистам, пришлось воспользоваться плодами демагогической пропаганды Херста.

Усилившееся разорение фермеров тоже прибавило бы нам голосов, если бы не кратковременный дутый успех фермерской партии. Эрнест и другие социалистические лидеры настойчиво боролись за голоса фермеров, но разгром социалистической прессы и издательств нанес нашей партии слишком большой урон, который не могла возместить молодая, еще не оперившаяся изустная пропаганда, поэтому политики вроде мистера Кэлвина, сами в прошлом разоренные фермеры, смогли вовлечь фермерские массы в бесплодную и безнадежную кампанию.

— Вот уж горе-политики, — говорил о них Эрнест, — тресты и вознесут и разжалуют их в один миг.

Так оно и случилось. Семь спевшихся между собой крупнейших трестов страны организовали «пул»: сложив свои огромные прибыли, создали

единый сельскохозяйственный трест. Железнодорожные компании, контролировавшие тарифы, и биржевые спекулянты, контролировавшие цены, давно уже обрекли фермерское население на кабальную задолженность. К тому же оно задолжало колоссальные суммы банкам и трестам. Фермерство билось в захлестнувшей его петле. Оставалось только затянуть ее, что и сделал новый трест.

Кризис 1912 года и без того вызвал ужасающее падение цен на сельскохозяйственном рынке. Но новый трест продолжал умышленно снижать цены, доводя фермеров до полного разорения, а железнодорожные компании все повышали тарифы, чтобы совсем их доконать. Фермеры входили в новые долги, не успев разделаться со старыми. Наконец грянул гром. Было объявлено о полном прекращении выдачи ссуд под земельную собственность и об административно-судебном взыскании по старым закладным. Что оставалось делать фермерам, как не отдать тресту свою землю, а отдав, наняться на службу в тот же самый трест — управляющими, инспекторами, десятниками и простыми рабочими? Теперь они работали на жалованье. Из мелких собственников они превратились в прикрепленных к

земле рабов, вынужденных довольствоваться жалкими крохами. Им нельзя было переменить хозяина, потому что хозяин всюду был один — плутократия; нельзя было уйти в город — и там хозяйничала плутократия. Оставался еще один выход: махнуть на все рукой и превратиться в бродяг, обреченных на бездомное голодное существование, — но новые, более суровые законы против бродяжничества закрыли для них и эту возможность.

На первых порах отдельным фермерам, а местами и целым общинам, находившимся в особенно благоприятных условиях, удалось избежать этой судьбы. Но то были лишь счастливые исключения, которые не могли идти в счет: не прошло и года, как и их смело начисто[82].

---

[82] Примечания: 82

Исчезновение свободного римского крестьянства не было таким стремительным процессом, как гибель американского фермерства и мелких капиталистов. Да и неудивительно: Древний Рим не знал тех движущих сил, какие действовали в экономике XX в. Многие фермеры, охваченные безрассудной привязанностью к своему клочку земли, готовы были вернуться к первобытным формам жизни. Чтобы избегнуть экспроприации, они ничего не продавали и не покупали, довольствуясь примитивным товарообменом, и на этой почве возникло даже целое движение. Никакие трудности и лишения не могли поколебать их упорства. Но все эти героические усилия не помешали плутократии разделаться с фермерами самым элементарным и нехитрым способом. Пользуясь своим влиянием на правительство, она повысила налоги и этим ударила фермеров по их наиболее уязвимому месту. Отказавшись от всякой торговли, они не располагали деньгами, и в конце концов их земля и имущество были проданы за недоимки.

Все это и заставило социалистических лидеров — всех, за исключением Эрнеста — уже осенью 1912 года заговорить о близком крушении капитализма. Такие симптомы, как нарастающий кризис и увеличение армии безработных, уничтожение фермерского сословия и среднего класса, разгром рабочих организаций, оправдывали, казалось, самые смелые чаяния и побуждали социалистов перейти в наступление на плутократию.

Увы, мы недооценивали силы противника! Социалисты уже трубили о своей близкой победе на выборах, выступая с широковещательными декларациями. Плутократия приняла вызов. Трезво взвесив и подсчитав все шансы, она нанесла нам поражение, расколов наши ряды. Это агенты плутократии, действуя исподтишка, вопили о том, что социалисты безбожники, для них нет ничего святого. Это плутократия натравила на социалистов церковь, в первую очередь католическую, похитив у нас значительную часть рабочих голосов. Это плутократия, действуя через подставных лиц, возродила фермерскую партию, распространив ее влияние на города, где к ней примкнули остатки среднего класса.

Тем не менее социалисты добились больших

успехов. Однако это не было решающей победой, которая закрепила бы за нами руководящие посты и подавляющее большинство в законодательных собраниях. Повсюду мы оставались в меньшинстве. Правда, мы послали в конгресс пятьдесят наших товарищей, но, когда весной 1913 года они заняли свои места в Капитолии, им пришлось вскоре убедиться в полном своем бессилии. И мы еще оказались в лучшем положении, чем фермерская партия, которая добилась в ряде штатов руководящих административных постов: когда весной 1913 года ее представители явились, чтобы занять эти посты, их и на порог не пустили. Отставленные сановники продолжали править как ни в чем не бывало, в судах распоряжались прислужники олигархов. Но не буду забегать вперед. Мне еще предстоит рассказать о знаменательных событиях зимы 1912–1913 годов.

Экономический кризис привел к резкому сокращению потребления товаров. Рабочие не имели заработка и ничего не покупали. У плутократов оставалось на руках огромное количество товарных излишков, которые необходимо было вывезти за границу, тем более что они нуждались в средствах для своих обширных планов. В своей борьбе за внешние рынки американская

плутократия столкнулась с Германией. Экономические конфликты, как правило, приводят к войне, и данный случай не явился исключением. Усиленно готовился кайзер — готовились и Соединенные Штаты.

Черные зловещие тучи надвигающейся войны сгущались. Все предвещало мировую катастрофу. Повсюду свирепствовал кризис и восставали рабочие, повсюду исчезал средний класс и множились армии безработных, во всем мире шла борьба за внешние рынки и слышалось подземное клокотание и гул приближающейся социалистической революции[83].

Олигархия стремилась к войне с Германией. У нее было на это десятки причин. В калейдоскопической смене событий, порожденных войной,

---

[83] Примечания: 83

Это подземное клокотание и гул были явственно слышны уже в течение многих лет. В 1906 г. англичанин лорд Эвербери выступил в палате лордов со следующим заявлением: «Неутихающие беспорядки в Европе, распространение социалистических идей и зловещий рост приверженцев анархизма являются грозным предостережением правительствам и правящим классам о том, что условия существования трудящихся стали невыносимыми, а потому, во избежание революции, необходимо принять меры для увеличения заработной платы, сокращения рабочего дня и снижения цен на предметы первой необходимости». Орган американских биржевиков «Уолл-стрит джорнэл», цитируя речь лорда Эвербери, сопроводил ее следующим комментарием: «Эти слова принадлежат английскому аристократу, члену самого консервативного законодательного учреждения в Европе. Тем более следует к ним прислушаться. В них гораздо больше политической и экономической мудрости, чем в любом ученом трактате, написанном на эту тему. В

словах лорда Эвербери слышится предостережение. Нашим работникам военного и морского ведомства есть о чем подумать!» Американец Сидней Брукс одновременно писал в журнале «Харперс уикли»: «В Вашингтоне никто не думает о социалистах. Да оно и понятно. Наши политики всегда последними узнают о том, что творится у них под носом. Они смеются надо мной, когда я предрекаю — и предрекаю с полной уверенностью, — что на следующих президентских выборах у социалистов окажется не меньше миллиона голосов».

в перетасовке международных связей, в заключении новых договоров и союзов она видела возможность богатой поживы. Кроме того, война должна была поглотить излишки во многих странах, сократить армии безработных, наконец, дать олигархам передышку для подготовки и выполнения их планов. Война позволила бы им завладеть мировым рынком, создать в Соединенных Штатах большую постоянную армию, а популярный в народе лозунг «Социализм против олигархии» можно было бы подменить лозунгом «Америка против Германии».

Олигархи не просчитались бы в своих надеждах, если бы не социалисты. В наших четырех комнатушках на Пелл-стрит состоялось тайное совещание социалистических лидеров западных штатов. Здесь было выработано и определено наше отношение к войне. Не первый раз социалистам приходилось выступать против военной

угрозы[84], но впервые в истории это было сделано в Соединенных Штатах. После совещания мы обратились в наш национальный комитет, а затем и в Европу, в Бюро интернационала, и к нам, в Америку, и обратно полетели шифрованные телеграммы.

Немецкие социал-демократы выразили готовность нас поддержать. Эта партия, насчитывавшая в своих рядах свыше пяти миллионов членов, из которых многие служили в регулярных войсках, пользовалась большим влиянием на профсоюзы. Американские и немецкие социалисты выступили с резкими антивоенными декларациями, угрожая всеобщей забастовкой. Приготовления к ней были начаты немедленно. Кроме того, революционные партии всех стран открыто заявили о своей готовности поддержать социалистический лозунг мира всеми средствами — вплоть до восстания и революции

---

[84] Примечания: 84

В самом начале XX в. интернациональная организация социалистов сформулировала наконец свое отношение к войне. Вкратце ее антивоенная резолюция сводилась к тому, что «рабочим различных стран нет смысла воевать друг с другом в угоду их хозяевам, капиталистам». 21 мая 1905 г., когда между Австрией и Италией назревал военный конфликт, социалисты Италии и Австро-Венгрии, собравшись на конференцию в Триесте, угрожали, что в случае войны будет объявлена всеобщая забастовка в обеих странах. То же самое повторилось и в следующем году, когда так называемый «Марокканский инцидент» грозил вовлечь в войну Францию, Германию и Англию.

в своей собственной стране. Мы, американские социалисты, смотрим на последовавшую за этим всеобщую забастовку как на величайшую нашу победу.

Четвертого декабря правительство Соединенных Штатов отозвало из Берлина своего посла. В ту же ночь немецкая эскадра, подойдя к Гонолулу, потопила три американских крейсера и таможенный катер и обстреляла город. На следующий день Германия и США объявили друг другу войну. Социалисты обеих стран ответили на это призывом к всеобщей забастовке.

Это было первое столкновение кайзера с теми людьми, на которых держалась вся его страна. Он мог править только с их согласия. Новизна положения заключалась в полнейшей пассивности восстания. Ни волнений, ни беспорядков, рабочие просто бездействовали. Но своим бездействием они сковывали правительству руки. Кайзер только и ждал случая, чтобы спустить на восставших рабочих свою свору кровавых псов, но не тут-то было. Он не мог ни мобилизовать армию и начать войну, ни даже покарать непокорных подданных. Во всей его империи не вертелось ни одно колесо. Поезда стояли, телеграф безмолвствовал: телеграфисты и железнодорожники бросили

работу вместе со всем прочим населением.

То же самое происходило в Соединенных Штатах. Наконец-то организованный пролетариат сделал правильный вывод из полученных им суровых уроков. Потерпев поражение в экономической борьбе, он примкнул к борьбе политической и пошел за социалистами, ибо всеобщая забастовка носила политический характер. Пролетариат был так основательно побит, что ему нечего было терять: им владела решимость отчаяния. Рабочие, побросав инструменты, миллионами покидали фабрики и расходились по домам. Повсюду на первом месте были механики. Их раны еще кровоточили, их организации были разгромлены, но они без колебаний присоединялись к забастовке, увлекая за собой своих верных союзников, металлистов.

Чернорабочие и неорганизованные массы трудящихся тоже присоединились к забастовщикам. Забастовка сковала все в стране. Особенно непримиримо были настроены женщины. Они грудью стали за мир, они не желали отпускать своих мужчин на бессмысленную гибель. Идея всеобщей забастовки была популярна, она всем пришлась по вкусу, она восхищала народ, удовлетворяя присущее ему чувство юмора. Она

пленяла воображение. Даже школьники бастовали, не желали отставать от взрослых, и учителя, наведывавшиеся в школу, бежали из гулких, пустынных классов. Всеобщая забастовка приобрела характер всенародного гулянья. Столь очевидное торжество рабочей солидарности возбуждало в народе ликование. К тому же этот взрыв могучего веселья, казалось, не таил в себе никакой опасности. Попробуй накажи кого-нибудь, когда все одинаково виноваты!

Жизнь в Соединенных Штатах остановилась. Никто не знал, что творится в мире. Не было ни газет, ни писем, ни официальных телеграмм. Каждая община, каждая населенная местность была так изолирована, словно непроходимые дебри, простираясь на тысячи миль, отделяли их от внешнего мира. Все кругом, казалось, перестало существовать. И такое состояние страна переживала целую неделю.

В Сан-Франциско не знали, что творится в Окленде или Беркли, по ту сторону залива. Это рождало странное, гнетущее чувство, словно вы присутствовали при издыхании какого-то исполинского космического существа.

Пульс страны перестал биться. Нация в полном смысле слова умерла. На улице — ни громыхания

подвод, ни фабричных гудков, ни жужжания проводов, ни трамвайного дребезжания, ни крика газетчиков… Лишь изредка боязливой тенью мелькнет случайный прохожий, подавленный своей нереальностью на фоне мертвой тишины.

Эта неделя тишины многому научила олигархию, и она хорошо усвоила преподанный ей урок. Всеобщая стачка была для нее предостережением. Больше это не должно было повториться. Олигархия намерена была об этом позаботиться.

По истечении недели, как и было решено заранее, немецкие и американские телеграфисты вернулись к своим аппаратам, и социалистические лидеры обеих стран предъявили своим правительствам ультиматум: конец войне или продолжение всеобщей забастовки. Переговоры тянулись недолго. Обе стороны заявили о ликвидации военного конфликта, и население вернулось к обычным занятиям.

Возобновление мирных отношений положило начало союзу между Германией и США. В сущности, это был союз между кайзером и олигархией против их общего врага — революционного пролетариата обеих стран. Но когда впоследствии немецкие рабочие восстали и сбросили кайзера, олигархия вероломно отказалась от своих

обязательств союзной державы. Американским олигархам был на руку уход с мирового рынка их ненавистного конкурента, они только этого и добивались. С падением империи Германия не была больше заинтересована в вывозе своих товаров. Создав у себя социалистическое государство, германский народ отныне мог сам потреблять все, что производил. Разумеется, это не мешало ему обменивать некоторые свои товары на такое заграничное сырье или изделия, в которых он нуждался, но между подобным обменом и вывозом товарных излишков нет ничего общего.

— Держу пари, что олигархия опять окажется права, — сказал Эрнест, когда о ее вероломстве стало известно. — Она уж найдет себе оправдание.

И действительно: олигархи не замедлили разблаговестить, что в своем решении руководствовались кровными интересами американского народа. Разве Америка не избавилась от ненавистного конкурента на мировом рынке? Теперь никто не помешает ей сбывать свои излишки за границу.

— Самое страшное — это наше бессилие, — говорил Эрнест. — Мы фактически передоверили этим кретинам интересы нации. Мы, видите

ли, будем теперь больше вывозить за границу, а следовательно — меньше оставлять себе для собственного потребления!

Глава XIV
Начало конца

Уже в январе 1913 года Эрнест видел, куда ведет ход истории, но был не в силах открыть своим соратникам глаза на ту опасность, которая рисовалась ему грозным призраком Железной пяты. Ничто не могло поколебать их благодушного спокойствия. События развивались слишком стремительно, они не поспевали за ними.

Все в мире перевернулось. Американские олигархи почти единовластно хозяйничали на мировом рынке, вытеснив оттуда десятки стран, которые теперь не знали, как распорядиться своими товарными излишками. Этим странам оставалось одно — в корне перестроить свое хозяйство. Система производства излишков завела их в тупик. Капиталистический способ производства, по крайней мере на их опыте, обнаружил свою полную несостоятельность.

Перестройка в этих странах вылилась в революцию. Повсюду царили хаос и насилие. Рушились правительства, низвергались вековые устои. Капиталисты, за исключением двух-трех стран,

оказывали повсюду отчаянное сопротивление, но воинствующий пролетариат отнял у них власть. Наконец-то сбылось гениальное предсказание Карла Маркса: «Бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют». А по мере низвержения капиталистических правительств на их месте возникали правительства народного сотрудничества.

«Почему отстают Соединенные Штаты? Пошевеливайтесь, американские революционеры! Что такое с Америкой?» — спрашивали наши товарищи в тех странах, где революция победила. Но мы безнадежно плелись в хвосте. Олигархия давила на нас. Она, подобно гигантскому чудовищу, всей своей тяжестью преграждала нам путь. «Погодите, вот весной займем свои места в правительстве, — отвечали мы. — Тогда увидите».

Дело в том, что у нас был свой секрет: нам удалось договориться с фермерской партией. В результате прошедших выборов фермерам предстояло этой весной получить руководящие посты в двенадцати штатах, а это значило, что в двенадцати штатах придут к власти правительства народного сотрудничества. Остальное нам представлялось уже сравнительно легким.

— А что, если ваших фермеров спустят с лестни-

цы? — спрашивал Эрнест, но товарищи называли его маловером и нытиком.

Эрнеста беспокоили не только возможные неудачи фермеров. Он боялся измены со стороны ведущих профсоюзов и возникновения замкнутых каст среди рабочих.

— Гент научил олигархов, как это делается, — говорил Эрнест. — Не сомневаюсь, что они составили себе памятку по его книге «Благодетельный феодализм»[85].

Никогда не забуду я вечер, когда Эрнест, в пылу спора с несколькими профсоюзными вожаками, повернулся ко мне и сказал вполголоса:

— Ну, значит, пиши пропало! Железная пята победила. Дело идет к развязке.

Это небольшое собрание у нас дома не носило официального характера. Эрнесту и его товарищам важно было удостовериться, призовут ли рабочие лидеры свои массы к всеобщей забастовке, если снова появится необходимость. О'Коннор, председатель союза механиков, пер-

---

[85] Примечания: 85

Книга У. Дж. Гента «Наш благодетельный феодализм» вышла в 1902 г. В литературе надолго установилось мнение, будто крупные капиталисты почерпнули из этой книги идею олигархии. Взгляд этот упорно держался в течение всех трех веков существования Железной пяты и даже в течение первого века эры Братства людей. В настоящее время, когда нелепость этого утверждения очевидна, нам остается только посочувствовать Генту, на которого история возвела такой поклеп.

вым забил отбой.

— Мало, что ли, вас колотили? — спрашивал Эрнест. — Или вам еще не надоела ваша тактика экономических стачек и бойкотов?

Его собеседники молчаливо кивнули в знак согласия.

— Ведь вы видели, чего можно добиться всеобщей стачкой, — продолжал Эрнест. — Разве мы не сорвали войну с Германией? Никогда еще не видел мир такой демонстрации солидарности и могущества рабочих. Пролетариат может править миром — и он будет им править! Вместе с вами мы положим конец владычеству капитализма. Это ваша единственная надежда, и вы сами это знаете. У рабочих нет и не может быть другого пути. Как вы там ни вертитесь, а ваша старая тактика обрекает вас на поражение хотя бы уже

потому, что суд в руках у капиталистов[86].

— Не горячись, — отвечал ему О'Коннор. — Свет не клином сошелся. Есть и другие пути. Мы знаем, что делаем. Забастовками мы и сами сыты по горло. Нас так исколошматили, что живого места не осталось. Но я думаю, что нам уже больше не придется призывать своих людей к забастовке.

— Какой же это у вас новый путь? — спросил его Эрнест в упор.

О'Коннор рассмеялся и покачал головой.

— Что ж, если хочешь знать, мы это время не дремали. И сейчас не во сне разговариваем.

— Вы что же, боитесь сказать? Или стыдно стало? — спросил Эрнест с вызовом.

— А ты нас не учи. В своих делах мы сами как-нибудь разберемся, — последовал ответ.

---

[86] Примечания: 86

Вот несколько характерных судебных постановлений того времени. В каменноугольных районах широко применялся детский труд. В 1905 г. рабочим организациям штата Пенсильвания удалось добиться закона, требующего от детей при поступлении на работу, помимо клятвенного заверения родителей, также и официальной справки о возрасте и образовании. Закон этот был объявлен судом города Люцерна неконституционным: он якобы нарушает 14-ю поправку к конституции, ибо проводит дискриминацию между лицами одной категории — в данном случае между детьми старше и моложе четырнадцати лет. Суд штата подтвердил это решение. Специальная сессия нью-йоркского суда в 1905 г. объявила неконституционным закон, воспрещающий детям и женщинам работу на фабрике после десяти часов вечера на том основании, что закон этот носит «классовый характер». В крайне неблагоприятных условиях работали пекари. Наконец, нью-йоркским законодательным собранием был издан закон, ограничивавший рабо-

ту в пекарнях десятью часами. Верховный суд Соединенных Штатов в 1905 г. признал этот закон не соответствующим конституции. В решении суда, между прочим, говорилось: «Сокращение рабочего дня пекарей является недопустимым вмешательством в право каждого лица на свободное заключение договоров, тем более что никакого основания для такого вмешательства нет».

— Дела-то у вас, видно, темные. Что-то вы все прячетесь, как я посмотрю, — сказал Эрнест с нарастающим гневом.

— Кто-кто, а уж мы не жалели ни пота своего, ни крови, — последовал ответ. — Пора нам и вздохнуть. Пора и о себе подумать.

— Если ты боишься сказать, какой у вас выискался новый путь, так я сам скажу тебе, — ответил Эрнест, уже не скрывая своего гнева. — Вы занялись шкурничеством. С капиталистами договариваетесь, вот вы что делаете. Вы продали интересы рабочего класса, всего рабочего класса в целом. Трусы и дезертиры, вот вы кто!

— Я тебе не обязан докладывать, — хмуро ответил О'Коннор. — А только, думается, нам видней, что для нас хорошо, а что плохо.

— А что хорошо и что плохо для рабочего класса, на это вы плюете? Вам все равно, что вы ему яму роете?

— Я тебе не обязан докладывать, — повторил О'Коннор. — А только ты учти, что я председатель союза механиков и что моя обязанность в первую голову заботиться об интересах тех, кто оказал мне доверие. Вот и все.

Когда наши гости ушли, Эрнест со спокойствием отчаяния нарисовал мне, как, по его мнению,

развернутся дальше события.

— Наши учителя, воодушевленные надеждой, предсказывали, что настанет час, когда организованный пролетариат, изверившись в экономической борьбе, перенесет всю свою инициативу в область борьбы политической. Так оно и случилось. После того как Железная пята нанесла профсоюзам ряд тяжелых поражений, они переменили род оружия и вышли на арену политической борьбы. Но вместо того чтобы окрылить нас надеждой, это грозит нам новыми разочарованиями. Всеобщая забастовка показала нашу силу. Для Железной пяты этот урок не прошел даром. Вот она и приняла меры к тому, чтобы это никогда больше не повторилось.

— Но какие меры? — спросила я.

— Очень простые. Она подкупила влиятельные профсоюзы. Следующий раз они откажутся бастовать. А это значит, что у нас больше не будет всеобщей стачки.

— Но ведь для Железной пяты это окажется слишком дорогим удовольствием. Надолго ли ее хватит?

— Им не придется подкупать все профсоюзы. Они ограничатся немногими. Вот примерно что произойдет. Сокращение рабочего дня и уве-

личение заработной платы будет проведено у железнодорожников, механиков, токарей, литейщиков и других квалифицированных рабочих металлургической промышленности. Эти союзы будут поставлены в привилегированные условия. Стать членом такого союза будет все равно что получить пропуск в рай.

— Как же так? — недоумевала я. — А другие профсоюзы? Ведь огромное большинство не входит в эту группу.

— Другие союзы все до одного будут стерты с лица земли. Разве ты не понимаешь? Железнодорожники, механики, токари, рабочие стальной и чугунолитейной промышленности — это те, кто в наш век машин выполняет работу первейшей важности. Заручившись их преданностью, Железная пята может не церемониться с остальными. Железо, сталь, уголь, машины и транспорт — основа промышленности.

— А горняки? — спросила я. — У нас около миллиона углекопов.

— Это неквалифицированные рабочие. С ними не станут считаться. Им снизят заработную плату и увеличат рабочий день. Они будут такими же рабами, как и все мы, но только их окончательно втопчут в грязь. Они обречены на такой же подне-

вольный труд, как и ограбленные капиталистами фермеры. От всех союзов, не принадлежащих к избранной группе, не останется и следа, и рабочие поневоле полезут в петлю, когда их доймут нужда и голод.

А знаешь, чем займется Фарли[87] и его штрейкбрехеры? Сейчас скажу тебе. Штрейкбрехерство как профессия отомрет. Никаких стачек больше не будет, их заменят бунты рабов. Фарли со своей бандой получит повышение. Их произведут в надсмотрщики над рабами. Конечно, так именовать их никто не станет. Они будут считаться блюстителями закона — закона о подневольном труде. Предательство влиятельных союзов далеко отбросит нас назад. Одному Богу известно, когда и где теперь можно рассчитывать на победу революции.

— А разве при таком мощном блоке, как олигархия и привилегированные союзы, можно еще рассчитывать на победу революции? — спросила я. — Что, если этот блок окажется непобедимым?

---

[87] Примечания: 87

Джемс Фарли заслужил в свое время печальную известность как вожак штрейкбрехеров. Беспринципный авантюрист, не лишенный мужества и кое-каких способностей, он во времена Железной пяты был удостоен почестей и наград, а со временем даже сопричислен к лику олигархов. В 1932 г. его настигла месть Сарры Дженкинс, муж которой за тридцать лет до этого был убит штрейкбрехерами из организации Фарли.

Эрнест покачал головой.

— Одно из наших основных положений состоит в том, что всякое общество, разделяющееся на классы, несет в себе зачатки собственного разложения. Там, где существуют классы, неизбежно возникают привилегированные касты. Это-то и приведет Железную пяту к гибели. Сами олигархи уже представляют собой такую замкнутую касту. Но в касты превратятся, в конце концов, и привилегированные профсоюзы. Железная пята попытается с этим бороться, но ничего у нее не выйдет.

В избранных союзах сейчас цвет американского рабочего класса. Это энергичные одаренные люди. Они проникли в эти союзы в результате известного отбора. Но теперь всякий американский рабочий захочет попасть в один из привилегированных союзов. Олигархия будет поощрять это стремление и поддерживать конкуренцию. Ведь таким образом сильные люди, которые могли бы стать революционерами, будут переходить на сторону олигархии, содействуя ее укреплению.

С другой стороны, члены избранных профсоюзов постараются превратить свои организации в замкнутые касты. И они преуспеют в этом. Право стать членом союза превратится в узкосемей-

ную прерогативу. Сыновья будут наследовать отцам, прекратится приток живых сил из того неисчерпаемого резервуара, каким является простой народ. Это поведет к вырождению рабочих каст и постепенному их ослаблению. Вместе с тем как корпорация они некоторое время будут всесильны. Они станут чем-то вроде преторианцев, когда-то охранявших дворец римского императора. Затем наступит период дворцовых переворотов, когда рабочие касты будут временно приходить к власти. Олигархи ответят на это контрпереворотами, и некоторое время власть будет переходить из рук в руки. Между тем будет продолжаться вырождение каст, и в конце концов народ восторжествует.

Эту схему постепенного социального развития Эрнест набросал, находясь в крайне подавленном душевном состоянии, под впечатлением измены профсоюзов. Я никогда не была с ней согласна и в особенности не согласна теперь, когда пишу эти строки. Ведь именно сейчас, хотя Эрнеста уже нет с нами, мы стоим на пороге революции, которая покончит со всеми олигархиями в мире. Теорию Эрнеста я привожу здесь только потому, что это его теория. Не надо, однако, забывать, что сам создатель этой теории боролся против нее, как

титан. Больше, чем кто-либо, он содействовал подготовке той революции, которая только ждет сигнала, чтобы разразиться[88].

— Но если олигархия еще долго просуществует, — спросила я Эрнеста в тот вечер, — что станет она делать с огромными прибылями, которые будут плыть в ее карманы?

— Они не залежатся, — отвечал Эрнест. — Не беспокойся, олигархи найдут им применение. Будут сооружены великолепные дороги. Начнется небывалый расцвет наук и искусств. Когда олигархи приведут народ к полному послушанию, у них появятся и другие цели и интересы. Они станут покровителями искусств, поклонниками красоты. Деньги потекут рекой, и художники будут трудиться, поощряемые столь щедрым вниманием. Возникнут великие творения, так как искусство не будет больше стеснено мещанскими вкусами буржуа. Повторяю, родится монументальное искусство. Будут построены чудо-города, по сравнению с которыми наше современное градостроительство покажется жалким и без-

---

[88] Примечания: 88

Нельзя не удивляться необыкновенной прозорливости Эвергарда. Так же ясно, как будто, уже оглядываясь на прошлое, предвидел он отпадение ведущих профсоюзов, усиление и постепенное разложение рабочих каст и борьбу за государственную власть между ними и разлагающейся олигархией.

вкусным. И в этих городах будут жить олигархи и поклоняться красоте[89].

Таким образом, прибылям олигархов будет найдено применение, тогда как вся черная работа падет на плечи рабочих. Строительство грандиозных городов и сооружений даст нищенское пропитание миллионам чернорабочих и строителей. Чудовищные прибыли потребуют чудовищных вкладов и затрат, и сооружения олигархов будут рассчитаны на тысячелетия, а может быть, и на десятки тысяч лет. Их будут строить так, как Вавилону и Древнему Египту и не снилось, а когда олигархи падут, их великолепные сооружения достанутся братству труда, и народ будет пользоваться их дорогами и селиться в их городах[90].

Вот какие дела предстоят олигархам. Грандиозное строительство станет для них одним из видов помещения прибылей; точно так же

---

[89] Примечания: 89

Еще одно поразительное свидетельство прозорливости Эвергарда. Он предвидел создание таких городов, как Ардис и Эсгард, задолго до того, как мысль о них возникла у олигархов.

[90] Примечания: 90

Со времени этого предсказания прошло три века владычества Железной пяты и четыре века эры Братства людей, а мы все еще пользуемся дорогами и живем в городах, воздвигнутых при олигархии. Правда, мы теперь строим еще более прекрасные города, но города олигархов стоят и поныне, и я пишу эти строки в Ардисе, самом великолепном из них.

правящие классы Египта вкладывали богатства, награбленные у трудового народа, в строительство храмов и пирамид. Но благоденствовать при олигархах будут не жрецы, а художники, тогда как место привилегированного торгового сословия займут рабочие касты. А под их ногами, в черной ямине, будет копошиться, голодать и гнить заживо, неизменно возрождаясь к новой жизни, трудовой народ, огромное большинство населения. Но настанет некий еще скрытый от нас день, и народ выйдет из черной ямины. Рабочие касты и олигархия падут. И тогда наконец после многовековой борьбы придет день простого человека. Я мечтал увидеть его, но теперь знаю, что не увижу.

Эрнест остановился, посмотрел на меня и прибавил:

— Социальное развитие — это убийственно затяжной процесс. Не правда ли, дружок?

Я обняла Эрнеста, прижала его голову к своей груди.

— Спой мне песню, родная, — попросил он по-детски жалобно. — Мне приснился дурной сон, и я хочу забыть его.

Глава XV
Последние дни

К концу января 1913 года сведения о новой политике олигархов в отношении ведущих профсоюзов просочились в печать. Газеты сообщали о неслыханном повышении заработной платы и сокращении рабочего дня для определенной категории рабочих стальной и чугунолитейной промышленности, для железнодорожников, механиков, токарей и так далее. Однако всей правды олигархи не решались открыть, На самом деле заработная плата поднялась еще больше, а соответственно возросли и другие привилегии. Но шила в мешке не утаишь. Счастливчики рассказали о своей удаче женам, те разнесли эту весть по знакомым, и вскоре о совершившемся предательстве узнал весь рабочий мир.

Новый маневр олигархов логически вытекал из практики, которая в девятнадцатом веке получила название «участия в грабеже». В нескончаемых промышленных войнах того времени капиталисты пытались умиротворить рабочих, заинтересовав их в своих прибылях. Но превра-

щать это в систему было бы чистейшим абсурдом и не достигало бы цели. В условиях ожесточенной экономической борьбы участие рабочих в прибылях оправдывало себя лишь применительно к отдельным случаям. Распространение этой льготы на всех не давало бы капиталистам никаких преимуществ.

Впоследствии из не оправдавшей себя системы участия в прибылях возникла система «участия в грабеже». Привилегированные союзы выдвинули лозунг: «Платите нам больше и берите лишнее с потребителя». Кое-где эта шкурническая система получила применение и привилась. Но брать лишнее с потребителя — значило брать лишнее в первую очередь с огромной массы неорганизованных рабочих и членов рядовых союзов, они-то и вынуждены были выплачивать прибавку своим более счастливым собратьям, членам союзов-монополистов. Эта система, повторяю, доведенная до своего логического завершения, и была применена в широком масштабе при создании блока между олигархами и привилеги-

рованными союзами[91].

Как только предательство было обнаружено, среди рабочих поднялся ропот. Вскоре отпавшие союзы заявили о своем выходе из интернациональных рабочих организаций. Тогда начались расправы и беспорядки. Месть рабочих, возмущенных подлой изменой своих бывших товарищей, настигала их в кабачках и публичных домах, на работе и дома.

Было много жертв, среди них немало убитых. Ни один член союза, предавшегося олигархам, не чувствовал себя в безопасности. Направляясь на работу и расходясь по домам, они предпочитали собираться группами и идти посередине мостовой. Смельчаку, отважившемуся пойти по тротуару, мог свалиться на голову кирпич или

---

[91] Примечания: 91

В блок с олигархией вступили все союзы железнодорожников. Небезынтересно отметить, что одной из первых рабочих организаций, практиковавших в XIX в. такое «участие в грабеже», было «Братство паровозных машинистов». «Великим вождем» этого братства в течение двадцати лет был П. М. Артур. После стачки на Пенсильванской железной дороге в 1877 г. он предложил компании такие условия, которые ставили его союз в исключительно благоприятное положение по сравнению с другими рабочими организациями. В ознаменование этой неблаговидной, хотя и чрезвычайно выгодной сделки и для обозначения шкурнической политики профсоюзов возник новый термин — «артуризация». Происхождение этого слова, долго оставшегося загадкой для наших языковедов, впервые получает, таким образом, удовлетворительное объяснение.

булыжник, брошенный из окна или с крыши. Фаворитам было разрешено носить оружие; власти всегда и во всем оказывали им содействие. Их преследователей бросали в тюрьмы, где с ними обращались как со скотом. Никому, кроме членов привилегированных союзов, не разрешалось иметь при себе оружие, и за нарушение этого правила налагались жестокие кары.

Но гнев рабочих не утихал, расправы с предателями не прекращались. Соответственно с этим все резче обозначалось кастовое размежевание. Рабочая детвора преследовала детей из лагеря фаворитов, и тем уже нельзя было показываться на улице и посещать школу. Такому же остракизму подвергались жены и семьи предателей, и даже лавочникам, отпускавшим им провизию, объявлялся бойкот.

Преследуемые общей ненавистью, изменники и их близкие все больше замыкались в своей среде. Из рабочих кварталов, где жизнь становилась для них невыносимой, они переселялись в новые отведенные им районы. Олигархи всячески шли навстречу своим фаворитам. Для них были выстроены новые дома со светлыми и удобными квартирами и просторными дворами, для них разбивались парки и скверы, устраивались

спортивные площадки. Дети их посещали особые школы, где большое внимание уделялось технике и ручному труду. Так, на основе внутреннего расслоения пролетариата, вырастала кастовая обособленность. Члены привилегированных союзов становились рабочей аристократией. Теперь они решительно во всем отличались от пролетарских масс. Они жили в благоустроенных домах, хорошо одевались и питались, с ними и разговаривали по-иному. Словом, предательство их было вознаграждено с лихвой.

Зато остальным рабочим жилось все хуже. Их заработок падал, жизненный уровень снижался: постепенно, одно за другим теряли они свои исконные мелкие права. Их школы пустели. Обязательное обучение было постепенно отменено, и число неграмотных увеличивалось с ужасающей быстротой.

Захват американцами внешних рынков привел в смятение весь остальной мир. Повсюду низвергались правительства, рушились старые устои и общество перестраивалось. В Германии, Италии и Франции, в Австралии и Новой Зеландии были созданы правительства народного сотрудничества. Британская империя распадалась; у английского правительства было хлопот по горло

— поднялись народы Индии. В Азии раздавался клич: «Азия для азиатов!» Этот лозунг был выкинут Японией, натравливавшей желтокожие и темнокожие народы на белую расу. Стремясь к владычеству на континенте, Япония подавила у себя пролетарскую революцию. В стране шла открытая война классов — кули против самураев, и социалистов-кули казнили десятками тысяч. В одном только Токио было сорок тысяч убитых; люди гибли в уличных боях. Особенно больших жертв стоил неудавшийся штурм дворца микадо. В Кобе была организована бойня, восставших ткачей косили пулеметами; эта расправа получила печальную известность как классический пример массового истребления мирных жителей силой оружия. В результате гражданской войны в Японии утвердилась олигархия, правившая с неслыханной жестокостью. Японцы подчинили себе Восток и завладели всеми восточными рынками, за исключением одной только Индии.

Англии удалось подавить у себя пролетарскую революцию и удержать под своим скипетром народы Индии. Но это потребовало всех ее сил, и ей пришлось распроститься с остальными заморскими владениями. В Австралии и Новой Зеландии социалистами были созданы прави-

тельства народного сотрудничества. Отделилась и Канада, но здесь социалистическая революция была раздавлена при содействии Железной пяты. Точно так же и в Мексике, и на Кубе Железная пята помогла раздавить восстание. Таким образом, Железная пята утвердилась в Америке, спаяв в единое целое всю северную ее половину, от Панамского канала до Ледовитого океана.

Как уже сказано, Англии — ценой потери всех колоний — удалось удержать Индию. Но это было лишь временной отсрочкой. Борьба Японии и всей Азии за Индию только откладывалась на неопределенный срок. Англии предстояло вскоре потерять Индию, а в перспективе вставала война между объединившейся Азией и остальным миром.

В то время как весь земной шар сотрясали войны и революции, мы в Соединенных Штатах тоже не знали спокойствия и мира. Измена ведущих профсоюзов парализовала нашу, пролетарскую, революцию, но повсюду происходили мятежи и беспорядки. К рабочим волнениям, к ропоту фермеров и доживавших свой век остатков среднего класса присоединилось вспыхнувшее с необычайной силой религиозное движение, причем на первый план выдвинулась одна из сект «Адвен-

тистов седьмого дня», предсказывавшая близкий конец мира.

— Черт бы побрал всю эту кутерьму! — негодовал Эрнест. — Какая может быть солидарность при всем этом разладе и разброде!

И действительно, религиозный фанатизм получил небывалое распространение. Измученные, затравленные люди, изверившиеся в целях земного существования, мечтали о небесах, куда капиталистическим тиранам было бы так же трудно попасть, как верблюду пролезть в игольное ушко. Бродячие проповедники с глубоко запавшими горящими глазами наводнили всю страну. Их проповеди под открытым небом, привлекавшие толпы слушателей, раздували религиозное безумие, и никакие запрещения и кары не в силах были потушить этот пожар.

Наступают последние дни мира, утверждали они, начало конца. Четыре апокалиптических ветра ниспосланы на землю. Господь посеял вражду между народами. То была пора видений и чудес, повсюду появлялись провидцы и прорицательницы. Сотни тысяч людей бросали работу и бежали в горы, чтобы там дождаться второго пришествия, когда сто сорок четыре тысячи праведников будут вознесены на небеса. Но Господь

мешкал, а между тем тысячи людей умирали с голоду. С отчаяния многие принялись шарить по окрестным фермам; анархия и беспорядок, охватившие всю страну, еще усиливали бедствия обездоленных фермеров.

Однако фермы и житницы принадлежали Железной пяте. Целые армии были двинуты против фанатиков, и солдаты штыками загоняли беглецов обратно в город, возвращая их к обычным занятиям. Но там они присоединялись к то и дело вспыхивавшим бунтам и восстаниям. Вожаков казнили и сажали в сумасшедший дом, но на казнь они шли, как на праздник. Это была пора всеобщего безумия. Эпидемия распространялась с быстротой пожара. На болотах, в пустынях, на затерянных пустошах от Флориды до Аляски уцелевшие еще кое-где племена индейцев предавались ночным бдениям и магическим пляскам в ожидании пришествия своего собственного мессии.

И над всем этим смятением с ужасающей уверенностью и спокойствием царила олигархия, железной пятой она растоптала бунтарей, железною рукою взнуздала восставшие многомиллионные массы, из хаоса сотворила порядок и воздвигла свою собственную твердыню, в са-

мом хаосе почерпнув ее основу и строй.

— Погодите, вот мы придем к власти, — говорили наши фермеры (Кэлвин говорил это у нас на Пелл-стрит). — Посмотрите, в скольких штатах мы получили большинство! Если вы, социалисты, поддержите нас, мы призовем эту публику к порядку.

— Миллионы недовольных, обездоленных людей идут к нам, — говорили социалисты. — С нами теперь и фермеры, и средний класс, и сельскохозяйственные рабочие. Последний час капитализма пробил. Еще месяц — и пятьдесят наших представителей войдут в конгресс, а через два года в наших руках будут все административные посты, от президента до городского собачника.

Эрнест слушал все это, качал головой, а потом спросил:

— Скажите лучше, много ли у вас винтовок? И как вы обеспечите себя патронами? Когда в воздухе запахнет порохом, помните, что химические соединения лучше механических: они надежнее.

Глава XVI
Конец

Когда нам с Эрнестом пришла пора отправляться в Вашингтон, папа отказался ехать — так увлекло его изучение жизни пролетариата. Наши трущобы представлялись ему огромной лабораторией, и он с головой ушел в исследование, которому, казалось, не предвиделось конца. Он нашел себе друзей среди простых рабочих и был вхож во многие дома, да и сам охотно брался за случайную работу, поскольку она служила ему забавой и расширяла круг его наблюдений, и в эти дни возвращался домой особенно оживленный, с целым ворохом записей и смешных рассказов. Это был ученый в подлинном смысле слова.

Папины трудовые подвиги были чистейшим любительством, так как заработка Эрнеста хватало на всю нашу небольшую семью. Но невозможно было отговорить его от этой увлекательной игры, которая, кстати сказать, была игрой со многими переодеваниями, смотря по тому, за какую работу он брался. Никогда не забуду, как он явился домой, нагруженный лотком с богатейшим

ассортиментом помочей, шнурков для ботинок, или же, как в бакалейной лавке, куда я зашла за покупками, он предстал передо мной в роли приказчика, отпускавшего товар. После этого я уже не удивлялась, когда он целую неделю заменял буфетчика в соседней пивной. Он работал ночным сторожем, продавал с лотка картошку, наклеивал ярлыки на консервном складе, был на посылках при картонажной фабрике, носил воду рабочим, прокладывавшим трамвайную линию, и даже записался в союз судомоев незадолго до его роспуска.

Очевидно, костюм епископа произвел на папу неотразимое впечатление, потому что он приобрел себе точно такую же рубашку поденщика и комбинезон, перехваченный у пояса ремешком. Но одному обычаю папа все же остался верен: он всегда переодевался к обеду, или, как это у нас теперь называлось, к ужину.

С Эрнестом я нашла бы счастье повсюду, и то, что папа радовался изменению наших жизненных обстоятельств, довершало мое счастье.

— Я еще мальчишкой был ужасно любопытен, — говаривал он. — Все мне хотелось знать, отчего да почему. Недаром я стал физиком. И до сих пор во мне живет это неугомонное любопыт-

ство, а ведь в любопытстве-то главная прелесть жизни.

Иногда он отваживался на вылазки в ту часть города, где находились театры и дорогие магазины. Здесь он продавал газеты, бегал с поручениями, как рассыльный, отворял дверцы экипажей. И вот однажды, захлопнув дверцы отъезжавшей кареты, он увидел в ней мистера Уиксона. Папа с наслаждением описал нам эту сцену.

— Уиксон вытаращил на меня глаза и только и сказал: «Какого черта!» Представляете? «Какого черта!» Покраснел до ушей и так растерялся, что забыл сунуть мне чаевые. Но, по-видимому, тут же опомнился, потому что, как только его карета отъехала шагов на пятьдесят, смотрю, опять ко мне заворачивает. Уиксон высунулся в окошко и крикнул:

«Послушайте, профессор, это, знаете ли, уж слишком. Не могу ли я что-нибудь для вас сделать?»

«Я захлопнул дверцу вашей кареты, — сказал я. — С вас десять центов». — «Бросьте дурака валять! Я в самом деле хотел бы вам помочь».

Он сказал это вполне серьезно: очевидно, в нем заговорила его атрофированная совесть. Я сделал вид, что размышляю, а потом предложил:

«Пожалуй, вы могли бы вернуть мне мой дом, а заодно и сьеррские акции».

Папа остановился.

— Ну и что же он? — не вытерпела я. — Что он тебе сказал?

— Что он мог сказать? Ничего, разумеется. Зато я сказал ему: «Ну, Уиксон, как ваше драгоценное?» Он как-то странно посмотрел на меня. А я повторил: «Хорошо вы себя чувствуете?» Тут он приказал кучеру гнать во всю прыть и уехал, ругаясь на чем свет стоит. И даже десять центов так и не отдал мне, какой уж там дом и акции! Так что видишь, дорогая, карьера уличного попрошайки чревата немалыми разочарованиями.

Так папа и остался жить в нашей квартире на Пелл-стрит, когда мы с Эрнестом переехали в Вашингтон. Старая жизнь кончилась, и, как вскоре выяснилось, кончилась бесповоротно.

Вопреки нашим ожиданиям, никто не помешал социалистам занять свои места в конгрессе. Все сошло благополучно. И я подсмеивалась над Эрнестом, которому даже и это благополучие внушало опасения.

Наши товарищи социалисты были преисполнены надежд. Они верили в свои силы и в предстоявшее им дело. Несколько депутатов

от фермерской партии примкнули к нам, и мы выработали общую программу действий. Во всем этом Эрнест принимал самое деятельное участие и только нет-нет да и повторял, как будто некстати, свою излюбленную фразу: «Когда в воздухе запахнет порохом, помните, что химические соединения лучше механических: надежнее…»

Началось с затруднений у фермерской партии, которая в результате последних выборов завоевала руководящие посты в двенадцати штатах. Представителей ее не допустили к исполнению своих обязанностей. Отставленные администраторы просто-напросто отказались сдавать дела. Они обжаловали выборы, и пошла обычная волокита. Фермерская партия была бессильна что-либо сделать. Последней инстанцией был суд, а в суде командовали ее враги.

Положение было критическое. Стоило нашим обманутым союзникам забить тревогу, как в стране начался бы переполох и на всех наших завоеваниях можно было бы поставить крест. Мы, социалисты, сдерживали их изо всех сил. Эрнест сутками не ложился. Руководители фермерской партии видели опасность и были всецело с нами. Но ничто не помогло. Олигархии нужны были беспорядки, и она прибегла к услугам провокато-

ров. Теперь можно считать установленным, что так называемое «Крестьянское восстание» было грандиозной провокацией.

Восстание вспыхнуло в двенадцати штатах, и власть там захватили экспроприированные фермеры. Разумеется, это было противозаконно, и правительство двинуло на мятежников войска. Повсюду шныряли провокаторы, вызывая народ на эксцессы. Агенты Железной пяты скрывались под маской фермеров, ремесленников и сельскохозяйственных рабочих. В столице Калифорнии, Сакраменто, фермерской партии удалось сохранить порядок. И вот тысячи тайных агентов были направлены в этот город. Шатаясь по улицам толпами, они палили в окна и грабили магазины и фабрики, втягивая в свои бесчинства городскую чернь, которую усиленно спаивали. Когда же все было подготовлено, в город нагрянули правительственные войска, вернее — войска Железной пяты, и началась кровавая расправа. На улицах Сакраменто и в домах было перебито одиннадцать тысяч жителей. Власть в штате захватило федеральное правительство, и судьба Калифорнии была решена.

То же самое повторилось в каждом из двадцати штатов, отдавших голоса фермерской партии. По-

всюду свирепствовало насилие, и кровь лилась рекой. Сначала тайными агентами и «черными сотнями» провоцировались беспорядки, а затем появлялись войска. По всей сельской Америке буйствовали и бесчинствовали толпы громил. Над горящими городами и селами, над усадьбами и амбарами день и ночь стояли столбы дыма. В ход пошел и динамит. Какие-то неизвестные взрывали железнодорожные туннели и мосты и пускали под откос поезда. Фермеров вешали и расстреливали без числа. Народ восставал против своих мучителей, и множество офицеров и плутократов пали жертвами террористических актов. Злоба и ненависть владели людьми. Солдаты расправлялись с фермерами, словно с враждебными индейскими племенами, — и недаром в штате Орегон две тысячи восемьсот солдат были уничтожены взрывами страшной силы, следовавшими один за другим. Многие погибали в железнодорожных катастрофах. Солдаты в не меньшей мере, чем фермеры, дрались за свою жизнь.

Что касается национальной гвардии, то был приведен в действие закон 1903 года, и рабочие одного штата должны были под страхом смерти стрелять в рабочих другого штата, своих

товарищей. Закон этот на первых порах вызвал сопротивление. Немало офицеров национальной гвардии было убито из-за угла, немало рядовых подверглось расстрелу по приговору военно-полевых судов. То, что в свое время предсказывал Эрнест, нашло разительное подтверждение в судьбе мистеров Асмунсена и Коуолта. Оба они были призваны в национальную гвардию и направлены с карательным отрядом из Калифорнии в штат Миссури. Мистер Асмунсен и мистер Коуолт отказались выполнить распоряжение командования. Расправа с ними была короткая. Военно-полевой суд приговорил смельчаков к расстрелу, и приговор был приведен в исполнение солдатами, которые стреляли им в спину.

Немало молодых людей бежали от мобилизации в горы. Их объявили вне закона, но особенно не тревожили до тех пор, пока в стране не наступило сравнительное успокоение. Но тут были приняты крутые меры. Правительство обратилось к беглецам с предложением явиться с повинной, для чего был дан трехмесячный срок. По истечении этого срока в горные округа было направлено до полумиллиона солдат с приказом выловить дезертиров. Расправлялись без суда и следствия: просто пристреливали на месте.

Каратели действовали согласно инструкции, по которой все скрывавшиеся в горах считались злостными дезертирами, и всякий был волен в их жизни и смерти. Кое-где в защищенных местах отдельные отряды мужественно сопротивлялись, но, в конце концов, их выловили всех до единого и предали смерти.

Еще более внушительный урок был дан населению на примере расправы с канзасской национальной гвардией. Великое Канзасское восстание вспыхнуло в самом начале военного похода против фермеров. Взбунтовались шесть тысяч национальных гвардейцев. Частям этим не доверяли и, ввиду царившей в них угрюмой озлобленности, держали их на лагерном положении. К открытому мятежу они перешли, разумеется, не без пособничества провокаторов.

В ночь на 22 апреля гвардейцы восстали и перебили своих офицеров, только немногим удалось скрыться. Убийство командного состава, разумеется, не входило в планы Железной пяты — агенты на сей раз перестарались. Однако Железной пяте и это пошло на пользу. К репрессиям подготовились заранее, а убийство офицеров давало достаточный для них повод. Сорок тысяч солдат внезапно окружили мятежников. Злопо-

лучные гвардейцы попали в ловушку. Слишком поздно хватились они, что из их пулеметов вынуты замки, а патроны не подходят к винтовкам. Они выкинули белый флаг, но никто не обратил на это внимания. Враг не знал пощады. Все шесть тысяч человек полегли на месте. Сначала по ним били гранатами и шрапнелью, а затем, когда отчаяние подняло их в атаку, косили пулеметным огнем. По словам очевидцев, ни один гвардеец не успел подбежать к неприятельским цепям ближе чем на полтораста метров. Земля была усеяна трупами. Заключительная атака кавалеристов добила раненых, а тех, кого не прикончила сабля или пуля, растоптали конские копыта.

Не успело закончиться усмирение фермеров, как восстали горняки. Это была последняя вспышка борьбы организованного пролетариата. Всего бастовало семьсот пятьдесят тысяч углекопов, но силы их были распылены по всей стране. Каждый угольный округ был оцеплен правительственными войсками, и с каждым расправлялись в отдельности. Это была первая грандиозная

облава на невольников, и Покок[92] стяжал себе на этом деле славу укротителя рабов и вечную ненависть пролетариата. На него неоднократно производились покушения, но, казалось, он был заколдован. Это он ввел для горняков паспортную систему наподобие той, какая существовала в царской России, и по его инициативе им было запрещено свободно передвигаться по стране.

Социалисты держались крепко. В то время как партия фермеров погибала в огне и крови, а профсоюзы разгонялись, социалисты воздерживались от всяких выступлений и готовились к уходу в подполье. Напрасно наши друзья из фермерской партии взывали к нам. Мы правильно возражали им, что всякое наше вмешательство грозило бы гибелью делу революции. Железная пята,

[92] Примечания: 92

Олберт Покок, так же как и Фарли, — один из знаменитых штрейкбрехеров своего времени. Гроза горняков, он до последнего своего издыхания держал их в беспрекословном повиновении. После смерти главы семьи обязанности его унаследовал сын, Льюис Покок, и так в течение трех поколений эта примечательная династия укротителей рабов деспотически правила углекопами. Сохранилось следующее описание внешности Покока-старшего, известного также под именем Покока Первого: «Длинный узкий череп, окаймленный бахромой рыжеватых седеющих волос, лицо скуластое, с тяжелым подбородком, щеки бледные, тусклые серые глаза, скрипучий голос, движения замедленные». Покок Первый родился в бедной семье и начал свою деятельность буфетчиком в баре. Затем поступил в трамвайную компанию частным сыщиком и постепенно специализировался по части штрейкбрехерства. Последний в роде, Покок Пятый, был убит бомбой, взорвавшейся на водокачке во время одного из малозначительных

шахтерских восстаний на Индейской территории в 2073 г.

не решавшаяся сперва выступить против всего пролетариата в целом, теперь, приободренная легкой победой, только и мечтала свернуть нам шею. Но мы сохраняли полное самообладание, несмотря на усилия провокаторов, которыми кишели наши ряды. В те времена агенты Железной пяты действовали неумело — им еще только предстояло пройти серьезную школу, — и наши боевые группы вылавливали их одного за другим. Это была тягостная, грязная работа, но мы боролись за жизнь и за революцию, и нам приходилось сражаться с врагом его же оружием. Все же мы придерживались справедливости. Ни один агент Железной пяты не был казнен без суда и следствия. Если и случались ошибки, то лишь как исключение. В боевые группы шли самые храбрые, самые энергичные и преданные революции товарищи. Спустя десять лет, на основании сведений, сообщенных ему начальниками боевых групп, Эрнест занялся статистикой. Оказалось, что вступавшие туда мужчины и женщины могли рассчитывать в среднем не больше чем на пять лет жизни. Это были герои. Принципиальные противники убийства, они шли на убийство, стиснув зубы, считая, что великое дело свободы

требует великих жертв[93].

Мы ставили себе тройную задачу: во-первых, вылавливание подосланных к нам агентов олигархии; во-вторых, организацию боевых групп и всего революционного подполья; в-третьих, засылку наших агентов во все организации олигархии, а также в армию и рабочие касты. Они проникали туда под видом секретарей и конторщиков, телеграфистов, надсмотрщиков над рабочими и провокаторов. Это была работа, требовавшая времени и сопряженная с величайшей опасностью. Все наши усилия зачастую приводили только к неудачам и тяжелым потерям…

Железная пята победила в открытой войне. Но мы объявили ей другую, еще неведомую, странную и страшную подпольную войну. Мы воевали

---

[93] Примечания: 93

При организации боевых групп весьма пригодился и опыт русской революции; несмотря на неустанную борьбу, которую вела с ними Железная пята, они просуществовали триста лет, до самого ее падения. Эти организации, состоявшие из мужчин и женщин, воодушевленных высокой целью и презирающих смерть, были в свое время могучей силой, сдерживавшей разнузданную жестокость правителей. Их деятельность не ограничивалась подспудной войной с тайными агентами олигархии. Самим олигархам приходилось выслушивать приказы боевых групп и нередко платиться головой за ослушание, не говоря уже об их подчиненных, офицерах армии или руководителях рабочих каст. Суд мстителей был суров, но беспристрастен и справедлив. Он не допускал скоропалительных приговоров и решений. Если обвиняемого удавалось захватить, его судили по справедливости, предоставляя ему возможность защищаться. Но, разумеется, многие дела разбирались и решались заочно, как это было, например, с генералом Лэмптоном

(2138 г.). Один из самых кровожадных и злобных прислужников Железной пяты, генерал Лэмптон, был извещен, что боевые группы судили его, признали виновным и приговорили к смерти, причем заявление это последовало после трех предупреждений, призывавших его прекратить издевательства над рабочими. Узнав о приговоре, генерал не пожалел средств для обеспечения своей безопасности. Проходили годы, а боевым группам не удавалось до него добраться. Много наших товарищей, как мужчин, так и женщин, заплатили за свои попытки мучительной смертью. Специально в защиту генерала Лэмптона была восстановлена казнь на кресте как законная мера наказания. В конце концов изверга покарала слабая рука хрупкой семнадцатилетней Мадлены Прованс, которая два года работала с этой целью швеей у него во дворце. Мадлена умерла в одиночном заключении, после нескончаемых страшных пыток. Ныне, увековеченный в бронзе, юный образ ее украшает Пантеон Братства людей в прекраснейшем городе Серле. Мы, живущие в мире, не знающем кровопролития, не должны строго судить участников боевых групп. Эти герои, не щадя себя, служили человечеству, и никакие жертвы не были им страшны. Только необходимость заставляла их проливать кровь в эпоху, когда весь мир утопал в крови. Боевые группы были мучительной занозой в теле олигархии, от которой ей так и не удалось избавиться. Эвергард считается создателем этого своеобразного воинства, чья успешная трехвековая борьба свидетельствует о том, как мудро был заложен фундамент, простоявший века. Организация боевых групп, пожалуй, величайшая заслуга Эрнеста Эвергарда, хотя мы отнюдь не хотим приуменьшить его значение как выдающегося теоретика революции и одного из ее вождей.

в потемках, наугад, слепые со слепыми, однако в этой борьбе был свой порядок, дисциплина, единодушие. Наши агенты проникали во все организации Железной пяты, а в наших организациях гнездились ее агенты. Это была война втемную, коварная и увертливая, обе стороны изощрялись в интригах и конспирации, заговорах и контрзаговорах. А за всем этим постоянной угрозой маячила смерть, жестокая, насильственная смерть. Мужчины и женщины, наши лучшие, любимейшие товарищи, исчезали без следа. Сегодня мы еще видели друзей в своих рядах, а завтра уже недосчитывались их и знали, что это — навсегда, что они сложили голову в борьбе.

Никому нельзя было довериться, ни на кого нельзя было положиться. Человек, который работал рядом с вами, был, возможно, агентом Железной пяты. Мы минировали ее организации своими агентами, а она своими контрминировала наши организации. И хотя мы не имели права кому-либо довериться или на кого-нибудь положиться, каждый шаг поневоле основывался на доверии. То и дело мы сталкивались с изменой. Были среди нас и слабые люди. Железная пята располагала приманками в виде денег, праздности и удовольствий, которые ждали предателей

в чудо-городах. Нашей же единственной наградой было чувство удовлетворения от сознания исполненного долга. В остальном воздаянием за верность была вечная опасность, нескончаемые муки и смерть.

Повторяю, попадались среди нас и слабые люди. И за слабость мы могли отплатить им только смертью. Необходимость заставляла нас карать предателей. По следам каждого обнаруженного изменника мы немедленно направляли от одного до десяти мстителей. Иногда нам не удавалось привести в исполнение приговор над врагом, как это было, например, с Пококами, но в наказании предателей мы не имели права на неудачу. Товарищи по нашему решению под видом перебежчиков проникали в чудо-города и там приводили приговор в исполнение. В конце концов мы стали для предателей такой грозой, что безопаснее было верно служить нам, чем изменять.

Революция приобрела характер религиозного движения. Мы приносили жертвы на алтарь революции, на алтарь свободы. Нас сжигал ее божественный огонь. Мужчины и женщины отдавали жизнь Великому Делу, и новорожденные младенцы посвящались ему, как некогда посвя-

щались Богу. Мы поклонялись Человечеству.

Глава XVII
Ливрейные лакеи

После усмирения фермеров их представителей больше не видели в конгрессе. Всем им было предъявлено обвинение в государственной измене, и места их заняли ставленники Железной пяты. Социалисты оказались теперь в ничтожном меньшинстве; каждый из них понимал, что конец близок. Заседания сената и палаты превратились в фарс, в пустую проформу. Там все еще обсуждались и решались какие-то вопросы, но теперь это нужно было только для того, чтобы придать мандатам олигархов некую видимость законности.

Эрнест оказался в самой гуще борьбы, когда настал неизбежный конец. В конгрессе обсуждался законопроект о помощи безработным. Кризис прошлого года снизил жизненный уровень пролетарских масс до голодного существования, а охватившие страну неурядицы довершили дело. Миллионы людей нуждались в хлебе, между тем как олигархи и их приспешники не знали,

куда девать свои несметные богатства[94]. Для облегчения участи этих бедняков, которых мы называли обитателями бездны[95], социалисты внесли в конгресс законопроект о безработных. Естественно, это не нравилось Железной пяте. Она собиралась на свой лад использовать труд голодных миллионов, и участь нашего проекта была предрешена. Эрнест и его товарищи понимали, что хлопочут напрасно, однако их томила неопределенность положения. Они хотели, чтобы кончилось наконец это напряженное ожидание, и, не видя в своей деятельности никакого проку, считали, что лучше разделаться с постыдным фарсом, в котором им приходилось быть невольными участниками. Никто из них не представлял себе, каков будет конец, — во всяком случае, он

[94] Примечания: 94

Характерным примером таких порядков было владычество англичан в Индии в XIX в. Коренное население вымирало от голода, гибло миллионами, для того, чтобы правители, присвоив себе плоды его трудов, швыряли их на безумную роскошь и бессмысленные развлечения. Поистине нам, в наш просвещенный век, приходится краснеть за своих предков. Остается лишь смотреть на эти вещи с высоты философии. Капиталистическую стадию развития человеческого общества можно приравнять к веку обезьян. Человек, освобождаясь от грязи и скверны низшего органического существования, вынужден был пройти через эти стадии бытия. Естественно, что грязь и скверна надолго к нему пристали, и от них нелегко было очиститься.

[95] Примечания: 95

Выражение «обитатели бездны» принадлежит Уэллсу, писателю конца XIX в. Уэллс, здоровый нормальный человек с нормальными челове-

ческими чувствами, часто выступал в роли социального провидца. До нас дошло немало фрагментов его сочинений, а две работы — «Прозрения» и «Человеческий род в развитии» — сохранились целиком. Задолго до олигархов и до Эвергарда Уэллс предвидел возникновение чудо-городов, он называл их «городами наслаждений».

превзошел самые худшие их опасения.

В тот день я сидела на галерее, в местах для публики. Все мы были охвачены ожиданием чего-то ужасного. Угроза носилась в воздухе, мы видели ее воплощение в шеренгах солдат, заполнявших коридоры, и в офицерах, кучками толпившихся у всех выходов. По всему чувствовалось, что олигархи готовят удар. Трибуну занимал Эрнест. Он говорил об ужасах безработицы с таким жаром, как будто и вправду был одержим безумной надеждой тронуть сердца своих слушателей. Но республиканцы и демократы только издевались над ним. В зале стоял невообразимый шум.

Внезапно Эрнест переменил тон и перешел в открытое наступление:

— Я знаю, что не в силах убедить вас: убедить можно только того, у кого есть ум и сердце, но не вас, бесхребетная, бездушная слякоть! Вы преважно именуете себя демократами и республиканцами. Ложь все это! Нет никаких демократов и нет никаких республиканцев, и прежде всего их нет в этом зале. Вы блюдолизы и сводники, холопы плутократии! Бия себя в грудь, вы разглагольствуете о свободе. Но кто же не видит на ваших плечах багряной ливреи Железной пяты?

В зале поднялись крики: «Долой!», «К порядку!»

— и голос Эрнеста потонул в общем реве. Он с презрительной усмешкой ждал, пока шум немного утихнет, потом повел рукой на сидевших в зале и, повернувшись к своим товарищам, сказал:

— Послушайте, как лают эти раскормленные псы!

В зале снова воцарился ад. Председатель изо всех сил стучал молотком, вопросительно посматривая на офицеров в проходах. Отовсюду неслись крики: «Измена!» — а дюжий бочкообразный депутат от Нью-Йорка, повернувшись к трибуне, орал во всю глотку: «Анархист!» На Эрнеста страшно было смотреть. Каждый его мускул был напряжен, глаза налились кровью. И все же он владел собой и ничем не выдавал душившего его бешенства.

— Помните! — крикнул он громовым голосом, перекрывшим шум в зале. — Как вы теперь расправляетесь с пролетариатом, так он когда-нибудь расправится с вами.

Возгласы «измена!» и «анархист!» усилились.

— Я знаю, вы собираетесь провалить наш законопроект, — продолжал Эрнест. — Вам приказано его провалить. А вы еще меня зовете анархистом! Вы, отнявшие власть у народа, вы, бесстыдно щеголяющие в лакейской ливрее, зовете меня

анархистом! Я не верю в вечный огонь и кипящую серу преисподней, но иногда я готов пожалеть о своем неверии. В такие минуты, как сейчас, я готов в них верить. Ад должен существовать, потому что ни в каком другом месте вам не воздастся в полной мере за ваши преступления. Нет, пока такие, как вы, не перевелись на свете, Вселенной, видимо, не обойтись без адского огня.

У входа возникло какое-то движение. Эрнест, председатель и все депутаты повернули головы к дверям.

— Господин председатель, что же вы не зовете ваших солдат? — спросил Эрнест. — Они здесь и только ждут сигнала, чтобы привести в исполнение ваши тайные замыслы.

— Меня больше беспокоят другие тайные замыслы, — отвечал председатель. — И солдаты здесь для того, чтобы помешать им.

— Это уж не наши ли козни вы имеете в виду? — издевался Эрнест. — Бомбы или что-нибудь в этом роде?

При слове «бомбы» атмосфера в зале снова накалилась. Эрнест не мог перекричать весь этот шум и стоял, выжидая. И тут произошло нечто неожиданное. Со своего места на галерее я заметила только вспышку огня. Затем меня оглушил

взрыв, и сквозь завесу дыма я увидела, как Эрнест покачнулся и как по всем проходам к трибуне ринулись солдаты. Наши товарищи повскакали с мест, не владея собой от возмущения. Но Эрнест, сделав над собой величайшее усилие, остановил их движением руки и загремел:

— Это провокация! Спокойствие, вы только себя погубите!

Он медленно опустился на пол, и подоспевшие солдаты окружили его стеной. Другие солдаты очищали галерею от публики. Поневоле пришлось уйти и мне, и больше я ничего не видела.

Я объявила, что я жена Эрнеста, в надежде, что буду к нему допущена, но вместо этого меня арестовали. Одновременно был произведен арест всех социалистических депутатов, включая и беднягу Симпсона, который болел тифом и лежал у себя в гостинице.

Суд не стал с нами долго возиться. Все приговоры были предрешены заранее. Удивительно, что Эрнесту сохранили жизнь. Это была величайшая ошибка олигархии, и она ей дорого стала. Сказывалось опьянение собственными успехами, в котором пребывали победители. Им и в голову не приходило, что эта горсточка героев способна потрясти их власть до самого основания. Завтра,

когда начнется великая революция и весь мир услышит мерный шаг восставших миллионов, олигархия с удивлением увидит, в какую могучую силу превратился скромный отряд героев[96].

Как член революционной организации, посвященный во все ее тайные планы и деливший с ней горе и радость, я принадлежу к тем немногим, кто более других может судить, были ли наши депутаты причастны к взрыву в конгрессе. Могу сказать без малейших колебаний, что никто из социалистов, как бывших в этот день в конгрессе, так и не бывших там, не имел к этому делу никакого касательства. Мы не знаем, кто бросил бомбу, но знаем достаточно достоверно, что это сделали не мы.

С другой стороны, много данных за то, что взрыв

[96] Примечания: 96

Эвис Эвергард писала для своих современников и потому ни словом не упоминала о приговоре, вынесенном по делу пятидесяти двух социалистических депутатов, обвиненных в государственной измене. Такого рода досадные пробелы не раз встречаются в ее рукописи. Все депутаты, представшие перед судом, были осуждены. Как ни странно, ни один из них не был приговорен к смерти. Эвергард был одним из двенадцати, приговоренных к пожизненному заключению, в их число входили также Теодор Донелсон и Мэтью Кент. Остальные были осуждены на срок от тридцати до сорока пяти лет, и только Артур Симпсон, который, как сказано выше, был болен тифом во время взрыва, отделался пятнадцатью годами. По некоторым сообщениям, его уморили голодом в одиночке. Такое суровое обращение было вызвано крайним упорством заключенного и нескрываемой ненавистью к палачам. Он умер в тюрьме Кабаньяс на Кубе, где были заключены еще три его товарища. Все депутаты-социалисты были брошены в военные

тюрьмы в разных концах страны. Так, Дюбуа и Вудс содержались в Пуэрто-Рико, а Эвергард и Мерривезер попали в старинную военную тюрьму на Алькатрасе, небольшом островке в заливе Сан-Франциско.

был устроен по велению свыше. Пусть это всего лишь предположение, но вот какие серьезнейшие доводы говорят в его пользу. Председатель конгресса был извещен тайной полицией, что депутаты-социалисты собираются перейти к террористическим методам борьбы. Назначен будто бы даже день — тот самый, когда и произошел взрыв, — поэтому в Капитолий были заранее введены войска. Но поскольку мы ничего не знали о предполагающемся взрыве, а власти знали и заблаговременно к нему готовились, и взрыв действительно произошел, естественно заключить, что Железная пята была обо всем осведомлена. Более того, мы, социалисты, утверждаем, что преступление это и совершено было Железной пятой: она задумала его и привела в исполнение, чтобы потом возложить вину на нас и таким образом способствовать нашей гибели.

Через председателя палаты весть о готовящемся террористическом акте достигла его коллег, холопов, облаченных в багряную ливрею. Во время выступления Эрнеста все они только и ждали, когда это произойдет. Надо отдать им справедливость, они и в самом деле верили, что социалисты что-то готовят. На процессе многие искренне утверждали, что видели в руках у Эрнеста бомбу

и что она преждевременно разорвалась. Разумеется, ничего подобного они не видели, и картину эту нарисовало им разгоряченное воображение.

На суде Эрнест сказал:

— Неужели вы не понимаете, что, если бы мне понадобилось бросить бомбу, я не удовлетворился бы какой-то хлопушкой? Ведь в ней и пороху-то почти не было. Только что надымила, а ранила одного меня. Посудите сами, что это за бомба, если, разорвавшись у моих ног, даже меня не убила. Поверьте, если я начну швырять бомбы, это вам дешево не пройдет. Вы не отделаетесь испугом.

Обвинение, со своей стороны, утверждало, что социалисты просчитались: слабое действие бомбы было для них так же неожиданно, как и преждевременный взрыв, вызванный растерянностью Эрнеста. Последнее, кстати, совпало с показаниями свидетелей, будто бы видевших бомбу в его руках.

Никто из нас не знал, кто бросил бомбу. Эрнест впоследствии рассказывал мне, что за какую-то долю секунды до взрыва он видел и слышал, как бомба ударилась у его ног. То же самое он говорил на суде, но ему, конечно, не поверили. Весь этот инцидент, попросту говоря, «состряпала» Железная пята, желая с нами разделаться, и бороться с

ее тайными замыслами было бесполезно.

По известному речению, нет ничего тайного, что не стало бы явным. Данный случай это опровергает. Прошло девятнадцать лет, а мы, несмотря на все наши старания, так и не обнаружили человека, бросившего в Капитолии бомбу. Это, несомненно, был пособник Железной пяты, но так тщательно законспирированный, что ни один из наших агентов ни разу не наткнулся на его след. И теперь, когда все сроки прошли, остается лишь поставить крест на этой тайне и сдать ее в архив неразрешимых исторических загадок[97].

---

[97] Примечания: 97

Эвис Эвергард пришлось бы прожить не одну жизнь, чтобы дождаться разрешения этой загадки. Около ста лет назад и, значит, свыше шестисот лет после смерти автора этих записок, в тайниках Ватикана была обнаружена предсмертная исповедь некоего Первэза, американца французского происхождения. Кое-что в этом документе заслуживает внимания, хотя в целом он представляет скорее архивный интерес. В 1913 г. Первэз сидел в одной из нью-йоркских тюрем в ожидании суда за совершенное убийство. Из исповеди явствует, что Первэз не был преступником по натуре. Человек крайне горячий и порывистый, он в припадке ревности убил жену — случай, нередкий в те времена. Заключенный со страхом думал о предстоящей казни — в исповеди подробно об этом говорится — и был готов на что угодно, только бы ее избежать. Полицейские агенты поддерживали в нем страх, уверяя, что ему не миновать электрического стула. То был стул особого устройства. Приговоренного сажали на него и в присутствии опытных врачей подвергали действию электрического тока, вызывавшего мгновенную смерть. Этот вид казни был очень распространен. Анестезия как способ насильственного лишения жизни тогда еще не применялась. Итак, этот неплохой, но необузданный по натуре

человек сидел в тюрьме, ожидая неминуемой смерти, когда к нему обратились агенты Железной пяты с предложением бросить бомбу в палате представителей. Первэза уверили — и об этом с непререкаемой ясностью говорится в исповеди, — что бомба будет заряжена очень слабо и взрыв не вызовет человеческих жертв. Как известно, бомба, взорвавшаяся у ног Эвергарда, действительно не причинила большого вреда. Первэза спрятали в одной из галерей Капитолия, считавшейся закрытой по случаю ремонта. Выбор подходящей минуты был оставлен на его усмотрение, и Первэз, по его собственным словам, так заинтересовался речью Эвергарда и шумом, поднявшимся в зале, что едва не забыл о своем поручении. В награду за эту услугу Первэза не только выпустили на свободу, но и обеспечили пожизненной рентой. Однако ему недолго пришлось ею пользоваться. В сентябре 1914 г. у него открылся ревмокардит, и он умер, прохворав всего лишь три дня. Перед смертью Первэз послал за католическим священником, отцом Питером Дюрбаном, и исповедался ему. Священник был так поражен этим признанием на смертном одре, что записал его от слова до слова и предложил умирающему клятвенно подтвердить его. О дальнейшем можно только догадываться. Документ, очевидно, ввиду его большого значения, был направлен в Рим, а там, под давлением влиятельных сил, убран подальше и в течение многих веков пролежал под спудом. Только в прошлом веке знаменитый итальянский историк Лорбиа случайно его обнаружил во время своих изысканий в Ватикане. В настоящее время не подлежит сомнению, что бомба, взорвавшаяся в палате представителей в 1913 г., была брошена по приказу Железной пяты. В этом нас убеждает не столько исповедь Первэза — история в своих заключениях могла бы обойтись и без нее, — сколько то, что этот маневр, позволивший олигархии одним ударом посадить под замок пятьдесят двух неугодных депутатов, чрезвычайно похож на другие аналогичные преступления, совершенные как олигархами, так и капиталистами до них. Классическим примером циничного и подлого судебного убийства ни в чем не повинных людей явилась в последние десятилетия XIX в. казнь так называемых «хеймаркетских анархистов» в Чикаго. Особую категорию преступлений составляли умышленные поджоги и уничтожение имущества, учиняемые капиталистами, чтобы ответственность за них взвалить на рабочих. Обычно за это платились невинные люди, которых, по излюбленному выражению того времени, почему-либо хотели упечь в тюрьму. Во время рабочих беспорядков первой четверти XX в. капиталисты с особой кровожадностью применяли эту тактику в борьбе с Западной федерацией горняков. Провокаторы взорвали железнодорожную станцию Индепенденс. Тридцать человек были убиты, многие получили тяжелые ранения.

Капиталисты, державшие в своих руках законодательную власть и все суды штата Колорадо, обвинили в этом преступлении рабочих и чуть было не добились их осуждения. Некто Ромэн, бывший одним из орудий этого злодеяния, сидел, как и Первэз, в тюрьме другого штата, Канзас, и ждал суда, когда к нему обратились агенты капиталистов. Однако последующее признание Ромэна было еще при его жизни предано гласности. К этому же периоду относится процесс Мойера и Хейвуда, двух энергичных неустрашимых рабочих лидеров. Один из них был председателем Западной федерации горняков, другой — ее секретарем. В ту пору был убит при таинственных обстоятельствах бывший губернатор штата Айдахо. Горняки и социалисты открыто обвиняли в этом преступлении шахтовладельцев. Несмотря на это и в нарушение конституции и местных законов, губернаторы штатов Айдахо и Колорадо сговорились между собой, и Мойер и Хейвуд были по их приказу похищены полицией и брошены в тюрьму. Обоим было предъявлено обвинение в убийстве. Вот что писал по этому поводу тогдашний лидер американских социалистов Юджин Дебс: «Против тех рабочих лидеров, которых нельзя ни подкупить, ни запугать, у плутократии существуют такие меры, как убийство из-за угла и судебная расправа. Единственным преступлением Мойера и Хейвуда было то, что они верно служили рабочему классу. Капиталисты завладели всей страной, растлили наших политиков, развратили суд, зажали в тиски рабочих, а сейчас они не прочь расправиться с теми, кто не хочет подчиниться деспотическому произволу. Губернаторы штатов Колорадо и Айдахо только пешки в руках плутократии, покорные исполнители ее воли. Идет борьба рабочих с плутократией. И если плутократы нанесли нам первый тяжелый удар, то последний, решающий удар будет нанесен нами».

Глава XVIII
В горах Сономы

О себе за этот период могу рассказать лишь очень немногое. Полгода меня продержали в тюрьме, не предъявляя никакого обвинения. Я была «на подозрении» — термин, с которым вскоре пришлось познакомиться многим революционерам. Но наша новорожденная тайная агентура уже становилась на ноги. К концу второго месяца моего заключения один из стражей открылся мне в том, что он революционер, близко связанный с нашей организацией; а несколько недель спустя я узнала, что недавно назначенный к нам тюремный врач Джозеф Паркхерст — член одной из боевых групп.

Так наша организация, незаметно проникая в поры вражеской организации, оплетала ее невидимой паутиной. Сидя в тюрьме, я знала все, что творится во внешнем мире. Да и каждый из депутатов, отбывавших заключение, был связан таким образом с мужественными товарищами, которые скрывались под личиной лакеев Железной пяты. И хотя Эрнеста содержали в военной

крепости на Тихоокеанском побережье и нас разделяло три тысячи миль, мы постоянно сносились друг с другом, и наши письма безошибочно находили дорогу через всю страну.

Социалистическим лидерам в тюрьме и на воле удавалось обсуждать между собой все главнейшие вопросы и таким образом руководить движением. Уже через несколько месяцев появилась возможность кое-кому устроить побег. Но поскольку заключение не совсем отрывало их от организации, решено было временно воздержаться от всяких скороспелых мероприятий. Кроме пятидесяти депутатов, по разным штатам сидели еще триста видных работников. Предполагалось освободить всех разом. Если бы какая-то часть опередила другую, олигархия была бы начеку и это помешало бы побегу остальных. Считалось также, что одновременное освобождение наших узников по всей стране произведет впечатление на пролетариат и это свидетельство нашей моральной силы заставит его поднять голову.

Было решено, что, отбыв свой срок, я должна скрыться от властей и приготовить для Эрнеста надежное убежище. Но даже скрыться оказалось нелегкой задачей. Как только я вышла на волю,

для наблюдения за мной была наряжена целая свора ищеек. Для того чтобы беспрепятственно пробраться в Калифорнию, надо было прежде всего сбить их со следа. Это создало забавную ситуацию.

В то время начала действовать паспортная система, подобная той, какая существовала в царской России. О том, чтобы под своим именем пуститься в путь через все штаты, нечего было и думать. Прежде чем помышлять о встрече с Эрнестом, мне надо было исчезнуть, иначе, выследив меня, наши гонители могли бы после его побега добраться до него. С другой стороны, при существующих условиях мне было бы небезопасно пускаться в далекое путешествие под видом простой работницы. Оставалось одно — выдать себя за привилегированную особу из лагеря властителей. Помимо горсточки сверхолигархов существовали сонмы олигархов помельче, с состоянием в несколько миллионов, вроде мистера Уиксона, — они-то и составляли преданную сверхолигархам когорту. У микроолигархов были, разумеется, жены и дочери — легион влиятельных дам, за одну из которых я и должна была сойти. Несколько лет спустя, при более изощренной паспортной системе, охватившей всех

жителей США от мала до велика и регистрировавшей каждое их движение, такая затея была бы уже невозможна.

Когда все приготовления были закончены, ищейки потеряли мой след: Эвис Эвергард как сквозь землю провалилась. Вместо нее некая мисс Фелиция Ван Вердиган, в сопровождении двух камеристок, болонки и горничной при болонке[98], величественно прошествовала в роскошный пульмановский[99] салон-вагон, который уже спустя несколько минут на всех парах умчал ее на запад.

Под видом свиты богатой дамы я увозила с собой трех революционерок. Две из них были членами боевых групп, третья, Грейс Холбрук, вступила в группу на следующий же год и спустя несколько месяцев была казнена Железной пятой. Это на ней лежала обязанность ухаживать

---

[98] Примечания: 98

Эта характерная картинка превосходно изображает дикие нравы и бессердечие правящих классов. В то время как люди голодали, болонки пользовались уходом специальной прислуги. Затеянный Эвис Эвергард маскарад был далеко не шуточным. Дело шло о жизни и смерти и о судьбе всего движения. Тем больше у нас оснований верить правдивости ее рассказа и видеть в нем живое изображение нравов эпохи. Это были поистине диковинные времена.

[99] Примечания: 99

Так, по имени их изобретателя, назывались самые роскошные вагоны того времени.

за болонкой. Что же касается прочих моих спутниц, то одна из них, Берта Стоул, двенадцать лет спустя пропала без вести, в то время как Анна Ройлстон и поныне здравствует, и ее роль в революционном движении все растет[100].

Без особых приключений в пути добрались мы до Калифорнии. Когда поезд по прибытии в Окленд подошел к дебаркадеру на 16-й улице, мы благополучно выгрузились на перрон — и владетельной мисс Фелиции Ван Вердиган, камеристок, болонки и горничной при болонке как не бывало. Прислужниц богатой дамы сразу же встретили и увели надежные товарищи. Другие занялись мной. Через полчаса после моего приезда в Окленд я уже была на борту небольшого рыбачьего баркаса, бороздившего воды залива Сан-Франциско. Дул противный ветер, и мы большую часть ночи пролежали в дрейфе. Но я видела

[100] Примечания: 100

Несмотря на жизнь среди постоянных опасностей и тревог, Анна Ройлстон дожила до глубокой старости и скончалась девяноста одного года от роду. Как семейство Покок ускользало от мести революционеров, так Анна Ройлстон оставалась неуловимой для агентов Железной пяты. Ей баснословно везло, из тысячи рискованных и трудных положений она выходила невредимой. На ней лежало исполнение приговоров боевой группы, и воинственная мстительница, которую товарищи звали Красной Девой, стала одним из самых излюбленных образов революции. Уже старухой она пристрелила Кровавого Хелклиффа на глазах у вооруженной стражи и благополучно скрылась. Умерла она, достигнув старости, в убежище революционеров, в Озаркских горах.

издали огоньки Алькатраса, где Эрнест томился в крепостном каземате, и утешалась тем, что мы так близко друг от друга.

На рассвете мы на веслах подошли к Мариновым островам и весь день простояли в укрытии, а как только спустилась ночь, за два часа, при попутном ветре, пересекли залив Сан-Пабло и вошли в устье реки Петалумы. Здесь меня ждала лошадь и новый провожатый; ни минуты не медля, мы сели в седла и поскакали при свете звезд.

На севере перед нами высился мощный хребет Сономы — цель нашего путешествия. Объехав стороной город Соному, мы углубились в ущелье, пролегавшее в отрогах скал. Проезжая дорога сменилась проселком, проселок — козьей тропкой, а затем и она затерялась среди горных пастбищ. Теперь мы поднимались прямиком по круче. Это был самый надежный путь — здесь мы никого не рисковали встретить.

Заря застала нас уже на северном склоне, и в серых сумерках утра мы сквозь заросли вечнозеленых кустарников спустились в уютную лощину, где густо росли секвойи. Здесь сладко благоухало позднее лето. Это была моя родина — знакомые, милые мне места, отсюда я могла бы взять на себя роль провожатого. Укрытие для

Эрнеста было выбрано по моему совету. Уже не прячась, пустились мы через широкую луговину, а там по узкому кряжу, поросшему дубняком, перебрались на другой луг, поменьше. Здесь нам опять предстояло вскарабкаться на горный кряж, на этот раз увенчанный рощей земляничных деревьев, одетых ярко-красной корой, и пурпурных мансанит. Позади вставало солнце. Стайка перепелов, вспорхнув, шарахнулась в сторону и скрылась в лесной чаще. Крупный заяц бесшумно, как олень, перемахнул через дорогу. А вот и сам олень с ветвистыми рогами на мгновение показался на высокой круче, и солнце облило золотом его бока и шею.

Мы поскакали за ним следом, а потом извилистой тропкой, которой он пренебрег, спустились в рощу секвой, обступивших небольшое озеро, вода которого казалась темной от гальки, усеявшей дно. Здесь мне был знаком каждый кустик. Владельцем этого ранчо был когда-то писатель, мой большой друг. Он также стал революционером, но оказался несчастливее меня, ибо его уже не было в живых, и никто не знал, когда и как он погиб. Ему одному было известно то место, куда мы направили теперь своих коней. Мой друг купил это ранчо, привлеченный его

живописным положением, и, к великому негодованию окрестных фермеров, заплатил за него кругленькую сумму. Он любил рассказывать, как, погруженные в нехитрые арифметические выкладки, они с сокрушением качали головой и недоуменно разводили руками, говоря: «Да тут и шести процентов не выколотишь!»

А теперь, когда он ушел из жизни, даже наследникам его не пришлось попользоваться этим живописным владением. Оно досталось не кому иному, как мистеру Уиксону, который с недавних пор завладел всей обширной территорией по северному и восточному склонам Сономы, от имения Спреклсов до Бенетской долины. Он превратил ее в олений заповедник, и здесь, на пространстве многих тысяч акров, на широком раздолье холмов, долин и ущелий, в почти первобытной глуши разгуливали олени. Все население было согнано с насиженных мест. Калифорнийский приют для слабоумных тоже вынужден был освободить место для оленей — от него камня на камне не оставили.

Охотничий домик Уиксона находился всего лишь в четверти мили от избранного мной убежища. Я видела в этом не опасность, а скорее некоторое добавочное преимущество: мы будем

как бы под крылом одного из микроолигархов — положение как нельзя более выигрышное. Шпионам Железной пяты и в голову не придет искать меня или Эрнеста, когда он ко мне присоединится, в оленьем заповеднике Уиксона.

Мы привязали лошадей в роще секвой на берегу озера. Из тайника, скрытого гниющим дуплистым стволом, мой спутник извлек на свет множество разнообразных предметов: пятидесятифунтовый мешок муки, консервы, кухонную посуду, одеяла, просмоленный брезент, книги и письменные принадлежности, пятигалонный керосиновый бидон и — самое важное — большой моток крепкой веревки. Припасов было так много, что за ними пришлось возвращаться несколько раз.

Хорошо еще, что до убежища было рукой подать. Захватив с собой веревку, я пустилась вперед по прогалине, тянувшейся меж двух лесистых холмов и густо заросшей кустарником и диким виноградом. Прогалина вела к обрывистому берегу ручья, который питался родниками и не пересыхал даже в знойное лето. Кругом в живописном беспорядке высились такие же лесистые холмы — казалось, они были разбросаны здесь по прихоти какого-то титана. В строении этих холмов, достигавших нескольких сот фу-

тов высоты, не было каменистого подзема. Они сплошь состояли из вулканической лавы — знаменитого сономского краснозема. Ручеек пробил себе в их склонах глубокое извилистое ложе.

Мы чуть ли не скатились с крутого склона, а потом шагов сто прошли по руслу ручья. И тут очутились перед широким оврагом, вернее — балкой. Снаружи ничто не указывало на ее существование, да она и не была похожа на обычную балку. Пробравшись через заросли шиповника, вы оказывались на самом ее краю и, выглянув из-за густой завесы зелени, видели под собой такую же колеблющуюся изумрудную завесу. Длина и ширина балки достигала нескольких сот футов, а глубина была вдвое меньше. Возникнув здесь, быть может, по той же прихоти природы, которая раскидала вокруг шапки холмов, она веками подтачивалась и вымывалась протекавшим в ней ручейком. Нигде не проглядывало ни клочка голой земли. Стены были сплошным ковром зелени, где венерины волосы и золотистый папоротник соседствовали с гигантскими секвойями и дугласиями. Много могучих деревьев вырастало прямо из стен. Некоторые нависали под углом в сорок пять градусов, но большинство тянулось вверх, уходя корнями

в почти отвесную кручу.

Трудно было бы сыскать более укромное убежище. Сюда не забирались даже мальчишки из Глен-Эллена. Если бы наша балка находилась в ущелье хотя бы в милю длиной, то была бы известна многим, но речушка от истока до самого устья насчитывала каких-нибудь пятьсот ярдов. Она брала свое начало из горного источника, отстоявшего от балки на триста ярдов, и уже в сотне ярдов ниже, у подножия холма, выбегала на волю и вливалась в реку, протекавшую по открытой холмистой местности.

Обвязав веревку вокруг дерева и опоясав меня другим концом, мой спутник стал осторожно спускать меня вниз. Через мгновение я была уже на дне балки. Вскоре тем же путем последовали за мной все вещи и припасы, которые он постепенно приносил из тайника. Когда все было водворено на место, мой спутник втащил веревку наверх, спрятал в надежном месте, крикнул мне на прощание несколько дружеских слов и ушел, оставив меня одну.

Прежде чем продолжать, скажу несколько слов об этом своем спутнике Джоне Карлсоне, преданном и верном товарище, скромном рядовом великой армии революции. Он служил конюхом

у Уиксона и жил тут же неподалеку. На лошадях Уиксона мы и совершили свое путешествие в олений заповедник. В течение следующих двадцати лет Карлсон был сторожем и хранителем нашего убежища, и за все это время, я твердо уверена, ни разу у него не шевельнулась мысль о предательстве. Это был человек слова, и вы могли положиться на него до конца. Внешне он производил впечатление флегматика и увальня — казалось бы, что может быть у такого медведя общего с революцией? А между тем любовь к свободе ровным, немеркнущим пламенем горела в его сумрачной душе. Отсутствие воображения и неповоротливый ум делали его в нашем кругу в некотором роде незаменимым. Он никогда не терял голову, каждый приказ выполнял молча, без лишних разговоров и вопросов. Однажды я спросила Карлсона, что сделало его революционером.

— В молодости я служил в солдатах, — рассказал он мне. — Давно это было, еще в Германии. Там все служат, пришлось и мне. Подружился я в полку с одним человеком, моим ровесником. Отец у него агитировал против кайзера — значит, правду народу говорил; ну его, конечно, схватили — и в тюрьму. А этот парень — сын его, значит — все толковал мне про народ, и про труд, и про

капиталистов, как они простой народ обирают. Он и обратил меня в свою веру, стал и я социалистом. Очень уж он правильно и хорошо про это говорил, мне на всю жизнь в память врезалось. И как только я сюда приехал, сразу стал социалистов искать. Приняли меня в одну районную организацию, тогда еще была у нас социалистическая рабочая партия, а после раскола перешел я в социалистическую партию. Работал тогда в Сан-Франциско, в извозчичьем дворе, — это еще до землетрясения было. Я двадцать два года членские взносы плачу. И сейчас состою членом и плачу взносы, хотя теперь за это по головке не погладят. И всегда буду платить, что бы там ни было. Хотелось бы мне дожить до народной власти…

Оставшись одна, я приготовила на керосинке завтрак и занялась приведением в порядок моего нового жилища. Нередко на рассвете или после захода солнца ко мне украдкой приходил Карлсон, и несколько часов мы работали вместе. Сначала я жила под натянутым брезентом, потом сооружена была палатка, и, наконец, когда мы убедились в своей безопасности, Карлсон приступил к сооружению маленького домика. Сверху, за густым пологом зелени, он был незаметен.

Домик мы поставили у отвесной стены балки и в самой земле вырыли, укрепив подпорками стены и потолок, две каморки, сухие и хорошо проветриваемые. О, поверьте, у нас было чудесно! Впоследствии, когда к нам в убежище приехал знаменитый немецкий террорист Биденбах, он соорудил нам дымоуловители, и в холодные зимние вечера обитатели балки могли греться возле уютного камелька.

Здесь я позволю себе вступиться за честь этого товарища-террориста, человека прекрасной и чистой души, в отношении которого была совершена неслыханная в анналах нашей революции несправедливость. Неверно, будто Биденбах оказался предателем. Неверно, будто с ним, как утверждают, расправились его же товарищи. Это утка, пущенная клевретами Железной пяты. Биденбах был подвержен приступам необычайной рассеянности и забывчивости. По трагическому недоразумению его подстрелили наши же часовые, охранявшие убежище в Кармеле, так как он умудрился позабыть пароль и условные знаки. Чистейшая ложь, будто Биденбах предал свою боевую группу. В его лице мы потеряли одного из

лучших и преданнейших революционеров[101].

Вот уже девятнадцать лет, как основанное мною убежище служит надежным укрытием для наших товарищей. Оно никогда не пустует и, кроме одного только случая, не было обнаружено никем из врагов. При всем этом оно находится чуть ли не рядом с охотничьим домиком Уиксона и в неполной миле от деревни Глен-Эллен. Каждые утро и вечер я слышала шум приходивших и уходивших поездов и проверяла часы по гудку, доносившемуся ко мне с кирпичного завода[102].

---

[101] Примечания: 101

Несмотря на все старания, мы так и не нашли в сохранившихся документах того времени каких-либо сведений о Биденбахе. Единственное упоминание о нем встречается в «Эвергардовском манускрипте».

[102] Примечания: 102

Любознательный путник по выходе из Глен-Эллена, свернув к югу, окажется в аллее, расположенной там, где семьсот лет назад пролегала проселочная дорога. Пройдя еще четверть мили и миновав второй мост, он справа увидит глубокий овраг, который бороздит широкую равнину, ведя к группе лесистых холмов. Когда-то, во время частной собственности, овраг отгораживал дорогу общего пользования, проходившую через владения некоего Шове, французского пионера, прибывшего в Калифорнию во времена «золотой лихорадки». Лесистые холмы — те самые, о которых повествует Эвис Эвергард. Во время великого землетрясения 2368 г. один из холмов обвалился и засыпал балку, где некогда укрывались супруги Эвергард. После первого же ознакомления с «Эвергардовским манускриптом» здесь были начаты раскопки, в результате которых был обнаружен домик, две каморки, вырытые в стене, горы мусора и отбросов, указывавших на длительное пребывание здесь людей. Найдено немало интересных реликвий и среди них, как ни странно, те самые дымоуловители, которые, по свидетельству мемуаристки, были в свое время изобретены и установлены Биденбахом. Лиц, интересующихся этими вопросами, мы можем

отослать к брошюре Арнольда Бентама, которая вскоре выйдет в свет. К северо-западу от лесистых холмов на расстоянии мили, у слияния Дикарки и реки Сономы, находится Уэйк-Робинлодж. Здесь нелишне сказать, что Дикарка когда-то именовалась Греймкрик и под этим названием нанесена на старинные карты этой местности. Однако новое наименование больше за ней укрепилось. Эвис Эвергард часто наезжала в Уэйк-Робинлодж и подолгу жила здесь в те годы, когда ей приходилось скрываться под личиной провокатора на службе у Железной пяты, чтобы продолжать революционную деятельность. Сохранилось официальное разрешение, выданное ей для проживания в этих местах, за подписью Уиксона, который фигурирует в ее мемуарах в качестве одного из микроолигархов.

Глава XIX
Искусство перевоплощения

«Ты должна перевоплотиться, — писал мне Эрнест. — Пусть Эвис Эвергард исчезнет. Постарайся стать совершенно другим человеком; но чтобы перемена была не только внешней — впитай в себя это новое всеми порами своего существа. Перевоплотись так, чтобы даже я не узнал тебя: измени свой голос, жестикуляцию, движения, мимику, походку — одним словом, преобразись с головы до ног».

Я послушалась его приказа и каждый день часами упражнялась в том, чтобы освободиться от Эвис Эвергард и похоронить ее глубоко-глубоко под личиной другой женщины, которая должна была стать моим новым «я». Такое перевоплощение требует большой и постоянной работы: например, голос, интонация… Я старалась добиться их окончательного закрепления, чтобы они жили независимо от моего желания. Только такой автоматизм в исполнении заученной роли мог обеспечить полный успех. Надо было настолько войти в роль, чтобы совершенно забыть

себя. Это как усвоение чужого языка — скажем, французского. Сначала это для вас сознательный процесс, требующий вмешательства и напряжения воли. Вы думаете по-английски и переводите свои мысли на французский язык или читаете французскую книгу и переводите на английский, чтобы уловить смысл, пока наконец, после основательной подготовки, вы не начинаете читать, писать, а главное — думать без помощи родного языка.

То же было и с нашей маскировкой. Приходилось работать над ролью, вживаться в нее так, чтобы вернуться к себе самой было уже трудно, требовало внимания и напряжения воли. Сначала, разумеется, все делалось наобум, и немало было путаницы и ошибок. Ведь мы создавали новое искусство, многое надо было впервые найти и многому научиться. Но такие поиски шли повсюду. Появлялись мастера этого нового искусства, накапливался целый арсенал приемов и рецептов, создавалось своего рода неписаное руководство, которое впоследствии вошло в программу обучения каждого новичка в школе

революции[103].

К этому времени относится исчезновение моего отца. Регулярно приходившие письма внезапно прекратились. В квартиру на Пелл-стрит он давно уже не заходил. Товарищи искали его повсюду. Наши тайные агенты обшарили все тюрьмы в Америке и нигде его не нашли. Он исчез бесследно, словно его поглотила земля, и поныне не обнаружено никаких его следов[104].

Шесть долгих месяцев я провела в одиночестве, но это не были месяцы праздности. Наша организация развивалась, и дел было по горло. Эрнест и другие узники, поддерживавшие между собой постоянную связь, руководили работой. Надо было организовать устную пропаганду, работать над улучшением и расширением сети тайной

---

[103] Примечания: 103

Маскировка стала в то время подлинным искусством. Во всех убежищах возникали своеобразные школы актерского мастерства. Здесь пренебрегали такими аксессуарами грима, как парики или накладные бороды и брови, какие обычно в ходу на сцене. Борьба шла не на жизнь, а на смерть, и обычный грим мог сослужить человеку плохую службу. Маскировка должна была быть настолько совершенной, чтобы стать неотъемлемой частью человека, его вторым «я». По дошедшим до нашего времени сведениям, «Красная Дева» была несравненным мастером перевоплощения, чем и объяснялась ее долгая и успешная деятельность.

[104] Примечания: 104

Таинственные исчезновения людей были одним из страшных бедствий того времени. Повсюду в литературе той эпохи постоянно встречается этот мотив. Явление это было порождено ожесточенной подпольной

борьбой, не утихавшей в течение трех столетий. Бесследно исчезали не только революционеры, но и олигархи и члены рабочих каст. Мужчины, женщины и даже дети вдруг пропадали, и дальнейшая их судьба оставалась неразрешимой загадкой.

агентуры, создать ряд подпольных типографий, наладить так называемую «подпольную железную дорогу», иначе говоря, установить связь между тысячами тайных убежищ и устроить новые там, где их недоставало.

Словом, работы было уйма. По истечении полугода мое одиночество было нарушено приездом двух товарищей. Это были молодые девушки, самоотверженные и пламенные борцы за свободу: Лора Питерсен, исчезнувшая в 1922 году, и Кейт Бирс, позднее вышедшая замуж за Дюбуа[105]. Последняя и сейчас с нами; как и все мы, она призывает зарю того дня, который откроет новую эру в жизни человечества.

Обе девушки были страшно взволнованы. Чего только они не пережили в пути: страх, смятение, близкую опасность — смерть коснулась их своим крылом. Среди экипажа рыбачьего баркаса в заливе Сен-Пабло оказался шпик. Агент олигархии, он втерся в наши ряды под маской революционера и во многое был посвящен. Очевидно, он охотился за мной — еще раньше доходили слухи, что олигархи крайне озабочены моим бегством. К счастью, он, как потом выяснилось, никому не

[105] Примечания: 105

Дюбуа, старший библиотекарь центрального книгохранилища в Ардисе, потомок этой достойной четы революционеров.

успел сообщить о своих догадках. Он, видимо, рассчитывал вот-вот открыть мое убежище и добраться до меня и со дня на день откладывал свое донесение. Так оно и умерло вместе с ним. Когда обе путницы высадились в устье Петалумы и пересели на лошадей, он под каким-то предлогом отпросился на берег. Карлсону поведение матроса показалось подозрительным. Проводив девушек на гору и проехав с ними часть пути, он оставил им свою лошадь и вернулся обратно пешком. Каким-то образом ему удалось изловить шпика, а что случилось вслед за этим, пусть лучше расскажет он сам.

— Убрал я его, — сказал нам Карлсон со свойственной ему краткостью. — Убрал... — Глаза Карлсона мрачно поблескивали, корявые, огрубевшие пальцы сжимались и разжимались. — Он даже и не вскрикнул. Я спрятал его там. Как стемнеет, поеду закопаю поглубже.

В то время я немало дивилась происшедшей во мне перемене. Вспоминая безмятежные годы моей юности в замкнутом, тихом университетском мирке, я сравнивала их со всей теперешней жизнью революционерки, бестрепетно взирающей на смерть и насилие. Не верилось, чтобы и то и другое было действительностью. Но где же сон

и где явь? Быть может, жизнь революционерки, скрывающейся в какой-то норе, — тяжелый кошмар, который рассеется при свете дня? Или же я действительно революционерка, и мне только пригрезились далекие годы, когда я мирно жила в городе Беркли и самыми волнующими событиями моей жизни были танцы и вечера, публичные лекции и споры за чайным столом? Впрочем, мне думается, так чувствовали все, кто сплотился под красными знаменами всемирного братства людей.

Иногда я вспоминала тех, кого знала в былые годы. Как ни странно, они время от времени возникали на моем горизонте, чтобы тут же исчезнуть без следа. Например, епископ Морхауз. Мы тщетно разыскивали его, когда наша организация окрепла. Его переводили из одного сумасшедшего дома в другой. Стало известно о его временном пребывании в Стоктоне и Санта-Кларе, а потом след его затерялся. Сведений о смерти тоже не было. Видимо, ему удалось бежать. В то время я и представить себе не могла нашей будущей страшной встречи в черные дни разгрома Чикагского восстания.

Джексона, который лишился руки на сьеррской фабрике, — человека, чья судьба так круто изме-

нила мою судьбу, я больше никогда не встречала. Но сведения о нем мне удалось собрать. Джексон не примкнул к социалистам. Озлобленный своими несчастьями и горькой обидой, он сделался анархистом. Не последователем какой-либо теории, нет: в нем пробудился зверь, обуреваемый ненавистью и жаждущий мести. И он достиг своего. Обманув бдительность стражей, в глухую ночь, когда все уже спали, он взорвал дворец Пертонуэйтов вместе со всеми его обитателями, включая и сторожей. В следственной тюрьме он удавился.

Зато весьма утешительным образом сложилась судьба доктора Гаммерфилда и доктора Боллингфорда. Оба продолжали верно служить своим хозяевам и дождались щедрой награды. Каждому из них было отведено в качестве резиденции по великолепному епископскому дворцу, где они продолжают жить и поныне, в ладу с миром и собственной совестью. Оба ярые защитники олигархии. Оба страдают ожирением. Эрнест сказал о них однажды: «Доктор Гаммерфилд отлично приспособил свою метафизику и ныне именем Божиим благословляет на царство Железную пяту. Будучи поклонником красивости в богослужении, он благополучно свел на нет то

„газообразное позвоночное“, о котором говорил Геккель, и в этом его отличие от доктора Боллингфорда. У того Бог — один газ, и ни намека на позвоночное».

Питер Донелли, мастер сьеррской фабрики, штрейкбрехер, знакомый мне по делу Джексона, удивил нас всех. В 1918 году в Сан-Франциско мне довелось присутствовать на собрании группы террористов, именовавших себя «Красные из Фриско», самой грозной и беспощадной из всех. Члены этой группы не входили в нашу организацию. Это были фанатики, безумцы. Такие настроения были нам чужды, и мы их не поощряли, но отношения у нас были вполне добрососедские. В тот вечер меня привело к ним дело большой важности. В доме, где мы собрались, я оказалась единственной женщиной среди двух десятков мужчин, причем все они были в масках. Когда наши переговоры закончились, один из присутствующих вызвался проводить меня к выходу. В темной прихожей он неожиданно остановился, зажег спичку и, поднеся ее к лицу, сбросил маску. Я увидела искаженное от волнения лицо Питера Донелли. Спичка погасла.

— Я только хотел, чтобы вы меня узнали, — сказал он мне в темноте. — Помните инспектора

Даллеса?

Я сказала, что помню: передо мной тут же встала лисья физиономия инспектора сьеррской фабрики.

— С ним я свел счеты в первую очередь, — горделиво пояснил Донелли. — Потом уже примкнул к «Красным из Фриско».

— Как же это вы решились? А ваша жена, дети?

— У меня никого не осталось. Нет, не думайте, — прибавил он торопливо. — Это я не за них мщу. Они умерли дома, в постели. Всех унесла болезнь, одного за другим. Вот и развязали мне руки. А мщу я за свою искалеченную жизнь. Когда-то меня знали как штрейкбрехера Донелли. А сегодня — сегодня я номер двадцать седьмой в группе «Красные из Фриско»! Ну пойдемте, я выведу вас отсюда.

Вскоре мне пришлось узнать о нем больше. По-своему Донелли был прав, говоря, что лишился всех своих детей. Однако сын его Тимоти был жив, но отец знать его не хотел, с тех пор как тот

поступил в наемные войска[106] Железной пяты.

В группе «Красные из Фриско» было правило, что каждый ее член должен совершить в год не меньше двенадцати террористических актов. Неудача каралась смертью. Невыполнение установленного минимума обязывало провинившегося к самоубийству. Совершение террористических актов не было оставлено на волю случая. Время от времени эти маньяки собирались и выносили массовые смертные приговоры особо ненавистным олигархам или их прислужникам. Распределение казней между членами группы производилось по жребию.

Причиной моего прихода к ним послужило следующее обстоятельство. Один из наших товарищей, который под видом духовного лица много лет работал в тайной полиции Железной пяты, был приговорен к смерти «Красными из Фриско». Как раз в тот вечер разбиралось его дело. Сам он, разумеется, на суде не присутствовал, и судьи не знали, что он наш товарищ. Мне было поручено

---

[106] Примечания: 106

Помимо рабочей касты возникла и военная. Вместо национальной гвардии, не оправдавшей себя при новом режиме, была создана регулярная армия из солдат-профессионалов, руководимая самими олигархами. Солдаты эти получили название наемников. В добавление к регулярной тайной полиции Железной пятой была создана тайная полиция из наемников, она осуществляла связь между полицией и армией.

рассеять это недоразумение. Может показаться странным, что мы узнали о планах этой группы, но все объяснялось очень просто. Один из наших тайных агентов входил в это сообщество. Мы обязаны были знать, что происходит не только среди наших врагов, но и среди друзей, и уж эту группу безумцев нам, во всяком случае, нельзя было выпускать из виду.

Но вернемся к Питеру Донелли и его сыну. Бывший мастер исправно служил своей группе, пока однажды в списке доставшихся ему приговоров не прочел имя Тимоти Донелли. Тут в нем заговорили отцовские чувства. Чтобы спасти сына, он предал своих единомышленников — правда, не всех, — однако человек двенадцать было казнено, и группа оказалась фактически разгромленной. Остальные вынесли предателю смертный приговор.

Тимоти Донелли ненамного пережил отца. «Красные из Фриско» поклялись предать его смерти. Олигархия делала все для спасения своего агента. Его перебрасывали с места на место. Трое террористов поплатились жизнью за попытку до него добраться. Как я уже говорила, их организация состояла из одних мужчин. С отчаяния они обратились к женщине. Это была не кто иная, как

Анна Ройлстон. Наш центр запретил ей всякое вмешательство в это дело, но с Анной нелегко было сладить — дисциплина у нее всегда хромала. Необычайная одаренность и личное обаяние сделали ее популярной, и ей многое прощали. Трудно было подвести ее под общий ранжир и мерить обычной меркой.

Несмотря на категорическое запрещение руководства, она взялась за это дело. Надо сказать, что Анна была пленительной женщиной, пользовавшейся успехом у мужчин. Все наши молодые люди были в нее влюблены, и красота ее привела к нам немало новых членов. Но Анна и думать не хотела о замужестве. Она нежно любила детей, но считала, что это не для нее: она посвятила себя целиком нашему делу, а дети и семья стали бы для нее помехой.

Анне не стоило большого труда повергнуть к своим стопам Тимоти Донелли. Совесть ее при этом оставалась спокойной. Как раз в это время произошла пресловутая нашвиллская резня: наемники во главе с Донелли перебили восемьсот ткачей. Анне не пришлось самой сводить с ним счеты, она только сдала его с рук на руки членам

группы «Фриско»[107]. Это случилось в прошлом году, и с тех пор Анну Ройлстон зовут у нас Красной Девой.

С полковником Ингрэмом и полковником Ван Гилбертом, моими старыми знакомыми, мне тоже пришлось еще свидеться.

Полковник Ингрэм достиг при олигархах высоких должностей и, в конце концов, был назначен послом в Германию. Его одинаково презирали рабочие обеих стран. Я встретилась с ним в Берлине, куда приезжала как доверенное лицо Железной пяты по делам международного шпионажа. Полковник оказывал мне всяческое содействие. Кстати, в этой двойной роли мне удалось сделать для революции много полезного.

Полковник Ван Гилберт получил прозвище Цепной Пес. Он сыграл видную роль в создании нового кодекса законов после Чикагского восстания. Но еще до этого ему был вынесен приговор за его судебную деятельность. Я была среди тех, кто судил и приговорил его к смертной казни.

---

[107] Примечания: 107

После подавления второго восстания группа «Красные из Фриско» снова возродилась и просуществовала еще лет пятьдесят. Наконец одному из агентов Железной пяты удалось проникнуть в эту организацию и выведать все ее тайны, что и привело к окончательному ее уничтожению. Это произошло в 2002 г. Членов группы потом казнили по одному через каждые три недели, а тела выставляли в рабочем гетто Сан-Франциско.

Приговор привела в исполнение все та же Анна Ройлстон.

И еще одна знакомая тень встает передо мной — Джозеф Герд, адвокатишка Джексона. Меньше всего я могла предполагать, что еще раз встречу этого человека. И какая же это была встреча! Спустя два года после Чикагского восстания мы с Эрнестом заехали в Бентхарборское убежище[108], на берегу озера Мичиган, против Чикаго. Войдя, мы застали знакомую картину: судили какого-то шпика. После вынесения смертного приговора его вели к выходу, и мы встретились с ним у порога. Завидев меня, несчастный вырвался из рук своих конвоиров, бросился к моим ногам, судорожно обхватил мои колени и стал молить о пощаде. Когда он поднял вверх искаженное страхом лицо, я узнала Джозефа Герда. Мне немало пришлось видеть в жизни тяжелого, но задыхающиеся вопли этого жалкого существа потрясли

---

[108] Примечания: 108

Бентхарборское убежище представляло собой подземелье, вход в которое был искусно замаскирован колодцем. Оно хорошо сохранилось: любознательный турист может и сегодня через сложный лабиринт подземных коридоров проникнуть в общий зал, где, очевидно, и произошла сцена, описанная Эвис Эвергард. В глубине — камеры для заключенных и комната смерти, в которой происходили казни. Еще дальше кладбище — высеченные в твердой породе извилистые галереи, где в глубоких нишах, расположенных ярусами, лежат друг над другом останки революционеров, упокоившихся много лет назад.

меня, как ничто другое. В нем говорила вся исступленная жажда жизни. Это была страшная, душераздирающая сцена. Десятки рук оттаскивали его прочь, но он не отпускал меня. Когда же его наконец подхватили и унесли, отбивающегося и кричащего, я без чувств упала на пол. Тяжко взирать на гибель храбрецов, но нет ужасней зрелища, нежели трус, молящий о пощаде.

Глава XX
Исчезновение олигарха

Но воспоминания о старой жизни увлекли меня слишком далеко вперед, в новую жизнь. Массовое освобождение наших узников из тюрьмы произошло только в первой половине 1915 года. Сложнейшую операцию по устройству одновременных побегов удалось провести сверх ожидания удачно, и этот большой успех придал нам уверенности и силы для дальнейшей работы. За одну только ночь на пространстве от Кубы до Калифорнии нам удалось освободить из тюрем, крепостей и военных узилищ всех наших депутатов, а также свыше трехсот других видных деятелей. У нас не было ни единого провала. Все узники не только бежали, но и благополучно достигли назначенных им убежищ. И только Артуру Симпсону не удалось увидеть свободу, он скончался в Кабаньясской тюрьме после жестоких пыток.

Следующие полтора года были для нас с Эрнестом счастливейшей порой нашей жизни. Все это время мы были неразлучны. Впоследствии, когда

мы вышли из нашего убежища, нам уже редко выпадало такое счастье. Я ждала в ту ночь Эрнеста с таким же нетерпением, с каким сейчас жду завтрашнего восстания. Мы бог весть как давно не виделись, и мысли о возможной задержке, об ошибке, грозящей какими-нибудь осложнениями, доводили меня до безумия. Часы тянулись бесконечно. Я ждала одна. Биденбах и трое молодых товарищей, укрывавшихся в убежище, ушли, вооруженные с головы до ног, в горы встречать Эрнеста. В ту ночь убежища, наверно, пустовали по всей стране.

Как только небо осветилось первым проблеском зари, раздался условный сигнал. Я ответила и в темноте чуть не бросилась на шею Биденбаху, спустившемуся вниз первым. Но в следующее мгновение Эрнест уже сжимал меня в своих объятиях. И тут я почувствовала, что только усилием воли могу стать прежней Эвис Эвергард, воскресить ее улыбку, интонации, голос. Я уже не могла оставаться сама собой без постоянного напряжения памяти и воли — так прочно завладело мной новое существо, в которое мне удалось перевоплотиться.

В уединении нашей маленькой комнатки, при свете керосиновой лампы я хорошенько вгляде-

лась в Эрнеста. Не считая бледности, он почти не изменился. Это был он, мой возлюбленный муж, мой герой. Правда, черты его стали резче и суровее, но это скорее даже шло ему, это придавало отпечаток благородства и утонченности его лицу, дышавшему избытком энергии. В нем чувствовалась новая сосредоточенность, хотя в глазах по-прежнему поблескивали искорки смеха. Он потерял двадцать фунтов веса, однако чувствовал себя превосходно. Усиленные занятия гимнастикой укрепили его мускулы, и они были как стальные. Он, пожалуй, казался даже здоровее, чем до тюрьмы.

Прошло много часов, прежде чем Эрнест согласился лечь отдохнуть. Я же, взволнованная и счастливая, и думать не могла о сне. Мне ведь не пришлось бежать из тюрьмы и долгие часы скакать на коне.

Пока Эрнест спал, я переоделась и изменила прическу, готовясь снова вернуться к той роли, которая стала моим вторым «я». Как только Биденбах и наша молодежь проснулись, мы составили против Эрнеста маленький заговор. Мы обо всем уговорились и сидели в кухне, служившей нам и столовой, когда дверь отворилась и вошел мой муж. Биденбах, как было условлено,

обратился ко мне с каким-то вопросом, называя меня Мери, и я ответила ему, в то же время поглядывая на Эрнеста с интересом, естественным для молодой особы, впервые увидевшей перед собой такую знаменитость. Эрнест бегло взглянул на меня и нетерпеливо огляделся. Я была представлена ему как Мери Холмс.

На стол был поставлен лишний прибор, и когда все расселись по местам, один стул оказался свободен. Увидев, что мой муж недоволен и еле сдерживает нетерпение, я готова была закричать от радости. Наконец Эрнест не выдержал.

— Где моя жена? — спросил он напрямик.

— Спит еще, — отозвалась я.

Это была критическая минута, но я говорила измененным голосом, и Эрнест меня не узнал. Завтрак продолжался. Я болтала без умолку, изображая из себя экспансивную молодую особу, увлекающуюся знаменитостями и не стесняющуюся навязывать им свое поклонение.

Наконец, как бы не в силах совладать со своими чувствами, я вскочила с места, обняла Эрнеста и чмокнула в губы. Надо было видеть при этом моего мужа. Опасливо отодвинув меня на расстояние вытянутой руки, он оглядывался по сторонам с видом величайшего недовольства и недоумения.

Наши мужчины не выдержали и покатились со смеху. Начались объяснения, но Эрнест не сразу им поверил. Он долго всматривался и то узнавал, то окончательно отказывался узнать меня. И только когда я стала прежней Эвис Эвергард и принялась нашептывать ему на ухо ласковые прозвища, которые знали на всем свете только я да он, Эрнест согласился признать меня своей милой женушкой.

Забавно, что в этот день он все как-то меня дичился и наконец, решившись обнять, признался с великим смущением, что чувствует себя кем-то вроде двоеженца.

— Ты для меня теперь и Эвис, и какая-то еще неведомая мне женщина, — сказал он, смеясь. — Выходит, что у меня не одна, а две жены, — можно сказать, целый гарем. Что ж, тем лучше. Если придется удирать из Штатов, запишемся с тобой в турецкое подданство. Мы теперь для турок самая подходящая компания[109].

Для меня началась пора безоблачного счастья. Правда, работа отнимала целые дни, но это были дни, прожитые вместе с Эрнестом. Полтора года мы безраздельно принадлежали друг другу,

---

[109] Примечания: 109

В те времена в Турции еще было распространено многоженство.

не зная к тому же тягостного уединения, видя перед собой все новых и новых людей, рядовых революционеров и знаменитых деятелей, наблюдая причудливую перекличку голосов со всех участков фронта, слушая рассказы о еще более причудливых событиях — из мира революции и подпольной войны. Немало было даровано нам смеха и веселья. Мы были не сумрачными заговорщиками, отчужденными от мира. Нам выпало на долю много работать и много страдать и, сменяя павших в бою товарищей, неуклонно идти вперед, но и труд, и борьба, и жизнь в непосредственной близости от смерти таили для нас немало светлых минут беспечного смеха и любви. К нам приезжали художники, ученые, музыканты и поэты. И в нашей балке мы наслаждались культурой, куда более утонченной и высокой, чем та, которой кичились олигархи в своих пышных хоромах и чудо-городах. Кстати, многие из приезжавших к нам участвовали в созидании всего этого великолепия[110].

Мы не сидели взаперти. Часто по вечерам вся

---

[110] Примечания: 110

Это не преувеличение. Весь цвет интеллектуального и артистического мира принадлежал к лагерю революции. За исключением нескольких музыкантов и певцов да очень немногих олигархов, все выдающиеся таланты того времени, чьи имена дошли до нас, были революционерами.

наша ватага отправлялась в горы на уиксоновских скакунах. Знал бы их владелец, сколько революционеров мчалось на спинах его лошадей! Мы даже отваживались устраивать пикники в уединенных местах и, выехав до рассвета, возвращались домой поздно вечером. К нашим услугам были уиксоновские сливки и масло[111]. Эрнест не отказывал себе в удовольствии пострелять уиксоновских зайцев и перепелов, а при случае не гнушался и молодым оленем.

Мы чувствовали себя в полной безопасности. Как уже упоминалось, только однажды к нам в убежище вторгся посторонний. Кстати, мой рассказ об этом впервые прольет свет на таинственное исчезновение молодого Уиксона, наделавшее в свое время столько шума. Теперь, когда его уже нет в живых, запрет с этой тайны может быть снят.

В нашей балке было одно местечко, куда несколько часов в течение дня падали солнечные лучи. Мы натаскали туда речного гравия и устроили нечто вроде пляжика, где можно было полежать и погреться. Как-то я прикорнула здесь

---

[111] Примечания: 111

Масло и сливки изготовлялись кустарным способом из коровьего молока. Химическая пищевая промышленность еще не была известна миру.

с томиком Менденхолла[112] и незаметно задремала. Мне было так уютно и спокойно на моем ложе, что даже пламенные строфы этого вдохновенного поэта не могли развеять мою дремоту.

Разбудил меня ком земли, упавший на ноги. Очнувшись, я услыхала, что кто-то спускается вниз. Минута — и какой-то юноша, съехав с отвесной кручи, очутился передо мной. Это был молодой Филипп Уиксон — тогда я, конечно, этого не знала. Увидев меня, он не растерялся и только присвистнул от удивления.

— Однако, — пробормотал он и, сняв шляпу, вежливо добавил: — Простите, я не рассчитывал кого-нибудь здесь найти.

Я не так спокойно, как он, отнеслась к этой встрече. Мой опыт конспиратора был еще невелик, и я легко терялась в трудных обстоятельствах. Позднее, в присвоенной мне роли международной шпионки, я, разумеется, не ударила бы в грязь лицом. Но тут я сразу вскочила и выкрикнула условный сигнал, предупреждаю-

---

[112] Примечания: 112

В дошедшей до нас литературе и мемуарах того времени часто встречаются ссылки на стихи Рудольфа Менденхолла. Товарищи называли его факелом. Несомненно, это был замечательный поэт, но, кроме отдельных изысканных, туманных строк, цитируемых другими авторами, ничего из его произведений до нас не дошло. Казнен Железной пятой в 1928 г.

щий об опасности.

— Что это значит? — Уиксон посмотрел на меня испытующе. Видно было, что, спускаясь, он и не подозревал о нашем существовании, и я свободно вздохнула.

— А вы как полагаете? — спросила я в ответ. Находчивостью я, как видите, не отличалась.

— Кто вас знает, — пробурчал он, покачивая головой. — Может, у вас тут сообщники. Но придется вам ответить за это. Мне эта история определенно не нравится. Вы забрались в чужие владения. Это поместье моего отца и…

В эту минуту голос Биденбаха, как всегда вежливый и спокойный, негромко произнес за его спиной:

— Руки вверх, молодой человек!

Уиксон послушно поднял руки и повернулся к Биденбаху, который направил на него в упор тяжелый «маузер».

Уиксон был не робкого десятка.

— Ого! — сказал он. — Да вас тут шайка революционеров. Осиное гнездо, как я погляжу. Ну, долго вы здесь не засидитесь, смею вас уверить.

— Как бы вам, молодой человек, не пришлось здесь засидеться, — спокойно возразил Биденбах. — А пока прошу вас следовать за мной.

— Это куда же еще? — удивился Уиксон. — Что у вас тут, катакомбы? Мне приходилось слышать о таких вещах…

— А вот пойдемте, увидите, — сказал Биденбах.

— Вы не имеете права… — вскипел пленник.

— С вашей точки зрения, — многозначительно возразил террорист. — А с нашей — имеем. Придется вам привыкнуть к тому, что здесь на все смотрят иначе, чем в мире насилия и жестокости, где вы жили до сих пор.

— Ну, это спорный вопрос, — пробормотал Уиксон.

— Вот мы и поспорим с вами, время у нас найдется.

Молодой человек рассмеялся и последовал за своим конвоиром в дом. Мы оставили его под наблюдением в одной из маленьких комнат, а сами собрались в кухне для совещания.

Биденбах со слезами на глазах заявил, что молодого Уиксона придется убрать, и был очень рад, когда мы большинством голосов провалили это жестокое предложение. С другой стороны, отпустить молодого олигарха на все четыре стороны мы тоже не могли.

— Давайте оставим малого у себя и займемся его воспитанием, — предложил Эрнест.

— В таком случае, с вашего разрешения, я хотел бы стать его наставником в вопросах юриспруденции, — воскликнул Биденбах.

Так, смеясь, мы и приняли это решение. Филипп Уиксон должен был остаться у нас для прохождения курса социологии и социалистической морали. А между тем нас ждала другая, более неотложная задача: надо было уничтожить следы неудачного путешествия молодого олигарха на дно балки — одна стена была сильно изрыта обвалом. Эта работа досталась Биденбаху. Обвязавшись веревкой, он целый день ровнял и выглаживал почву скребком. Так же тщательно были уничтожены все следы, ведущие к нам по тропинке. И, наконец, явился Карлсон и потребовал у нас башмаки Уиксона.

Молодой олигарх не пожелал разуваться и чуть было в драку не полез, но при ближайшем знакомстве с железными пальцами Эрнеста — пальцами кузнеца — сменил гнев на милость. Карлсон натер на ногах волдыри и содрал себе кожу тесной обувью своего молодого хозяина, но зато поработал на славу. Шагая в башмаках Уиксона от того места, где обрывались следы, он свернул налево и, то обходя холмы, то поднимаясь на кручи и спускаясь в лощины, прошел

несколько миль, пока не скрыл следы в водах бурного ручья. Здесь он снял башмаки и большую часть обратного пути проделал босиком. Только неделю спустя мы вернули Уиксону его башмаки.

К вечеру в парке были спущены собаки-ищейки, и нам уже не пришлось спать в эту ночь. На следующий день собаки то и дело рыскали по нашему ущелью, но, сбитые с толку следами Карлсона, убегали влево, и лай их постепенно удалялся и замирал высоко в горах. Все это время наши мужчины стояли наготове в полном вооружении, с револьверами и винтовками; нечего и говорить, что мобилизованы были все адские машины, изготовленные Биденбахом. Можно себе представить, как изумился бы спасательный отряд, если бы он все-таки попал в нашу пещеру.

Я рассказала здесь о подлинных обстоятельствах исчезновения Филиппа Уиксона, некогда принадлежавшего к классу олигархов, впоследствии верного сына революции, потому что мы, в конце концов, перевоспитали его. Это был юноша с восприимчивым, гибким умом и неиспорченной душой. Несколько месяцев спустя, сев на лошадей из конюшни его отца, мы вместе с ним перевалили через Соному и спустились к устью

Петалумы, где нас принял на борт небольшой рыбачий баркас. С величайшими предосторожностями переезжая с одной стоянки на другую, мы перебрались в Кармел, в тамошнее убежище.

Здесь Уиксон прожил с нами еще восемь месяцев, а потом и сам не захотел с нами расстаться. На это у него было две причины. Во-первых, он, как и следовало ожидать, влюбился в Анну Ройлстон; во-вторых, стал социалистом. И только окончательно удостоверившись в безнадежности своей любви, он исполнил наше желание и вернулся в отчий дом.

Продолжая считаться для внешнего мира олигархом, Филипп Уиксон на самом деле был одним из ценнейших наших агентов во вражеском лагере. Недаром олигархи так часто становились в тупик перед неожиданным крушением своих замыслов и планов. Если бы они знали, как велико число наших сторонников в их рядах, им не пришлось бы удивляться. Всю свою жизнь Филипп Уиксон был свято верен великому делу революции. Эта преданность стоила ему жизни. В 1927 году, во время ужаснейшей бури, он отправился на собрание социалистических руководителей, простудился и заболел воспалением легких, ко-

торое и свело его в могилу[113].

[113] Примечания: 113

Эпизод с молодым Уиксоном не был по тем временам чем-то из ряда вон выходящим. Немало молодых олигархов, исходя из чисто моральных побуждений или под влиянием революционных идей, посвятили свою жизнь борьбе за правое дело. Так и сыны русского дворянства сыграли заметную роль в революционном движении своей страны на более раннем этапе.

Глава XXI
Ревущий зверь из бездны

За время долгого пребывания в убежище мы не отрывались от внешнего мира и достаточно ясно представляли себе всю мощь режима, с которым находились в состоянии войны. Кончился период ломки и перехода на новые рельсы, и теперь, оформившись и окрепнув, новые учреждения Железной пяты приобрели все признаки устойчивости и постоянства. Олигархии удалось создать всеобъемлющий, разветвленный государственный аппарат, и машина эта исправно работала, несмотря на все наши попытки затормозить, нарушить ее ход.

Для многих наших товарищей это было полнейшей неожиданностью. Они не представляли себе такой возможности. И тем не менее жизнь в стране шла своим чередом. Люди продолжали трудиться на полях и в недрах земли. Но теперь они были рабами. Ведущие отрасли промышленности процветали. Рабочие, члены привилегированной касты, жили припеваючи, усердно трудились. Впервые после неурядиц про-

мышленной войны они вкусили мир. Кончился вечный страх перед безработицей, кончились стачки, локауты, гонения на профсоюзы. Они жили в удобных домах, в специально для них построенных уютных поселках, которые казались им сущим раем по сравнению с трущобами и грязными гетто, где они раньше ютились. Теперь они лучше питались, меньше работали, чаще отдыхали, в их обиходе появились новые интересы и развлечения. О своих братьях и сестрах, гонимых париях, злосчастных обитателях бездны, они и думать забыли. В человеческом обществе начиналась новая эра — эра эгоизма. И все же это было верно лишь до известной степени. Рабочие касты были густо прослоены нашими сторонниками, людьми, для которых шкурнические интересы не заслоняли идеалов свободы и братства.

Другим важным учреждением, принявшим устойчивую форму и работавшим без заминки, была армия наемников. Она возникла из старой регулярной армии и насчитывала миллион солдат помимо колониальных войск. Наемники были особым сословием. Они жили в специально отведенных им городах, которыми сами управляли, и пользовались множеством других привилегий. Немалая доля чудовищных прибы-

лей Железной пяты уходила на их содержание. Утрачивая постепенно всякую связь с народом, они вырабатывали свое классовое самосознание, свою классовую мораль. Но и среди них было множество наших приверженцев[114].

Надо сказать, что и олигархи прошли некий путь развития, столь же примечательный, сколь и неожиданный. Они создали у себя жесткую классовую дисциплину. У всех у них были общественные обязанности, которые строго выполнялись. Вывелась порода богатых бездельников. Каждый олигарх по мере своих сил содействовал укреплению объединенной мощи олигархии. Они занимали командные посты в армии и промышленности, овладевали техническими знаниями и становились дельными, а подчас и выдающимися инженерами. Они заполняли многочисленные государственные должности, служили в колониях, десятками тысяч работали в тайной полиции. Их в обязательном порядке обучали богословию, естествознанию и другим наукам, прививали им вкус к литературе и ис-

[114] Примечания: 114

К концу существования Железной пяты наемники стали влиятельной силой. В борьбе между рабочими кастами и олигархией, в непрестанной смене интриг и заговоров они играли роль третьей стороны, бросая свой меч то на ту, то на эту чашу весов.

кусствам. И во всех этих областях они выполняли важнейшую для себя задачу — внушать всей нации идеи, способствующие увековечению олигархии.

Их учили, а впоследствии и сами они учили, что правда и добро на их стороне. С детства им прививали аристократические представления о своей классовой исключительности, они всасывали их с молоком матери. Олигархи смотрели на себя как на укротителей зверей, как на пастырей человеческого стада. Подземные толчки народного возмущения сотрясали почву под их ногами. Призрак насильственной смерти гнался за ними по пятам. Бомбы, ножи и пули были для них клыками и когтями ревущего зверя из бездны, которого необходимо укротить для спасения человечества. Они и полагали себя спасителями человечества, самоотверженно ведущими его к высокой цели.

Они считали себя как класс единственными носителями цивилизации. Они верили, что стоит им ослабить узду, как их поглотит разверстая слюнявая пасть первобытного зверя, а вместе с ними погибнет вся красота, и радость, и благо жизни. Без них водворится анархия и человек вернется в первобытную ночь, из которой он с

таким трудом выбрался. С детских лет их пугали этой картиной грядущей анархии, и, одержимые страхом, они и сами пугали ею своих детей: вот зверь, которому должно наступить на загривок, и высшая миссия аристократии в том, чтобы держать его под пятой. Только они, по их представлениям, ценой неустанных трудов и жертв способны были защитить род людской от всепожирающего зверя; и они верили этому, верили непоколебимо.

О присущей классу олигархов уверенности в своей правоте надо очень и очень помнить. В этом-то и сила Железной пяты, чего некоторые наши товарищи не пожелали или не сумели увидеть. Многие усматривали силу Железной пяты в ее системе подкупа и наказаний. Но это ошибка. Небо и ад могут быть решающими стимулами в религиозном рвении фанатиков; для огромного же большинства верующих небо и ад — лишь производные их представлений о добре и зле. Любовь к добру, стремление к добру, неприятие лжи и зла… короче говоря, служение добру и правде всеми делами и помыслами — вот движущий стимул всякой религии. Нечто подобное видим мы и на примере олигархии. Тюрьмы, изгнание и поношение, почести, дворцы и чудо-города — в

их системе лишь производное. Основная сила олигархов — уверенность в своей правоте. Разумеется, существуют исключения; ясно также, что власть Железной пяты основана на угнетении и лжи. Все это так. Но для нас важно то, что ныне сила Железной пяты заключается в самодовольном утверждении собственной правоты[115].

Но разве революция за последние страшные двадцать лет не черпала силы единственно лишь в сознании своей правоты? Чем иначе объясните вы наш нескончаемый мартиролог! Разве не этой верой проникнут подвиг Рудольфа Менденхолла, погибшего за революцию и посвятившего ей свою лебединую песнь? Разве не она побудила Гулберта предпочесть предательству смерть под пыткой? Не она ли заставила Анну Ройлстон отказаться от радостей материнства? Не она ли подвигла Джона Карлсона на его верное, бес-

[115] Примечания: 115

Из эклектической мешанины, характеризующей капиталистическую мораль, возникла новая этика олигархов, последовательная и четкая, суровая и непреклонная, в высшей степени нелепая и вздорная и в то же время представляющая собой необычайно действенное орудие, каким не располагал еще ни один из классов-тиранов. Олигархи твердо верили в силу своей этики, хотя она противоречила всем законам эволюции и биологии, и эта вера позволила им на три века задержать могучее движение человеческого прогресса. Для метафизика это — парадоксальное и непонятное обстоятельство; материалиста же оно заставляет над многим призадуматься и кое-что пересмотреть в своих взглядах.

корыстное служение скромным сторожем при глен-алленском убежище? Да и к кому бы вы ни обратились из тех, кто предан революции, будь то юноша или старик, женщина или мужчина, мудрец или невежда, вождь или скромный рядовой, все они воодушевлены одной только силой — возвышенным, неугасимым стремлением к истине и добру.

Однако я отклонилась от своего рассказа. Мы с Эрнестом еще до выхода из подполья понимали, в чем заключается сила Железной пяты. С одной стороны, рабочие касты, наемники, полчища тайных агентов, полиция всех видов и оттенков — все это преданно служило Железной пяте; об утерянной свободе они не горевали, и жилось им в общем лучше, чем раньше. С другой стороны, огромнейшие массы населения — обитатели бездны — все больше погружались в скотскую апатию смирения и безнадежности. Когда среди них появлялись сильные натуры, выделявшиеся из общей массы, олигархи переманивали их и включали в ряды привилегированных рабочих или наемников. Так заранее приглушался всякий протест, и пролетариат терял тех, кто мог стать его вождями.

Положение обитателей бездны было крайне

тяжелым. Обязательное школьное обучение на них не распространялось. Они жили, как скот, в обширных грязных рабочих гетто, обреченные на нищету и вырождение. Все их старинные привилегии были у них отняты. Труд стал для них рабской повинностью. Они лишены были права выбирать себе работу, свободно передвигаться по стране, хранить или носить оружие. Если фермеры превратились в невольников, прикрепленных к земле, то рабочие прикреплялись к машинам, к производству. Когда в наемной силе появлялась особая надобность, как это бывает при строительстве шоссейных дорог и авиационных линий, каналов, туннелей, метро и военных укреплений, в рабочих гетто производили насильственный набор, и десятки тысяч пролетариев — хочешь не хочешь — следовали к месту назначения. Вот и сейчас целые армии согнаны на строительство Ардиса. Их разместили в общих бараках, где семейная жизнь невозможна, где быстро отмирает всякое представление о приличии и царят скотские нравы. Поистине в рабочих гетто притаился ревущий зверь из бездны — зверь, которого олигархи так страшатся. Но они сами его создали, сами разбудили и поддерживают в нем инстинкты тигра и обезьяны.

Ныне объявлено, что предстоит новый набор для строительства Эсгарда — чудо-города, который должен намного превзойти Ардис, когда последний будет окончательно завершен[116]. Мы, революционеры, намерены продолжать это строительство, но оно будет выполняться не руками угрюмых, измученных рабов. Стены, башни и колонны прекрасного города вознесутся ввысь под звуки радостных песен, и его блеск и красота будут напоминать не о стонах и проклятиях, а о музыке и веселье.

Эрнест рвался в широкий мир, чтобы принять участие в подготовке нашего злополучного первого восстания, которое было впоследствии разгромлено в Чикаго. Приготовления к нему шли полным ходом. Однако Эрнесту пришлось вооружиться терпением, и пока Хедли, специально для этой цели привезенный из штата Иллинойс, производил над ним свои манипуляции, долженствовавшие превратить его в

[116] Примечания: 116

Строительство Ардиса было завершено в 1942 г., строительство Эсгарда — только в 1984 г. Всего Эсгард строился пятьдесят два года. В работе принимала участие постоянная полумиллионная армия рабов. Временами число их превышало миллион, не считая сотен тысяч рабочих из привилегированных каст и множества архитекторов и художников.

другого человека[117], Эрнест на тот случай, если восстание закончится неудачей, вынашивал грандиозные планы пропаганды революционных идей среди сознательных рабочих, а также планы распространения среди обитателей бездны хотя бы начатков образования.

Только в январе 1917 года удалось нам оставить убежище. Друзья заранее обеспечили мне и Эрнесту возможность легального существования. Мы были зачислены на службу к Железной пяте в качестве тайных агентов. Я считалась сестрой Эрнеста. Товарищи, занимавшие влиятельные посты среди олигархов, достали нам необходимые бумаги. С помощью властей предержащих сделать это было нетрудно, ибо в зыбком, двойственном мире разведки человек становился

[117] Примечания: 117

Среди революционеров было немало талантливейших хирургов, совершавших в своей области чудеса. По свидетельству Эвис Эвергард, им ничего не стоило превратить пациента в другого человека. Такие косметические операции, как удаление рубцов, родимых пятен или бородавок, было для них самым простым делом. Все эти операции они производили необычайно искусно, не оставляя ни малейших следов своей работы. Излюбленным объектом для этого рода хирургии был нос. Никаких трудностей не представляла также пересадка кожи или волосяного покрова. Поразительного эффекта достигали они в изменении выражения лица. Глаза, брови, рот, уши переделывались до неузнаваемости. Посредством искуснейших манипуляций в области гортани и горла, а также в полости носа и рта, совершенно менялся голос человека, артикуляция и произношение. Необычайные времена порождают необычайные ухищрения, и хирурги эпохи революции прекрасно справлялись с выпавшей им задачей. Среди прочих своих

достижений они умели менять человеческий рост — либо увеличивая его на четыре-пять дюймов, либо укорачивая дюйма на два. Это искусство для нас утеряно, да мы в нем и не нуждаемся.

неуловимой тенью. Тайные агенты появлялись и исчезали подобно призракам: выполняли свои обязанности, повиновались распоряжениям, выслеживали, выпытывали и отчитывались перед начальством, хотя никогда, быть может, в глаза его не видели, и сотрудничали с другими агентами, которых видели, быть может, первый и последний раз.

Глава XXII
Чикагское восстание

Работа провокаторов была связана с разъ-ездами. Кроме того, по своему характеру она требовала постоянного общения с революционе-рами и рабочими. Это позволяло нам находиться одновременно в двух лагерях и, числясь агентами Железной пяты, отдавать все силы служению революции. Так было не только с нами. Чуть ли не повсюду в тайной полиции Железной пяты сидели наши люди, и никакими перетрясками и перестройками нельзя было окончательно от нас избавиться.

Первое восстание, назначенное на весну 1918 года, было задумано Эрнестом чрезвычайно ши-роко. Осенью 1917 года подготовка была в самом разгаре. Многое еще оставалось сделать, и начать восстание до срока — значило бы обречь его на неудачу. Наши планы, естественно, отличались большой сложностью, и всякая поспешность могла оказаться для нас роковой. Это понимали и олигархи и сообразно с этим действовали.

Мы рассчитывали первым ударом поразить

нервные центры противника. После всеобщей забастовки Железная пята не доверяла телеграфу, и по всей стране были возведены станции беспроволочного телеграфа, порученные охране наемников. Мы, со своей стороны, парировали этот ход. По данному сигналу самые надежные товарищи в городах, поселках и казармах, а также в многочисленных убежищах должны были начать революционные действия повсеместным взрывом станций беспроволочного телеграфа. Этим мы надеялись сковать Железную пяту, обречь на вынужденное бездействие.

В это же время другие группы должны были приступить к взрыву туннелей и мостов и разбору рельсовых путей, чтобы привести в расстройство всю железнодорожную сеть. По тому же сигналу должны были начаться аресты офицеров наемных войск и полиции, а также видных деятелей олигархии и их прислужников. Этим мы рассчитывали обезглавить противника в боях, которые должны были разгореться по всей стране.

Многое должно было произойти по тому же сигналу. Канадские и мексиканские патриоты, чьи силы, кстати сказать, недооценивались Железной пятой, должны были то же самое проделать у себя. Предполагалось, что часть товарищей

(женщины по преимуществу, у мужчин найдутся другие задачи) займутся расклейкой прокламаций, заготовленных в подпольных типографиях. Наши агенты, занимающие высокие посты в аппарате Железной пяты, посеют анархию и беспорядок в своих ведомствах. Засланные в ряды наемной армии тысячи социалистов взорвут склады боеприпасов и дезорганизуют военную машину. Беспорядок и анархия перебросятся и на города наемников и рабочих каст.

Словом, олигархию ждал внезапный и ошеломляющий удар. Предполагалось, что он окажет такое действие, от которого она уже не опомнится. Разумеется, предстояли бедствия и лишения; мы знали, что будет пролито много крови. Но может ли это остановить революционеров! В своих планах мы отводили место и стихийному восстанию обитателей бездны: пусть гнев их обрушится на города и дворцы олигархов. Не беда, если это приведет к человеческим жертвам и уничтожению ценного имущества! Пусть ярится зверь из бездны, и пусть свирепствуют полицейские и наемники. Зверь из бездны все равно будет яриться, полицейские и наемники все равно будут свирепствовать. И те и другие опасны для революции, лучше им обратиться друг против друга. А мы

тем временем займемся своим делом — захватом и освоением государственной машины.

Таков был план, тайно разработанный во всех деталях и по мере приближения срока сообщаемый все большему числу участников. Мы понимали, насколько расширение круга посвященных для нас опасно. На самом деле опасность угрожала нам с другой стороны. Через свою сеть подосланных шпионов Железная пята узнала о готовящемся восстании, и нам решили преподать еще один кровавый урок. Местом расправы был избран Чикаго, и урок мы получили основательный.

Из американских городов Чикаго[118] наиболее созрел для революции. Если его и раньше именовали «городом на крови», то теперь ему вновь предстояло заслужить это название. В жителях Чикаго сильна революционная закваска. Здесь было подавлено столько забастовок, что про-

[118] Примечания: 118

Чикаго был промышленной преисподней XIX в. Сохранился забавный анекдот, связанный с именем некоего Джона Бернса, видного рабочего лидера, одно время входившего в английское правительство. Во время его пребывания в Штатах какой-то репортер спросил, как ему понравился Чикаго. «Чикаго — это ад в миниатюре», — отвечал гость. Прошло некоторое время, и приезжий собрался домой в Англию. Когда он садился на пароход, другой репортер спросил, не изменил ли он свое мнение о Чикаго. «Да, я изменил его, — последовал ответ. — Теперь я склонен думать, что ад — это Чикаго в миниатюре».

летариат не мог этого ни забыть, ни простить. Даже рабочие касты Чикаго еще не растеряли революционных традиций. Слишком много было пролито крови и разнесено черепов во время последних забастовок. Как ни изменились к лучшему условия их жизни, ненависть к господствующему классу все еще тлела в их сердцах. Духом возмущения были охвачены даже наемники. Три полка в полном составе ждали только сигнала, чтобы перейти на нашу сторону.

Чикаго всегда был горнилом революции, полем битвы между трудом и капиталом. Это был город уличных боев, где насильственная смерть была частой гостьей, где классово сознательным организациям капиталистов противостояли классово сознательные организации рабочих, где даже школьные учителя были давно объединены в профсоюзы и наравне с малярами и каменщиками входили в Американскую федерацию труда. И вот Чикаго стал ареной преждевременно разразившегося восстания.

Беспорядки были спровоцированы Железной пятой. Тут действовал хитрый расчет. С некоторых пор олигархи стали вести себя с населением вызывающе, не делая исключения даже для привилегированных рабочих каст. Обещания и

соглашения открыто нарушались, за ничтожные провинности налагались суровые взыскания. Все усилия были направлены на то, чтобы раздразнить зверя из бездны, вывести из обычного состояния апатии. Железной пяте явно не терпелось услышать его рев. А о мерах для охраны города почему-то забывали — в этом отношении Железная пята стала вдруг проявлять несвойственное ей легкомыслие. Среди наемников заметно упала дисциплина, и много полков было выведено из Чикаго и отправлено на новые квартиры во все концы страны.

Вся эта программа была выполнена за короткий срок — всего несколько недель. До нас, революционеров, доходили кое-какие слухи, ничего толком не объяснявшие. Мы видели в чикагских неурядицах скорее проявление стихийного протеста, который до поры до времени следовало придержать. Никому и в голову не приходило, что кто-то втихомолку разжигает эти настроения в городе, — все делалось в строжайшей тайне и по указанию таких высоких инстанций, что к нам не просочилось ни единого намека. Словом, встречный маневр Железной пяты был умело подготовлен и умело выполнен.

Я находилась в Нью-Йорке, когда получила

приказ немедленно выезжать в Чикаго. Человек, говоривший со мной — я не знаю его имени и не видела его лица, — судя по голосу и тону, был олигархом. Приказ был настолько ясен, что не оставлял места ни для каких сомнений: наш заговор раскрыт, и под нас подводится контрмина. Остается лишь поднести запал — целая армия агентов Железной пяты, как местных, так и присланных издалека, вкупе со мной должна заняться этим и произвести взрыв. Смею думать, что под испытующим взором олигарха я ничем себя не выдала, а между тем сердце у меня готово было выскочить из груди. Я еле удерживалась, чтобы не броситься на этого сатрапа и не вцепиться ему в горло, пока он хладнокровно отдавал мне свои напутственные распоряжения.

Оказавшись наконец одна, я рассчитала время. До отхода поезда у меня оставались буквально минуты, чтобы повидаться, если посчастливится, с кем-нибудь из здешних лидеров. Убедившись, что за мной не следят, я помчалась в больницу неотложной помощи. По счастью, главный врач Гелвин оказался на месте и немедленно меня принял. Я только что начала, задыхаясь, свой рассказ, как он прервал меня.

— Знаю, — сказал он спокойно, хотя в его

выразительных глазах ирландца вспыхивали молнии. — И догадываюсь, зачем вы пришли. Мне рассказали все четверть часа назад, и я уже доложил кому следует. Всеми силами постараемся хоть здесь удержать товарищей от выступления. Чикаго придется пожертвовать. Хорошо еще, если дело обойдется одним Чикаго.

— А вы пробовали телеграфировать? — спросила я.

Он покачал головой.

— Всякая связь прервана. Город полностью отрезан. Там будет ад кромешный…

Он замолчал, его тонкие белые пальцы судорожно сжимались и разжимались.

— Клянусь жизнью, я дорого бы дал, чтобы быть там! — вырвалось у него со вздохом.

— А может, не поздно и еще удастся что-то сделать? — сказала я. — Если с поездом ничего не случится, я могу оказаться там вовремя. А нет, так подоспеет другой товарищ, посланный за тем же…

— Как же вы все прозевали это? — укоризненно спросил Гелвин.

Я опустила голову и виновато сказала:

— Все держалось в строжайшем секрете. До сегодняшнего дня знали только наверху, а у нас

там еще нет никого, вот и прохлопали. Конечно, если бы Эрнест был здесь… Впрочем, возможно, он в Чикаго, и тогда все будет в порядке.

Доктор Гелвин с сомнением покачал головой.

— Насколько я слышал, его услали не то в Бостон, не то в Нью-Хэйвен. Секретная служба, как я понимаю, страшно связывает его. Но это все же лучше, чем торчать в убежище.

Я заторопилась, и Гелвин крепко пожал мне руку на прощание.

— Не падайте духом, — напутствовал он меня, — если наше восстание и кончится неудачей. После первого будет второе. И уж в следующий раз мы не ошибемся. Прощайте, желаю удачи. Кто знает, придется ли нам еще свидеться. Там будет ад кромешный. Но я отдал бы десять лет жизни, чтобы оказаться на вашем месте.

«Двадцатый век»[119] отходил из Нью-Йорка в шесть часов вечера и прибывал в Чикаго на другой день в семь утра. Но в эту ночь он запаздывал. Перед нами все время шел какой-то состав. Моим соседом в пульмановском вагоне оказался товарищ Хартмен, работавший в разведке Железной пяты на одном со мной положении. Он

[119] Примечания: 119

Курьерский поезд, который тогда считали самым быстроходным в мире; некоторое время он привлекал к себе общее внимание.

и рассказал мне о поезде, идущем впереди. Это был такой же состав, как у нас, но шел порожняком, без пассажиров. Очевидно, боялись, что на «Двадцатый век» готовится покушение, и в этом случае пострадать должен был пустой состав. Возможностью катастрофы объяснялось и то, что в поезде было не много пассажиров, по крайней мере в нашем вагоне раз, два — и обчелся.

— С нами едут какие-то важные особы, — сообщил мне Хартмен. — Вы заметили? Сзади прицепили салон-вагон.

Был уже вечер, когда мы прибыли на какую-то большую станцию, где впервые поменялся паровоз. Я вышла на перрон подышать свежим воздухом и осмотреться и, проходя мимо салон-вагона, заглянула в открытое окно. Хартмен был прав. Мне сразу же бросился в глаза генерал Альтендорф, а с ним еще две знакомые фигуры: Мэзон и Вандерболд, члены главного штаба разведывательной службы Железной пяты.

Ночь выдалась тихая, лунная, но на душе у меня было неспокойно, и я ни на минуту не сомкнула глаз. Наконец в пять утра я оделась и вышла в коридор.

Горничная в туалетной на мой вопрос сообщила, что мы опаздываем на два часа. Это была

мулатка с измученным лицом и ввалившимися глазами. Взгляд их выражал растерянность и затаенный страх.

— Что с вами? — спросила я.

— Ничего, мисс. Это от бессонной ночи, — ответила она.

Я посмотрела на нее внимательно и подала условный сигнал. Ответ не замедлил последовать, и после обычных вопросов я убедилась, что она своя.

— В Чикаго готовится что-то ужасное, — рассказала она мне. — Вы знаете, что впереди совершенно пустой поезд? Из-за него да из-за воинских эшелонов мы опаздываем.

— Воинские эшелоны? — переспросила я.

Она утвердительно кивнула.

— Все пути забиты ими. А сколько мы обогнали ночью! И подумать только: все они направляются в Чикаго. Говорят, войска доставляются даже по воздуху. Значит, дело нешуточное. У меня жених в наемных войсках, — добавила она, точно оправдываясь. — Он там от наших, и я очень боюсь…

Бедная девушка! Ее жених служил в одном из полков, готовившихся перейти на нашу сторону.

Мы с Хартменом отправились в вагон-ресторан завтракать, и я с трудом заставила себя сделать

хоть несколько глотков. Теперь небо хмурилось, и поезд с грохотом несся вперед, разрывая седую пелену утреннего тумана. Хартмен в это утро склонен был видеть все в черном свете.

— Ну что тут можно сделать? — повторил он в двадцатый раз, угрюмо пожимая плечами, и показал на окно. — Видите, все наготове. Могу вас уверить: то же самое у них по всем дорогам, ведущим в Чикаго, на расстоянии тридцати-сорока миль от города.

Он говорил о воинских эшелонах, стоявших на всех запасных путях. Вдоль насыпи, вокруг костров, расположились солдаты, готовившие себе завтрак. Они с любопытством поднимали голову, провожая глазами грохочущий поезд, проносившийся мимо с бешеной скоростью.

Когда мы въезжали в Чикаго, там царило полное спокойствие. Видимо, в городе еще ничего не произошло. На пригородных станциях появились в вагоне утренние газеты. В них не было ничего тревожного, и все же тому, кто умеет читать между строк, было над чем призадуматься. Чуть ли не за каждым словом скрывались тайные происки Железной пяты. Повсюду были рассеяны намеки, наводившие на мысль о слабости и растерянности в рядах олигархов. Разумеется, нигде это не

было сказано открыто, но читатель волей-неволей проникался этой мыслью. Это была тонкая работа. Утренние газеты от 27 октября можно было бы назвать шедевром мистификации.

Местная хроника отсутствовала — это тоже было весьма ловким ходом. Жизнь города как бы окутывалась тайной — можно было подумать, что олигархия не решается сказать правду жителям Чикаго. Зато отсутствие городских вестей восполнялось туманными сообщениями о беспорядках, якобы вспыхнувших по всей стране, причем лживые сведения эти, для отвода глаз, сопровождались успокоительными заверениями властей, что повсюду приняты меры для усмирения бунтовщиков. Говорилось о взрывах многочисленных станций беспроволочного телеграфа; мало того, за поимку виновников предлагались крупные награды. На самом деле ни одна станция не была взорвана. Сообщалось и о других случаях того же характера, предусмотренных нашими тайными планами. Словом, газеты были составлены с таким расчетом, чтобы навести наших чикагских товарищей на мысль, будто восстание уже началось, хотя и не повсюду оно протекает благоприятно. Трудно было, не зная всей подоплеки дела, уберечься от ловуш-

ки, трудно было не вообразить — мало того, не поверить, — что в стране назрела революция и восстание идет полным ходом.

Далее в газетах сообщалось, будто бы волнения среди наемников в Калифорнии настолько серьезны, что пришлось расформировать с полдюжины полков и перевезти мятежников вместе с их семьями в рабочие гетто. А между тем калифорнийские полки были самыми лояльными. Но могли ли это знать отрезанные от всей страны жители Чикаго? Паническая телеграмма из Нью-Йорка сообщала, что там к восставшему населению примкнули рабочие касты. Впрочем, конец телеграммы был сформулирован в успокоительных тонах (очевидно, в надежде, что это будет принято за надувательство): войска якобы овладели положением и в городе водворяется порядок.

Эта тактика проводилась олигархами не только в печати. Как мы узнали впоследствии, провокационные слухи распространялись и другими путями. Так, первую половину ночи олигархи отправляли по различным адресам секретные телеграммы того же содержания с явным расчетом, что они станут известны в революционном лагере.

— По-видимому, тут и без нас обошлись, — сказал Хартмен, складывая газету, когда поезд подошел к главному вокзалу. — Не понимаю, зачем мы им понадобились. У Железной пяты дела идут блестяще. В городе вот-вот начнется резня.

Выходя из вагона, он оглянулся на хвост поезда.

— Так и есть, — пробормотал он себе под нос. — Вагон отцепили, как только были получены утренние газеты.

У Хартмена был такой убитый вид, что я невольно старалась его подбодрить, но он не обращал на меня внимания, а когда мы проходили через вокзал, вдруг торопливо заговорил, понизив голос:

— У меня давно были подозрения, но ничего определенного, и я молчал. Я уже больше месяца бьюсь над этим, и пока все в том же положении — ничего определенного. Берегитесь Ноултона! Я ему не верю! Ноултону известны десятки убежищ, жизнь сотен товарищей в его руках, а между тем он, по-видимому, предатель. По крайней мере у меня такое чувство, хотя доказательств нет никаких. С некоторых пор с ним что-то произошло — какая-то перемена. Боюсь, что он собирается совершить предательство, если уже не совершил. Я почти убежден… Не следовало бы говорить на

авось, но у меня чувство, что живым из Чикаго мне не выбраться. Выследите Ноултона… выведите его на чистую воду. Больше я ничего не знаю. Это простое подозрение. Фактов у меня никаких.

Мы вышли на вокзальную площадь.

— Помните, — сказал мне Хартмен в заключение. — Надо установить за Ноултоном слежку.

Хартмен оказался прав. Не прошло и месяца, как Ноултон заплатил жизнью за предательство. Приговор был вынесен и приведен в исполнение революционерами города Милуоки.

Повсюду царила тишина, зловещая тишина. Казалось, город вымер. На улице не было обычной сутолоки и движения. Даже извозчики не показывались. Трамваи не шли, не действовала и надземная железная дорога. Лишь изредка попадались одинокие прохожие, но и они не задерживались на пути. Все шли торопливо, спеша поскорее добраться до дому, и вместе с тем неуверенно, словно боясь, что дома вот-вот упадут и придавят их своей тяжестью или тротуар провалится у них под ногами, а то еще, пожалуй, взлетит на воздух. Я все же заметила нескольких мальчишек, возбужденно шнырявших по улице, по-видимому, в ожидании каких-то интересных, увлекательных событий.

Откуда-то из южной части города донеслось глухое уханье взрыва, и опять все смолкло. Мальчишки замерли на месте и долго стояли не шелохнувшись, тревожно вслушиваясь в тишину, словно молодые олени. Подъезды домов были заперты, окна магазинов наглухо закрыты тяжелыми ставнями. Некоторое оживление вносили полицейские и дворники, во множестве торчавшие на углах и в подворотнях, да проносившиеся по мостовой автомобили с отрядами наемников.

Мы с Хартменом решили, что нет никакого смысла являться в местное отделение разведки. Это служебное упущение можно будет потом объяснить беспорядками в городе. Мы направились к обширному рабочему гетто, расположенному в южной части города, рассчитывая найти там кого-либо из товарищей. Слишком поздно! Мы это прекрасно понимали. Но нельзя же было бесцельно бродить по пустынным, молчаливым улицам. «Где-то теперь Эрнест? — проносилось у меня в голове. — И что творится в поселках рабочих каст и наемников? А чикагская крепость?..» Словно в ответ, послышался страшный воющий грохот. Приглушенный расстоянием, он долго стоял в ушах, рассыпаясь раскатами отдельных взрывов.

— Это в крепости, — сказал Хартмен. — Пропа-

ли наши три полка.

На перекрестке нам бросился в глаза гигантский столб дыма над районом боен. На следующем перекрестке такие же столбы дыма мы увидели над западной частью города. Над поселком наемников качался в небе огромный привязной аэростат. Пока мы смотрели на него, он загорелся и, объятый пламенем, рухнул наземь. Что за трагедия разыгралась над нами в воздухе? Кто погиб в этих горящих обломках — друзья или враги? Теперь ветер доносил к нам какой-то отдаленный гул, напоминавший бульканье гигантского котла. Хартмен сказал, что это оружейный и пулеметный огонь.

Мы по-прежнему шли пустынными, притихшими улицами. В этой части города царило полное спокойствие. Все так же мчались мимо грузовики с полицейскими и военными патрулями да проехало несколько пожарных машин, возвращавшихся в депо. Какой-то офицер, проезжавший мимо в автомобиле, спросил о чем-то пожарных, и мы услышали, как один из них крикнул:

— Нет воды! Взорваны магистрали!

— Мы разрушили водопровод! — в волнении воскликнул Хартмен. — Если нам удаются такие дела при одинокой, преждевременной попытке,

обреченной на неудачу, чего же мы достигнем, действуя единым фронтом по всей стране!

Автомобиль с офицером, спрашивавшим о пожаре, двинулся дальше. И вдруг — оглушительный грохот, и машина со всем своим живым грузом взлетела на воздух в густых облаках дыма и грудой обломков и исковерканных тел ударилась о землю.

Хартмен ликовал.

— Хорошо, отлично! — повторял он взволнованным шепотом. — Сегодня пролетариат получает суровый урок, но и сам он тоже как следует проучит своих учителей.

К месту взрыва бежала со всех сторон полиция. Остановился военный грузовик. Я стояла оглушенная, не в силах понять, что произошло. Ведь я глаз не спускала с той машины, и вдруг… Я была так ошеломлена, что не заметила, как нас задержал полицейский патруль, и очнулась, только увидев револьверное дуло, поднятое в уровень с лицом моего спутника. Но Хартмен не растерялся и спокойно сказал пароль. Револьвер нерешительно качнулся в воздухе и опустился вниз. Державший его полицейский возмущенно ворчал себе под нос, на чем свет стоит кляня разведку. Вечно эти агенты путаются под ногами,

говорил он, между тем как Хартмен с апломбом заправского шпика отчитывал полицию за ее бездарность.

Уже в следующую минуту я поняла, как произошел взрыв. Вокруг места катастрофы собралась толпа, и я увидела, как двое мужчин подняли офицера и понесли к остановившемуся грузовику. И вдруг всех стоявших на улице охватила паника. Толпа дрогнула и рассыпалась в слепом страхе, бросив на дороге раненого офицера. Побежал и наш сердитый полицейский, и мы с Хартменом, сами не зная почему, тоже помчались со всех ног, охваченные паническим страхом.

Однако ничего не произошло, но зато все разъяснилось. Беглецы сконфуженно возвращались назад, опасливо поглядывая вверх, на высокие фасады зданий, поднимавшиеся по обеим сторонам улицы подобно стенам глубокого ущелья. Значит, бомба была сброшена из окна, но из какого? Второй бомбы не было — был только страх.

Мы в раздумье поглядывали на окна: в каждом из них притаилась смерть. Каждое здание могло оказаться засадой. Такова была война в современных джунглях — в большом городе. Улицы были глубокими теснинами, каждый дом — скалой. Мы недалеко ушли от первобытных дикарей,

хотя по асфальту и мчались автомобили.

Повернув за угол, мы наткнулись на труп женщины, плававший в луже крови. Хартмен наклонился посмотреть, мне же сделалось дурно, я еле держалась на ногах. В этот день мне предстояло увидеть сотни смертей, но самым страшным было это впечатление от валявшегося на тротуаре всеми брошенного и забытого тела.

— Убита наповал выстрелом в грудь, — констатировал Хартмен.

Окостенелой рукой женщина, словно ребенка, прижимала к груди пачку печатных листков. И в смерти хранила она то, что принесло ей смерть: когда Хартмену удалось вытащить пачку из цепких объятий трупа, листки оказались революционными прокламациями.

— Наш товарищ… — сказала я.

Хартмен только яростно выругался, и мы пошли дальше. Нас то и дело останавливали патрули и полицейские заставы, но пароль служил нам надежным пропуском. Из окон не бросали больше бомб, прохожие окончательно исчезли с безлюдных улиц, окружающая тишина стала бездонной. А вдали все так же булькал невидимый котел, со всех сторон грохотали взрывы, и повсюду, куда ни глянь, уходили в небо зловещие столбы дыма.

Глава XXIII
Обитатели бездны

И вдруг все изменилось. Улица ожила, чувствовалось приближение чего-то нового. Мимо пронеслись машины — две, три, десять, двенадцать. Нам кричали оттуда какие-то слова предостережения. Одна из машин, полукварталом ниже, на полной скорости шарахнулась в сторону, а в следующую секунду, когда она уже уносилась вдаль, посреди мостовой зияла черная воронка. Мы увидели, как полицейские бросились в боковые улицы, и поняли: сейчас начнется что-то страшное. Нарастающий рев говорил о том, что оно приближается.

— Идут наши славные товарищи, — сказал Хартмен.

Когда показалась головная часть колонны, заполнявшей улицу от края до края, последний удирающий воинский грузовик на минуту задержался. Оттуда выскочил солдат, осторожно неся что-то перед собой. Он подбежал к сточной канаве и опустил в нее ношу, потом поспешно вернулся к своим. Машина снялась с места и,

завернув за угол, мгновенно скрылась из виду. Хартмен бросился к канаве и, низко нагнувшись над ней, крикнул:

— Не подходите!

Я видела, как с лихорадочной быстротой делают что-то его руки. Когда он вернулся, пот лил с него градом.

— В порядке, — сказал он. — Только-только успел разъединить. Солдат, видно, неопытный. Он готовил ее для наших товарищей, но она разорвалась бы раньше. Теперь не разорвется!

События быстро следовали одно за другим. Полукварталом ниже, на противоположной стороне улицы, из окна высунулись чьи-то головы. Я едва успела показать на них Хартмену, как по фасаду здания, где они только что мелькнули, полоснуло огнем и дымом, и воздух сотрясся от взрыва, с шумом посыпалась штукатурка, местами обнажая металлический каркас здания. В следующее мгновение такое же полотнище огня и дыма скользнуло по фасаду дома на нашей стороне. Между взрывами слышалась трескотня винтовок и «маузеров». Эта дуэль в воздухе длилась несколько минут, потом все затихло. Очевидно, в одном здании засели наши товарищи, в другом — наемники, но кто где, мы не знали.

К этому времени головной отряд колонны приблизился. Едва он поравнялся с домами, обстреливавшими друг друга, как между ними снова завязался бой. Из одного здания вниз полетели бомбы, из другого в упор палили по бросавшим, и те тоже начали отстреливаться. Тогда нам стало ясно, где наши товарищи: они привлекали на себя огонь, мешая неприятелю забрасывать колонну бомбами.

Тут Хартмен схватил меня за руку и увлек в ближайший подъезд.

— Это не наши идут! — крикнул он мне на ухо.

Ворота во двор были заперты на замки и крепкие засовы. Бежать было некуда. Первые ряды уже проходили мимо. Это не было организованное шествие. Разнузданная толпа, многоводной рекой затоплявшая улицу, состояла из обитателей бездны. Одурманенные вином и жаждой мести, они восстали наконец и с ревом потребовали крови своих хозяев. Мне и раньше приходилось встречать обитателей бездны. Я бывала в их гетто и думала, что знаю их. Но нет, такими я их еще не видела. Куда девалась их обычная тупая апатия! Вся толпа была охвачена бешеной яростью. Она проносилась мимо клокочущей лавиной гнева, ворча и храпя, опьянев от вина из разграбленных

складов, обезумев от ненависти и жажды крови. Передо мной проходили мужчины, женщины и дети в тряпье и лохмотьях, свирепые существа с затуманенным мозгом и чертами, в которых печать божественного сменилась каиновой печатью. Обезьяны — рядом с тиграми; обреченные смерти чахоточные — рядом с грузными, заросшими шерстью вьючными животными; болезненные восковые лица людей, из которых общество-вампир высосало всю кровь, — рядом с чудовищными мускулами и опухшими образинами, раздутыми развратом и пьянством; иссохшие ведьмы, скалящиеся, убеленные сединами черепа, гниющая заживо юность и разлагающаяся старость, видения из преисподней, скрюченные, изуродованные, искалеченные чудовища, изъеденные болезнями и голодом, — отбросы и подонки, рычащие, воющие, визжащие, беснующиеся орды.

Да, обитателям бездны нечего было терять, кроме своей проклятой, окаянной жизни. А выиграть? Нет, выиграть они тоже ничего не могли, кроме этого последнего судорожного глотка утоляющей мести. Глядя на эту бушующую лавину, я подумала, что среди толпы немало подвижников, наших товарищей, героев, которым выпал жре-

бий разбудить зверя из бездны, чтобы отвлечь на него внимание противника.

И тогда я ощутила в себе странную, удивительную перемену. Страх смерти — страх за себя, за других — внезапно оставил меня. Мною овладел странный экстаз, я чувствовала себя новым существом в новом, небывалом мире. Ничто больше не тревожило меня. Пусть наше дело сегодня проиграно — завтра оно восстанет из пепла, живое, вечно юное. С этой минуты я со спокойным интересом следила за кровавой оргией, которая разыгрывалась передо мной. И жизнь и смерть ничего уже для меня не значили. Казалось, дух мой поднялся на головокружительную высоту, с которой глядят на землю равнодушные звезды, готовый все заново взвесить и переоценить. Если бы не это, я наверняка не выдержала бы.

С четверть часа уже валила мимо толпа, а мы все еще не были обнаружены. Как вдруг женщина, одетая в лохмотья, с испитым лицом и узенькими щелками глаз, со зрачками, как раскаленные буравчики, увидела нас в подъезде и с пронзительными воплями кинулась к нам, увлекая за собой часть толпы. Сейчас, набрасывая эти строки, я снова вижу пред собой простоволосую старуху со взъерошенными седыми космами, с

лицом, залитым кровью, стекающей с рассеченного лба. Зажав в правой руке топорик, а левой, сморщенной и желтой, как птичья лапа, судорожно хватая воздух, неслась она на меня, опередив остальных. Хартмен бросился вперед и заслонил меня собой. Вступать в какие-либо объяснения не приходилось. Мы были хорошо одеты, этого было довольно. Выбросив руку вперед, Хартмен кулаком ударил старуху в переносицу. Она отшатнулась, но наступавшая сзади людская стена снова бросила ее на нас, и топорик, занесенный над головой Хартмена, слабо скользнул по его плечу.

В следующую минуту я уже ничего не сознавала. Толпа ринулась на меня и сбила с ног. Маленький подъезд наполнился криком, визгом, неистовыми проклятиями. На меня обрушился град ударов. Чьи-то руки хватали меня, цеплялись, срывали платье. Смятая толпой, я чувствовала, что задыхаюсь под грузом навалившихся сверху тел. В этой страшной свалке чья-то крепкая рука вцепилась мне в плечо и изо всех сил потянула к себе. От боли, от духоты я лишилась сознания. Хартмен так и не вышел больше из этой западни. Заградив меня, он принял на себя первый стремительный натиск. Это спасло мне жизнь. В

последовавшей затем давке толпа могла только неистово топтаться на месте и в бешенстве дергать меня и теребить.

Очнулась я уже на ногах. Куда-то я двигалась, но двигалась не только я. Меня непреодолимо увлекал вперед стремительный поток и, словно щепку, уносил по течению неведомо куда. Свежий воздух овевал мне лицо, живительной струей вливался в легкие. Еще не придя в себя, чувствуя слабость и головокружение, я смутно сознавала, что чья-то сильная рука, обхватив за плечи, увлекает вперед, почти несет меня. Без этой помощи я не могла бы идти. Перед глазами у меня мерно колыхалось пальто шедшего впереди мужчины. Кто-то распорол его по шву сверху донизу, и обе половинки сходились и расходились на спине хозяина в такт его шагам. Завороженная этим странным зрелищем, я ни о чем не думала, а между тем сознание и жизнь постепенно возвращались ко мне. Вскоре по острой, саднящей боли я догадалась, что у меня ободраны нос и щеки, с лица стекает кровь. Шляпа куда-то исчезла, волосы в беспорядке рассыпались по плечам. Жгучая боль в темени напоминала о том, как в подъезде кто-то ожесточенно дергал меня за волосы. Плечи и грудь ломило, жгло от ссадин и кровоподтеков.

Окончательно придя в себя, я оглянулась на поддерживавшего меня человека — это он вытащил меня из свалки и спас мне жизнь. Мой спутник заметил, что я смотрю на него.

— Все в порядке! — крикнул он хриплым голосом. — Я сразу увидел вас в толпе.

Я все еще не узнавала его, но ничего не ответила. Мысли мои были заняты другим: я задела ногами что-то мягкое, копошившееся на земле. Задние ряды напирали, и я не могла остановиться взглянуть, но понимала, что это женщина, упавшая и смятая толпой, и что тысячи ног сейчас втопчут ее в землю.

— Все в порядке! — продолжал мой спутник. — Не узнаете? Я Гартуэйт.

Он оброс бородой, исхудал и был неимоверно грязен, но я все же признала в нем славного юношу, который три года назад жил у нас в Глен-Эллене. Он сделал мне знак, говоривший, что он так же, как и я, работает в тайной полиции Железной пяты.

— Я вас вытащу из этой каши, как только представится возможность, — заверил он меня. — Но, ради бога, будьте осторожны. Главное — не оступиться и не упасть.

Все в этот день происходило с какой-то пугаю-

щей внезапностью — так и сейчас, с внезапностью, от которой у меня похолодело сердце, толпа остановилась. Я налетела на грузную женщину, шедшую впереди (распоротое пальто куда-то успело скрыться), задние налетели на меня. Началось столпотворение — крики, проклятия, предсмертные вопли, заглушаемые дробной стукотней пулеметов и отчетливым «ра-та-та-та» винтовок. Я долго ничего не понимала. Рядом со мной мешком валились на землю люди. Грузная женщина впереди вдруг согнулась пополам и присела, обхватив руками живот. У моих ног бился в предсмертных судорогах какой-то мужчина.

Тут я поняла, что мы очутились в первых рядах толпы. Куда делась вся головная часть колонны, растянувшаяся на полмили, я так никогда и не узнала. Была ли она сметена каким-то чудовищным орудием войны, или же ее рассеяли и перебили постепенно? А может, ей удалось спастись? Трудно сказать, но только наша часть колонны оказалась впереди, под смертоносным ураганом визжащего свинца.

Как только смерть разделила толпу, Гартуэйт, все еще не выпуская моей руки, ринулся вместе с десятком других бегущих в подъезд какого-то здания. И тотчас же нас настигла и притиснула

к дверям груда задыхающихся, лезущих друг на друга тел. Долгое время мы не могли сдвинуться с места.

— Ну и удружил же я вам! — горевал Гартуэйт. — Опять затащил в западню. На улице нам бы наверняка не поздоровилось, но и здесь не лучше. Единственное, что остается, это кричать: «Vive la Revolution!»[120].

И вот началось то, чего он опасался. Наемники расправлялись с бунтовщиками, без жалости пристреливая и прикалывая всех подряд. Мы только что задыхались в давке, а теперь натиск толпы значительно уменьшился: мертвые и умирающие валились на землю, освобождая место для живых. Гартуэйт, пригнувшись к моему уху, кричал что-то изо всех сил, но голос его тонул в окружающем шуме, и я ничего не могла разобрать. Тогда он схватил меня за плечи и заставил лечь на землю, потом подтащил тело умирающей женщины и, навалив его на меня, сам с трудом примостился рядом, отчасти прикрывая меня сверху. Едва мы легли, как над нами начала расти гора тел, а поверх этой горы, стеная и судорожно хватаясь за трупы, ползали те, в ком еще не угас-

---

[120] Примечания: 120
«Да здравствует революция!» (*фр.*)

ла жизнь. Но вскоре и они замерли, и наступило нечто вроде тишины, прерываемой стонами, криками и хрипами умирающих.

Если бы не Гартуэйт, меня бы наверняка раздавили. Я до сих пор не понимаю, что дало мне силы выдержать это испытание и остаться жить. Помню, я изнемогала от боли, задыхаясь под грудой тел, но находила в себе одно только чувство — любопытство. Что будет дальше? Какая кончина меня ждет? В чикагской резне я получила свое революционное крещение. До сих пор смерть была для меня чем-то туманным, далеким. С этих же пор я смотрю на смерть как на простое, обыденное явление. Ведь это так легко может случиться с каждым!

Наемники все еще не оставляли нас в покое. Сгрудившись в нашем подъезде, они принялись расшвыривать тела убитых в поисках тех, кто был еще жив или, как и мы, притворился мертвым. Помню, какой-то мужчина униженно просил пощады, и его рабьи мольбы до тех пор не умолкали, пока их не оборвал выстрел. Помню женщину, которая бросилась на солдат с поднятым револьвером. Пока ее схватили, она успела выпустить шесть зарядов — не знаю, с каким успехом. Лишь звуки рассказывали нам

о совершавшихся рядом трагедиях. Поминутно возникало какое-то движение, возня, и каждый раз это кончалось выстрелами. А в перерывах слышались разговоры и ругань солдат, разбиравших груды тел под нетерпеливыми окриками офицеров, приказывавших им торопиться.

Наконец они добрались до нас. Я почувствовала, как постепенно уменьшается давившая меня тяжесть. Гартуэйт сразу же начал выкрикивать пароль. Сначала его не слышали. Тогда он закричал громче.

— Кричит кто-то, — сказал один из солдат.

И тотчас же отозвался офицер:

— Эй, вы там, полегче!

О, первый спасительный глоток воздуха, когда мы оказались на ногах! Все переговоры вел Гартуэйт, но и меня подвергли краткому допросу для выяснения моей личности.

— Верно! Это наши агенты, — решил наконец допрашивавший нас офицер — безбородый юнец, очевидно, сынок какого-то видного олигарха.

— Собачья должность! — ворчал Гартуэйт. — Я не я буду, если не попрошусь в армию. Вам, ребята, можно позавидовать.

— Вы заслужили перевода в армию, — благосклонно ответил молодой офицер. — Постараюсь

вам помочь, у меня есть кое-какие связи. Я охотно засвидетельствую, что вам пришлось пережить.

Он записал имя и номер Гартуэйта и обратился ко мне:

— А вы?

— О, я выхожу замуж и скоро развяжусь со всем этим, — небрежно объявила я.

Пока мы разговаривали, солдаты добивали раненых. Сейчас все это кажется сном, но тогда я уже ничему не удивлялась. Гартуэйт и молодой офицер оживленно болтали, сравнивая методы современной войны с тактикой уличных сражений и дуэлями небоскребов, которые происходили сегодня по всему городу. Я прислушивалась к их разговору, поправляя волосы и кое-как скалывая прорехи на платье. И все время вокруг добивали раненых. Иногда гром револьверных выстрелов заглушал вопросы и ответы, и собеседникам приходилось повторять сказанное.

Я провела три дня в восставшем Чикаго и, чтобы дать представление о масштабах расправы и ее жестокости, могу только сказать, что все эти три дня я не видела ничего, кроме беспощадного уничтожения обитателей бездны да еще дуэлей небоскребов. Мне не пришлось быть свидетелем геройских подвигов наших товарищей, я видела

только действие их бомб и мин, видела зарево зажженных ими пожарищ — вот и все. Но одно славное их дело частично протекало у меня на глазах — это предпринятая ими воздушная атака на военную крепость противника.

Был второй день восстания. Все три полка, перешедших на сторону революции, были уничтожены до единого человека. Крепость занял новый гарнизон. Дул благоприятный ветер, и вот с крыши одного из небоскребов в центральной части города поднялись наши аэростаты.

После отъезда из Глен-Эллена Биденбах изобрел взрывчатое вещество необычайной силы, которое назвал «экспедитом». Этим-то экспедитом и были вооружены наши аэростаты. Это были воздушные шары, наполненные горячим воздухом, — неуклюжая самодельщина, но свою задачу они выполнили. Мне довелось наблюдать это зрелище с крыши одного небоскреба. Первый аэростат отнесло в сторону, и он скрылся за чертой города. Впоследствии мы узнали его судьбу. На нем находились Бертон и О'Салливен. При спуске они оказались над железнодорожным полотном, по которому мчался воинский эшелон, направлявшийся в Чикаго. Наши аэронавты сбросили весь свой запас взрывчатки на паровоз.

Причиненные взрывом разрушения надолго вывели дорогу из строя. По счастью, освободившись от груза, аэростат взмыл вверх, и оба героя опустились на землю милях в шести от места катастрофы.

Второй аэростат постигла неудача. Он летел слишком низко, и пули изрешетили его прежде, чем он успел добраться до крепости. На его борту были Хартфорд и Гиннес. Оба они погибли при страшном взрыве, развороти вшем все поле, на которое рухнул аэростат.

Биденбах был в отчаянии, как нам потом рассказывали, и на третьем аэростате поднялся один. Шар и на этот раз летел низко, но, по счастью, ни одна пуля не причинила ему серьезного повреждения. Я и сейчас вижу, как видела тогда с высоты небоскреба, неуклюжий раздутый мешок и под ним еле заметную точечку — прицепившегося в корзинке человека. Мне так и не удалось разглядеть крепость среди множества других зданий, но товарищи, бывшие со мной на крыше, говорили, что шар находится как раз над ней. Я не видела также, как смертоносный груз полетел вниз, как только перерезан был прикреплявший его канат, но зато увидела, как аэростат сильно тряхнуло в воздухе, после чего он стремительно

взмыл кверху. Почти тотчас же огромный черный столб дыма поднялся в небо, застилая горизонт, а следом раздался оглушительный взрыв. Милый, душевный Биденбах один разрушил мощную крепость! Два последних аэростата поднялись вместе. На одном преждевременно взорвался экспедит, и его разнесло в клочья, другой от сотрясения воздуха лопнул и упал на уцелевшие строения крепости. Это была неожиданная удача, хоть и стоила жизни двум товарищам.

Что касается обитателей бездны, которых мне пришлось наблюдать вблизи, то они свирепствовали и сметали все на своем пути и сами подвергались повальному истреблению, но только в деловых кварталах города. К западной окраине, где стояли дворцы олигархов, их и не подпустили. Олигархи сумели защитить себя там, где это было им нужно. Отдав на разгром центр города, они позаботились о том, чтобы ни один волос не упал с их собственной головы или с головы их жен и детей. Мне рассказывали потом, что в дни побоища их дети беззаботно играли в парках: подражая старшим, усмиряли пролетариат.

На долю наемников выпала нелегкая задача: им приходилось наряду с подавлением восстав-

ших толп отражать удары социалистов. Чикаго остался верен своим традициям, и хотя здесь с лица земли было стерто целое поколение революционеров, они погибли, унося с собой целое поколение своих врагов. Железная пята, разумеется, не допустила опубликования цифры своих потерь, но, даже по самому скромному подсчету, число убитых наемников достигло ста тридцати тысяч. Но наших товарищей в Чикаго постигла трагическая неудача. Они рассчитывали бороться вместе со всей страной, а оказались предоставлены сами себе, и олигархи могли при желании обрушить на них всю свою военную мощь. И действительно, день за днем и час за часом в Чикаго прибывали бесконечные поезда, доставляя все новые сотни тысяч солдат.

Ибо конца не видно было бушующим толпам! Устав от избиений, наемники предприняли обширную операцию, целью которой было загнать людей, переполнявших улицы, в озеро Мичиган. Мы с Гартуэйтом как раз и присутствовали при самом начале этой грандиозной облавы, когда повстречались с молодым офицером. Однако самоотверженными стараниями наших товарищей эти планы были сорваны. Вместо многих сотен тысяч наемникам удалось потопить в озере не

более сорока тысяч чикагцев. Каждый раз, как солдатам удавалось загнать большое скопище людей на улицы в районе набережной, революционеры устраивали диверсию, отвлекавшую внимание карателей и позволявшую хотя бы части затравленных толп вырваться из ловушки и бежать.

Вскоре после встречи с молодым офицером мы оказались свидетелями такого маневра. Толпа, которая только что уносила с собой и нас, теперь, под натиском наемников, отступала в беспорядке. Густые цепи солдат мешали ей свернуть на юг и на восток; на запад ей не давали растекаться те отряды, к которым присоединились и мы с Гартуэйтом. Оставалось одно — уходить на север, к озеру, тем более что наемники открыли со всех сторон беглый огонь из винтовок и пулеметов. Трудно сказать, спасительная ли догадка или слепой инстинкт руководили толпой, но у самой набережной она шарахнулась в переулок и, выйдя на параллельную улицу, повернула на юг, стремясь назад, в свое гетто.

Мы пробирались на запад, стараясь выйти из района уличных боев, как вдруг на повороте увидели толпу, которая с ревом неслась нам навстречу. Гартуэйт схватил меня за руку, чтобы

броситься ей наперерез, но тут же потащил обратно. И вовремя: мы еле-еле увернулись от колес военных грузовиков с пулеметами, которые мчались прямо на нас. Позади следовали солдаты с винтовками. Казалось, толпа вот-вот сомнет их, прежде чем они успеют построиться.

То тут, то там раздавались отдельные выстрелы, но они были бессильны остановить чернь, которая с гиканьем и свистом неслась вперед. У пулеметчиков что-то не ладилось, и они не открывали стрельбу. Машины, на которых они прибыли, загородили мостовую, и солдаты протискивались между машинами, взбирались на них и заполняли тротуары. Солдат подходило все больше, и нам уже нечего было думать ускользнуть в этой давке: нас прижали к стене какого-то здания.

Когда пулеметы заговорили, толпа находилась уже в десяти шагах. Но перед этой огненной завесой пролегла зона смерти. Толпа все прибывала, не делая ни шагу дальше. Вскоре здесь выросли курганы трупов, курганы слились в насыпь, насыпь превратилась во все растущий вал, в котором умирающие перемешались с мертвецами. Задние напирали — и передние ряды от края и до края улицы громоздились друг на друга.

Раненые мужчины и женщины, выброшенные клокочущей пучиной на этот страшный вал, скатывались с его гребня в мучительных корчах и образовали кровавое месиво, в котором вязли колеса и люди. Солдаты приканчивали раненых прикладами и штыками, но я видела, как один из поверженных вскочил и зубами вцепился в горло врагу. И оба они, солдат и раб, исчезли в страшном водовороте.

Но вот огонь прекратился. Дело было сделано. Обезумевшая толпа, стремившаяся во что бы то ни стало прорваться сквозь преграду, отхлынула назад. Последовал приказ очистить колеса. Всю улицу запрудили мертвые тела, и машины могли только свернуть в переулок. Солдаты принялись освобождать от трупов колеса машин, как вдруг началось что-то непонятное. Потом нам рассказали, что и как произошло. Оказалось, что кварталом дальше в одном из домов засела сотня наших товарищей. Перебираясь по крышам и переходя из здания в здание, они сумели занять удобную позицию над сгрудившимися внизу солдатами. И тогда началось контризбиение.

С крыши градом посыпались бомбы. Высоко в воздух взлетели обломки машин и клочья растерзанных тел. Солдаты, оставшиеся в живых,

бросились бежать вместе с нами. Полукварталом дальше нас встретил новый огненный шквал. Если раньше солдаты устилали улицу телами рабов, то теперь — собственными. Мы с Гартуэйтом только чудом уцелели. Как и раньше, мы укрылись в нише подъезда. Но на этот раз мой спутник решил, что его уже не застанут врасплох: как только затихли выстрелы, он выглянул наружу.

— Толпа возвращается! — крикнул он мне. — Бежим!

Мы побежали на угол, скользя и спотыкаясь на залитом кровью тротуаре. В глубине переулка видны были фигуры бегущих солдат. Никто не стрелял по ним, путь был свободен. На минуту мы остановились и оглянулись назад. Толпа медленно приближалась. Она приканчивала раненых наемников и вооружалась оружием, взятым у мертвецов. И тут мы стали свидетелями смерти спасшего нас молодого офицера. С трудом приподнявшись на локте, он стрелял в толпу из пистолета.

— Прощайте все мои надежды на перевод в армию, — рассмеялся Гартуэйт, увидев, как какая-то женщина, размахивая ножом мясника, бросилась к офицеру. — Ну, бежим. К сожалению, нам нужно в обратную сторону. Да уж ладно,

как-нибудь выберемся.

Мы устремились на восток по притихшим улицам, ожидая нападения на каждом повороте. Вся южная сторона неба была охвачена заревом грандиозного пожара. Горело рабочее гетто. Чувствуя, что я не в силах ступить ни шагу дальше, я в изнеможении опустилась на тротуар. Все мои ссадины и кровоподтеки болели, тело ныло от усталости. И все же я не могла не рассмеяться, когда Гартуэйт, свертывая папиросу, разразился следующей тирадой:

— Эх, болван я, болван! А еще взялся вас выручать, когда тут такой кавардак, что сам черт ногу сломит. Безобразие, беспорядок! Только выберешься из одной беды, как попадешь в другую, похуже. Ведь мы сейчас в каких-нибудь двух-трех кварталах от того подъезда, откуда я вас вытащил. И попробуй разберись в этой суматохе, кто тебе друг, а кто враг! Все перепуталось. Не угадаешь, кто сидит за этими треклятыми стенами. Сунься-ка только попробуй — получишь бомбой по макушке! Ведь, кажется, никого не трогаешь, идешь себе тихонько по своим делам — так нет же: либо на тебя набежит толпа, и с ней как раз угодишь под пулеметы, либо набегут солдаты, и тогда твои собственные товарищи станут по-

ливать тебя с крыши огнем. А потом все равно налетит толпа, и тут тебе и каюк!

Он горестно покачал головой и, закурив, опустился рядом со мной на тротуар.

— Я так есть хочу, — сумрачно добавил он, — что готов камни грызть. — И сразу же вскочил и, сойдя на мостовую, в самом деле принялся выковыривать булыжник. Потом, вернувшись, стал разбивать им витрину соседней лавки.

— Первый этаж, и, значит, никуда не годится, — философствовал он, подсаживая меня в пролом разбитого окна. — Но ничего лучше сейчас не придумаешь. Попробуйте здесь соснуть, а я пойду на разведку. Похоже, что мне все-таки удастся вас спасти, но только на это потребуется время, много времени, и… хоть немного еды.

Мы, оказывается, забрались в лавку шорника. Пройдя в заднюю комнату, окнами во двор, Гартуэйт перенес туда груду конских попон и устроил в углу удобное ложе. У меня, помимо страшной усталости, разболелась голова, и я рада была возможности закрыть глаза и вытянуть усталые ноги.

— Ждите меня назад в самом скором времени, — сказал Гартуэйт, уходя. — Не обещаю возвратиться с машиной, но чего-нибудь поесть

обязательно принесу.

Мы свиделись с Гартуэйтом только через три года. Вместо того чтобы вернуться, как обещал, он с простреленным легким и раной в шее попал в больницу.

Глава XXIV
Кошмар

После бессонной ночи в вагоне, после волнений и усталости страшного дня я крепко заснула, а когда проснулась, стояла глубокая ночь. Гартуэйт еще не вернулся. В давке я потеряла часы и не имела представления о времени. Лежа с закрытыми глазами, я прислушивалась к отдаленному гулу взрывов. Там по-прежнему клокотал ад. Я ползком добралась до витрины. Зарево гигантских пожаров освещало улицу, как днем. При этом свете можно было бы читать газету. В нескольких кварталах от меня рвались гранаты и стучали пулеметы, издали доносился тяжелый грохот взрывов, непрерывно следовавших друг за другом. Я поползла обратно, к своему ложу из конских попон, и опять крепко уснула.

Когда я проснулась, в комнату сочился мутно-желтый свет зари. Наступали вторые сутки чикагской резни. Я опять ползком добралась до витрины. Густая пелена дыма, местами прорезанная багровыми вспышками огня, застилала небо. По противоположному тротуару брел, спотыка-

ясь, какой-то несчастный раб и одну руку крепко прижимал к боку, а по тротуару за ним вился кровавый след. Глазами, в которых застыл ужас, он боязливо водил по сторонам. На мгновение взгляд его встретился с моим, и я прочла в нем немую жалобу раненого и загнанного животного. Он увидел меня, но между нами не протянулась нить взаимного понимания: верно, ничто во мне не сулило ему дружеского участия. Он еще больше съежился и заковылял прочь. Ему неоткуда было ждать помощи во всем божьем мире. В грандиозной облаве на рабов, которую устроили его хозяева, он был презренным илотом, не больше. Все, на что он надеялся и чего искал, была нора, куда, подобно раненому животному, он мог бы забиться. Резкие звонки кареты «Скорой помощи», показавшейся из-за угла, заставили его вздрогнуть. Кареты были не для таких, как он. Со страдальческим стоном поспешил он в ближайший подъезд, потом снова вышел и понуро поплелся дальше.

Я опять прилегла на попоны и еще с час провела в ожидании Гартуэйта. Головная боль не проходила, а напротив, усиливалась с каждой минутой. Только с трудом могла я открыть глаза и сосредоточиться на каком-нибудь предмете. Но

и открыть их и смотреть было невыразимо мучительно. В висках стучало. Шатаясь от слабости, я вылезла в витрину и побрела наугад, бессознательно стремясь выбраться из района кровавой бойни. С этой минуты я воспринимала все как в кошмарном сне, и те воспоминания, которые сохранились у меня о дальнейших событиях, подобны воспоминаниям о кошмаре. Многое навсегда врезалось мне в память, но это только отрывочные картины на фоне густой тьмы. Что происходило в эти минуты полного забвения, я не знаю — и не узнаю никогда.

Помню, на углу я упала, споткнувшись о чьи-то ноги. Это было то самое загнанное существо, которое недавно, изнемогая, тащилось мимо моего убежища. Как сейчас вижу раскинутые на тротуаре бескровные узловатые руки, скорее похожие на лапы или копыта какого-то животного, — искривленные, изуродованные трудом целой жизни, с мозолистыми наростами, чуть ли не в полдюйма толщиной, на ладонях. Поднимаясь, я заглянула в лицо этого парии и поняла, что он еще жив. В тусклом взоре бедняги теплилось сознание, и я видела, что он смотрит на меня и видит меня.

После этого я впала в благодетельное забытье.

Машинально брела я по улицам, ни о чем не думая, ничего не сознавая, инстинктивно ища спасения. Следующим видением в моем кошмаре была безгласная улица мертвых. Я наткнулась на нее неожиданно, как странник, заблудившийся среди полей и рощ, натыкается на стремительно бегущий ручей. Но только этот ручей был недвижим, он застыл в оцепенении смерти. Заливая всю ширину мостовой и выплескиваясь на тротуары, он простирался почти ровной гладью, над которой здесь и там вздымались островки и бугры тесно переплетенных человеческих тел. Бедные затравленные илоты полегли здесь, словно калифорнийские кролики после грандиозной облавы[121]. Я посмотрела направо, налево — нигде ни движения, ни звука. Многоглазые дома молчаливо взирали на это зрелище. И вдруг из мертвых вод поднялась рука: клянусь, я видела, как она судорожно задвигалась в воздухе, — а вместе с рукой поднялась страшная, вся в запекшейся крови голова, пролепетала мне что-то

[121] Примечания: 121

В те дни Калифорния была еще так мало заселена, что полевые хищники нередко становились бичом населения. Здесь были в обычае облавы на кроликов. В назначенный день все местные фермеры собирались и, оцепив большое пространство, гнали десятки тысяч кроликов в специально огороженное место, где дети и взрослые приканчивали их дубинами.

невнятное и запрокинулась, чтобы не подняться больше.

Помню и другую улицу в рамке молчаливых домов и нарастающий прибой толпы, зрелище которой снова ввергло меня в ужас и вернуло к действительности. Но, вглядевшись, я успокоилась. Толпа с трудом подвигалась вперед, оглашая воздух стонами и рыданиями, бессильными проклятиями, бессмысленным бормотанием старости, истерическими воплями неистовства и безумия. Ибо здесь собрались дети и старики, расслабленные и больные, беспомощные и отчаявшиеся, все человеческие обломки и вся заваль гетто. Пожар выгнал их на улицу, в кромешный ад уличных боев. Куда они направились и что с ними сталось, я так никогда и не узнала[122].

Смутно припоминаю, как, выломав окно, я пряталась в лавке от толпы, преследуемой солдатами. На другой тихой улице, где, кроме меня, не было, по-видимому, ни одного человеческого существа, рядом со мной разорвалась бомба. Следующая вспышка сознания: я слышу щелканье

[122] Примечания: 122

Вопрос о том, случайно ли сгорело гетто в Чикаго, или же его сожгли войска наемников, долго считался нерешенным. В настоящее время установлено, что гетто сожгли наемники по приказу своего командования.

ружейного затвора и внезапно отдаю себе отчет в том, что солдат в остановившейся передо мной машине целится прямо в меня. Пуля просвистела мимо, и я поторопилась сказать пароль и подать условный знак. Не помню, как меня посадили в машину и как долго я ехала в ней, но и эта поездка озарена мгновенной вспышкой сознания. Мой сосед солдат снова щелкает затвором. Я машинально открываю глаза и вижу, как на тротуаре покачнулся и стал медленно опускаться наземь Джордж Милфорд — наш с Эрнестом знакомый со времен Пелл-стрит. Пока он падал, солдат выстрелил вторично. Милфорд перегнулся пополам, потом выпрямился во весь рост и ничком рухнул на мостовую. Солдат усмехнулся и повел машину дальше.

Далее я вижу себя после крепкого, освежающего сна. Меня разбудил человек, беспрерывно расхаживающий взад и вперед по комнате. У него утомленное, измученное лицо, пот градом катится с его лба и стекает по переносице. Рукой он крепко прижимает к груди раненую руку, из которой каплями сочится кровь. Он в форме наемника. Снаружи, сквозь стены, доносится приглушенный грохот рвущихся бомб. Я нахожусь в здании, которое обстреливается из другого

здания.

Вошел врач — сделать раненому перевязку, и я узнаю, что уже два часа пополудни. Голова все еще болит, и врач дает мне сильнодействующее средство, чтобы успокоить сердце и облегчить головную боль. Я снова засыпаю и затем помню себя уже на крыше небоскреба. Перестрелка кончилась. Я наблюдаю налеты аэростатов на крепость. Кто-то держит меня за талию, я крепко прильнула к его плечу, у меня отрадное чувство, что Эрнест опять со мной, я только не могу понять, почему у него опалены волосы и брови.

Счастливый случай свел нас в этом страшном городе. Эрнест не знал, что я уехала из Нью-Йорка, и, проходя по комнате, где я крепко спала, сперва глазам своим не поверил. Больше мне уже не пришлось наблюдать усмирение Чикагского восстания. С крыши, где мы следили за атакой на крепость, Эрнест проводил меня в одну из комнат обширного здания, и здесь я проспала остаток дня и ночь. Третий день мы провели в стенах того же здания, а на четвертый Эрнест, получив у властей разрешение и машину, вывез меня из Чикаго.

Головная боль прошла, но я была страшно измучена душевно и физически. Прислонившись к Эрнесту, я безучастно следила за тем, как солдат-

шофер и его помощник искусно маневрируют, стараясь вывести машину из города. Кое-где еще не утихло сражение, но теперь это были уже отдельные очаги. Районы, где еще удерживались наши товарищи, были сплошь оцеплены войсками. Революционеры оказались заперты в сотнях ловушек, и солдаты теснили их шаг за шагом. Поражение для наших бойцов было равносильно смерти, и все они геройски боролись до конца[123].

Едва мы приближались к таким кварталам, патрули преграждали нам дорогу и приказывали ехать в обход. В одном случае нас направили по совершенно выгоревшей улице, где справа и слева находились укрепленные позиции революционеров. Пробираясь мимо тлеющих пожарищ и шатких обгорелых стен, мы слышали по обе стороны гром и грохот войны. Часто путь нам преграждали горы развалин, приходилось пово-

---

[123] Примечания: 123

Некоторые здания удерживались революционерами неделю, а одно оборонялось одиннадцать дней. Каждый дом приходилось брать штурмом, как крепость, постепенно, этаж за этажом. Бои велись не на жизнь, а на смерть. Ни та, ни другая сторона не давала пощады и не просила ее. Преимущество революционеров заключалось в том, что они закреплялись на верхних этажах. И хотя революционеры были разбиты, они и на этот раз не остались в долгу у противника. Гордые пролетарии Чикаго не изменили своим традициям: как ни велики были их потери, противник понес не меньшие.

рачивать и пускаться в обход. Так мы кружили по нескончаемому лабиринту развалин и еле-еле подвигались вперед.

Чикагские бойни вместе с прилегающим рабочим гетто сгорели дотла. Далеко направо — там, где дымное облако застилало горизонт, — был пульмановский рабочий городок, вернее, то, что от него осталось: наемники разорили его дотла. Наш шофер побывал там накануне с поручением. По его словам, таких тяжелых боев не было нигде в городе — все улицы завалены мертвецами.

Огибая полуразрушенные стены какого-то строения в районе боен, мы наткнулись на гору трупов, напоминавшую океанский вал. Нетрудно было себе представить, что здесь произошло. Выйдя на перекресток, толпа оказалась под обстрелом пулеметов, косивших ее под прямым углом и в упор. Но и солдатам пришлось не сладко. Очевидно, среди них разорвалась случайная бомба, расстроив их ряды, и толпа, перехлестнув через вал из трупов, залила неприятельские позиции живым потоком отчаянно дерущихся людей. Солдаты и рабы лежали вперемешку, растерзанные и порубанные, среди обломков машин и брошенных винтовок.

Эрнест выскочил из автомобиля. В груде трупов

внимание его привлекла сутулая спина в ситцевой рубашке и венчик серебряных волос. Я ни о чем не спрашивала, и уже потом, когда мы опять сидели рядом и машина увозила нас дальше, он сказал мне:

— Это был епископ Морхауз…

Вскоре мы выехали на зеленое раздолье полей и лугов, и я бросила последний, прощальный взгляд на дымное небо. Ветер донес до нас слабый гул отдаленного взрыва. Тогда я припала к груди Эрнеста и беззвучно зарыдала, оплакивая гибель нашего великого дела. Рука Эрнеста, обнимавшая мои плечи, говорила мне о его любви красноречивее всяких слов.

— Сегодня, голубка, мы потерпели поражение, — сказал он. — Но это ненадолго. Мы многому научились. Завтра, обогатившись новой мудростью и опытом, великое дело возродится вновь.

Машина подвезла нас к тихому полустанку. Здесь нам предстояло сесть в поезд, до Нью-Йорка. Пока мы дожидались на перроне, прошло три состава на запад, в Чикаго; все вагоны были набиты чернорабочими в рваной одежде — обитателями бездны.

— Новые партии рабов для восстановления Чикаго! — с горечью воскликнул Эрнест. — Ведь

там не осталось больше рабов — все перебиты…

Глава XXV
Террористы

Только спустя много недель после возвращения в Нью-Йорк удалось нам уяснить себе грандиозность постигшей нас катастрофы. В стране не утихали вражда и кровопролитие. Во многих местах вспыхнули восстания рабов, давшие повод к неслыханно жестоким расправам. Список жертв возрастал. Повсюду происходили бесчисленные казни. Люди, преследуемые властями, убегали в горы и пустыни, и за ними шла систематическая охота. Наши убежища были переполнены революционерами, за поимку которых правительство назначило большие суммы. Целый ряд убежищ был выслежен агентами Железной пяты и разгромлен ее солдатами.

Многие из наших товарищей под действием охватившего их разочарования обратились к террору. Крушение всех надежд, отчаяние толкали их на отчаянные средства борьбы. Возникшие повсюду независимо от нас террористические

группы причиняли нам немало хлопот[124]. Эти изуверы и фанатики, напрасно жертвовавшие собой, часто срывали наши планы и тормозили разумную организаторскую работу.

И среди всего этого хаоса Железная пята с обычным хладнокровием и уверенностью шла к своей цели. Она обшарила всю страну в поисках укрывающихся революционеров, перетряхнула сверху донизу всю армию, все рабочие касты, органы шпионажа и тайной полиции, карая жестоко, но бесстрастно, молчаливо снося ответные удары, снова пополняя свои ряды, едва они приходили в расстройство.

А между тем Эрнест и другие социалистические лидеры работали не покладая рук над реорганизацией революционных сил. Нетрудно

---

[124] Примечания: 124

Этот сравнительно короткий период кровью вписан в анналы истории. Единственным побудительным мотивом тогда была месть. Члены террористических организаций, не видя перед собой никакого будущего, безрассудно шли на смерть. «Даниты», взявшие свое имя у ангелов-мстителей из религиозных верований мормонов, впервые объявились в горах Запада и оттуда распространились по всему Тихоокеанскому побережью — от Панамы до Аляски. Ужас наводили на врага «Валькирии» — группа, состоявшая исключительно из женщин. В члены ее принимали только тех, у кого были личные, кровные счеты с олигархами. По дошедшим до нас сведениям, они бесчеловечно истязали своих пленников. Не меньшей известностью пользовались, впрочем, и «Вдовы героев». «Валькириям» не уступали в жестокости «Берсеркеры». Эти смельчаки, не ставившие свою жизнь ни во что, уничтожили большой город наемников Беллону вместе с его стотысячным населением. Наряду с двумя родственными организациями рабов,

которые именовали себя «Бедламитами» и «Адамитами», возникла недолго просуществовавшая секта «Гнева господня». Названия этих сект достаточно красноречиво их характеризуют: «Кровоточащие сердца», «Сыны утра», «Утренние звезды», «Фламинго», «Тройные треугольники», «Три черты», «Мстители», «Команчи», «Эребузиты» и т. д.

представить себе огромность их задачи, если вспомнить...[125].

[125] Примечания: 125

На этом, обрываясь на полуфразе, и заканчивается манускрипт. Очевидно, Эвис Эвергард была заблаговременно извещена о приходе наемников, так как, прежде чем бежать или быть застигнутой своими палачами, она успела спрятать рукопись в надежном месте. Приходится лишь пожалеть, что повесть ее так и осталась недописанной, иначе нам, возможно, открылись бы обстоятельства смерти Эрнеста Эвергарда, которые и по сей день, спустя семьсот лет, представляют для нас тайну.

Люди бездны

Говорят первосвященники и правители:

«Господь, мы безгрешны, мы славим творца,

Сын строит у нас по заветам отца;

Взгляни: присносущий образ твой

Царит безраздельно над нашей страной.

Тяжел наш труд – огнем и мечом

Мы древний порядок в стране блюдем,

Мы жезлом стальным направляем стада —

Да найдут они верный путь всегда!»

Двоих показал богомольцам Христос:

Работник – угрюм, изможден, бос,
И дева – несчастна, худа, тиха,
Повел ее голод стезею греха.
И сильных толпа отхлынула вспять,
Ризы свои боясь запятнать;
Христос восскорбел, и молвил им он:
«Вот как вами образ мой искажен».

***Джеймс Расселл Лоуэлл*[126]**

[126] Примечания: 126

Лоуэлл, Джеймс Рассел (1819–1891) — американский поэт и критик. Вошел в историю литературы как сторонник аболиционистов, выступал против рабства негров; в конце жизни стал консерватором, проповедником «чистого искусства». — *Здесь и далее примеч. ред., кроме специально оговоренных случаев.*

Предисловие

В этой книге описано то, что мне пришлось испытать летом 1902 года. Я отправился на «дно» Лондона с чувством, свойственным каждому исследователю. Меня убедят лишь факты, решил я, лишь то, что я увижу собственными глазами, а вовсе не поучения третьих лиц, которые не были на «дне», и даже не свидетельства очевидцев, побывавших там до меня. Скажу еще, что к жизни «дна» я подходил с одной простой меркой: готов был считать хорошим то, что приносит долголетие, гарантирует здоровье — физическое и моральное, и плохим то, что укорачивает человеческий век, порождает страдания, делает из людей тщедушных карликов, извращает их психику.

Я увидел много плохого — это читателю будет ясно из моей книги. Однако прошу не забывать, что время, которое я описываю, считалось «хорошим временем» в Англии. Я увидел голод и бездомность, увидел такую безысходную нищету, которая не изживается даже в периоды самого высокого экономического подъема.

За летом пришла суровая зима. Страдания и

голод — голод в самом точном смысле слова — приняли столь широкие размеры, что общество не могло справиться с этим бедствием. Безработные устраивали демонстрации, нередко свыше десяти демонстраций в день в разных концах Лондона. Громадные толпы запружали улицы и громко требовали хлеба. М-р Джастин Мак-Карти в своей статье в нью-йоркском «Индепендент» за январь 1903 года кратко охарактеризовал положение в следующих словах: «Работные дома не могут вместить всех голодных, молящих каждый день и каждую ночь о пище и ночлеге. Благотворительные организации уже исчерпали все свои средства, стремясь прокормить вымирающих от голода обитателей чердаков и подвалов в тупиках и закоулках Лондона. Сонмы безработных и голодных денно и нощно осаждают казармы „Армии спасения“ в различных районах Лондона, но дать им пристанище негде и поддержать их силы нечем».

Меня обвиняют в чрезмерно пессимистической оценке нынешнего положения дел в Англии. Должен сказать в свое оправдание, что я по природе самый что ни на есть оптимист. Но человечество для меня — это не столько разные политические объединения, сколько сами люди. Общество раз-

вивается, в то время как политические машины рушатся, идут на свалку. Что касается английского народа, его здоровья и счастья, то я предрекаю ему широкое, светлое будущее. Что же касается почти всей политической машины, которая ныне так плохо управляет Англией, то для нее я вижу лишь одно место — мусорную свалку.

Джек Лондон

Пидмонт, Калифорния.

Глава I
Сошествие в ад

Христос, на город наш взгляни,
Любовь и жалость в нас сохрани,
Пусть будут кротки наши сердца
До конца.

Томас Эш[127]

— Но поймите, это невозможно, — убеждали меня знакомые, к которым я обращался с просьбой помочь мне проникнуть на «дно» Восточного Лондона. — Или уж попросите тогда себе проводника в полиции, — подумав, добавляли они, мучительно силясь понять, что происходит в сознании этого сумасшедшего: несомненно, голова у него дурная, хотя он и явился с хорошими рекомендациями.

— Да на что мне ваша полиция! — возражал я. — Единственно, чего я хочу, — это попасть на

---

[127] Примечания: 127

Эш Томас (1812–1887) — американский юрист и политический деятель.

Восточную сторону и повидать все собственными глазами. Хочу узнать, как и почему и во имя чего живут там люди. Короче, сам хочу пожить среди них.

— Пожить там! — кричали все в один голос, и я читал решительное неодобрение на их лицах. — Ведь там, говорят, есть такие места, где человеческую жизнь ни в грош не ставят!

— Вот-вот, — нетерпеливо перебивал я. — Как раз то, что мне нужно.

— Но это же невозможно! — неизменно слышалось в ответ.

— Да не за этим вовсе я к вам пришел, — вспылил наконец я, раздраженный бестолковостью моих собеседников. — Я тут новый человек и надеялся разузнать у вас хоть что-нибудь о Восточной стороне, чтобы правильно к этому делу приступиться.

— Но мы же ничего не знаем о Восточной стороне! Это где-то там... — И мои знакомые неопределенно махали рукой в ту сторону, где иногда восходит солнце.

— Тогда я обращусь к Куку, — заявил я.

— Вот и хорошо! — сказали они с облегчением. — У Кука-то уж наверное знают!

О, Кук! О, «Томас Кук и сын», разведчики путей,

всемирные следопыты, живые указательные столбы по всему земному шару, надежные спасители заблудившихся путешественников! Вы могли бы в мгновение ока и без малейших колебаний отправить меня в дебри черной Африки или в самое сердце Тибета, но в восточные кварталы Лондона, куда от Ладгейт-серкус рукой подать, вы не знаете дороги!

— Уверяю вас, это невозможно, — изрек ходячий справочник маршрутов и тарифов в Чипсайдском отделении конторы Кука. — Это так... гм... так необычно!

— Обратитесь в полицию, — заключил он авторитетным тоном, видя, что я продолжаю настаивать. — Нам еще не приходилось сопровождать путешественников на Восточную сторону, нас об этом никогда никто не просил, и мы решительно ничего не знаем про эти места.

— Ладно, не беспокойтесь, — прервал я, испугавшись, как бы ураганом его отрицаний меня не вышибло вон из конторы. — Но все-таки вы можете кое-что сделать для меня. Я предупреждаю вас о своих намерениях, чтобы в случае чего вы имели возможность удостоверить мою личность.

— Ага, понимаю! Чтобы мы сумели опознать

тело, если вас убьют?

Он произнес это так весело и хладнокровно, что моему воображению вмиг представился мой голый изуродованный труп на мраморном столе в мертвецкой. Журчит без умолку холодная вода; а вот и он, этот клерк из конторы Кука: скорбно и сосредоточенно склонившись надо мной, он подтверждает, что это тот сумасшедший американец, которому до зарезу понадобилось повидать Восточную сторону.

— Нет-нет, — ответил я, — просто чтобы вы сумели опознать меня в том случае, если я влипну в историю с вашими бобби[128]. — Последние слова я произнес с особым удовольствием: право, я начинал уже усваивать лондонский жаргон.

— Ну, это дело главной конторы, — сказал он и добавил извиняющимся тоном: — У нас, видите ли, еще не бывало таких случаев.

Но в главной конторе тоже не могли решиться.

— У нас правило, — пояснил клерк, — не сообщать никаких сведений о своих клиентах.

— Помилуйте, — настаивал я, — в данном случае сам клиент просит вас сообщить о нем.

Но он все же колебался.

---

[128] Примечания: 128
Бобби англичане называют полисменов.

— Разумеется, — опередил его я, догадываясь, что он сейчас скажет. — Я знаю, у вас еще не бывало таких случаев, но…

— Именно это я собирался вам заявить, — твердо изрек он. — У нас не бывало таких случаев, и, боюсь, мы вам ничем не сможем помочь.

Все же я ушел оттуда, прихватив с собой адрес сыщика, проживавшего на Восточной стороне. Затем я направился к американскому генеральному консулу. Наконец я нашел человека, с которым можно было разговаривать по-деловому. Он не мялся, не поднимал бровей, не таращил удивленно глаза, не выказывал скептицизма. Одной минуты мне хватило, чтобы объяснить ему, кто я и чего добиваюсь, и он принял все это как нечто вполне естественное. В следующую минуту он осведомился, сколько мне лет, каков мой рост и вес, и оглядел меня с головы до ног. На исходе третьей минуты мы уже пожимали друг другу руки, и он сказал мне на прощание:

— Ладно, Джек. Не буду терять вас из виду.

Я вздохнул с облегчением. Теперь мои корабли были сожжены, и мне оставалось только углубиться в эти человеческие джунгли, о которых никто как будто ничего не знал. Однако тут же возникло новое препятствие в лице весьма бла-

гообразного извозчика с седыми бакенбардами, который невозмутимо возил меня в течение нескольких часов по Сити.

— На Восточную сторону, — приказал я, усаживаясь в экипаж.

— Куда, сэр? — переспросил извозчик, не скрывая удивления.

— Куда-нибудь на Восточную сторону. Трогайте!

Несколько минут высокий двухколесный экипаж куда-то катился, потом внезапно стал. Окошко над моей головой приоткрылось, и я увидел растерянного извозчика, уставившегося на меня.

— Простите, — спросил он, — куда, вы сказали, вам нужно?

— На Восточную сторону, — повторил я. — Все равно куда. Просто покатайте меня там, где хотите.

— Но какой же адрес, сэр?

— Эй, слушайте! — рассвирепел я. — Везите меня на Восточную сторону, да поживей!

Было ясно, что он ничего не понял, но все же голова исчезла и он с ворчанием погнал лошадь дальше.

На улицах Лондона нигде нельзя избежать

зрелища крайней нищеты: пять минут ходьбы почти от любого места — и перед вами трущоба. Но та часть города, куда въезжал теперь мой экипаж, являла сплошные, нескончаемые трущобы. Улицы были запружены людьми незнакомой мне породы — низкорослыми и не то изможденными, не то отупевшими от пьянства. На много миль тянулись убогие кирпичные дома, и с каждого перекрестка, из каждого закоулка открывался вид на такие же ряды кирпичных стен и на такое же убожество. То здесь, то там мелькала спотыкающаяся фигура пьяницы, попадались и подвыпившие женщины; воздух оглашался резкими выкриками и бранью. На рынке какие-то дряхлые старики и старухи рылись в мусоре, сваленном прямо в грязь, выбирая гнилые картофелины, бобы и зелень, а ребятишки облепили, точно мухи, кучу фруктовых отбросов и, засовывая руки по самые плечи в жидкое прокисшее месиво, время от времени выуживали оттуда еще не совсем сгнившие куски и тут же на месте жадно проглатывали их.

На всем пути нам не попалось ни одного экипажа, и детям, бежавшим сзади нас и по бокам, мы казались, верно, посланцами из какого-то неведомого и лучшего мира. Всюду, куда ни обра-

щался взор, были сплошные кирпичные стены и покрытые грязной жижей мостовые. И над всем этим стоял несмолкаемый галдеж. Впервые за всю мою жизнь толпа внушила мне страх. Такой страх внушает морская стихия: сонмы бедняков на улицах представлялись мне волнами необъятного зловонного моря, грозящими нахлынуть и затопить меня.

— Сэр, вот Степни, станция Степни! — крикнул сверху извозчик.

Я осмотрелся: в самом деле, железнодорожная станция. Извозчик с отчаяния подъехал сюда, к единственному, очевидно, знакомому ему месту в этих дебрях.

— Ну и что ж? — спросил я.

Он что-то бессвязно пробормотал и покачал головой. Вид у него был самый жалкий.

— Я тут никогда не бывал, — выдавил он наконец, — и коль вам надо не на станцию Степни, то я уж не знаю, куда вам надо.

— Я вам объясню, куда мне надо, — сказал я. — Поезжайте прямо и глядите по сторонам, пока не увидите лавку старьевщика. А как увидите, сверните на первом же углу, остановитесь там, и я сойду.

Видно было, что его начинают одолевать со-

мнения насчет моей личности. Все же через некоторое время экипаж остановился у панели, и извозчик объявил, что мы только что проехали лавку старьевщика.

— А как насчет платы? — просительно сказал он. — С вас семь шиллингов шесть пенсов.

— Ну да, — рассмеялся я, — заплати я вам сейчас, вас и след простынет!

— Господи! Это вас наверняка след простынет, если вы сейчас не заплатите мне, — возразил он.

Тем временем экипаж уже обступила толпа оборванных зевак. Я снова рассмеялся и зашагал к лавке старьевщика.

Здесь самым трудным делом оказалось убедить хозяина, что мне требуются именно старые вещи. Только поняв бесплодность своих стараний всучить мне новые, немыслимого вида пиджаки и брюки, он стал извлекать на свет кучи старья, поглядывая на меня, как заговорщик, и делая таинственные намеки. Он явно желал показать, что догадывается, чем тут пахнет, и намеревался, запугнув разоблачением, содрать с меня втридорога. Человек, которого ищут, а может, даже крупный преступник из-за океана — вот что он обо мне подумал, полагая, что и в том и в другом случае главная моя забота — избежать встречи

с полицией.

Однако я так яростно с ним торговался, доказывая несоответствие между ценой и товаром, что почти развеял его подозрения на свой счет. Тогда он переменил тактику и принялся на все лады уламывать неподатливого покупателя. В конце концов я выбрал изрядно поношенные, хоть и крепкие еще брюки, потрепанный пиджачок с единственной уцелевшей пуговицей, башмаки, в которых, по-видимому, не раз грузили уголь, узкий кожаный пояс и грязную-прегрязную летнюю кепку. Но белье и носки я взял новые и теплые — такие, между прочим, в Америке мог бы купить себе любой бездомный неудачник.

— Я вижу, вас не проведешь, — сказал лавочник с притворным восхищением, когда я, сторговавшись наконец, протянул ему десять шиллингов. — Небось успели уже исходить всю Петтикот-лейн вдоль и поперек. Да за эти брюки всякий заплатит пять шиллингов! А за такие башмаки любой докер отвалил бы два шиллинга шесть пенсов. Я уж не говорю про пиджак, про эту новенькую кочегарскую фуфайку и все прочее!

— Сколько вы мне за них дадите? — вдруг спросил я. — Я уплатил вам десять шиллингов и готов вернуть все это за восемь. По рукам?

Но он только ухмыльнулся и замотал головой, и я с досадой понял, что если для меня эта сделка казалась выгодной, то для него она была еще выгоднее.

Возле экипажа мой извозчик секретничал с полисменом. Впрочем, блюститель порядка ограничился тем, что окинул меня испытующим взглядом — особенно узелок, который я держал под мышкой, — и пошел прочь, оставив извозчика кипеть гневом в одиночку. А тот не тронулся с места, пока я не вручил ему семь шиллингов шесть пенсов. После этого он готов был отвезти меня хоть на край света и смиренно попросил прощения за свою настойчивость, оправдываясь тем, что мало ли каких подозрительных седоков приходится иной раз возить по Лондону.

Но я доехал только до Хайбери-Вейл в северной части Лондона, где оставил свой багаж. Здесь на следующий день я снял ботинки (не без сожаления — ведь они были так легки и удобны!), мягкий серый дорожный костюм и все, что было на мне, и начал облачаться в чужие обноски, принадлежавшие неизвестным мне людям, которым, видимо, здорово не повезло, если им пришлось продать свое тряпье старьевщику за какие-то жалкие гроши.

В пройму кочегарской фуфайки я зашил соверен (более чем скромный запас на всякий случай), прежде чем натянуть ее. Затем я сел и прочел сам себе мораль на тему о том, что годы удачи и сытая жизнь изнежили мою кожу и сделали ее непомерно чувствительной. Надо сказать, что самый суровый отшельник не так страдал от своей власяницы, как я страдал еще целые сутки от этой жесткой, колючей фуфайки.

Обрядиться в остальное тряпье не составило особого труда, хотя с башмаками я изрядно намучился. Твердые, негнущиеся, они были словно выдолблены из дерева; я долго колотил кулаками по верхам, и лишь после этого мне удалось протолкнуть в них свои ступни. Рассовав по карманам мелкие монеты, нож, носовой платок, коричневую курительную бумагу и немного табаку, я прогромыхал вниз по лестнице и распростился со своими друзьями, исполненными самых мрачных предчувствий на мой счет. Когда я уже выходил из дому, прислуга — благообразная женщина средних лет — не смогла подавить улыбку, и рот ее раскрывался все шире и шире до тех пор, пока из горла не вырвались странные лающие звуки, порожденные, должно быть, невольным сочувствием ко мне и почему-то име-

нуемые смехом.

Едва покинув дом, я сразу ощутил, как отражается на положении человека его одежда. Простые люди утратили в обращении со мной прежнее подобострастие. Хлоп! — и в мгновение ока я, так сказать, стал таким, как они. Потертый, продранный на локтях пиджак был явным свидетельством моей принадлежности к их классу, и это ставило меня на одну доску с ними, — вот почему угодливость и чрезмерно почтительное внимание к моей особе сменились товарищеским обращением. Человек в плисовом костюме, с грязным шарфом на шее не называл меня больше ни «сэр», ни «хозяин». Теперь он обращался ко мне со словом «товарищ» — прекрасным, сердечным, теплым и приветливым словом, совсем непохожим на те два. Слово «хозяин» связано с представлением о господстве власти, праве командовать, — это дань, которую человек, стоящий внизу, платит человеку, забравшемуся наверх, в надежде, что тот, наверху, даст ему передышку, ослабит свой нажим. По существу, это та же мольба о милостыне, только в иной форме.

Лохмотья дали мне, кстати, возможность испытать то наслаждение, которого лишен за границей рядовой американец. Путешествуя по

Европе, скромный приезжий из Штатов, не крез, вскоре начинает чувствовать себя закоренелым скрягой, если он пытается противостоять шайке раболепствующих грабителей, преследующих его с утра до ночи и разоряющих почище, чем любые ростовщики.

Обтрепанный костюм избавил меня от неприятной обязанности давать чаевые и позволил держаться с людьми на равной ноге. Больше того — я настолько вошел в свою роль, что на исходе первого дня сам с чувством сказал: «Благодарю вас, сэр», — одному джентльмену, который бросил пенни в мою протянутую ладонь за то, что я подержал его лошадь.

Я обнаружил и другие перемены в своем положении, также вызванные моим новым обличьем. На оживленных уличных перекрестках от меня теперь требовалось особое проворство, чтобы не угодить под колеса и остаться целым, причем мне весьма выразительно давали понять, что цена моей жизни находится в прямой зависимости от цены моего костюма. Прежде, когда я спрашивал у полисмена, как попасть в то или иное место, он, в свою очередь, сначала спрашивал: «Вы как поедете, сэр, в омнибусе или в экипаже?» Теперь я слышал от него лаконичное: «Пешком?» А в

билетной кассе на вокзале, где обычно спрашивают: «Первый класс или второй, сэр?» — ныне мне безмолвно просовывали в окошечко билет третьего класса, словно это в порядке вещей.

Но все это компенсировалось другим. Впервые в жизни я вплотную столкнулся с англичанами из непривилегированного сословия и увидел их такими, каковы они есть. Если на уличном перекрестке или в кабаке какой-нибудь бродяга или мастеровой вступал со мной в беседу, это был разговор равного с равным — простой, естественный, без малейшего расчета выманить у меня что-то льстивыми словами.

И когда я попал, наконец, на Восточную сторону, то с радостью почувствовал, что освободился от страха перед толпой. Я стал частью ее. Огромное зловонное море захлестнуло меня — вернее, я сам осторожно погрузился в его пучину, — и в этом не было ничего страшного, если не считать моей кочегарской фуфайки.

Глава II
Джонни Апрайт

Люди живут в грязных лачугах, где нет места ни здоровью, ни надеждам, а есть только недовольство своей судьбой да бессильный ропот на то, что богатства принадлежат другим.

***Торолд Роджерс*[129]**

Я не даю вам адреса Джонни Апрайта. Достаточно сказать, что он живет на самой приличной улице Восточной стороны. В Америке такая улица считалась бы скверной, но в Восточном Лондоне она подобна оазису в пустыне. Кругом нищета, скученность, ее обступают кварталы, кишащие замызганной, рано познавшей жизнь детворой, но там, где обитает Джонни Апрайт, у ребят есть, должно быть, другие места для игр, кроме тротуара, да и вообще на этой пустынной улице людей почти не видно.

Каждый дом здесь — как, впрочем, и на других улицах — тесно прижат к соседним. У каждого

---

[129] Примечания: 129

Роджерс Джеймс Эдвин Торолд (1823–1890) — английский буржуазный экономист.

только один вход — с улицы, а длина дома по фасаду около восемнадцати футов; сзади — дворик, окруженный кирпичной стеной; оттуда, если нет дождя, можно полюбоваться свинцовым небом. Имейте в виду, что речь идет о так называемых преуспевающих жителях Восточного Лондона. Кое-кто из них даже настолько богат, что позволяет себе держать «рабыню». Мне, например, доподлинно известно, что Джонни Апрайт тоже держит «рабыню», — она-то и была первой, с кем я свел знакомство в этом обособленном мирке.

Я пришел к Джонни Апрайту, и мне открыла дверь «рабыня». И вот что интересно: эта особа, занимая сама положение, вызывающее презрение и жалость, посмотрела на меня презрительно и с сожалением. Она, не скрывая, дала мне понять, что не желает тратить время на разговор со мной: я пришел в воскресенье, хозяина нет дома, о чем тут еще толковать? А я все мешкал на крыльце, стараясь доказать, что нет, это еще не все, но тут на наши голоса вышла супруга Джонни Апрайта и принялась распекать девушку за то, что та не захлопнула дверь. Лишь потом она удостоила меня вниманием.

Мистера Джонни Апрайта нет дома, и он вообще не принимает по воскресеньям. Очень жаль,

сказал я. Пришел ли я просить работы? Нет, напротив, я пришел к Джонни Апрайту по делу, которое может оказаться выгодным для него.

Вмиг отношение переменилось. Нужный мне джентльмен ушел в церковь, но вернется примерно через час, и его, безусловно, можно будет повидать.

Я уже ждал вопроса, не угодно ли мне пройти в комнату, но так, к сожалению, и не дождался, хотя весьма прозрачно напрашивался на приглашение, говоря, что пойду на угол в пивную и подожду там. И пришлось отправиться туда, но так как служба в церкви еще не отошла, пивная оказалась закрытой. Моросил противный дождик, и, за неимением лучшего, я вернулся, присел на соседнее крылечко и принялся ждать.

Вскоре на пороге дома снова появилась «рабыня» Джонни Апрайта, в самом неприглядном виде, и растерянно объявила, что хозяйка приглашает меня подождать на кухне.

— Вы не представляете, сколько народу ходит сюда просить работу, — сказала миссис Апрайт извиняющимся тоном. — Надеюсь, вы не обиделись, что я с вами так разговаривала?

— Да что вы, что вы! — ответил я со всей любезностью, на какую только был способен, давая

понять, что нищенское облачение не мешает мне оставаться джентльменом. — Я отлично понимаю, уверяю вас. Вам, верно, покоя не дают эти люди, что ходят насчет работы?

— Еще бы! — отозвалась она, договорив остальное многозначительным взглядом, и повела меня, представьте, не на кухню, а в столовую, оказав мне явную милость, которую я, надо полагать, заслужил своим светским обхождением.

Столовая была расположена рядом с кухней, в подвале, фута на четыре ниже уровня земли. Несмотря на полдень, там была такая темень, что я не сразу начал различать предметы. Через окно, верхняя рама которого приходилась вровень с тротуаром, едва пробивался тусклый свет, но я все же умудрился почитать здесь газету.

В ожидании прихода Джонни Апрайта позвольте объяснить вам причину моего визита. Решив пожить среди восточных лондонцев, питаться из одного котла с ними и спать под одной крышей, я хотел все-таки подыскать себе какое-нибудь пристанище поблизости, куда можно было бы укрываться время от времени, дабы не забыть окончательно, что на свете все еще существует хороший костюм и опрятность. Кроме того, там я должен был получать корреспонденцию, обра-

батывать свои записи и изредка, соответственно переодевшись, совершать оттуда вылазки в цивилизованный мир.

Но вот какая дилемма вставала передо мной: в квартире, где я мог надеяться на сохранность своих вещей, окажется, вероятнее всего, хозяйка, которая сочтет подозрительным джентльмена, ведущего двойную жизнь, а у хозяйки, равнодушной к двойной жизни ее постояльцев, вещи мои вряд ли останутся целы. Чтобы разрешить эту дилемму, я и явился к Джонни Апрайту. Это был сыщик, бессменно проработавший тридцать с лишним лет на Восточной стороне, известный здесь каждому под кличкой Апрайт[130], данной ему некогда каким-то осужденным уголовником. И он, как никто другой, мог подыскать мне подходящую квартирную хозяйку и заверить ее, что нечего беспокоиться по поводу моих странных визитов и исчезновений.

Две дочки Апрайта прибежали из церкви, опередив отца. Это были хорошенькие девушки в воскресных платьицах, наделенные болезненно хрупкой красотой, столь характерной для девушек Восточного Лондона, — красотой мимо-

---

[130] Примечания: 130
От *англ.* upright — честный.

летной, обманчивой, грозящей поблекнуть так же быстро, как блекнут в небе краски заката.

Они посмотрели на меня с нескрываемым любопытством, как на диковинного зверя, и тут же перестали замечать. Вскоре вернулся и сам Джонни Апрайт, и я был приглашен наверх для беседы с ним.

— Говорите громче, — перебил он меня на первом слове, — я простужен, заложило уши.

Смесь старомодного сыщика и Шерлока Холмса! «Интересно бы знать, — подумал я, — где спрятан у него помощник, который обязан записывать все то, что я найду нужным рассказать?» И поныне, после неоднократных встреч с Джонни Апрайтом, вспоминая это первое свидание с ним, я не могу решить, в самом ли деле ему тогда заложило уши или он прятал помощника в соседней комнате. Но одно совершенно достоверно: несмотря на то что я чистосердечно изложил Джонни Апрайту все, что касалось моих планов, он воздержался от обещаний, зато на другой день, когда я подъехал к его дому в экипаже, одетый как положено, он встретил меня вполне любезно и пригласил в столовую, где его семейство сидело за чаем.

— Мы люди скромные, — сказал Джонни

Апрайт, — жиреть не с чего. Вы уж не взыщите, мы люди скромные.

Дочки Апрайта поздоровались со мной, красные от смущения, а он не только не постарался выручить их, а, наоборот, привел в еще большее замешательство.

— Ха-ха! — раскатисто смеялся он, шлепая ладонью по столу так, что звенела посуда. — Девочки решили вчера, что вы пришли сюда за подаянием. Ха-ха! Хо-хо!

Дочки с негодованием отрицали это, глаза их гневно сверкали, щеки стыдливо алели, словно обязательным признаком изысканности является умение распознать под лохмотьями человека, у которого нет нужды ходить в лохмотьях.

И после, в то время как я поглощал хлеб с вареньем, дочки пререкались с отцом: они считали оскорбительным, что меня приняли за нищего, а отец говорил, что это величайшая дань моим талантам, раз я сумел так ловко всех провести. Все это меня забавляло и, пожалуй, доставляло не меньше удовольствия, чем хлеб с вареньем и чай, а потом Джонни Апрайт отлучился ненадолго и договорился относительно жилья для меня на той же солидной, богатой улице, в доме по соседству, как две капли воды похожем на его дом.

Глава III
Мое жилище и жилища других

Дверь фабрики – тяжка, прочна,
Внутрь открывается она;
И дверь закрыта тем плотней,
Чем изнутри напор сильней.
А в спертом воздухе народ
Мечту в простор безбрежный шлет,
Где жаворонок песнь поет,
Взлетая в синий небосвод.

Сидней Ланьер[131]

По понятиям Восточного Лондона, комната, которую я снял за шесть шиллингов в неделю, то есть за полтора доллара, являла собой верх комфорта. По американским же понятиям, это была маленькая, убого обставленная и неудобная комнатенка. Когда я внес туда столик для пишущей машинки, там уже негде стало повернуться

---

[131] Примечания: 131
Ланьер Сидней (1842–1881) — американский поэт.

и приходилось лавировать, выделывая причудливые зигзаги, требующие величайшей ловкости и изобретательности.

Пристроившись здесь — вернее, пристроив свои вещи — я облачился в свой бедняцкий наряд и вышел прогуляться. Квартирный вопрос занимал мои мысли, и я отправился якобы на розыски жилья, вообразив себя бедным и обремененным семейством молодым человеком.

Прежде всего я сделал открытие, что свободные дома здесь встречаются редко, причем настолько, что, исколесив большой район, я не нашел ни одного. Ни одного свободного дома — убедительное доказательство перенаселенности района!

Когда стало ясно, что мне, то есть бедному молодому человеку, обремененному семьей, искать себе в этом негостеприимном районе отдельный домик бессмысленно, я перешел к поискам свободных комнат, где можно было бы разместить жену с малышами и весь наш скарб. Не скажу, чтоб таких комнат оказалось много, но кое-что я нашел, правда, сдавались они большей частью по одной. Видимо, считается, что для семьи бедняка довольно и одной комнаты — тут и стряпают, и едят, и спят. Когда я спрашивал, нет ли двух смежных комнат, квартирные хозяйки смотрели

на меня так, как, вероятно, смотрел известный диккенсовский персонаж на Оливера Твиста, попросившего у него добавки каши.

Мало того что одной комнаты считается вполне достаточно для бедного человека с женой и детьми, многие семьи обнаруживают у себя такие излишки площади, что пускают одного, а то и двух жильцов. Если подобная комната расценивается от трех до шести шиллингов в неделю, то с жильца, снимающего угол (он должен представить рекомендации!), по всей справедливости взимают от восьми пенсов до шиллинга в неделю; он может даже столоваться у своих хозяев — еще за несколько шиллингов. Об этом, однако, я не сообразил разузнать подробнее — недопустимое упущение со стороны человека, который планирует бюджет воображаемой семьи.

Ни в одном из домов, которые я посетил, не имелось ванн; впрочем, я установил, что их не было и в тысячах других домов. Невообразимое предприятие — мыться в жестяном корыте, когда в комнате, кроме твоей семьи, обеспокоенной излишком площади, еще один или два жильца. Но, кажется, отсутствие ванн выгодно народу: можно экономить на мыле — значит, все в порядке, есть еще Господь на небесах! Кроме того, природа в

Восточном Лондоне весьма предусмотрительна: ежедневно тут идут дожди, и, хочешь не хочешь, искупаешься на улице.

Санитарное состояние домов, в которые я заходил, ужасающе: неисправная канализация, плохая очистка выгребных ям, течь из водопроводных труб, скверная вентиляция, сырость и грязь кругом. От этого моя жена и дети быстро заработали бы дифтерит, круп, тиф, рожу, гангрену, воспаление легких, чахотку и мало ли какие еще болезни. Смертность тут, должно быть, чрезвычайно высока. Но вдумайтесь хорошенько, какой это мудрый порядок. Для бедняка, обремененного большой семьей, самое разумное — избавиться от нее, и условия жизни в Восточном Лондоне помогут ему в этом. Не исключено, разумеется, что и сам он погибнет. Особой мудрости тут не видим, но где-то она кроется несомненно. Зато когда постигнешь суть такого прекрасного, хитрого порядка, то может оказаться, что это вовсе не порядок и что-то здесь здорово не так.

Конечно, никаких комнат я не снял и вернулся на улицу Джонни Апрайта, которая теперь уже была и моя улица. Занятый мыслями о жене и детях и о том, куда рассовать их в каморке, где, кроме нас, поселятся в углу еще жильцы, я

потерял представление о масштабах и не сразу смог охватить взглядом всю мою комнату. Ее необъятность вызывала благоговейный восторг. Неужели это та самая комната, которую мне сдали за шесть шиллингов в неделю? Быть не может! Но мои сомнения были развеяны хозяйкой, постучавшей в дверь, чтобы узнать, не нужно ли мне чего-нибудь.

— Ах, сэр! — воскликнула она, когда я стал расспрашивать ее. — Наша улица одна теперь такая осталась. Лет восемь-десять назад и другие улицы были не хуже, и жили там очень приличные люди, но всех их вытеснили эти пришлые. Нынче приличного человека нигде, кроме нашей улицы, не сыщешь. Это ужасно, сэр!

И она начала подробно объяснять мне, как протекало вторжение пришельцев и как от этого квартирная плата росла, а репутация района падала:

— Понимаете, сэр, мы ведь не привыкли к такой тесноте, не то что другие. Мы вот живем в отдельном домике, а эта голытьба и разные там иностранцы готовы втиснуться в такой дом по пять, по шесть семейств. Понятно, что хозяин собирает с них больше, чем с нас! Это ужасно, сэр! И подумать только: был такой хороший район

всего несколько лет назад!

Я пригляделся к ней. Вот женщина, воплощающая в себе лучшие черты английского рабочего класса, по-видимому, из хорошей семьи, и ее медленно захлестывает шумный и грязный людской поток, который власти предержащие гонят на восток от Лондона. Нужно строить банки, фабрики, гостиницы, конторские здания… А что такое городская беднота, бродячее племя! И она отступает на Восточную сторону волна за волной, вытесняя оттуда старожилов, превращая в трущобы квартал за кварталом, принуждая более солидных рабочих уходить в еще не обжитые предместья Лондона или затягивая к себе на дно если не их самих, то уж детей и внуков несомненно.

Очередь за улицей Джонни Апрайта. Остаются считаные месяцы. Джонни и сам это понимает.

— Через два года истекает срок моей аренды, — говорит он. — Владелец наших домов — свой человек. Он не повысил квартирную плату ни нам, ни соседям, и потому мы пока еще продержались. Но в любой день он может продать свое имущество или умереть; для нас и то и другое будет одинаково плохо. Этот дом купит какой-нибудь спекулянт, построит потогонную мастерскую на клочке земли за домом, где у меня

виноград вьется по забору, сделает пристройку и начнет сдавать по одной комнате семейным. Вот и все! И Джонни Апрайту крышка!

И я живо представил себе, как Апрайт и его почтенная супруга вместе с хорошенькими дочками и растрепанной «рабыней», словно призрачные тени, бегут на восток, а город-чудовище с ревом настигает их.

Но Джонни Апрайт — это еще не все. Далеко, на самой окраине города, обитают мелкие коммерсанты, управляющие карликовыми фирмами, удачливые служащие. Они живут в отдельных домиках или в тесных дачках на две семьи, с крошечными садиками, где растут цветы; у них попросторнее, чем в других местах, дышать еще можно. Они горделиво выпячивают грудь, когда заходит разговор о бездне, которой они сумели избежать, и возносят хвалу Всевышнему за то, что сделал их не такими, как других людей! И вдруг… врывается Джонни Апрайт, а следом за ним несется город-чудовище. Как по волшебству, вырастают доходные дома, садики застраиваются, дачи перегораживаются на каморки, и черная лондонская ночь окутывает все своим грязным покровом.

Глава IV
Человек и бездна

Потом заговорил еще один горшок,
Что в стороне стоял, шершав и кривобок:
«Смеются надо мной, твердят,
что я уродлив —
Так, значит, хорошо лепить
Гончар меня не мог?»

Омар Хайям

— Скажите, у вас тут сдается что-нибудь?

Этот вопрос я бросил небрежно, полуобернувшись к пожилой толстой женщине, которая подавала мне еду в грязной кофейне неподалеку от Пула и Лаймхауза.

— Сдается, — отрезала она, решив, вероятно, что мой внешний вид не обещает того минимума состоятельности, который требуется для проживания в ее доме.

Я не сказал больше ничего и принялся молча дожевывать ломтик бекона, запивая его жидким чаем. Она тоже не обращала на меня ни малей-

шего внимания, пока я не вытащил из кармана монету в десять шиллингов, дабы расплатиться за свой завтрак стоимостью четыре пенса. Желаемый эффект был достигнут.

— Да, сэр, — сразу оживилась она. — У меня отличное помещение, наверняка вам понравится. Вернулись из морской поездки, сэр?

— Сколько вы хотите за комнату? — спросил я, не стремясь удовлетворить ее любопытство.

Она оглядела меня с нескрываемым изумлением.

— Комнат я не сдаю даже своим постоянным жильцам, а уж чужим-то и подавно.

— Придется, значит, поискать в другом месте, — сказал я, делая огорченное лицо.

Но вид моих десяти шиллингов придал ей настойчивость.

— Я могу предложить вам очень хорошую койку в комнате, где у меня живут всего двое. Очень почтенные люди, постоянные жильцы.

— Но я не хочу спать вместе с чужими людьми, — возразил я.

— Да вам и не придется. Там три постели, и комната не такая уж маленькая.

— Ну а сколько это будет стоить? — спросил я.

— С постоянных жильцов я беру полкроны в

неделю — два шиллинга шесть пенсов. Вам понравятся соседи, я уверена. Один из них служит на складе и живет у меня третий год, а второй вот уже шесть лет. Да, сэр, шесть лет и два месяца как раз будет в ту субботу. Он рабочий сцены, — продолжала она рассказывать, — приличный солидный человек, работает вечерами, и за все шесть лет ни одного прогула. И он очень доволен: говорит, что лучшего жилья не найти. Он у меня столуется, и другие жильцы тоже.

— Небось даже откладывает денежки, — ввернул я с невинной физиономией.

— Да нет, что вы, господь с вами! Но в другом месте он не мог бы прожить так хорошо на свой заработок.

Тут я подумал о моем родном просторном Западе, под небом которого можно было бы разместить тысячу таких городов, как Лондон, и всем хватило бы воздуха, а вот здесь этот человек — положительный, строгих правил, за шесть лет ни одного прогула, скромный и честный — ютится в одной комнате с двумя другими мужчинами за два доллара пятьдесят центов в месяц на наши деньги, зная по опыту, что лучшего ему не найти. И невесть откуда прихожу я и благодаря своим десяти шиллингам водворяюсь со всем своим

тряпьем на соседнюю с ним кровать. Человеческая душа знакома с тоской, но как, наверное, бывает ей тоскливо, когда в комнате три кровати и любой случайный прохожий может занять одну из них, если у него есть десять шиллингов в кармане!

— Давно вы здесь живете? — спросил я.

— Тринадцать лет, сэр. Ну, как вы решаете?

Разговаривая со мной, она не переставала грузно передвигаться по маленькой кухне, где готовила пищу для своих квартирантов. Я застал ее за работой, и она ни на секунду не оторвалась от своих дел. Несомненно, у этой женщины уйма хлопот: «Встаешь в половине шестого, ложишься ночью, когда все уже спят, работаешь, пока не свалишься с ног», — и так все тринадцать лет, а наградой за это седая голова, засаленное платье, сутулая спина, расплывшаяся фигура и бесконечный труд в грязной и шумной кофейне, окна которой отстоят на десять футов от стены соседнего дома, в окружении портовых трущоб, мрачных и грязных, чтобы не сказать больше.

— Вы сюда еще заглянете? — спросила она с робкой надеждой в голосе, когда я уже отворял дверь.

Я посмотрел на нее и только тут ощутил всю

правду мудрого старого изречения: «Добродетель сама себе награда».

Я снова шагнул к ней и спросил:

— У вас была когда-нибудь передышка?

— Передышка?

— Ну да, денька два в деревне, отдых на свежем воздухе?

— Боже упаси! — Она начала смеяться и впервые даже отвлеклась от работы. — Отдых! Отдых для нашего брата? Нет, подумать только! — И вдруг крикнула мне: — Эй, осторожно! — так как я в эту секунду споткнулся о прогнившую доску порога.

Возле вест-индских доков я заметил молодого парня, который уныло глядел на мутную воду реки. Кочегарская кепка, сдвинутая на глаза, и покрой его помятой одежды сразу изобличали в нем моряка.

— Здорово, приятель! Не скажешь ли, как пройти в Уоппинг? — спросил я его, чтобы начать разговор.

— С парохода? Ехал проводником скота? — в свою очередь спросил он, мгновенно угадав мою национальность.

Завязалась беседа, которую мы продолжили в трактире за двумя пинтами дешевого пива,

темного со светлым пополам. Это сблизило нас настолько, что, когда я выгреб из кармана на шиллинг медяков (давая понять, что это вся моя наличность) и, отделив шесть пенсов на ночлег, выложил остальные на пиво, он великодушно предложил пропить весь шиллинг.

— Мой сосед по комнате так скандалил вчера ночью, что полисмены забрали его, — сказал он. — Можешь спать на его койке. Идет?

Я согласился и, распив с ним на целый шиллинг пива и проведя ночь в жалкой конуре, на жалкой постели, составил себе некоторое представление об этом парне. Позднее я по опыту убедился, что в каком-то отношении он является довольно типичным представителем большинства лондонских чернорабочих.

Он родился в Лондоне, отец его был пьяница-кочегар, и сын пошел по его стопам. Домом для ребенка служили улицы и доки. Читать он не научился и никогда не испытывал в этом потребности, убежденный, что грамота — никчемное дело, во всяком случае, для человека в его положении.

У него была мать и куча горластых братьев и сестер. Они ютились в двух комнатенках, питались скверно, а то и вовсе голодали. Себя одного

он мог прокормить лучше, поэтому редко являлся домой — только в тех случаях, когда совсем уже нечего было есть. Он воровал, попрошайничал на улицах и пристанях, дважды плавал на пароходе слугой в кают-компании, потом несколько раз помощником кочегара и достиг вершины, став, наконец, кочегаром.

За это время он выработал себе жизненную философию, довольно мерзкую и отталкивающую, но, с его точки зрения, весьма здравую и логичную. Когда я спросил, для чего он живет, он отвечал не задумываясь: «Да чтоб выпить». Наймется на пароход (ведь подработать-то надо!), в конце плавания — расчет и грандиозная попойка. Затем выпивки поскромнее, от случая к случаю, выклянченные в кабаках у приятелей, вроде меня, не успевших еще растратить свои медяки, а потом, когда и этот источник иссякнет, опять пароход — и весь дьявольский круг сначала.

— А женщины? — поинтересовался я, когда он кончил восхваление попойки как единственной цели существования.

— Что женщины! — Он стукнул кружкой о стойку и заговорил с горячностью: — Известно, что это за народ! Лучше держаться от них подальше. Не стоит, приятель, с ними связываться, верь слову

— не стоит. Ну на что женщины такому, как я? Скажи сам. Вот, к примеру, моя мать. Она драла ребятишек и отравляла жизнь отцу, когда он приходил домой, хоть, по правде сказать, домой он и заглядывал-то редко. А почему редко? Из-за нее же. Потому что дома ему было не сладко. А другие женщины, думаешь, лучше обращаются с бедным кочегаром, если у него завелось вдруг несколько шиллингов в кармане? Он мог бы выпить на эти деньги, мог бы здорово напиться, а они в момент все выпотрошат — и конец, даже на рюмочку не останется. Мне это все известно. Я-то погулял вволю и знаю, что к чему. И еще скажу тебе: где женщины, там и неприятности — крики, ругань, драки, поножовщина, полисмены, суд. А знаешь, что за это дают? Месяц тяжелых работ. И никакой тебе получки, когда выйдешь оттуда.

— Ну подумай: жена и дети, семейный очаг и всякое такое, — назидательно заговорил я. — Вот ты вернулся из плавания, малыши карабкаются к тебе на колени, жена счастлива, улыбается, ставя обед на стол, целует тебя, и детишки чмокают папу перед сном, и чайник на плите насвистывает песенку, а вы долго еще говорите и наговориться не можете, и ты рассказываешь ей, где ты был и что видел, а она тебе — про разные домашние

дела, про все, что тут без тебя произошло, и…

— Да ну тебя! — крикнул он, шутливо ткнув меня кулаком в плечо. — Шутки со мной шутишь, а? Хозяюшка с поцелуями, и детишки с ласками, и чайник с песенкой — и все это за четыре фунта десять шиллингов в месяц, если тебя взяли на пароход, а если не взяли — тогда шиш! Нет, друг, я тебе сейчас расскажу, что я получу на свои четыре фунта десять шиллингов. Жена скандалит, дети пищат, в доме угля ни кусочка, так что чайнику и петь не с чего, да и чайник-то сам заложен в ссудной лавке! Вот тебе и вся картина. Поневоле рад будешь удрать на пароходе. Хозяюшка! На кой черт она мне? Чтобы жизнь отравляла? Детки? Мой тебе совет, друг, не заводи ты их. Посмотри на меня. Я могу выпить кружку пива, когда захочу, и никакая хозяюшка и никакие детки не требуют от меня хлеба. И я счастлив — да-да! — что у меня есть пиво и приятели, вот как ты, и что скоро придет хороший пароход и я опять уеду куда-нибудь. По сему случаю давай выпьем еще по кружке. Светлое с темным пополам будет в самый раз.

Нет нужды передавать здесь все, что он говорил: кажется, я уже достаточно очертил жизненную философию этого двадцатидвухлетнего парня и ее экономическую основу. Домашней жизни он

не изведал. Слово «дом» вызывало в его сознании одни лишь неприятные ассоциации. Ничтожный заработок отца и других мужчин его круга давал ему достаточный повод считать жену и детей обузой и причиной всех мужских несчастий. Бессознательный гедонист, чуждый всякой морали и проникнутый практицизмом, он искал для себя высшего счастья и находил его в вине.

Пропойца уже в молодые годы и задолго до старости — развалина, а когда работать кочегаром станет не под силу — канава или работный дом, и конец… Он сам понимал все не хуже меня, но его это не страшило. С самого рождения жизненные обстоятельства огрубляли его душу, и он смотрел на свое неизбежное печальное будущее с холодным безразличием, поколебать которое оказалось мне не под силу.

И все же он был неплохой малый — не злой и не жестокий от природы. Он обладал нормальными умственными способностями и более чем недурной внешностью: у него были широко расставленные, оттененные длинными ресницами большие голубые глаза, в которых то и дело мелькали искорки смеха, свидетельствуя о хорошем чувстве юмора; правильные черты лица, красивые брови, нежно очерченный рот,

хотя губы уже научились кривиться в жесткой усмешке. Правда, подбородок был невелик, но, впрочем, не так уж и мал — я видывал людей, занимавших разные высокие посты, с куда менее внушительным подбородком.

Красивая голова ловко сидела на великолепной шее, и я не удивился, увидев его тело, когда он скинул одежду, чтобы лечь спать. В гимнастических залах и на спортивных площадках мне не раз приходилось видеть оголенных мужчин весьма благородного происхождения и утонченного воспитания, но ни один из них не мог поспорить сложением с этим двадцатидвухлетним пьяницей, с этим юным богом, обреченным превратиться в развалину через каких-нибудь пять лет и исчезнуть с лица земли, не оставив потомства, которому он мог бы передать столь замечательное наследство.

Казалось бы, грех растрачивать таким образом жизнь, но все же я вынужден был признать, что он прав: где уж обзаводиться семьей в Лондоне на четыре фунта десять шиллингов! А тот рабочий сцены — разве он не счастливее, чем женатые, живя в обществе двух посторонних мужчин и тратя на себя одного свой заработок? Каково бы ему пришлось, если бы он втиснулся с хворым

семейством в комнатенку еще более дрянную, чем его теперешняя, да впустил туда вдобавок каких-то квартирантов, и все равно не сводил бы концы с концами!

С каждым днем я все больше убеждался, что жениться для людей бездны не только не разумно, но даже преступно. Они — камни, отвергнутые строителями. Для них нет места в жизни: все силы общества гонят их вниз, на «дно», где их ждет гибель. На «дне» бездны они становятся хилыми, безвольными, слабоумными. Если они плодятся, то потомство их гибнет, — жизнь здесь ничего не стоит. Где-то над ними в мире идет созидательная работа, но принять в ней участие они не хотят, да и не могут. Впрочем, мир не нуждается в них. Там, наверху, достаточно людей, более приспособленных, которые цепляются изо всех сил за крутые склоны над бездной, отчаянно стараясь не сорваться вниз.

Короче: лондонская бездна — это громадная бойня. Год за годом, десятилетие за десятилетием сельская Англия вливает в город все новые и новые людские силы, но силы эти не только не приумножаются, а уже к третьему поколению исчезают вовсе. Специалисты говорят, что лондонский рабочий, родители и деды которого

родились в Лондоне, представляет собой весьма редкостное явление.

М-р А. С. Пигу заявил, что престарелые бедняки и все прочие, кого называют «низы» общества, составляют семь с половиной процентов жителей Лондона. Иными словами, и год назад, и вчера, и сегодня, в данную минуту, четыреста пятьдесят тысяч душ гибнут на дне социальной преисподней, название которой «Лондон». Как они гибнут, покажу на примере из сегодняшней газеты.

Небрежность

«Вчера д-р Уинн Уэсткотт производил судебное следствие в Шордиче по делу скончавшейся в среду Элизабет Круз, семидесяти семи лет, проживавшей на Ист-стрит, дом 32, Холборн. Элис Матисон сообщила, что она является владелицей дома, в котором квартировала покойная. Свидетельница в последний раз видела Круз за два дня до смерти, то есть в понедельник. Круз была совершенно одинока. Попечитель района Холборн м-р Фрэнсис Берч показал, что покойная в течение тридцати пяти лет проживала в одной и той же комнате. Вызванный к ней пер-

вого числа, свидетель нашел старуху в ужасном состоянии; после отправки ее в больницу пришлось подвергнуть дезинфекции карету „Скорой помощи“ и кучера. Д-р Чейс Феннелл заявил суду, что смерть была вызвана заражением крови от пролежней вследствие небрежного отношения больной к себе и грязи в комнате, и суд вынес соответствующее заключение».

В этом маленьком происшествии больше всего поражает то самодовольное равнодушие, с которым официальные лица отнеслись к смерти женщины и вынесли свое заключение. Сказать, что старуха семидесяти семи лет умерла от небрежного отношения к себе, — это, право же, значит проявить наивность. Старуха сама виновата в том, что умерла. И вот, найдя виновного, общество со спокойной совестью возвращается к своим делам.

По поводу так называемых «низов» общества м-р Пигу сделал следующее заявление:

«Физическое слабосилие, или недостаточное умственное развитие, или отсутствие силы воли, а иногда и все три фактора, вместе взятые, де-

лают одних неспособными, других нерадивыми рабочими, вследствие чего они не могут прокормить себя… многие из них находятся на таком низком уровне развития, что не умеют отличить правую руку от левой или прочесть на двери номер своего дома; хилые телом, они не обладают выносливостью; у них нет нормальных чувств и привязанностей, и мало кто из них знает, что такое семейная жизнь».

Четыреста пятьдесят тысяч человек — это уйма народу. Молодой кочегар был лишь одним из них, и ему понадобилось некоторое время, чтобы поведать мне свою нехитрую повесть. Я бы не хотел услышать всех этих людей разом. Но интересно знать, слышит ли их Бог?

Глава V
Те, кто на краю

Поверьте, я не видел ничего более ужасного, более унизительного, более безнадежного, чем эта тоскливая, несчастная жизнь, которую я оставил там, в Восточном Лондоне.

***Олдос Хаксли*[132]**

Само собой разумеется, что мое первое впечатление о Восточном Лондоне было поверхностным. Позднее передо мной стали вырисовываться детали, и среди хаоса бедствий я обнаружил отдельные уголки, где царило относительное благополучие, — иногда это были целые ряды домов в тихих незаметных переулках. Они заселены ремесленниками, и там живут по-семейному, хотя это и весьма примитивная жизнь. По вечерам мужчины сидят на улице возле дома — трубка в зубах, на коленях ребенок; а жены их, собравшись кучками, сплетничают. Слышатся смех и шутки. Эти люди явно довольны своим существованием,

---

[132] Примечания: 132

Хаксли Олдос Леонард (1894–1963) — английский писатель и философ, автор романа-антиутопии «О дивный новый мир».

ибо по сравнению с окружающей нищетой им живется хорошо.

И все же в лучшем случае — это тупое, животное счастье, довольство сытого брюха. Материальная сторона жизни играет тут главенствующую роль. Это люди скучные, ограниченные, недалекие. Бездна создает отупляющую атмосферу апатии, которая засасывает людей и гасит в них все живое. Вопросы религии не трогают их; тайны бытия не вызывают ни страха, ни восторга. Им даже невдомек, что есть какие-то тайны бытия. Набить брюхо, пососать вечером трубку да выпить кружку дешевого пива — вот все, что они стараются взять от жизни или о чем мечтают.

И уж пусть бы это было все, но это не все. Самодовольное отупение этих людей представляет собой убийственную инерцию, за которой следует полный распад. Прогресса нет, а раз они не идут вперед — значит, катятся назад, в бездну. Для них самих это, быть может, только начало падения, но его завершат их дети и внуки. Жизнь всегда дает человеку меньше, чем он от нее требует, — а тут люди требуют такую малость, что, получая меньше малого, уже обречены на гибель.

Городская жизнь вообще чужда природе человека, что же касается лондонской жизни, то для

простого рабочего или работницы она предельно чужда и губительна. Тело и душу разрушают непрестанно действующие силы. Падает моральная и физическая выносливость. И хорошие крестьяне, попав из деревни в город, становятся плохими рабочими, а их потомство уже теряет всякую инициативу и энергию и не способно даже к такой физической работе, какую выполняли отцы, и тогда остается только один путь — в бездну.

Даже самый воздух, которым дышат здесь днем и ночью, так расслабляет тело и мозг, что городской рабочий не способен конкурировать с тем, кто, полный жизни и сил, прибывает из деревни в Лондон, чтобы уничтожать и, в свою очередь, быть уничтоженным.

Забудем на время о болезнетворных микробах, которыми насыщен воздух Восточного Лондона, рассмотрим один только фактор — дым. Сэр Вильям Тислтон-Дайер, куратор Ботанического сада, давно уже занимается изучением влияния дыма на растения. По его подсчетам, не меньше шести тонн твердого вещества, состоящего из сажи и смол, осаждается в неделю на каждой четверти квадратной мили территории Лондона и его окрестностей. Иными словами, на одну

квадратную милю — двадцать четыре тонны, или тысяча двести сорок восемь тонн в год. Не так давно с карниза под куполом собора святого Павла было снято отложение кристаллического сернокислого кальция, образовавшееся в результате взаимодействия серной кислоты воздуха с углекислым кальцием камня. А этой серной кислотой лондонские рабочие день и ночь непрерывно дышат.

И вот неизбежно дети превращаются в худосочных, малосильных, недоразвитых взрослых. Это рахитичное, узкогрудое, вялое племя, неспособное устоять перед наступающими деревенскими ордами и терпящее поражение в жестокой борьбе с ними. Деревня поставляет Лондону железнодорожных рабочих, носильщиков, кучеров омнибусов, грузчиков — всех тех, от кого требуется физическая выносливость. В числе лондонских полисменов — двенадцать тысяч выходцев из деревни и только три тысячи родившихся в Лондоне.

Итак, мы вынуждены сделать заключение, что бездна — это поистине колоссальная человекоубойная машина, и когда прохожу по тихим переулкам Восточной стороны и вижу у дверей домов плотно наевшихся ремесленников, я ду-

маю о том, что их ждет больше горестей, чем тех четыреста пятьдесят тысяч несчастных, что погибают на самом дне преисподней. Те-то уже гибнут, для них все кончено, а этим предстоит еще пройти через многочисленные стадии медленного и мучительного процесса умирания в двух или даже в трех поколениях.

А ведь все это хороший человеческий материал! В нем заложены все превосходные качества. В нормальных условиях он мог просуществовать много столетий и дать миру великих людей, героев, творцов, которые, в свою очередь, сделали бы жизнь на земле краше.

Я беседовал с одной женщиной, судьба которой типична для людей этой среды, — ее уже выбросило из такого тихого переулка и понесло по роковой наклонной вниз. Ее муж — механик, член профсоюза. Он не может получить постоянной службы, значит, надо полагать, работник он неважный: не хватает энергии или предприимчивости, чтобы добиться приличного места и удержать его за собой.

У них две дочери. Вчетвером они занимают две конурки, из вежливости называемые комнатами, и платят за них семь шиллингов в неделю. Плиты нет, для приготовления пищи имеется только

одна газовая конфорка, вделанная в камин. Они недостаточно состоятельные люди, чтобы им отпускали неограниченное количество газа в кредит, — для их блага в доме установлен хитроумный счетчик. Вы бросаете в отверстие одно пенни — и получаете ровно на пенни газу, а как только выжгли, что вам причиталось, подача автоматически прекращается.

— Не успеешь оглянуться, как уже сгорело на пенни, а свариться еще ничего не сварилось, — пожаловалась мне эта женщина.

Уже много лет ее семья влачит полуголодное существование. Каждый день они встают из-за стола с желанием поесть еще. А когда человек катится по наклонной плоскости в бездну, хроническое недоедание понижает его жизнеспособность и значительно ускоряет этот процесс.

А ведь женщина, о которой идет речь, — труженица. Она рассказала мне, что с половины пятого утра до поздней ночи шьет шерстяные юбки с двумя воланами, и за дюжину ей платят семь шиллингов. Нет, вы только подумайте: за дюжину шерстяных юбок, отделанных двумя воланами, семь шиллингов! То есть доллар семьдесят пять центов, меньше пятнадцати центов за каждую юбку!

Для того чтобы получать работу, муж должен быть членом профсоюза и платить взносы — один шиллинг шесть пенсов еженедельно. А вспыхни где-нибудь забастовка, ему, если он в это время работает, приходится вносить в фонд взаимопомощи союза целых семнадцать шиллингов.

Старшая дочь работала ученицей у портнихи за шиллинг шесть пенсов в неделю (на наши деньги — тридцать семь с половиной центов, или чуть больше пяти центов в день). Однако, когда наступило сезонное затишье, ее уволили, хотя нанимали за эту мизерную плату с обещанием обучить ремеслу и повысить в должности. После этого она три года работала за пять шиллингов в неделю в магазине, где продают велосипеды, ходила пешком по две мили на работу и домой и подвергалась штрафу, если опаздывала.

Что касается родителей, то их песенка спета. Они потеряли опору и катятся в бездну. А что же станет с дочерьми? Живя в скотских условиях, ослабленные хроническим недоеданием, истощенные умственно, морально и физически, могут ли они надеяться избегнуть бездны, куда их втягивает с самого рождения?

Я пишу эти строки, а за окном, на соседнем дворе, уже целый час идет неистовая драка,

форменная свалка, доступная для всеобщего обозрения. Вначале, услыхав какой-то визг, я подумал, что сцепились собаки, и не сразу уразумел, что эти дикие звуки издают человеческие существа, мало того — женщины.

Драка пьяных женщин! Об этом даже подумать противно. А каково все это слушать! Происходит примерно следующее. Что-то нечленораздельное орут во всю глотку несколько женщин зараз, потом умолкают, и становится слышно, как плачет ребенок и какая-то девочка кого-то о чем-то умоляет. Затем вдруг истошный голос женщины:

— Ударь! Только сунься!

И — бах, бах! — вызов принят, драка возобновляется.

Окна домов, выходящие во двор, облепили восторженные зрители; я слышу удары и такую отборную ругань, что кровь стынет в жилах.

На минуту все затихает. Затем:

— Оставь ребенка в покое!

Ребенок — должно быть, совсем еще малыш — от страха вопит благим матом.

— Ну, держись! — выкрикивает раз двадцать подряд тот же пронзительный голос. — Получишь вот этим камнем по голове! — И, по всей вероятности, кто-то получает камнем по голове, потому

что вдруг раздается оглушительный визг.

Опять все затихает: видимо, одна из воюющих сторон временно выведена из строя и ей оказывают первую помощь; снова слышен плач ребенка, но голос его постепенно слабеет: ребенок запуган и изнемог от плача.

Потом крики вновь начинают нарастать:

— Ах, так?

— Так!

— Так?!

— Так!!

— Так?!!

— Так!!!

Обе уже достаточно подтвердили свою непримиримость, и схватка опять обостряется. Одна из сторон, должно быть, получает значительный перевес и пользуется им вовсю, если судить по крикам другой стороны: «Караул! Убивают!» Внезапно крики начинают прерываться, глохнуть: очевидно, женщину душат.

Тут вступают новые голоса — идет развернутая атака по всему фронту; руки оторваны от горла жертвы, и возобновляются крики: «Караул! Убивают!» — теперь уже октавой выше. Общая потасовка. Орут все.

Передышка. Тишину прорезает новый голос

— девочки или молоденькой девушки:

— Я тебе отплачу за маму!

Затем раз пять подряд повторяется такой диалог:

— Буду делать что захочу… (нецензурное слово).

— А ну попробуй… (нецензурное слово).

Драка разгорается с новой силой; в ней участвуют и матери, и дети, и все, кому не лень. В этот момент я слышу, как моя квартирная хозяйка с заднего крыльца зовет домой свою маленькую дочурку, и предаюсь размышлениям о том, какое влияние окажет все, что она услышала во дворе, на ее юную душу.

Глава VI
Переулок Фраинг-Пэн, или я заглядываю в ад

Мир – это хлев, а мы в нем – скот,
Что чувствует голод, ест и мрет.
«От свинства ничто, увы, не спасет» —
Так скажет иной и мимо пройдет.

Сидней Ланьер

Мы шагали втроем по Майл-Энд-роуд, и один из моих спутников был личностью героической. Худенький девятнадцатилетний юноша, настолько тщедушный, что, казалось, малейшее дуновение ветерка может свалить его, подобно Фра Филиппо Липпи[133], с ног. Он был пламенный социалист, полный юношеского энтузиазма и готовности принять муки за человечество. С немалой опасно-

[133] Примечания: 133
Липпи Фра Филиппо (ок. 1406–1469) — итальянский живописец. По дошедшим сведениям, отличался необыкновенной худобой.

стью для себя он активно выступал в роли оратора и председателя на многочисленных митингах в защиту буров. Митинги в ту пору происходили в разных помещениях и под открытым небом, нарушая безмятежный покой «доброй старой Англии». Он поведал мне некоторые эпизоды из своей деятельности: как на него нападали в парках и вагонах трамвая; как он лез на трибуну, не имея никаких шансов на успех, ибо разъяренная толпа стаскивала с подмостков одного оратора за другим и жестоко избивала; как, укрывшись в церкви, он с тремя товарищами отбивал осаду толпы под градом камней и осколков стекла, пока их не спасла полиция. Он описал мне жестокие стычки на лестничных площадках, на балконах и галереях — выбитые окна, разрушенные лестницы, развороченные лекционные залы; страшные увечья — размозженные черепа и перебитые кости. А потом, поглядев на меня, добавил с печальным вздохом:

— До чего я завидую таким, как вы: рослым сильным мужчинам! Я такой заморыш. Ну какая от меня польза, когда дело доходит до драки!

Будучи на целую голову выше моих спутников, я невольно вспомнил, какие у нас на Западе все рослые и как я там, в свою очередь, всегда с зави-

стью смотрел на каждого высокого плечистого человека. Потом, оглядев этого юношу с хрупким телом и сердцем льва, подумал, что такие, как он, в нужный час воздвигают баррикады и доказывают миру, что люди еще не разучились умирать как герои.

Тут в разговор вмешался второй мой спутник, лет двадцати восьми, рабочий потогонной мастерской:

— А я вот здоровяк! Не то что другие парни у нас в мастерской. Меня все ставят в образец: таким и должен быть мужчина. Я вешу целых сто сорок фунтов[134]!

Мне было совестно признаться, что я вешу сто семьдесят, и я промолчал, разглядывая его. Какой он нескладный, низкорослый! Землистое лицо, скрюченное, потерявшее человеческое подобие тело, впалая грудь, согнутые от бесконечных часов изнурительной работы плечи, тяжело свисающая голова, словно ее не держит шея. Да уж, воистину здоровяк!

— Какого вы роста?

— Пять футов два дюйма, — гордо ответил он, — а ребята у нас в мастерской…

---

[134] Примечания: 134
Англ. фунт = 454 г.

— Вы показали бы мне вашу мастерскую, — попросил я.

Сейчас в мастерской не работали, но мне все же хотелось зайти туда. Миновав Леман-стрит, мы взяли влево на Спайтелфилдз и нырнули в переулок Фраинг-Пэн. На грязных тротуарах копошились дети, словно лягушата на дне пересохшего пруда. Мы подошли к дому. Дверь была настолько узка, что нам пришлось перешагнуть через женщину, которая, сидя с беззастенчиво обнаженной грудью и оскверняя своим видом святость материнства, кормила младенца. Далее, ощупью пробравшись сквозь узкий темный подъезд, битком набитый детворой, мы оказались на грязной-прегрязной лестнице и, минуя крошечные площадки, заваленные всякими отбросами, поднялись на третий этаж.

В этой трущобе, называемой домом, семь комнат. В шести из них живут более двадцати человек обоего пола и различного возраста. Каждая комната имеет площадь шесть-семь квадратных метров. В ней стряпают, едят, спят и работают. Мы вошли в последнюю комнату — в мастерскую. Обычно здесь трудятся, не разгибая спины, пять человек. Почти все помещение занимает стол. На нем я увидел пять сапожных колодок, но не мог

понять, где же тут можно работать, если всюду навалены кучи картона, кожи, обувных заготовок и прочего материала, требующегося для того, чтобы получился готовый башмак.

В соседней каморке живет женщина с шестью детьми. В другой грязной дыре — вдова с единственным сыном шестнадцати лет, который умирает от чахотки. Эта женщина торгует на улице леденцами, и лишь в редкие дни ей удается заработать на три кварты молока для сына. А мясо этот слабый, умирающий юноша получает не чаще чем раз в неделю, и то такого качества, что трудно даже понять, как люди могут есть подобные отбросы.

— Кашляет он страшно! — сказал мой приятель сапожник. — Ужас! Нам здесь все слышно. Просто ужас!

А я подумал, что этот кашель и эти леденцы, которыми торгует мать туберкулезного больного, представляют собой еще одну зловещую опасность для детей, населяющих здешние трущобы.

Итак, в этой вот конуре трудится мой приятель и четверо его товарищей, когда, конечно, у них есть работа. Зимой лампа горит почти целый день, и керосиновый чад насыщает и без того убийственно тяжелый воздух, и этим воздухом

люди снова, снова и снова наполняют свои легкие.

Когда бывает много работы, мой приятель зарабатывает до тридцати шиллингов в неделю. Подумайте! Тридцать шиллингов — семь долларов пятьдесят центов!

— Но так заработать могут только лучшие мастера, — подчеркнул он, — а спину-то гнешь двенадцать, тринадцать, а когда и четырнадцать часов в день. Да уж, потогонный труд в полном смысле слова: пот некогда отереть! Взглянули бы на нас, у вас бы в глазах зарябило: гвозди так и летят изо рта, будто из машины. Поглядите мне в рот.

Я глянул. Зубы были гнилые и черные, как уголь, — вся эмаль с них содрана гвоздями.

— А ведь я их чищу, — сказал он, — не то были бы еще страшней.

Он рассказал, что рабочие обязаны иметь собственные инструменты, покупать за свой счет приклад, гвозди, картон, платить за помещение и керосин. И мне стало ясно, что при таких условиях от тридцати шиллингов не много остается.

— Сколько же продолжается такой сезон, когда вы зарабатываете по тридцать шиллингов?

— Четыре месяца.

Обычный недельный заработок в остальное время года — от полуфунта до фунта стерлингов, то есть от двух с половиной до пяти долларов. Сегодня, например, уже четвертый день недели пошел, а он заработал только четыре шиллинга — иными словами, один доллар. И тем не менее меня старались уверить, что из всех потогонных ремесел сапожное — самое выгодное.

Я посмотрел в окно, надеясь увидеть дворики соседних владений, но никаких двориков не оказалось — вернее, они были сплошь застроены одноэтажными лачугами, хлевами, в которых жили люди. Крыши лачуг были завалены мусором, местами чуть ли не на два фута, — его выбрасывали сверху из окон жители соседних домов. Чего только я там не увидел! Мясные и рыбные кости, овощные очистки, тряпки, рваные башмаки, глиняные черепки — в общем, все отбросы человеческого хлева.

— Скоро нашей работе конец: в этом году поставят машины, а нас тогда в шею, — печально сказал сапожник, когда мы, спустившись вниз, снова перешагнули через женщину с голой грудью и пошли пробираться сквозь толпы уличной детворы.

Отсюда мы прошли в муниципальные жилые

дома, выстроенные Советом лондонского графства на месте старых трущоб, где некогда жил сын Джего из романа Артура Моррисона[135]. Хотя народу теперь сюда вселилось еще больше, условия жизни все же улучшились. Однако в новые дома попали наиболее обеспеченные рабочие и ремесленники. Выселенные же обитатели трущоб либо еще плотнее набились в другие трущобы, либо создали где-нибудь новые.

— А теперь, — сказал «здоровяк» сапожник, который работает быстро, как машина, — я покажу вам легкие Лондона. Это Спайтелфилдзский сад. — На слове «сад» он сделал язвительное ударение.

Тень от храма Христа падает на Спайтелфилдзский сад, и в тени Христова храма в три часа дня глазам моим предстало такое зрелище, какого я никогда не хотел бы увидеть вновь. Там не растет ни единого цветка, в этом саду, в этом крошечном садике, который меньше моего американского розария, там есть только трава, и, как все сады и парки в Лондоне, он обнесен острозубой железной оградой, чтобы бездомный люд не мог проникнуть туда ночью и соснуть на траве.

---

[135] Примечания: 135

Моррисон Артур (1863–1945) — английский писатель; «Сын Джего» (1896) — роман о жизни лондонской бедноты.

У входа в сад нас обогнала старуха лет шестидесяти. Она шла размеренным шагом, слегка пошатываясь под тяжестью двух перекинутых через плечо мешков, свисавших ей на грудь и на спину. Бездомная несчастная женщина, сохранившая, впрочем, настолько человеческое достоинство, чтобы бояться как огня работных домов. Как улитка, тащила она на себе свой домик. В этих двух мешках умещалось все ее хозяйство: белье, одежда, разные дорогие женскому сердцу мелочи.

Мы двинулись по узкой дорожке, посыпанной гравием. По обеим сторонам на скамьях сидели люди, уродливый и жалкий вид которых вызвал бы у Доре[136] такой мрачный полет фантазии, какого он не знал за всю свою жизнь. Скопище тряпья и грязи, отвратительные кожные болезни, раны, кровоподтеки, хамство, уродство и непристойность. Дул холодный, пронизывающий ветер; иные спали, закутавшись в свои лохмотья, другие пытались заснуть. Я насчитал там более десятка женщин — в возрасте от двадцати до се-

[136] Примечания: 136

Доре Гюстав (1832–1883) — французский художник, автор широкоизвестных иллюстраций к роману «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф. Рабле, «Дон Кихот» Сервантеса и др.; после посещения Англии создал цикл гравюр, изображающих сцены безработицы и нищеты населения Лондона.

мидесяти лет — и видел даже младенца, который спал на голой скамье, без одеяла и подушки, и никого с ним рядом не было. Подальше шестеро мужчин спали сидя, прислонившись друг к другу. На соседней скамье разместилось семейство: жена дремала, держа на руках спящего ребенка, а муж (или самец, если угодно) неумело чинил рваный башмак. Дальше женщина подравнивала ножом истрепанный подол юбки, а другая, вооружившись иглой, зашивала какие-то лохмотья. Рядом мужчина держал в объятиях спящую женщину. Еще один, весь в грязи — видимо, побывал в канаве, — спал, уткнув голову в колени женщины лет двадцати пяти. Она тоже спала.

Я был поражен этой картиной. Почему почти все тут спят или пытаются заснуть? Впоследствии я выяснил это. Законы сильных мира сего запрещают бездомным спать по ночам. На панели у входа в храм Христа, где величественные ряды колонн гордо возносятся к небу, лежало вповалку много людей. Одни спали, другие дремали, но все были охвачены такой апатией, что никто даже не поднял головы, когда мы проходили.

— Легкие Лондона! — сказал я. — Какие же это легкие? Это нарыв, гнойник!

— Зачем вы привели меня сюда? — воскликнул

пылкий юноша-социалист. Боль — физическая и душевная — исказила его побледневшее лицо.

— Вот эти женщины там, — сказал наш провожатый, — готовы продать себя за три, даже за два пенса, а то и за ломоть черствого хлеба.

Он произнес это с каким-то добродушным пренебрежением.

Не знаю, что еще прибавил бы он к своим словам, но тут юноша, бледный как полотно, взмолился:

— Ради бога, уйдемте отсюда!

Глава VII
Кавалер ордена Виктории

В городе люди стонут, и душа убиваемых вопиет.

Иов

Я узнал, что попасть в «палату разового ночлега» в работном доме весьма нелегко. Я уже дважды неудачно пытался проникнуть туда и намерен вскоре попробовать снова. В первый раз я отправился в семь часов вечера с четырьмя шиллингами в кармане, совершив, таким образом, сразу две ошибки. Во-первых, туда пускают только самых обездоленных, для выяснения чего каждый подвергается тщательному обыску: докажи, мол, что ты действительно гол как сокол; обладатель даже четырех пенсов — не говоря уж о четырех шиллингах! — решительно отвергается. Второй моей ошибкой было то, что я пришел слишком поздно. В семь часов вечера нищий уже не может рассчитывать на получение нищенской постели.

Для пользы людей, изнеженных воспитанием и далеких от правды жизни, я готов объяснить

значение термина «палата разового ночлега». Это учреждение, попав в которое, в случае удачи, бездомный человек, не имеющий ни кола ни двора, может дать временный отдых своим усталым костям. За это он обязан проработать там как вол весь следующий день.

Вторая моя попытка проникнуть в «палату разового ночлега» началась при более благоприятных обстоятельствах. Я вышел из дому в середине дня в сопровождении того же молодого социалиста и еще одного приятеля, имея при себе всего три пенса. Друзья проводили меня до Уайтчепелского работного дома, и я стал из-за угла наблюдать за происходящим. Было только начало шестого, но перед зданием уже выстроилась длинная, наводящая уныние очередь, которая заворачивала за угол и терялась где-то вдали.

Тяжелое это зрелище — мужчины и женщины, ожидающие в холодных сумерках нищенского ночлега. И, сказать по правде, оно поколебало мою решимость. Как ребенок у дверей зубного врача, я внезапно нашел множество причин, чтобы быть сейчас не здесь, а в другом месте. Очевидно, душевная борьба как-то отразилась у меня на лице, ибо один из моих спутников сказал:

— Не робейте, справитесь!

«Конечно, справлюсь», — подумал я. Но мне уже становилось ясно, что и три пенса — огромный капитал в глазах собравшихся здесь людей, и, чтобы не вызвать у них неприязни, я вытряс свои медяки из карманов. Сердце мое громко стучало, когда я, простившись с друзьями, прошел, втянув голову в плечи, вдоль всей очереди и занял место в самом конце. Да, невесело выглядели эти бедняки, кое-как цеплявшиеся за жизнь на крутом спуске к смерти. Я даже не представлял себе, сколь скорбным может быть такое зрелище.

Рядом со мной стоял невысокий коренастый человек, крепкий на вид, несмотря на преклонный возраст. Его резко очерченное лицо с грубой, словно дубленой кожей, испытавшей и зной, и непогоду, и выцветшие глаза явно выдавали в нем моряка, и мне сразу же вспомнились строки из «Раба на галере» Киплинга:

Бич хлестал мне спину часто – и рубцы теперь болят;

Солнце, в море отражаясь, притупило зоркий взгляд,

На плече клеймо мне выжгли, цепь натерла ноги мне —

Труд мой был сполна оплачен…

Насколько правильным оказалось мое предположение и как удивительно подходили к этому случаю киплинговские строки, вы сейчас узнаете.

— Не могу больше выносить этого, — жаловался старик своему соседу по другую руку. — Выберу окно побольше и трахну камнем — пускай посадят недели на две. Тогда уж, будьте уверены, получу и место для спанья, и жратву получше, чем в ночлежке. Вот только без курева плоховато, — добавил он с грустной покорностью. — Последние две ночи провел на улице, позавчера вымок до костей. Сил нет больше терпеть. Да, одряхлел я; когда-нибудь утром найдут меня на мостовой мертвым.

Вдруг он с жаром обрушился на меня:

— Смотри, малый, не вздумай дожить до старости! Умирать надо, пока молод, не то докатишься до такого же конца. Верно тебе говорю. Мне вот восемьдесят семь лет, и я честно послужил моей родине: имел три нашивки за отличную службу и орден Виктории. А что толку? Хоть бы уж помереть скорей! Чем скорей, тем лучше.

Глаза его заволокло влагой, но не успел сосед пробормотать что-то ободряющее, как старик уже мурлыкал развеселую матросскую песенку, слов-

но нет и не бывало на свете никаких печалей.

Вот что, видя мой интерес, рассказал мне этот человек, который провел две последние ночи на улице и сейчас стоял в очереди в ночлежку.

Еще совсем мальчишкой он поступил на службу в британский флот и прослужил там верой и правдой более сорока лет. Фамилии командиров, названия портов и кораблей, даты стычек и боев так и сыпались из его уст, но запомнить все это я был не в состоянии, а делать записи у входа в ночлежку едва ли удобно. Старик участвовал в первой войне в Китае, как он ее назвал; потом завербовался на службу в Ост-Индскую компанию и пробыл десять лет в Индии; позднее снова попал в Индию с британским флотом, во время восстания сипаев; участвовал в бирманской и крымской войнах да сверх того воевал и трудился во славу английского флага в разных других частях земного шара.

И вдруг стряслась беда. Пустячное дело — если разобраться в причинах: то ли лейтенант страдал несварением желудка, то ли слишком поздно кутил накануне ночью, то ли его донимали кредиторы, то ли получил нагоняй от командира, — но, как бы там ни было, в тот день вышел на дежурство в раздраженном состоянии. Мой

новый знакомый вместе с другими матросами в это время обтягивал фокаванты.

Напоминаю вам, что этот человек служил на флоте более сорока лет, удостоился трех нашивок за отличную службу и ордена Виктории за боевую отвагу, — значит, надо думать, считался неплохим матросом. Но лейтенант был в дурном расположении духа и ругнулся… ну, не особенно красивым словом — в общем, проехался по адресу его матери. Когда я был ребенком, каждый мальчишка считал себя обязанным драться как черт, если кто-нибудь таким словом оскорблял его мать, и в тех местах, откуда я родом, немало людей поплатились жизнью за то, что осмелились бросить кому-то подобное оскорбление.

Однако лейтенант оскорбил матроса именно так. У матроса оказался в руках железный лом, он ударил им лейтенанта по голове, и тот полетел за борт.

А потом… передаю точно словами старика:

— Я увидел, что натворил. Устав я знал, вот и сказал себе: «Крышка тебе, Джек, дружище, так не лучше ли уж…» — и прыгнул в воду следом за ним. Решил: утоплю его и сам утону. Так бы я и сделал, да тут подоспела шлюпка с флагманского судна. Ну, вытащили нас, а я как вцепился в него,

так все и колочу. Это и решило мою судьбу. Если бы я не бил его, так мог бы еще оправдаться: понял, мол, свою вину и прыгнул в воду спасти лейтенанта.

Его судили военно-полевым судом, или как там это называется у них на флоте.

Старик повторил мне наизусть текст приговора, слово в слово, — видимо, хорошо запомнил его и не раз твердил в горькие минуты. Для поддержания дисциплины и почтения к офицерам, не всегда проявляющим себя джентльменами, человека, виновного только в том, что вел себя как мужчина, приговорили: разжаловать в рядовые матросы, лишить всех причитающихся премиальных и права на пенсию, отобрать орден Виктории, уволить из флота с хорошей аттестацией (ибо это был его первый проступок), наказать пятьюдесятью плетьми и посадить на два года в тюрьму.

— Лучше бы мне утонуть в тот день! Вот как перед Богом: жалею, что не утонул! — заключил он свой рассказ.

Очередь тем временем стала подвигаться, и мы обогнули угол.

Наконец показалась впереди входная дверь — через нее впускают группами по нескольку че-

ловек. И тут я узнал нечто неожиданное: сегодня среда, а тех, кто сейчас сюда войдет, не выпустят до пятницы. И еще — курильщики, внимание! — табак вносить запрещается. Если у кого есть при себе табак, нужно его сдать. Мне сказали, что при выходе табак иногда отдают обратно, а иногда уничтожают.

Старый матрос показал мне, как нужно действовать. Развязав свой кисет, он высыпал его содержимое — жалкую горстку табаку — на бумажку, а бумажку туго свернул и сунул поглубже в носок. Я последовал его примеру, ибо прожить сорок часов без курева трудновато, — какой курильщик этого не знает?

Очередь понемножку двигалась, и мы медленно, но верно приближались к двери. Когда мы ступили на решетку над подвальным этажом, там мелькнула чья-то голова, и старик матрос крикнул, наклонившись к решетке:

— Сколько еще мест?

— Двадцать четыре, — услышали мы ответ.

Мы стали с тревогой пересчитывать стоящих впереди. Их оказалось тридцать четыре человека. Я увидел горестное разочарование и испуг на лицах тех, кто был возле меня. Не очень-то приятно провести ночь на улице на голодный желудок и

без гроша в кармане. Но мы все еще надеялись — хоть надеяться было явно не на что, — пока впереди не осталось десять человек и служитель не погнал нас прочь.

— Все, — сказал он и захлопнул дверь.

С быстротой молнии, несмотря на свои восемьдесят семь лет, старый матрос бросился бежать, рассчитывая все же найти где-нибудь приют на ночь. Я остался с двумя другими бездомными, имевшими опыт в подыскании разового ночлега. Они решили попытать счастья в работном доме Поплер, за три мили отсюда, и мы направились в ту сторону.

Когда мы свернули за угол, один из моих спутников сказал:

— Я-то должен был попасть сегодня: к часу дня пришел, очередь еще только устанавливалась, — но здесь есть свои любимчики, вот в чем дело. Только они одни и попадают, каждую ночь те же самые.

Глава VIII
Возчик и плотник

Не боязнь смерти, даже не боязнь голодной смерти делает человека несчастным. Мало ли людей умирало. Всем нам суждено умереть! Несчастным делает человека то, что он вынужден, сам не зная почему, вести нищенскую жизнь и трудиться в поте лица, не получая за это никаких благ, и то, что он устал, измучен, одинок, оторван от других людей и окружен всеобщим laissez-faire[137].

Карлейль[138]

Этого возчика, с его резко очерченным профилем и клинообразной бородкой на безусом лице, я мог бы принять в Соединенных Штатах за кого угодно — от квалифицированного рабочего до зажиточного фермера. Что же касается плотника, то его я так и принял бы за плотника. Сама его

---

[137] Примечания: 137
Безразличие (*фр.*).

[138] Примечания: 138
Карлейль Томас (1795–1881) — английский писатель, историк и философ.

внешность говорила о его профессии: тощая, жилистая фигура, острый, проницательный взгляд, руки, скрюченные от пользования плотничьим инструментом в течение ни много ни мало сорока семи лет. Несчастье этих людей заключалось в том, что они состарились, а дети, которые могли бы служить им опорой под старость, умерли. Годы дали себя знать, и старики оказались выброшенными за борт, — соперники помоложе и посильнее захватили их места.

Этим старикам, как и мне, было отказано в ночлеге в Уайтчепелском работном доме, и мы теперь шагали вместе по направлению к работному дому Поплер.

— Паршивое место, — говорили они, — да ничего другого не остается.

Либо Поплер, либо еще одна ночь на улице. Оба мечтали о койке — по их словам, они уже валились с ног. Возчик, которому было пятьдесят восемь лет, провел три последние ночи на улице, а шестидесятипятилетний плотник уже пятые сутки не ночевал под крышей.

О вы, благородные господа, изнеженные, упитанные и полнокровные! Вы, кого ждут по вечерам просторные спальни с белоснежными постелями. Как заставить вас понять, что это

значит — провести ночь на улицах Лондона? Воображаю, как бы вы страдали! Вам бы, поверьте, показалось, что протекли столетия, прежде чем на востоке забрезжил рассвет! Мучительная дрожь пробирает вас до костей, вам хочется выть от ноющей боли во всем теле, и вы сами диву даетесь, откуда берутся еще силы терпеть все это. Вот вы присели на скамейку, смежив усталые веки, но тут же, не сомневайтесь, вас разбудит грубый окрик полисмена: «Катись отсюда!» Присесть отдохнуть на скамейку вам еще можно (кстати, скамеек мало и расставлены они редко), но не воображайте, что отдохнуть — это значит поспать. Только попробуйте задремать — вас тотчас прогонят, и снова придется вам тащить усталые ноги по бесконечным улицам. И если вы в отчаянии пуститесь на хитрость и приляжете где-нибудь в глухом закоулке или в темной подворотне, вас и там достанет око вездесущего полисмена. Гнать вас — его обязанность. Гнать вас отовсюду — закон властей предержащих.

Но с рассветом кошмар окончится. Вернувшись домой, вы отдохнете и до конца дней своих будете рассказывать завороженным слушателям об этом удивительном приключении. Со временем это выльется в обширное повествование. Описание

короткой восьмичасовой ночи превратится в «Одиссею», а сами вы — в Гомера.

Но не так обстояло дело с бездомными, которые спешили со мной в работный дом Поплер. А таких, как они, мужчин и женщин наберется сегодня в Лондоне тысяч тридцать пять. Пожалуйста, не думайте об этом, когда будете ложиться спать: если вы, как полагается, наделены чувствительной душой, это может нарушить ваш привычный покой. Но каково старикам шестидесяти, семидесяти и даже восьмидесяти лет, истощенным, малокровным, встречать рассвет, не отдохнув, и затем бродить весь день с одной мыслью о корке хлеба, зная, что впереди новая страшная ночь, — и так пять суток подряд! О вы, благородные господа, изнеженные, упитанные и полнокровные! Разве вы в состоянии понять это?

Я шел между возчиком и плотником по Майл-Энд-роуд, широкой магистрали, пересекающей самый центр Восточного Лондона, где всегда толпы людей. Подчеркиваю это, чтобы вы лучше поняли значение того, что я собираюсь рассказать. Итак, мы шагали втроем по Майл-Энд-роуд, и моих спутников душил гнев; они громко бранили свою родину, а я вторил им, выдавая себя за бродягу американца, застрявшего случайно

в этой чужой, ужасной стране. Мои старания увенчались успехом: они поверили, что я матрос, прокутился дочиста, прожил вещи (явление отнюдь не редкое среди матросов, сошедших на берег), сел, что называется, на мель и ищу работу на пароходе. Вот чем объяснялось мое незнание английских обычаев вообще и «разовых ночлегов» в частности, а также проявляемое мною к этому любопытство.

Возчик едва поспевал за нами — он признался мне, что сегодня у него еще не было во рту ни крошки. Плотник же, тощий и голодный, в своем сером рваном пальто, полы которого скорбно развевались на ветру, шел ровным крупным шагом и чем-то сильно напоминал волка или койота, рыскающего по прериям. Разговаривая, оба они глядели себе под ноги, и время от времени то один, то другой нагибался, не замедляя, однако, шага, и поднимал что-нибудь с земли. Я решил, что они собирают сигарные и папиросные окурки, и сначала не обратил на это особого внимания, но потом присмотрелся и был потрясен: с заплеванного, грязного тротуара они подбирали апельсинные корки, яблочные очистки, объеденные виноградные веточки и с жадностью отправляли в рот; сливовые косточки

они разгрызали и съедали ядрышки. Они поднимали хлебные крошки величиной с горошину и яблочные сердцевины, настолько черные и грязные, что трудно было определить, что это такое. Эти отбросы они клали в рот, жевали и глотали. И все это происходило между шестью и семью часами вечера 20 августа, в году 1902-м от Рождества Христова, в сердце самой великой, самой богатой, самой могущественной империи, какая когда-либо существовала на свете.

Возчик и плотник вели между собой разговор. Эти люди были отнюдь не дураки, только, к сожалению, стары. И ничего нет удивительного, если после всей съеденной дряни, с которой их воротило, они говорили о кровавой революции. Они говорили как анархисты, как фанатики, как сумасшедшие. Кто их за это осудит? Я сам хоть и успел уже за этот день три раза плотно поесть и знал, что меня ждет теплая постель, хоть я и имел свою социальную философию и верил в эволюцию, в постепенное изменение и переход от одного состояния к другому, — повторяю: я сам, несмотря на все это, чувствовал потребность молоть такой же вздор или же молчать, прикусив язык. Жалкие глупцы! Не таким, как они, делать революции! Но когда они умрут и превратятся в прах — что

наступит весьма скоро, — другие глупцы будут говорить о кровавой революции, подбирая отбросы с заплеванных тротуаров Майл-Энд-роуд по пути к работному дому Поплер.

Видя, что я иностранец и человек молодой, возчик и плотник старались объяснить общее положение вещей и вразумить меня. Впрочем, их вразумления были кратки и сводились к одному: поскорее выбраться из этой страны.

— Господи, пусть только колесо фортуны повернется, дам тягача, и след мой простынет! — заверил я их.

Они не столько поняли, сколько почувствовали силу моих метафор и одобрительно закивали.

— Делают человека преступником против его воли, — сказал плотник. — Вот я, например, состарился; молодежь заняла мое место. Одежонка на мне ветшает, поэтому получить работу с каждым днем все труднее. Сплю в ночлежке, и то если повезет. Должен прийти туда в два, самое позднее в три часа, иначе не попасть. Видал, что сегодня творилось? Когда же мне искать работу? Положим, я устроюсь сегодня на ночлег. Меня продержат там завтра весь день, выпустят в пятницу утром. А дальше что? По правилам, меня на следующую ночь уже не впустят ни в одну

ночлежку ближе чем за десять миль от той, где я ночевал. Выходит, я должен сразу же бежать за десять миль, чтобы поспеть вовремя. Так когда же, спрашивается, искать работу? Хорошо, скажем, я не пошел в очередь за койкой — бросился искать работу. Не успеешь оглянуться — уже ночь, а спать негде. А не спавши, голодный, куда я гожусь наутро? Какая тут работа? Значит, надо пойти поспать хотя бы в парке (при этих словах плотника я представил себе храм Христа в Спайтелфилдзе) и хоть что-нибудь поесть. Вот оно как! Старый я, песенка моя спета, и нет у меня больше надежды снова стать на ноги.

— Прежде тут стоял шлагбаум, — заметил возчик. — С меня не раз драли здесь за проезд, когда я был ломовым.

Последовала долгая пауза.

— За два дня я только и съел, что три полпенсовых хлебца, — произнес плотник. — Два вчера, а третий нынче, — добавил он, помолчав.

— А у меня сегодня еще маковой росинки во рту не было, — отозвался возчик. — Сил уж нет дальше тащиться. Страсть как ноги болят!

— Хлеб, который тебе дают «на колу», — такая черствятина, что нужно не меньше двух кружек воды, чтобы его разжевать, — сообщил плотник

к моему сведению.

Я спросил его, как понимать это «на колу», и он ответил:

— А это значит — в ночлежке. Такое жаргонное выражение.

Меня удивило, что в его лексикон входит слово «жаргонное», однако из дальнейшего разговора я выяснил, что язык его довольно богат.

Я спросил своих спутников, какие там порядки в работном доме Поплер, и они дружно постарались просветить меня на этот счет. Первым делом заставят принять холодную ванну, на ужин дадут шесть унций[139] хлеба и миску похлебки. Похлебка — это жидкая бурда, приготовленная так: три кварты овсянки на три с половиной ведра горячей воды.

— С молоком и сахаром небось, да еще дадут серебряную ложку, — пошутил я.

— Как же! Соль — это еще, пожалуй, дадут! А я бывал в таких местах, где даже ложек нет. Поднимай миску да лей себе прямо в рот, вот как!

— А вот в Хакни похлебка ничего, — сказал возчик.

— Куда! Просто замечательная похлебка! —

---

[139] Примечания: 139
1 унция = 28,35 г.

подхватил плотник, и оба выразительно переглянулись.

— А в Восточном Сент-Джордже — мука и вода, — заметил возчик.

Плотник кивнул: везде уже побывал.

— Ну а дальше что? — спросил я.

А дальше, мне объяснили, сразу пошлют спать.

— В половине шестого утра разбудят; встанешь, вымоешься под краном, иной раз даже с мылом. Потом завтрак — такой же, как ужин: миска похлебки и шесть унций хлеба.

— Нет, шесть унций не всегда, — поправил возчик.

— Верно, не всегда. И хлеб бывает до того кислый, что скулы сводит. Когда я только начинал скитаться по этим местам, так просто не мог есть ни хлеба этого, ни похлебки. Ну а теперь куда там — съедаю не только свою порцию, но и чужую могу прихватить!

— Да я бы и три порции съел, — сказал возчик. — За весь божий день маковой росинки во рту не было.

— Ну а потом что? — допытывался я.

— Как что? Пошлют работать: на уборку или трепать пеньку, норма — четыре фунта в день, или бить камень — центнеров десять-одинна-

дцать. Меня не заставляют бить камень, мне больше шестидесяти лет. А тебя заставят: ты молодой и крепкий.

— Чего я не люблю, — проворчал возчик, — так это когда запирают в камере и велят трепать пеньку. Точно в тюрьме.

— А что, если переночевать, а потом отказаться трепать пеньку, бить камень — вообще работать? — поинтересовался я.

— Второй раз уж не откажешься, — ответил плотник, — они тебя упекут в тюрьму. Не советую пробовать. Ну а потом обед, — продолжал он прерванный рассказ, — восемь унций хлеба, полторы унции сыра и холодная вода на запивку. Потом идешь кончать работу, а вечером получишь еще ужин, такой же, как накануне, — порцию бурды и шесть унций хлеба. В шесть часов погонят спать. А наутро иди на все четыре стороны — если, конечно, вчера все отработал.

Мы давно оставили позади Майл-Энд-роуд и, поколесив по мрачному лабиринту узких извилистых уличек, подошли к работному дому Поплер. На камнях невысокой ограды мы разостлали наши носовые платки и завязали в них свои земные богатства — все, за исключением табака, который запрятали в башмаки. Грязно-серое небо

еще больше почернело, подул холодный злой ветер; сжимая в руках наши нищенские узелки, мы робко ступили на крыльцо работного дома.

Мимо прошли три молоденькие работницы, и одна из них сочувственно посмотрела на меня. Я проводил ее глазами, а она оглянулась и снова бросила на меня жалостливый взгляд. Стариков она даже не заметила. Боже праведный! Она жалела меня — молодого, здорового, сильного, а не двух стариков, стоявших рядом со мной! Она была молодая женщина, я молодой парень, и чувство жалости ко мне имело, по-видимому, подоплеку эротического свойства. Жалость к старикам — чувство альтруистическое; кроме того, порог работного дома — привычное место для стариков, поэтому она пожалела не их, а меня, куда меньше заслуживавшего жалости, даже вовсе ее не заслуживавшего. Да, без почета сходят старики в могилу в городе Лондоне!

По одну сторону двери болталась ручка звонка, по другую была электрическая кнопка.

— Потяни за ручку, — сказал мне возчик.

Я дернул решительно, как звоню всегда у всех дверей.

— Ой! Ой! — в один голос закричали старики, перепуганные до крайности. — Не так сильно!

Я опустил руку. В их глазах я прочел немой укор: ведь своим поведением мог помешать им получить койку и миску похлебки. Но на звонок никто не шел — надо было, видимо, звонить в другой, — и я почувствовал некоторое облегчение.

— Нажмите кнопку, — посоветовал я плотнику.

— Нет-нет, подождем немножко, — вмешался возчик.

Из всего этого я заключил, что привратник работного дома, получающий шесть-восемь фунтов в год, — весьма капризная и важная персона и требует исключительно деликатного обращения… со стороны бедняков.

И вот мы ждали — раз в десять дольше, чем следовало бы. Наконец дрожащим указательным пальцем возчик робко, едва-едва тронул кнопку. Мне приходилось видеть людей, ожидавших решения, от которого зависела их жизнь, но даже лица тех выражали меньше тревоги, чем лица стариков, ожидавших привратника.

Он появился и еле удостоил нас взглядом.

— Мест нет, — сказал он и захлопнул дверь.

— Еще одна ночь на улице! — простонал плотник.

Я глянул на возчика. В густых сумерках его

лицо казалось еще более изнуренным и серым.

«Благотворительность без разбору — преступление», — говорят филантропы. Ладно, пусть я буду преступником.

— Доставайте-ка свой нож и идите за мной, — приказал я возчику, увлекая его в темный тупик.

Он уставился на меня со страхом и стал пятиться назад: должно быть, принял меня за современного Джека-потрошителя, специализирующегося по части нищих стариков, или подумал, что я собираюсь втянуть его в какое-нибудь мокрое дело. Так или иначе — он был испуган.

Хочу напомнить, что, отправившись на Восточную сторону, я зашил на всякий случай в пройме фуфайки, купленной у старьевщика, золотой соверен. Теперь впервые возникла необходимость тронуть мой «неприкосновенный запас».

Только изогнувшись, словно акробат, и дав возчику пощупать монету, зашитую у меня под мышкой, сумел я добиться от него помощи. Но руки у него так дрожали, что я побоялся, как бы вместо шва он не вспорол мне бок. Пришлось взять у него нож и самому выполнить необходимую операцию. Но вот монета покатилась на тротуар. В глазах моих спутников это было целое состояние. Не теряя времени, я повел их в бли-

жайшую кофейню.

Разумеется, мне пришлось объяснить старикам, что я исследователь социальных проблем и цель моя — узнать поближе, как живут неимущие. И сразу же они смолкли, ушли в себя, словно улитки. Я стал для них чужаком, и речь моя поиному зазвучала у них в ушах, в голосе моем они услышали новые нотки — словом, они признали во мне человека «высшего сословия», а они остро ощущали классовые различия.

— Что вы будете есть? — спросил я у стариков, когда к нашему столику подошел официант.

— Два ломтика и чашку чаю, — робко сказал возчик.

— Два ломтика и чашку чаю, — как эхо, повторил плотник.

Представьте себе все это на минутку. Я пригласил двух стариков в кофейню. Они видели мой золотой и поняли, что я не нищий. Один из них за весь день съел только полпенсовый хлебец, другой совсем ничего не брал в рот. И они заказали по два ломтика да по чашке чаю — всего-навсего на четыре пенса! Два ломтика, кстати, — это два ломтика хлеба, намазанных маслом.

В этом тоже сказалось их униженное сознание, как и по отношению к привратнику ночлеж-

ки. Но я, конечно, распорядился иначе: я велел подать яиц, жареного бекона и постепенно добавлял еще яиц и еще бекона, еще хлеба с маслом и так далее. Они не переставали отказываться, уверяя, что уже сыты, и жадно поглощали все, что приносил официант.

— Первая чашка чаю за две недели, — признался возчик.

— Замечательный чай! — сказал плотник.

Каждый из них выпил по четыре чашки. И, поверьте, это был не чай, это были помои, столь же похожие на чай, как дешевое немецкое пиво — на шампанское. Да нет, просто желтенькая водичка, не имевшая ничего общего с чаем.

Когда старики немного оправились от неожиданности, любопытно было наблюдать, какое действие оказывает на них пища. Вначале, настроившись на меланхолический лад, они стали рассказывать о том, как при различных обстоятельствах неоднократно покушались на самоубийство. Возчик признался, что с неделю назад стоял на мосту и обдумывал, не броситься ли ему в воду.

— Ну, топиться — это не дело! — горячо возразил плотник; он был убежден, что непременно стал бы барахтаться и пытаться выплыть. — Пуля

куда удобнее. Но только каким чудом раздобыть револьвер? Вот в чем загвоздка!

Согревшись горячим чаем, они повеселели и кое-что рассказали о себе. Возчик рано схоронил жену и детей; в живых остался один сын, который вырос и стал помогать ему в извозном деле. Но грянула беда: тридцати одного года сын умер от оспы. Схоронив его, старик сам заболел горячкой и попал на три месяца в больницу. И тут все пошло прахом. Из больницы он вышел слабым, ни на что не годным. А сына, который мог бы крепкой рукой поддержать отца, уже не было на свете. Маленькое предприятие прогорело. Денег — ни гроша. Пришла беда — отворяй ворота. Где уж старику начинать все сызнова? Друзья — сами бедняки — помочь не могли. Старик сделал попытку получить работу на постройке трибун для первого коронационного парада.

— «Нет, нет, нет!» Везде только «нет!» — жаловался возчик. — Я едва с ума не сошел, слыша повсюду отказ. Это «нет» стояло у меня в ушах даже ночью, спать не давало. На прошлой неделе пошел в Хакни по объявлению, но, как только сказал, сколько мне лет, опять то же самое: «Нет, куда там, — слишком стар! Нет, нет!»

Плотник родился в семье военного. Отец его

прослужил в армии двадцать два года. Два брата тоже были военными. Один, вахмистр 7-го гусарского полка, погиб в Индии, после восстания сипаев. Второй, прослужив девять лет в армии Робертса на Востоке, пропал без вести в Египте. Сам плотник не пожелал идти в солдаты, а то, верно, и его уже не было бы в живых.

— Дайте-ка вашу руку, — сказал он, расстегивая свою рваную рубашку. — Смотрите, на мне можно анатомию изучать. Тощаю, сэр, изо дня в день, тощаю от голода. Пощупайте-ка мои ребра!

Я сунул руку ему под рубаху и пощупал. Сухая, как пергамент, кожа обтягивала кости, и мне показалось, что я провел рукой по стиральной доске.

— Было у меня в жизни семь счастливых лет, — продолжал плотник. — Имел хорошую хозяюшку и трех славных дочурок. И все умерли. Скарлатина скосила девочек в две недели.

— Сэр, — вмешался возчик, показывая на наш стол, уставленный едой, и желая перевести разговор на иную, более веселую тему, — боюсь, что после такого пира мне уж не полезет в горло завтрак в работном доме.

— И мне тоже, — подтвердил плотник.

После этого они принялись обсуждать разные

вкусные кушанья; каждый вспоминал, какие замечательные блюда готовила его жена в далеком прошлом.

— Но пришлось мне как-то пропоститься три дня, — заметил возчик.

— А мне — целых пять, — сказал плотник и сразу помрачнел от этого воспоминания. — Пять дней проходил вовсе с пустым желудком, если не считать апельсинных корок. Человеческая натура не может выдержать такого надругательства, сэр, и я чуть не умер. Бродишь ночью по улицам, и такое отчаяние вдруг нападет: кажется, сделаешь что-нибудь страшное, была не была. Вы понимаете, сэр, о чем я говорю? На грабеж готов был пойти, вот... Но наступит утро, ослабеешь от холода и голода, и куда там — мышонка нет сил прихлопнуть.

Когда пища основательно разогрела им внутренности, мои старики стали говорливей и даже хвастливей и принялись рассуждать о политике. Могу сказать, кстати, что о последней они толковали не хуже любого обывателя и даже умнее многих, с кем мне приходилось беседовать. Я был немало удивлен, услыхав, как они говорят обо всем на свете, разбираются и в географии, и в истории, и в текущих событиях. Впрочем, я

уже заметил раньше: они не дураки. Их беда в том, что они стары и что их дети не потрудились дожить до этих дней и дать им теплое местечко у своего очага.

Последний штрих. На углу улицы я попрощался с моими стариками, повеселевшими, оттого что у каждого в кармане бренчало теперь по два шиллинга: постель на ночь была обеспечена. Закурив, я хотел было бросить на землю горящую спичку, но возчик выхватил ее у меня. Тогда я предложил ему весь коробок, но он сказал:

— Не беспокойтесь, сэр, к чему такой расход?

И, закурив папиросу, которой я его угостил, он передал огонек плотнику, торопившемуся набить свою трубку, чтобы использовать ту же спичку.

— Не дело зря добро растрачивать, — сказал плотник.

— Ваша правда, — согласился я, вспомнив, как провел рукой по его телу, похожему на стиральную доску.

Глава IX
«На колу»

Древние спартанцы действовали более мудро: когда илотов становилось слишком много, они устраивали на них облаву и убивали их, поражая копьями. Насколько же легче было бы проводить такие облавы при нашей усовершенствованной технике, когда изобретено огнестрельное оружие и существуют регулярные армии! Пожалуй, даже в самой густонаселенной стране можно было бы за три дня перестрелять всех работоспособных нищих, накопившихся там за год, если проводить эти мероприятия ежегодно.

Карлейль

Прежде всего да простит мне тело мое, что я таскал его по таким гнусным местам, и желудок мой — за то, что пихал в него такую дрянь. Я был «на колу», и спал, и ел «на колу», и, признаюсь откровенно, сбежал оттуда.

После двух неудачных попыток проникнуть в «палату разового ночлега» Уайтчепела я отпра-

вился туда в третий раз, пораньше: не было еще трех часов, когда я занял очередь среди отверженных. В дом пускают с шести, но, даже придя так рано, я оказался двадцатым по счету. В очереди поговаривали, что впустят только двадцать два человека. К четырем часам нас было тридцать четыре, и эти лишние десять не собирались уходить, надеясь, видимо, на чудо. Прибывали еще и еще бедняки, но, посмотрев на очередь и с горечью убедившись, что для них не хватит места в ночлежке, спешили прочь.

Сперва разговор в очереди не клеился. Но вот два моих соседа — впереди и сзади — случайно обнаружили, что оба они в одно и то же время лежали в больнице, в оспенном бараке. Познакомиться там им помешало то обстоятельство, что в переполненной больнице, кроме них, находилось еще тысяча шестьсот больных; зато, встретившись здесь, они решили вознаградить себя за упущенную возможность и принялись обсуждать спокойно и деловито самые тошнотворные подробности оспенного заболевания. Я узнал, что от этой болезни умирает примерно каждый шестой, что один из собеседников провел в бараке три месяца, а второй — три с половиной и что они там просто «гнили заживо». При этих словах у

меня мурашки побежали по телу, и я спросил их, давно ли они выписались из больницы.

— Да уже две недели, — ответил первый.

— А я три недели как вышел, — сказал другой.

Лица у обоих были изрыты оспой, хотя они убеждали друг друга, что решительно ничего не заметно. Кроме того, на руках у них были еще свежие следы болезни. И вот один — для моего вразумления — сорвал головку с незажившей язвочки. Я втянул голову в плечи, молясь в душе, чтобы она не попала на меня.

Оспа сделала этих людей бродягами. Оба они работали, когда их свалила болезнь, и оба вышли из больницы без гроша и сразу столкнулись с тяжелой задачей — найти работу. До сих пор их поиски не увенчались успехом, и после трех суток, проведенных на улице, они заняли очередь у ночлежки, надеясь получить здесь хотя бы краткий отдых.

Не только старикам приходится расплачиваться за свою беду, но также и молодым, ставшим жертвой несчастного случая или болезни. Позднее в тот же день я разговорился с человеком, которого тут все звали Живчик и который стоял первым в очереди, — верное доказательство того, что он явился сюда в час дня. Примерно год назад,

когда он служил на рыбном складе, ему пришлось поднять тяжеленный ящик с рыбой; тут у него «что-то оборвалось внутри», и он вместе с ящиком грохнулся на землю.

В больнице, куда отвезли Живчика, сказали, что у него грыжа, вправили ее, дали немного вазелину — втирать в больное место, и, продержав часа четыре, велели уходить. Не прошло, однако, и трех часов, как новый приступ свалил его на улице, и он был доставлен в другую больницу. Там беднягу кое-как подлатали. Примечательно, что хозяин рыбного склада ничего, ровным счетом ничего не сделал для пострадавшего рабочего и даже отказался хотя бы изредка давать ему какую-нибудь легкую работу. И вот теперь Живчик — конченый человек. Раньше он мог заработать себе на жизнь только тяжелым физическим трудом; теперь же, когда эта возможность утеряна, ночлежки, «обжорки» «Армии спасения» и лондонские тротуары — вот все, что для него осталось, и так уж будет до самой смерти. Случилась беда, что ж поделаешь! Попался слишком тяжелый ящик с рыбой — и прости-прощай надежда увидеть хоть немножко счастья в жизни!

Некоторые из стоявших в очереди побывали в Соединенных Штатах и теперь жалели, что

не остались там, ругали себя. Англия стала для них тюрьмой, и у них уже не было надежды вырваться на волю. Уехать невозможно: никогда им не удастся собрать денег на дорогу, и никто не возьмет их на пароход — отработать стоимость проезда. В Англии и без них полно бедняков, ищущих такой возможности.

Я назвался моряком, промотавшим свои вещи и деньги, и все сочувствовали мне и давали множество полезных советов. Советы эти сводились в основном к следующему: держаться подальше от таких мест, как ночлежки, — ни к чему хорошему это не приведет; взять курс на побережье и поставить себе одну цель — наняться на пароход; поработать, если возможно, наскрести около фунта стерлингов и дать взятку какому-нибудь пароходному эконому или помощнику, чтоб тот устроил мне проезд на родину в обмен на мой труд. Эти люди завидовали моей молодости и здоровью, им казалось, что благодаря этому я рано или поздно смогу выбраться из Англии. У них же все было позади. Старость и тяжелая жизнь на английской земле сломили их, карта бита, игра проиграна.

Был среди ожидающих один человек, еще нестарый, который, я убежден, в конце концов

выкарабкается. В молодости он уехал из Англии в Соединенные Штаты, прожил там четырнадцать лет и дольше двенадцати часов никогда не оставался без работы. Он накопил денег: ему показалось, что целый капитал, — и вернулся на родину. А теперь стоял в очереди, чтобы попасть в ночлежку.

Последние два года он служил поваром, и ему приходилось работать ежедневно с семи часов утра до половины одиннадцатого вечера, а по субботам — до половины первого ночи, то есть девяносто пять часов в неделю, за двадцать шиллингов, или пять долларов.

— Меня просто убивала эта работа, без отдыха столько часов подряд, — рассказывал он. — Пришлось уйти. Были кое-какие сбережения, но, пока искал другое место, я все прожил.

В тот день он впервые пришел в ночлежку, чтобы немного отдохнуть. Как только его отсюда выпустят, он пойдет в Бристоль, отмахает сто десять миль пешком, — зато есть надежда устроиться там на пароход и уехать в Америку.

Но таких, как этот повар, в очереди нашлось бы немного. Тут были люди жалкие, забитые, огрубевшие, часто не умевшие связать двух слов, что, кстати, не мешало им оставаться во многих

отношениях весьма человечными. Мне вспоминается, например, такая картинка: ломовой извозчик, возвращавшийся домой после трудового дня, остановил неподалеку от нас свою телегу, чтобы подсадить сынишку, выбежавшего на улицу встретить папу, но телега была слишком высока, и малыш никак не мог на нее вскарабкаться. Тогда какой-то с виду совсем опустившийся человек вышел из нашей очереди, шагнул на мостовую, поднял ребенка на руки и усадил в телегу. Этот поступок тронул меня своим полным бескорыстием. Извозчик был сам бедняк, и бездомный знал об этом; бездомный дожидался впуска в ночлежку, и извозчик знал об этом; но бездомный проявил чуткость и любезность, и извозчик поблагодарил его, как равный равного, как поблагодарил бы я вас, если бы вы оказали мне услугу.

Очень трогательно выглядела также одна пара: сборщик хмеля и его «старушка». Он занял очередь раньше, а она присоединилась к нему через полчаса. Для женщины в ее положении она имела, я бы сказал, приличный вид: седые волосы прикрывала шляпка (правда, довольно поношенная), в руках был холщовый узелок с вещами. Слушая, как жена что-то ему рассказывает,

старик поймал выбившуюся у нее на ветру белоснежную прядь, двумя пальцами ловко скрутил и бережно засунул ей за ухо, под шляпку. Этот жест сказал мне о многом: о том, что он хочет, чтобы она выглядела опрятно и привлекательно; о том, что он гордится своей женой, дожидающейся очереди в ночлежку, и желает, чтобы она производила хорошее впечатление и на других несчастных, стоящих в этой очереди. И, самое главное, как основа всего, что он к ней крепко привязан, ибо иначе ему было бы все равно, опрятно или неопрятно она выглядит, и он едва ли стал бы так гордиться ею.

Я не мог взять в толк, почему эта супружеская пара, привычная, как я понял из их разговора, к упорному труду, вынуждена искать случайного нищенского ночлега. У него было чувство собственного достоинства и чувство гордости за свою жену. Когда я спросил, сколько, по его мнению, я, новичок в этом деле, мог бы заработать на уборке хмеля, он оценивающе оглядел меня и ответил несколько туманно. Многие не годятся для такой работы, потому что не могут быстро собирать хмель. Чтобы научиться этому, нужно иметь хорошую голову и проворные пальцы, необыкновенно проворные пальцы. Вот они с же-

ной очень ловко это делают: у них всегда общий ларь, и они не спят за работой. Но, конечно, это уже от многолетней привычки.

— Один мой товарищ поехал туда в прошлом году, — вмешался кто-то из стоявших рядом, — поехал первый раз в жизни, а привез назад целых два фунта десять шиллингов, только за месяц.

— Вот-вот! — подтвердил старик с форменным восхищением. — Значит, у него проворные руки. Значит, у него к этому делу природная сноровка, да!

Два фунта десять шиллингов — двенадцать с половиной долларов — за месяц работы, да еще если у тебя к ней «природная сноровка»! И притом спать под открытым небом, без одеял, и жить бог знает как! Порой я благодарен судьбе, что не имею природной сноровки ни к чему, даже к сбору хмеля.

По части экипировки для работы на хмельнике этот человек дал мне много ценных советов, которые прошу всех изнеженных, благородных господ учесть, на случай если им придется сесть на мель в городе Лондоне.

— Надо иметь кастрюльки или жестянки, не то поневоле будешь жрать один хлеб с сыром, — говорил старик. — А это самое паршивое дело.

Нужно и чайку горячего попить, и поесть чего-нибудь овощного да хоть изредка перехватить кусочек мяса, если хочешь работать по-настоящему. Всухомятку много не наработаешь. Я тебя, парень, научу, что делать. Походи утром и поройся на помойках. Найдешь сколько угодно жестянок. Иной раз замечательные попадаются. Мы с женой свои там же подобрали. — Он ткнул пальцем на узелок у нее в руках, и она подтвердила его слова горделивым кивком; лицо ее сияло добротой и уверенностью в успехе и богатстве. — И вот это пальто — теплое, как одеяло. — Он поднял полу, чтобы я мог пощупать толщину материи. — А может, скоро я и одеяло найду.

Жена снова закивала и заулыбалась, совершенно убежденная, что, конечно, он скоро найдет и одеяло.

— Для меня собирать хмель все равно что праздник, — восторженно продолжал ее муж. — Хороший способ выколотить два-три фунта и обеспечить себя на зиму. Вот только плохо, что ходить далеко, — устаешь копыта бить.

«Ничего себе — только!» — подумал я. Ясно было, что возраст давал себя знать и «бить копыта», то есть передвигаться по способу пешего хождения, этим энергичным людям, любящим работу и

гордящимся проворством своих пальцев, становилось все труднее. Я глядел на их седые головы и думал: что же будет с ними лет через десять?

Мое внимание привлекла еще одна чета. Обоим явно за пятьдесят. Жену, снисходя к ее полу, пустили на ночлег, а мужа — нет, он опоздал; и вот, разлученный со своей подругой, он ушел, чтобы бродить всю ночь по городу.

Ширина улицы, на которой мы стояли, едва ли достигала двадцати футов, ширина тротуаров не превышала трех. Улица была застроена жилыми домами. Во всяком случае, на противоположной стороне ютился — худо ли, хорошо ли — рабочий люд. И каждый день от часу до шести напротив их окон выстраивались оборванцы, чающие попасть в ночлежку. Как раз напротив нас сидел на крылечке дома какой-то рабочий — вышел, видно, подышать воздухом после трудового дня. Его жене захотелось поболтать с ним, но так как крылечко было слишком узкое, ей приходилось стоять. Тут же возились их ребятишки. А меньше чем в двадцати шагах от них теснилась очередь в ночлежку; и жизнь рабочих, и жизнь бродяг была на виду. Под ногами у нас вертелись дети из соседних домов. Их не удивляло наше присутствие, они к этому привыкли, как привыкли к

кирпичным стенам домов и каменной мостовой. День за днем с самого рождения они наблюдали это зрелище.

В шесть часов очередь стала продвигаться; людей впускали по трое. Фамилия, возраст, род занятий, место рождения, степень нуждаемости, где провел предыдущую ночь, — все это смотритель записывал с быстротой молнии. Когда я повернулся, чтобы идти, меня напугал какой-то человек, сунув мне в руку предмет, напоминавший на ощупь кусок кирпича, и выкрикнув над самым моим ухом:

— Нож, спички, табак есть?

— Нет, сэр, — солгал я по примеру остальных.

Спускаясь в подвал, я разглядел предмет, который держал в руке. Только совершая насилие над языком, этот кусок можно было назвать хлебом. Твердый и тяжелый, он, несомненно, был выпечен без дрожжей.

Подвал был тускло освещен. Не успел я освоиться с этим полумраком, как кто-то сунул мне в другую руку жестяную миску. Спотыкаясь, я перешел в следующее помещение, еще более темное, где за столами сидели на скамейках люди. Пахло здесь отвратительно. Зловещий мрак, смрад и приглушенные голоса, долетавшие отку-

да-то из темноты, делали это место похожим на преддверие ада.

У многих были натерты ноги, и, прежде чем приняться за еду, они стаскивали с себя башмаки и разматывали грязные портянки. Это усилило зловоние и окончательно убило мой аппетит.

Тут я понял, что совершил ошибку. Я плотно пообедал пять часов назад, а чтобы оценить здешнее меню, следовало поголодать денечка два. В моей миске плескалась похлебка: горячая вода с кукурузными зернами. Люди макали куски хлеба в соль, насыпанную кучками на грязных столах. Я последовал их примеру, но хлеб застрял у меня в горле, и я вспомнил слова плотника: «Нужно не меньше двух кружек воды, чтобы его разжевать».

Я направился в темный угол, куда, как заметил, подходили другие, и нашел там воду. Затем вернулся к столу, чтобы разделаться с похлебкой. Кукуруза была полусырая, плохо посоленная, горькая и оставляла противный вкус во рту. Я мужественно съел пять-шесть ложек, но приступ тошноты заставил меня сдаться. Сосед, успевший проглотить свою порцию, докончил и мою. Он выскреб обе миски и стал метать голодные взгляды по сторонам — не осталось ли где-нибудь еще.

— Я встретил сегодня земляка, и он угостил меня сытным обедом, — объяснил я ему.

— А я, — отозвался он, — со вчерашнего утра в рот не брал ни крошки.

— Табачку? — предложил я. — Только как бы этот дубина не придрался.

— Нет, — отвечал он, — ни черта не бойся. Эта ночлежка самая хорошая. Вот побывал бы ты в других! Уж там когда обыскивают, так всего обшарят!

Когда все миски были выскоблены дочиста, беседа оживилась.

— Здешний смотритель вечно пишет про нас, подлецов, в газетах, — сказал один из моих соседей по столу.

— Что же он пишет? — полюбопытствовал я.

— Да вот, что все мы никудышные люди, мерзавцы и негодяи и не хотим работать. Расписывает разные допотопные истории, про которые я уже лет двадцать слышу, да что-то сам никогда такого не видывал. Последний раз он написал в газете про одного парня, который прихватил в кармане из ночлежки корку хлеба, увидал какого-то важного пожилого господина и кинул свою корку в решетку канализации, потом подошел к этому старику и попросил одолжить ему палку, чтобы

выудить хлеб. Ну, старик и подал ему медяк.

Этот избитый анекдот был встречен шумным одобрением слушателей. Затем из мрака донесся чей-то сердитый голос:

— Болтают, будто в других городах со жратвой лучше. Хотел бы я это повидать. Был я вот недавно в Дувре — ни черта там нет, никакой жратвы. Глотка воды тебе не дадут, не то что пожрать!

— А вот в Кенте есть такие, что живут все время на месте и никуда не едут, — послышался другой голос. — Ну и морды же себе раскормили — страх!

— Я проходил через Кент, — еще злее отозвался первый, — и никакой там жратвы не видел, чтоб мне пропасть! Я уж давно приметил: все эти типы только вечно хвалятся, будто им везде дают, а как дорвутся до ночлежки, так живо слопают всю похлебку, да и твою норовят прихватить.

— Есть и в Лондоне такие, — сказал человек, сидевший напротив меня, — для которых во всякое время сколько угодно жратвы; этим тоже никуда не нужно ехать. Живут себе и живут в Лондоне круглый год, даже о ночлежке не беспокоятся — заявляются сюда в девять, а то и в десять часов вечера.

Все хором подтвердили правоту его слов.

— Хитрые, черти! — раздался чей-то восхищенный голос.

— Еще бы! — отозвался кто-то. — Мы с тобой так не умеем. Такими родиться надо. Небось с пеленок открывали господам дверцы экипажей да торговали газетами. И мать с отцом тем же занимались, и их приучили, а мы с тобой подохли бы с голоду на такой работе.

Это было тоже подтверждено дружным хором, равно как и заявление, что есть такие типы, которые круглый год преспокойно живут в ночлежке, всегда обеспечены куском хлеба и похлебкой, и никакой голод им не страшен.

— А я раз получил полкроны в стратфордской ночлежке, — сказал какой-то бедняк, до сих пор молчавший; мгновенно воцарилась тишина, и все как зачарованные внимали чудесному рассказу. — Нас послали втроем дробить камень. Дело было зимой, холод зверский. Те двое, что со мной пришли, говорят: «Ну ее к черту, эту работу!» — и не стали работать. А я все грохаю да грохаю, чтобы согреться. Вдруг откуда ни возьмись комиссия! Этих двух упекли на четырнадцать суток, а мне за мой труд каждый из комиссии дал по шесть пенсов, — а их там было пятеро. И тут же меня отпустили.

Большинство этих людей, вернее сказать — все, не любят ночлежек, но их гонит туда необходимость. После ночи отдыха «на колу» они в состоянии провести двое-трое суток на улице, пока нужда снова не загонит их в ночлежку. Разумеется, такая жизнь быстро подтачивает их организм, и они это понимают, хотя и смутно, но уже настолько свыклись, что перестали тревожиться.

Среди бродяг существует мнение, что самая сложная проблема — найти угол для спанья, что это даже труднее, чем прокормиться. Объясняется такое положение главным образом плохим климатом и суровыми полицейскими правилами, но послушать этих людей, так во всем виноваты иммигранты, особенно польские и русские евреи, которые захватывают их места, работая за более низкую плату и тем поддерживая систему потогонного труда.

Около семи часов нас погнали мыться и спать. Каждый разделся догола, завернул одежду в пиджак и перевязал сверток поясом. Все свертки мы свалили на переполненную вещами полку и просто на пол — отличный метод распространения насекомых, — затем парами прошли в обмывочную. Там стояли две большие лохани, и

я сам видел, как двое до нас мылись в воде, в которую сели мы, а затем двое, пришедших вслед за нами, окунулись в ту же самую воду. Это я видел собственными глазами, но, помимо того, готов поручиться, что в одной и той же воде мылись все двадцать два человека.

Я только сделал вид, будто ополаскиваюсь этой грязной водицей, и поспешно вытерся совершенно мокрым полотенцем, которым до меня пользовались другие. На душе у меня не стало легче, когда я увидел спину одного бедняка, всю в укусах насекомых и расцарапанную в кровь.

Мне выдали рубаху — трудно было определить, сколько человек облачалось в нее до меня, — и два одеяльца. Сунув их под мышку, я поплелся в «спальное отделение». Это была длинная узкая комната, вдоль которой тянулись в два ряда невысокие железные перила. На них висели гамаки, даже не гамаки, а просто узкие куски парусины. Пространство между «постелями» было едва ли шире ладони, и примерно такое же расстояние отделяло их от пола. Неприятнее всего было то, что голова оказывалась выше ног и тело все время соскальзывало вниз. Все «постели» крепятся к общим перилам — стоит одному хоть чуть пошевелиться, и остальных уже раскачива-

ет. Только я успевал задремать, как кто-нибудь начинал ворочаться, чтобы удержаться на своем ложе, и будил меня.

Прошел не один час, прежде чем я смог заснуть. Нас уложили в семь часов, а крики детей, игравших на улице, не затихали почти до полуночи. В комнате стояла ужасающая тошнотворная вонь, воображение мое разыгралось не на шутку, и вся кожа так зудела, что я едва не лишился рассудка. Стоны, бормотание и храп, сливаясь воедино, создавали впечатление, будто в комнате находится какое-то огромное допотопное чудовище. Несколько раз за ночь я, да и не я один, просыпался от истошных криков других ночлежников, которых, вероятно, душили кошмары. Под утро меня разбудила крыса, прыгнувшая на грудь. Поднятый ото сна столь неожиданным способом и еще не очнувшись как следует, я испустил такой отчаянный вопль, который мог бы пробудить и мертвого. Во всяком случае, живых-то я поднял, и все они хором принялись бранить меня за невоспитанность.

Но вот настало утро. В шесть часов нам дали завтрак — хлеб и жидкую похлебку (я уступил еду соседу) — и распределили на работу. Одних назначили чистить помещение, других — трепать

пеньку, а восьмерых — в том числе и меня — повели под конвоем через улицу в уайтчепелский лазарет убирать мусор. Так людей заставляют возмещать стоимость похлебки и пользования парусиновой койкой. По моему убеждению, я оплатил с лихвой все затраты.

Хотя нам поручили невообразимо мерзкую работу, она, оказывается, считалась наилучшей, и все семеро пришедших со мной решили, что им здорово повезло.

— Не трогай этого, браток. Сиделка сказала, что тут смертельная зараза, — предупредил меня мой напарник, когда я открыл мешок, в который он приготовился высыпать содержимое мусорного ведра.

Мусор был из больничных палат, и я заверил моего товарища, что не собираюсь трогать заразу и не позволю, чтобы зараза коснулась меня. Тем не менее мне пришлось тащить на спине с пятого этажа вниз не только этот мешок с мусором, но и много других. Мы опорожняли мешки в помойный ящик и поспешно обливали мусор крепким дезинфицирующим раствором.

Возможно, во всем этом есть какое-то мудрое милосердие. Бедняк в ночлежке, или в «обжорке» «Армии спасения», или на улице под открытым

небом — одна обуза для общества. От него никому нет пользы, и сам он себе тоже в тягость — только небо коптит. Так не лучше ли ему исчезнуть? Подкошенный жизненными неудачами, изнуренный, голодный, он первая жертва любых эпидемий и быстрее всех сходит в могилу. Он и сам чувствует, что силы общества направлены на его уничтожение.

Мы поливали дезинфицирующей жидкостью участок вокруг мертвецкой, когда подъехали похоронные дроги и на них свалили пять трупов. Разговор тут же перешел на «белый яд» и «черную отраву». Мои товарищи по работе твердо верили, что, если бедняк, будь то мужчина или женщина, совсем плох или доставляет чересчур много хлопот, его в больнице «прикручивают в два счета». Они считали, что беспокойным и неизлечимым больным вливают дозу «белого яда» или «черной отравы» и отправляют их на тот свет. Безразлично, так это на самом деле или не так. Важно то, что люди в этом уверены и даже придумали термины: «прикручивают в два счета», «белый яд», «черная отрава».

В восемь часов мы сошли в подвал под лазаретом, и нам принесли чаю и гору больничных объедков, наваленных на громадном подносе.

Здесь были хлебные корки, куски сала и жира, опаленная свиная кожа, обглоданные кости — и все это побывало в руках и во рту у больных, страдающих самыми различными недугами. Ночлежники рылись в этой куче, переворачивали куски, разглядывали, отбрасывали совсем уж непригодные, хватали что получше. Да, не очень-то привлекательно выглядели эти люди! Вели они себя, надо прямо сказать, по-свински. Но несчастные были голодны и жадно поедали отбросы. Насытившись, каждый заворачивал остатки в носовой платок и прятал за пазуху.

— Однажды мне тут повезло, — сказал Живчик. — Я нашел целую кучу свиных костей вон там. — Он указал на помойку, в которую сваливали мусор из палат и обливали карболкой. — Такие это были кости — первый сорт, мяса полно! Я собрал их в охапку — и шасть за ворота, чтобы отдать кому-нибудь. Но, как назло, на улице ни души, и я ношусь как полоумный, а сторож за мной, — думал, верно, что я хочу удрать. Но прежде чем он меня схватил, я-таки успел высыпать кости в передник какой-то старухе.

О Благотворительность! О Филантропия! Спустились бы вы хоть разок в ночлежку и поучились у этого Живчика! На самом дне бездны он доказал

свою любовь к ближнему альтруистическим поступком, который сделал бы честь многим, никогда не заглядывавшим сюда. Живчик поступил благородно. И даже если старуха подхватила какую-нибудь заразу от этих свиных костей, все равно это было прекрасно, хоть, может быть, и не совсем прекрасно. Но особенно примечательно, на мой взгляд, то, что бедный парень едва не помешался от волнения: ведь могло пропасть зря столько превосходной провизии!

Согласно правилам ночлежек каждый попавший туда должен провести там полтора суток, однако я уже успел повидать все, что меня интересовало. Я оплатил полностью и похлебку, и ночлег и теперь собирался уйти.

— Давай смоемся отсюда, — предложил я одному из товарищей по работе, указывая на ворота, которые открыли, чтобы пропустить дроги с мертвецами.

— И заработаем четырнадцать суток?

— Зачем? Мы удерем!

— Нет. Я пришел сюда отдохнуть, — вяло отозвался он, — и лишняя ночевка под крышей мне не повредит.

Все прочие были того же мнения. Оставалось удрать одному.

— Помни только: сюда больше нипочем не пустят, — предупредили они меня.

— Ну и не надо! — крикнул я с непонятным для них задором и, выскочив за ворота, со всех ног помчался по улице.

У себя в комнате я переоделся, и не прошло и часа, как уже парился в турецкой бане, выгоняя из своих пор грязь и микробы и сожалея, что не в силах стерпеть температуру в сто шестьдесят градусов вместо ста.

Глава X
«Хождение с флагом»

Я не хочу, чтобы рабочий был принесен в жертву плодам своего труда. Я не хочу, чтобы рабочий был принесен в жертву моим удобствам и моему тщеславию или же удобствам и тщеславию всего класса, состоящего из таких, как я. Пусть ситец будет хуже, а люди будут лучше. У ткача нельзя отнимать сознание, что главное – это он, а не его работа.

***Эмерсон*[140]**

«Ходить с флагом» — означает слоняться всю ночь по улицам. И вот, подняв воображаемый флаг, я вышел из дому, чтобы повидать все, что удастся. Ночью можно встретить бездомных обоего пола повсюду в этом громадном городе, но сегодня я решил отправиться на Западную сторону, в район Лестерской площади, побродить между набережной Темзы и Гайд-парком.

Когда в театрах окончились спектакли, дождь

---

[140] Примечания: 140

Эмерсон Ралф Уолдо (1803–1882) — американский писатель и философ-идеалист.

лил как из ведра. Из театральных подъездов высыпала нарядная публика и кинулась искать извозчиков. Улицы были запружены экипажами, но почти все они были уже заняты. И тут я увидел, как бедняки — не только мальчуганы, но и взрослые мужчины — прилагают отчаянные и даже рискованные усилия, стараясь раздобыть экипаж для богатых господ, чтобы заработать малую толику себе на ночлег. Именно «рискованные» — я обдуманно употребляю это выражение, — ибо эти люди рисковали промокнуть до нитки, лишь бы заработать себе на койку, и большинство из них, как я успел заметить, вымокнуть вымокли, а ничего не заработали. Бродить ночь напролет в мокрой одежде, под холодным дождем, когда вы до крайности истощены и во рту у вас не было ни кусочка мяса вот уже неделю, а то и месяц, — пожалуй, одно из тягчайших испытаний, какие могут выпасть на долю человека. Однажды — дело было в Клондайке — я, сытый и хорошо одетый, проехал целый день на нартах в шестидесятиградусный мороз. Это было тоже невесело, но сущий пустяк по сравнению с тем, что испытывают голодные, плохо одетые и вдобавок промокшие до костей люди, которые вынуждены «ходить с флагом» всю долгую ночь напролет.

После того как театральная публика разошлась, улицы затихли, опустели. Только вездесущий полисмен, возникая то тут, то там, шарил своим фонарем в подъездах и темных закоулках, да жались к стенам зданий, ища укрытия от дождя и ветра, бездомные мужчины, женщины и дети. На Пикадилли, впрочем, было не так пустынно. Панель оживляли нарядно одетые женщины, прогуливавшиеся в единственном числе, и здесь, не в пример другим улицам, обнаруживалась кипучая деятельность, связанная с поисками кавалера. К трем часам ночи, однако, исчезли и эти женщины, и тогда стало совсем тихо.

В половине второго ливень начал утихать и перешел в мелкий обложной дождь. Бездомные оторвались от стен и разбрелись кто куда, чтобы размять ноги и хоть немного согреться.

Еще с вечера я заметил на Пикадилли, неподалеку от Лестерской площади, старуху лет под шестьдесят. Казалось, у нее не хватало уже ни физических сил, ни сообразительности, чтобы спрятаться от дождя или просто сдвинуться с места; она словно впала в транс, грезя, возможно, о тех далеких днях, когда была молода и в жилах ее текла горячая кровь. Но старуху не оставляли в покое — каждый полисмен считал своим долгом

гнать ее прочь. Протащившись несколько шагов, она оказывалась лицом к лицу с новым полисменом, который в свою очередь гнал ее дальше. К трем часам ночи она успела доплестись до Сент-Джеймс-стрит, а когда башенные часы пробили четыре, я увидел, что старуха крепко спит, привалившись к чугунной ограде Грин-парка. В это время снова хлынул ливень, и она, конечно, промокла до костей.

«Вообрази, — сказал я самому себе в час ночи, — что ты бедный молодой человек, очутившийся в Лондоне без гроша в кармане, и с утра тебе нужно идти искать работу. А для того чтобы хватило сил на поиски и, может, даже на труд, если тебе повезет, необходимо хоть немного поспать».

И вот я присаживаюсь на каменных ступенях какого-то здания. Через пять минут замечаю, что на меня уставился полисмен, но так как глаза мои широко раскрыты, полисмен с ворчанием удаляется. Минут через десять я склоняю голову на колени, пытаясь вздремнуть. И сразу же слышу грубый окрик полисмена:

— Эй, ты, проваливай отсюда!

Я встаю, плетусь куда-то. Но стоит мне где-нибудь присесть, как предо мной немедленно вырастает полисмен и гонит меня дальше.

Окончательно отказавшись от надежды поспать, я пустился бродить по улицам в сопровождении молодого лондонца, который приехал из британских колоний и мечтал вернуться туда. Я заметил теряющуюся во мраке сводчатую нишу какого-то здания. Ее прикрывала невысокая железная решетка.

— Давай перелезем через решетку, — предложил я, — и выспимся как следует.

— Что? — Мой спутник испуганно отшатнулся от меня. — Хочешь угодить в тюрьму на три месяца? Черта с два!

Под утро я проходил мимо Гайд-парка. Вместе со мной шагал на этот раз изможденный подросток лет пятнадцати; у него были глубоко запавшие глаза и совершенно больной вид.

— Хочешь, перемахнем за ограду, спрячемся в кустах и там поспим? — сказал я. — Полисмены нас не найдут.

— Как же! — возразил он. — А сторожа? Схватят и упекут на шесть месяцев.

Увы, времена меняются. В детстве я не раз читал про бездомных мальчишек, ночующих под лестницами. Это стало литературной традицией. Как стандартная ситуация ночевки под лестницами, несомненно, сохранятся в книгах еще лет

сто, но в жизни это уже вывелось. Существуют бездомные мальчишки, существуют и подъезды, но былого счастливого сочетания уже не встречается. В подъездах пусто, мальчишки не спят, а слоняются всю ночь по улицам.

— Я спрятался под арками во время дождя, — угрюмо сказал мне другой паренек («под арками» — значит под береговыми устоями темзенских мостов), — но полисмен прогнал меня. Я побродил вокруг и вернулся, а он тут как тут. «Эй, — кричит, — опять здесь околачиваешься?» Пришлось убраться. Но все-таки я сказал ему: «Испугался, что я украду ваш сволочной мост?»

Среди лондонских бездомных Грин-парк славится тем, что его ворота открываются раньше, чем ворота других парков, и в четверть пятого утра я вошел в Грин-парк в компании бродяг. Снова припустил дождь, но люди так устали и намучились за ночь, что бросились на скамьи и тут же заснули. Другие в полном изнеможении растянулись прямо на мокрой траве и заснули под проливным дождем.

А теперь я хочу подвергнуть критике властей предержащих. Конечно, сила у них — они могут приказывать все, что заблагорассудится, я же лишь беру на себя смелость критиковать абсурд-

ность их приказаний. Они заставляют бездомных ночи напролет бродить по городу. Они гонят их из подъездов и подворотен и не пускают в парки. Цель, которую они преследуют, очевидна: не дать людям спать! Ладно. Власти могут лишить бездомных сна и даже еще чего-нибудь, — на то они и власти. Но почему же тогда в пять часов утра открывают они ворота парков и пускают туда бедняков? Если уж решили лишить людей сна, зачем давать им спать после пяти утра? А если не собирались лишать их сна, так что стоило пустить их сюда пораньше, с вечера?

По этому поводу могу добавить, что я проходил через Грин-парк в тот же день после полудня и насчитал множество оборванцев, храпевших на траве. Было воскресенье, солнце то выглядывало из-за облаков, то снова пряталось, и тысячи нарядных обитателей Западной стороны с женами и детьми прогуливались по парку. Вероятно, смотреть на грязных, оборванных бродяг, валявшихся на траве, было им не особенно приятно, а сами бродяги, я уверен, предпочли бы иметь возможность выспаться еще ночью.

Итак, благородные изнеженные господа, если вам случится посетить город Лондон и увидеть в парке людей, дремлющих на скамьях и на траве,

не спешите делать заключение, что это лодыри, предпочитающие спать, а не работать. Знайте, что по вине властей предержащих они вынуждены были слоняться всю ночь по улицам и что другого места для отдыха днем у них нет.

Глава XI
«Обжорка»

…И я считаю, требование, чтобы у всех людей было здоровое тело, влечет за собой все остальные справедливые требования, ибо кто знает, где были посеяны первые семена тех болезней, от которых страдают даже богачи? В излишествах предков? Возможно. Но скорее, сдается мне, – в их бедности.

***Вильям Моррис*[141]**

Пробродив всю ночь «с флагом», я не заснул в Грин-парке и с наступлением утра. Хоть я промок насквозь и не спал сутки, но, войдя в роль безработного бедняка, должен был прежде всего промыслить себе завтрак, а затем поискать работу.

Прошлой ночью я слышал, что есть такое местечко на саррейской стороне Темзы, где «Армия спасения» раздает по воскресеньям бесплатные завтраки «немытым» (а после «хождения с фла-

---

[141] Примечания: 141

Моррис Вильям (1834–1896) — английский писатель и художник, утопический социалист.

гом» совсем нетрудно оказаться немытым, если только не помог вам дождь). «Именно то, что мне нужно, — подумал я. — Позавтракать пораньше и потом иметь в своем распоряжении целый день для поисков работы».

Я проделал длинный утомительный путь, миновал Сент-Джеймс-стрит, Пэлл-Мэлл, Трафальгарскую площадь и Стрэнд, потом, усталый до изнеможения, перешел по мосту Ватерлоо на саррейскую сторону, на Блэкфрайерз-роуд неподалеку от театра, и около семи часов приплелся к казармам «Армии спасения». Это и была «обжорка», что в переводе с жаргона на обычный язык означает место, где можно получить даровую еду.

Здесь собралась пестрая толпа обездоленных людей, пробродивших ночь под дождем. Такая страшная нищета и в таком многообразии! Люди самого разного возраста — от стариков до мальчишек, и мальчишки тоже всех возрастов. Многие дремали стоя, человек десять спали крепким сном, приткнувшись на каменных ступенях в крайне неудобных позах. Сквозь дыры в лохмотьях проглядывало покрасневшее от холода тело. И по всей улице, на крыльце каждого дома тоже сидели люди — по двое, по трое. Все они

спали, уронив голову на колени. Хочу напомнить, что Англия сейчас не переживает каких-либо исключительных трудностей. Жизнь в стране протекает так же, как всегда, — не лучше, но и не хуже, чем в другие годы.

И вдруг на улице появился полисмен и заорал:

— Вон отсюда, свиньи проклятые! Эй, вы! Вон отсюда!

Он принялся гнать людей как собак, на все четыре стороны. Особенное неистовство вызвали в нем те, кто уснул на крыльце казармы.

— Позор! Стыд и позор! — кричал он. — Ведь воскресенье сегодня! Ну и зрелище! Эй, вы, черти, нарушители порядка, вон отсюда!

Да, конечно, это было скандальное зрелище. Мне и самому было противно смотреть. И я не хотел бы, чтобы моя дочь увидела эту страшную картину. Я не подпустил бы ее сюда и за милю. Но… вот в том-то и дело, что «но», — и ничего другого не остается сказать.

Полисмен скрылся из виду, и мы снова облепили крыльцо, как мухи банку с медом. Ведь нас ждало нечто замечательное — завтрак! Если бы нам сказали, что тут будут пригоршнями раздавать золото, мы и тогда, наверное, не теснились бы у этой двери более жадно и настойчиво. Неко-

торые успели и тут заснуть, не присаживаясь. Но вот вернулся полисмен, и мы опять разбежались кто куда и опять устремились к крыльцу, как только опасность миновала.

В половине восьмого приоткрылась узкая дверца, и в ней показалась голова солдата «Армии спасения».

— Освободить проход! — скомандовал он. — У кого есть талоны — пусть проходят. У кого нет — будут ждать до девяти.

До девяти часов! О, завтрак, завтрак! Придется ждать еще целых полтора часа! Все с завистью смотрели на счастливых обладателей талонов, которым дозволено было пройти в помещение, умыться, присесть и отдохнуть в ожидании завтрака. Нам же придется ждать его здесь. Талоны были розданы накануне на набережной и на улицах, и достались они этим счастливцам не за какие-либо особые их достоинства, а по воле случая.

В половине девятого впустили еще одну партию с талонами, а около девяти узенькая дверца открылась и для нас. Каким-то чудом мы протиснулись внутрь и очутились, как сельди в бочке, в битком набитом дворике. Много раз за годы бродяжничества у себя на родине мне приходилось

с немалым трудом добывать себе завтрак, но ни один завтрак никогда не доставался мне ценой таких усилий, как этот. Более двух часов прождал я на улице и час с лишним во дворе. Я ничего не ел всю ночь и чувствовал слабость во всем теле, а тут еще запах грязного белья и потных, немытых тел, прижатых ко мне со всех сторон, — от всего этого меня едва не стошнило. Мы были так плотно спрессованы, что многие воспользовались этим и заснули стоя.

Я не берусь судить об «Армии спасения» в целом — для этого я недостаточно осведомлен — и позволю себе подвергнуть критике только тот ее филиал, деятельность которого протекает на Блэкфрайерз-роуд, вблизи театра «Саррей». Прежде всего я считаю, что жестоко и бессмысленно принуждать людей, не спавших всю ночь, еще несколько часов выстаивать на ногах, как принуждали нас, слабых, голодных, измученных бессонной ночью, стоять без всякой разумной причины.

В толпе оказалось много матросов, и среди них не меньше дюжины американцев. Я выяснил, что чуть ли не каждый четвертый из пришедших сюда стремится поступить на пароход. Свое пребывание на суше все они объясняли на один лад,

и, знакомый с морскими порядками, я верил им. Британские суда нанимают матросов на круговое плавание, с обязательным возвращением в порт отправления; такое плавание иной раз длится до трех лет, причем матрос не имеет права уйти и получить расчет, пока не отработал срок полностью. Плата на судах мизерная, кормежка скверная, обращение и того хуже. Нередко по вине капитана матросы бегут с кораблей и застревают где-нибудь в Америке или в колониях, а их заработок — изрядная сумма — идет в пользу капитана или пароходной компании. Впрочем, какова бы ни была причина, таких дезертиров бывает много, и капитану приходится брать в обратное плавание кого попало. Новому матросу платят чуть больше: по ставкам той страны, где его нанимают, — но берут его только в один конец — до прибытия в Англию. И это понятно. Было бы весьма нерасчетливо вербовать его на более долгий срок, если в Англии матросов всегда хоть пруд пруди и платить им можно мало. Поэтому появление американских матросов в казарме «Армии спасения» было нисколько не удивительно. Они искали диковинные места, поехали в Англию — и вот очутились в самом диковинном из всех.

В толпе находилось еще человек двадцать американцев — не матросов, а «отпетых босяков», чей друг — «шальной бродяга-ветер». Это были веселые парни, главной чертой которых являлся неистребимый оптимизм, и они осыпали Англию изощренной бранью, которая показалась мне приятным разнообразием после того, как пришлось целый месяц слушать одну и ту же фразу, употребляемую лишенным воображения лондонским кокни. У кокни есть лишь одно ругательство, одно-единственное, причем совершенно непристойное, и он его пускает в ход во всех случаях жизни. Совсем другое дело — наш Запад с его красочными и разнообразными словечками, отдающими не столько непристойностью, сколько богохульством. В конце концов, если без ругани человеку не обойтись, то я предпочту богохульство непристойности: в нем смелость, вызов, удальство, что куда лучше, чем просто грязь!

Один босяк из Америки особенно мне понравился. Я приметил его еще на улице — он спал на крыльце, уткнув голову в колени. Я обратил внимание на его шляпу: такую не встретишь по эту сторону океана. Когда полисмен заорал на него, он встал неторопливо и спокойно, смерил

полисмена взглядом, зевнул, потянулся, опять посмотрел на полисмена, всем своим видом как бы говоря, что еще подумает, уходить ему или нет, и лишь потом двинулся вразвалку по тротуару. Если я раньше догадывался об американском происхождении только шляпы, то теперь у меня уже не было никаких сомнений, что и ее владелец — мой соотечественник.

Во дворе, в тесноте и давке, нас притиснули друг к другу, и мы разговорились. Он побывал и в Испании, и в Италии, и в Швейцарии, и во Франции и одержал почти невероятную победу, проехав триста миль зайцем по французским железным дорогам и не попав в лапы жандармам. Он спросил меня, где живу, где ночую, познакомился ли уже немного с городом. Сам-то он ничего — устраивается кое-как, хотя страна злющая, а города — просто дрянь. Скверно, а? И попрошайничать нельзя нигде: сразу сцапают. Но он не отступит. Вот скоро сюда приедет цирк «Буффало-Билл», и такой человек, как он, который может править восьмеркой лошадей, конечно, получит там работу. Разве здешние обезьяны это умеют? Ни черта они не умеют, им только на волах ездить! Почему бы и мне не дождаться и не попытать счастья в цирке? Он уверен, что я куда-нибудь

там пристроюсь.

В конце концов, кровь не вода. Мы были соотечественниками и оба на чужбине. Его старая шляпа с первого взгляда вызвала во мне теплые чувства, и он как-то сразу принял братское участие в моей судьбе. Мы обменялись разными полезными сведениями насчет страны и ее обычаев и различных способов добывать здесь пищу, кров и прочее и простились, искренне сожалея, что надо расставаться.

Я обратил внимание на то, что в этой толпе все какие-то маленькие. Я, человек среднего роста, смотрел поверх голов. И англичане, и иностранные матросы — все были коротышки. В этой массе людей только пятеро или шестеро были довольно рослые, и те оказались скандинавами или американцами. Однако самым высоким ростом отличался все-таки англичанин, но и он не был лондонцем.

— Вполне годился бы для лейб-гвардии, — сказал я ему.

— Попал в точку, друг, — откликнулся он. — Я уже служил там, и похоже, что скоро придется туда вернуться.

С час мы стояли в этой тесноте тихо и смирно. Потом люди начали нервничать. Кое-кто пы-

тался пробраться вперед, возникла толкотня, раздались недовольные голоса. Впрочем, ничего грубого или резкого — просто усталые голодные люди проявляли некоторое беспокойство. Как раз в этот момент к нам вышел адъютант «Армии спасения». Мне не понравились его злые глаза и то, что в нем не было ничего от милосердного самаритянина, зато весьма много от центуриона, который говорил: «У меня в руках власть, и мне подчиняются солдаты; я говорю этому человеку: „Иди“, — и он идет, а другому: „Приди“, — и он приходит; и слуге моему: „Делай это“, — и он делает».

Именно с таким видом адъютант и смотрел на нас, и те, кто находился поближе к нему, оробели. Тогда он заговорил:

— Стоять смирно! Не то живо скомандую: «Налево кру-гом!» — и выгоню всех отсюда, и ни один не получит завтрака.

Перо бессильно описать нестерпимо наглый тон, которым были сказаны эти слова. Я видел, что он наслаждается своей властью, тем, что может сказать сотням несчастных оборванцев: «От меня зависит накормить вас или прогнать голодными!»

Отказать нам в завтраке, после того как мы

прождали столько часов! Это была страшная угроза. Мгновенно воцарилась тишина, — жалкая, унизительная тишина, доказывавшая общий страх. И это был подлый, трусливый ход, как удар ниже пояса. Мы не могли ответить ударом на удар, потому что были голодны, и так уж устроен мир, что, когда один человек кормит другого, он становится его господином. Однако центуриону — я хочу сказать, адъютанту — этого показалось мало. В мертвенной тишине снова прозвучал его голос: он повторил свою угрозу и даже усилил ее.

Наконец нас впустили в зал для пиршества, где уже сидели люди с талонами, успевшие умыться, но еще не получившие еды. Здесь было не менее семисот человек, и нас всех рассадили по местам, но вовсе не для того, чтобы дать сразу вкусить хлеба и мяса, а затем, чтобы мы внимали речам, песнопениям и молитвам. Из этого я заключил, что Тантал в многообразных воплощениях продолжает претерпевать муки по эту сторону ада. Адъютант стал громко читать проповедь, но я не особенно прислушивался к его словам, всецело поглощенный зрелищем горя и нищеты вокруг себя.

Проповедь его сводилась примерно к следующему:

«На том свете вас ожидает вечный пир. Вы голодали и мучились на земле, но в раю вам воздастся сторицей — разумеется, при условии, что вы будете слушаться наставлений…» И так далее и тому подобное.

Хитро поет, подумал я, но только эта пропаганда ничего не даст по двум причинам: во-первых, люди, для которых она предназначается, — лишенные воображения материалисты, не ведающие о существовании потустороннего мира и слишком привыкшие к аду на земле, чтобы их можно было запугать адом загробным; во-вторых, усталые и измученные бессонной ночью и долгим ожиданием, ослабевшие от голода, они жаждут не спасения души, а наполнения желудка. «Ловцы душ» — так эти бедняки называют религиозных проповедников — должны были бы хоть немного изучить влияние физиологии на психику, если хотят достигнуть каких-то результатов.

И вот настал долгожданный момент: около одиннадцати часов началась раздача завтрака. Каждая порция была уложена не на тарелку, а в бумажный пакетик. Не скажу, чтобы я получил достаточно, чтобы насытиться, или хотя бы половину того, и уверен, что всем остальным тоже было мало. Я отдал часть хлеба бродяге

американцу, который ждал приезда цирка «Буффало-Билл», но он все равно остался голодным. Вот что входило в завтрак: два ломтика простого хлеба, еще один крохотный ломтик хлеба с несколькими изюминками, именуемый кексом, да тоненький, как папиросная бумага, кусочек сыра. Каждому налили также по кружке мутной жидкости, сходившей за чай. Многие ждали этого завтрака с пяти утра, остальные простояли здесь по крайней мере часа четыре; нас согнали сюда, как стадо свиней, втиснули, как сельдей в бочку, обращались с нами как с собаками, пичкали проповедями и гимнами и молились за наши грешные души, но и это еще было не все.

Не успели мы проглотить завтрак (это заняло один миг), как многие начали клевать носом, и через пять минут половина людей уже крепко спала. Не похоже было, что нас собираются отпустить. Напротив, все свидетельствовало о приготовлении к молитвенному собранию. Я глянул на маленькие настенные часы. Они показывали без двадцати пяти минут двенадцать. «Ого, — подумал я, — время летит, а мне еще надо искать работу!»

— Я хочу уйти отсюда, — сказал я двум своим соседям, которые не спали.

— Надо дождаться богослужения, — ответили мне.

— Вы хотите остаться?

Оба отрицательно покачали головой.

— Тогда пойдемте и скажем им, что мы хотим уйти, — предложил я.

Но они ужаснулись моим словам. Тогда я решил предоставить им самим заботиться о себе, подошел к солдату «Армии спасения» и сказал:

— Я хочу уйти. Я пришел сюда получить завтрак, а теперь должен идти искать работу. Мне нужно было подкрепиться, но я никак не думал, что на это уйдет столько времени. У меня есть надежда получить работу в Степни, и чем скорее попаду туда, тем больше будет шансов.

Солдат казался добродушным малым, но мое требование повергло его в замешательство.

— То есть как? Сейчас же богослужение начнется.

— Но тогда я наверняка не получу работы, — возразил я. — А для меня работа — самое главное.

Так как он был всего лишь солдат, то направил меня к адъютанту. Я снова рассказал, почему хочу уйти, и вежливо попросил отпустить меня.

— Но это невозможно! — с ханжеским возмущением произнес адъютант, потрясенный моей

неблагодарностью. — Нет, подумать только! — Он даже зафыркал. — Подумать только!

— Значит, вы не позволяете мне уйти отсюда? — решительно спросил я. — Будете держать против моей воли?

— Будем, — фыркнул он.

Не знаю, что могло бы в этот момент случиться, ибо я тоже кипел от возмущения. Но так как «паства» начала, видимо, уже интересоваться нашим спором, адъютант потащил меня куда-то в угол, а затем в другую комнату. Там он снова потребовал, чтобы я изложил ему свои доводы.

— Я хочу уйти, — повторил я, — собираюсь искать работу в Степни, и каждый потерянный час уменьшает мои шансы. Уже почти двенадцать. Когда я шел сюда, не думал, что столько времени уйдет на завтрак.

— Так значит, у тебя дела? — презрительно хмыкнул он. — Значит, ты деловой человек, а? Тогда зачем же ты сюда явился?

— Я провел ночь на улице, и мне нужно было подкрепиться, прежде чем идти искать работу. Потому я здесь.

— Очень мило! — протянул он тем же презрительным тоном. — Человеку, которого ждут дела, здесь не место. Ты отнял завтрак у неимущего,

вот что!

Это была ложь, потому что все, кто хотел попасть сюда в это утро, попали.

Теперь скажите, по-христиански ли он себя вел? Попросту говоря, честно ли? Ведь он ясно слышал, что я бездомный и пришел потому, что был голоден, а теперь должен идти искать работу. А он понес околесицу про какие-то «дела», что я бизнесмен, богач, и вот позарился на бесплатный завтрак, отняв его у голодного бедняка, и, конечно, не бизнесмена, как я.

Я с трудом сдержал гнев и еще раз повторил свои доводы, четко и ясно показав ему, что он несправедлив ко мне и извратил факты. Видя, что я не сдаюсь (а лицо у меня, верно, было довольно злое), он направился со мной через черный ход во двор, где стояла палатка. Все так же пренебрежительно он сказал двум солдатам, сторожившим палатку:

— Вот я привел парня. Говорит, что у него неотложные дела и что не может ждать богослужения.

Разумеется, они были в должной мере потрясены и взглянули на меня с невыразимым ужасом, а мой провожатый, оставив меня у входа, скрылся в палатке и вышел оттуда с майором «Армии спа-

сения». С тем же презрением в голосе, особенно подчеркивая слово «дела», он доложил майору о происшествии. Майор был человек иного склада. Мне он сразу понравился, и я опять, слово в слово, повторил свою просьбу.

— А ты разве не знал, что должен остаться на богослужение? — спросил майор.

— Конечно, нет, — ответил я. — Я бы тогда предпочел обойтись без завтрака. У вас нигде не написано, что таков порядок. Надо было хотя бы предупреждать у входа.

Он подумал немного, потом промолвил:

— Ладно, ступай.

Было двенадцать часов, когда я выбрался на улицу; я так и не мог решить, где ж это я находился: в казарме «Армии спасения» или в тюрьме? Полдня уже прошло, а до Степни отсюда оказалось очень далеко. Было воскресенье, и ведь даже бедняку неохота искать работу в праздник. Кроме того, я чувствовал, что немало потрудился в эту ночь, бродя по городу, и утром — добывая себе завтрак. И вот, решив забыть на время, что я «голодный человек в поисках работы», вскочил в проходивший омнибус.

Дома я скинул с себя все, что на мне было, принял ванну, побрился, улегся в чистую постель и

заснул. Заснул я в шесть часов вечера, а проснулся в девять утра, проспав целых пятнадцать часов. И еще в полудреме, лежа в постели, я вспомнил тех семьсот несчастных, которые остались там вчера дожидаться богослужения. И им, бедным, ни помыться, ни побриться, ни скинуть с себя лохмотья, ни поспать пятнадцать часов кряду на чистых простынях. Когда молебствие в «Армии спасения» окончилось, их выгнали на улицу, и снова перед ними встали вечные вопросы: как раздобыть кусок хлеба на обед, где укрыться ночью от непогоды и откуда взять кусок хлеба, когда наступит новый день?

Глава XII
День коронации

Волной от супостата
Надежно огражден,
Республикой когда-то
Ты был, о, Альбион!
Край Мильтона великий,
Ты под ярмом склонен…
Приемлешь глав венчанных
Затасканную ложь
И, раб речей обманных,
Покорно спину гнешь,
Простор небес не видишь
И воздух сфер не пьешь!

Суинберн[142]

Vivat Rex Eduardus![143] Сегодня короновали короля, и было устроено пышное празднество с целым шутовским представлением, а мне все

---

[142] Примечания: 142
Суинберн Алджернон Чарлз (1837–1909) — английский поэт.

[143] Примечания: 143
Да здравствует король Эдуард! (*лат.*)

это непонятно и навевает грусть. Я никогда не видывал ничего столь нелепо мишурного, если не считать американского цирка и балета «Алгамбра»[144], и столь трагически безнадежного — тоже.

Чтобы получить удовольствие от коронации, мне следовало бы явиться прямо из Америки в отель «Сесиль» и оттуда — на трибуны для «умытых», где за место взимают пять гиней. Ошибка моя заключалась в том, что я прибыл с Восточной стороны, со стороны «немытых», — их, кстати сказать, собралось здесь немного. Жители Восточной стороны в подавляющем большинстве остались дома и напились допьяна. Социалисты, демократы и республиканцы отправились за город подышать свежим воздухом, мало интересуясь тем, что сорок миллионов англичан венчают на царство нового помазанника Божьего. Шесть с половиной тысяч прелатов, священников, государственных деятелей, принцев и военных присутствовали при коронации и миропомазании царственного владыки, мы же — все прочие — должны были довольствоваться лицезрением торжественного шествия.

---

[144] Примечания: 144

«*Алгамбра*» — известный мюзик-холл в Лондоне.

Я наблюдал церемонию с Трафальгарской площади. Это «первая по красоте площадь в Европе», как ее называют, самое что ни на есть сердце Британской империи! Нас собралось здесь много тысяч человек, сдерживаемых в железной узде превосходно организованным воинским ограждением. Двойная стена солдат отрезала процессию от зрителей. Подножие колонны Нельсона окаймляли три ряда синих мундиров. Восточнее, у входа на площадь, выстроилась королевская морская артиллерия. На скрещении Пэлл-Мэлл и Кокспер-стрит уланы и гусары подпирали со всех сторон памятник Георгу III. В западной части площади алели мундиры моряков королевского флота, а от Юнион-клуба до самой Уайтхолл-стрит выстроился плотным сверкающим полукольцом 1-й лейб-гвардейский полк — великаны верхом на гигантских конях, стальные панцири, стальные каски, стальные чепраки — мощный стальной кулак, готовый ударить по первому приказу властей предержащих. Далее, как бы расслаивая толпы зрителей, тянулись длинные шпалеры городской полиции, а позади всех стояли резервы — рослые, откормленные вооруженные люди, умеющие ловко орудовать саблей в случае надобности.

Так было на Трафальгарской площади, и так было по всему пути следования процессии — демонстрация мощи, колоссальной мощи, и людей, красивых, статных, как на подбор, у которых одно только назначение в жизни: слепо повиноваться и слепо убивать, уничтожать, вытаптывать все живое. И для того, чтобы они были всегда сыты, хорошо одеты и хорошо вооружены, а государство имело бы корабли, чтобы перебрасывать их во все концы земного шара, Восточная сторона Лондона и «восточная сторона» всей Англии трудится до седьмого пота, заживо гниет и вымирает.

Существует китайская поговорка: «Если один живет в лени, другой умирает от голода». А Монтескье[145] сказал: «Из-за того, что много людей занято изготовлением одежды для одного человека, много людей вовсе не имеют одежды». Таким образом, одно объясняет другое. Мы не поймем, откуда берется этот голодный малорослый труженик Восточного Лондона, ютящийся со всей семьей в жалкой конуре, сдавая при этом внаем углы таким же, как он, голодным заморышам, пока не увидим верзилу лейб-гвардейца Западного Лондона и не узнаем, что первый должен

[145] Примечания: 145

Монтескье Шарль Луи (1689–1755) — французский просветитель, правовед, философ.

кормить и одевать второго.

И вот, в то время как в Вестминстерском аббатстве сажают нового короля на трон, я, зажатый между лейб-гвардией и полицией на Трафальгарской площади, предаюсь размышлениям о том, как народ израильский впервые взял себе царя. Вы все помните текст из Священного Писания.

> «Все старейшины пришли к Самуилу и сказали ему: „…поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов…“
>
> И сказал Господь Самуилу: „Итак, послушай голоса их; только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними“.
>
> И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя, и сказал: „Вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами: сыновей ваших он возьмет и приставит их к колесницам своим и сделает всадниками своими, и будут они бегать пред колесницами его; и поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятниками, и чтобы они возделывали поля его, и жали

хлеб его, и делали ему воинское оружие и колесничный прибор его; и дочерей ваших возьмет, чтоб они составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы; и поля ваши и виноградные и масличные сады ваши лучшие возьмет и отдаст слугам своим; и от посевов ваших и из виноградных садов ваших возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам своим; и рабов ваших и рабынь ваших, и юношей ваших лучших и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела; от мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами; и восстенаете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда“».

Так вот оно все и произошло в те далекие времена, и воистину народ воззвал к Самуилу, говоря: «Помолись о рабах твоих перед Господом Богом твоим, чтобы не умереть нам; ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя».

И после Саула и Давида царствовал Ровоам, который ответил народу сурово и сказал им: «… отец мой обременил вас тяжким игом, а я увели-

чу иго ваше; отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами».

И в наши дни пятьсот лордов владеют по наследству одной пятой частью Англии; вкупе с придворными и королевскими слугами и всеми теми, кто представляет власть, они растрачивают ежегодно на ненужную роскошь миллиард восемьсот пятьдесят миллионов долларов, или триста семьдесят миллионов фунтов стерлингов, что равно тридцати двум процентам общего богатства, созданного руками трудового народа.

В Вестминстерском аббатстве под звуки фанфар и гром военных оркестров, окруженный блестящей толпой лордов и иностранных владык, король, в великолепной золотой мантии, торжественно принимал атрибуты верховной власти. Лорд-камергер положил к его ногам шпоры, а архиепископ кентерберийский вручил ему меч в красных ножнах, сопровождая его речью:

— Прими сей королевский меч с престола Господня. Вручают его тебе священники, недостойные слуги Господа.

И, опоясываемый мечом, король внимал заклинаниям архиепископа:

— Твори мечом этим справедливость, искореняй зло, охраняй святую Церковь Господню,

защищай вдов и сирот и помогай им; восстанавливай то, что пришло в упадок, береги то, что восстановлено, карай и исправляй дурное и поддерживай хорошее.

Стоп, внимание! Со стороны Уайтхолла прокатилось «ура!», толпа заколыхалась, солдаты стали навытяжку — и вот показались королевские гребцы в маскарадных средневековых одеяниях красного цвета. Ну, точь-в-точь как выход на цирковом параде! Затем выкатила дворцовая карета, битком набитая придворными дамами и джентльменами, с ливрейными лакеями в пудреных париках на запятках и пышно одетыми кучерами. За ней другие кареты, и в каждой лорды и камергеры, виконты и фрейлины — словом, вся лакейская. Дальше воины, королевский эскорт: генералы со следами ратных трудов на бронзовых лицах, прибывшие в Лондон со всех концов света; офицеры волонтерских войск, офицеры милиционной армии и кадровые офицеры; Спенс и Пламер, Бродвуд и Купер, который сменил Укипа; Малтияс, отличившийся в Даргае, Диксон, командовавший при Флакфонтейне; генерал Гейзли и адмирал Сеймур, только что из Китая; Китченер — герой Хартума, и лорд Робертс, воевавший в Индии и повсюду на земном

шаре, — военачальники Великобритании, специалисты по разрушениям, инженеры смерти! Порода людей, резко отличная от тех, кто работает на фабриках и обитает в трущобах, — да, совершенно иная раса!

Проходят эти, а за ними еще и еще, без конца. Какая помпа, какая спесь и мощь — стальные люди, военные диктаторы, поработители мира! Идут вперемежку пэры и члены палаты общин, принцы и магараджи, шталмейстеры короля и дворцовые стражи. А вот пошли колониальные солдаты, стройные, худощавые, закаленные; а дальше — войска всех племен и народов: из Канады, Австралии и Новой Зеландии; с Бермудских островов и с Борнео; с островов Фиджи и Золотого Берега; из Родезии, Капской колонии, Наталя, Сьерра-Леоне и Гамбии; из Нигерии и Уганды; с Цейлона, Ямайки, Кипра; из Гонконга и Вей-Хай-Вея; из Лагоса, с Мальты и с Санта-Лючии; из Сингапура и с Тринидада. Скачут верхом покоренные племена с Инда — смуглые наездники с саблями, во всей своей дикой первобытности, — сикхи, раджпуты, бирманцы, провинция за провинцией, каста за кастой; глаза слепит от малинового и алого.

Мелькнули золотые доспехи — промчались

конногвардейцы на чудесных пони светлой масти. И сразу же ураган приветствий и неистовый треск оркестров: «Король! Король! Боже, храни короля!» Начинается массовый психоз. Я, кажется, тоже охвачен им, я тоже готов орать: «Король! Боже, храни короля!» Я вижу вокруг себя оборванных людей, которые со слезами на глазах подбрасывают шапки вверх и самозабвенно вопят: «Благослови их! Благослови!» Вот он, смотрите, — в волшебной золотой карете, на голове сверкающая корона; рядом с ним женщина в белом и тоже в короне.

И я стараюсь убедить себя, что все это наяву, а не в сказочном сне. Но нет, я не могу поверить — и, пожалуй, так даже лучше. Куда отраднее думать, что этот балаган, и мишура, и помпа, и почти суеверное поклонение — лишь выдумка, сказка, а не реальные действия нормальных, здравомыслящих людей, овладевших тайнами природы и секретом звезд.

Мелькают в роскошных нарядах князья и князьки, герцоги и герцогини, всевозможные титулованные особы из свиты монарха; потом еще воины, еще лакеи, еще какие-то покоренные народы — и сказочная процессия кончается. Толпа увлекает меня с площади в лабиринт узеньких

уличек, где в кабаках стон стоит от пьяного веселья, где все перемешалось — мужчины, женщины и даже дети. Со всех сторон несется популярная песенка, подобающая моменту:

Коронация сегодня – веселиться нам пора,

Так начнем гулять, плясать и кричать: «Ура!»

То-то вволю мы попьем виски, херес, джин и ром…

Коронация сегодня – развеселая пора!

С неба льет ливень. На улице появляются вспомогательные территориальные войска — черные африканцы и желтые азиаты в тюрбанах и фесках, за ними кули с ношей на голове: пулеметами и горными пушками. Босые ноги ритмично шлепают по грязи — хлюп, хлюп, хлюп. Кабаки разом пустеют, братья-англичане выбегают и громкими возгласами приветствуют смуглых вассалов, но тут же спешат вернуться к прерванному возлиянию.

— Понравилась коронация, папаша? — спросил я одного старика на скамейке Грин-парка.

— Мне-то? Ах, черт, подумал я, самое время выспаться — полицейских нет! Вот и махнул сюда, а

со мной еще человек пятьдесят. Да никак не мог заснуть от голода, — лежал и все думал, думал. Всю свою жизнь я проработал, а теперь вот негде даже голову приклонить, а тут еще эта музыка, крик, салюты… И мне, словно я анархист какой, захотелось броситься туда и проломить башку лорду-камергеру.

Почему именно лорду-камергеру — этого я не мог понять, и он не сумел мне объяснить.

— Такое у меня было чувство, — сказал старик исчерпывающим тоном, и на этом наш разговор окончился.

С наступлением ночи зажглась иллюминация. Всюду засверкали гирлянды огней: зеленых, янтарных, красных — и вензеля из двух горящих букв: E R. Тысячные толпы высыпали на улицы, и хотя полиция старалась не допускать буйства, пьяных и хулиганов было хоть отбавляй. Усталый трудовой люд, казалось, потерял голову от непривычного возбуждения, радуясь возможности в кои-то веки отдохнуть и поразвлечься. Стар и млад, мужчины и женщины водили хороводы, распевали песни: «Может, я сошел с ума, но я люблю тебя», «Долли Грей» и «Куст душистый и пчела» с таким припевом:

Ты цветок, а я пчела, я к тебе лечу,

Мед твоих пунцовых губок выпить я хочу!

Я сидел на набережной Темзы и глядел, как играют огни иллюминации, отражаясь в воде. Близилась полночь, и мимо меня лился людской поток — возвращались с гулянья солидные лондонцы, чуравшиеся шумных улиц. На скамейке рядом со мной клевали носом два оборванных существа — мужчина и женщина. Женщина, крепко прижав скрещенные руки к груди, ни минуты не сидела прямо: то никла всем телом вперед, так что казалось: вот-вот потеряет равновесие и упадет, то приподнималась и сразу валилась влево, роняя голову на плечо мужчины, то откидывалась вправо, но от неудобства и напряжения вздрагивала, открывала глаза и рывком выпрямлялась, затем опять клонилась вперед и проходила весь цикл, пока боль от неудобного положения вновь не заставляла ее встряхнуться.

Возле них то и дело останавливались мальчишки и парни постарше; забегая сзади, они вдруг издавали какой-нибудь дикий звук. Спящая пара, как от толчка, мгновенно просыпалась, и их лица были так искажены испугом, что прохожие начинали весело гоготать.

Больше всего меня удивляла эта черствость окружающих, которую никто и не пытался скрыть. Бездомный на городской скамье — здесь совершенно привычное зрелище, это несчастное безобидное существо, и над ним можно безнаказанно издеваться. Тысяч пятьдесят людей прошло мимо нас, пока я сидел на скамейке, и ни у одного из них, даже в этот день, когда они все так развеселились по случаю коронации, не дрогнуло сердце, не подсказало подойти к спящей и предложить: «Вот вам шесть пенсов на ночлег». Наоборот, женщины, особенно молодые, потешались над тем, как эта несчастная клевала носом, и отпускали шутки, которые неизменно смешили их кавалеров.

Пользуясь их собственным жаргоном, это было «кошмарно», ну а я бы сказал даже — чудовищно. Не скрою, меня уже сильно бесила эта веселящаяся толпа, и я невольно с каким-то мрачным удовлетворением припомнил статистику, которая показывает, что в Лондоне каждому четвертому из взрослых его обитателей суждено умереть в благотворительном учреждении — в работном доме, больнице или богадельне.

Я завел разговор с моим соседом по скамейке. Ему пятьдесят четыре года, он бывший портовый

грузчик. Изредка его берут на работу, но лишь в случае особой горячки, когда до зарезу нужны люди. В другое время предпочитают более молодых и здоровых. Уже семь суток, как он живет на набережной, но на следующей неделе надеется поправить дела: может, посчастливится поработать несколько дней — тогда он снимет себе койку в ночлежке. Он всю жизнь прожил в Лондоне, если не считать пяти лет с 1878 года, когда был призван в армию и служил солдатом в Индии.

Голоден ли он? Еще бы! И девушка тоже. Сейчас у них особенно тяжкие дни, хоть полиции не до них и можно, казалось, хотя бы отоспаться. Я разбудил эту девушку, вернее сказать, молодую женщину («Мне уже двадцать восемь лет, сэр», — сказала она), и повел обоих в кофейню.

— Сколько тут работы было! — сказал мне мой новый знакомый, глядя на какое-то ослепительно иллюминованное здание.

Работа была для этого человека смыслом существования. Всю жизнь он трудился, и работа была единственным критерием, с которым он подходил к оценке всех жизненных явлений и самого себя в том числе.

— Очень хорошо, что коронация, — продолжал

он свою мысль. — Дали людям работу.

— А вы-то ведь по-прежнему голодны? — заметил я.

— Что ж, — вздохнул он. — Ходил я тоже, да меня не взяли. Возраст не тот! А вы чем занимаетесь? Моряк? Я так сразу и подумал.

— А я знаю, кто вы, — сказала женщина. — Итальянец!

— Да что ты! — с жаром возразил старик. — Он янки, вот кто. Уж я-то знаю.

— Боже ты мой, что тут делается! — воскликнула наша спутница, когда мы, пробившись на Стрэнд, очутились в гуще шумной, развеселой толпы.

Мужчины горланили песню, им резкими, хриплыми голосами подпевали девушки:

Коронация сегодня – веселиться нам пора,

Так начнем гулять, плясать и кричать: «Ура!»

То-то вволю мы попьем виски, херес, джин и ром…

Коронация сегодня – развеселая пора!

— До чего же я грязная! Где-где только не побывала сегодня! — сказала женщина, вытирая

заспанные глаза, в уголках которых чернела сажа. Мы уже сидели за столиком в кофейне. — Но очень было интересно! Мне так понравилось, только скучновато одной. Дамы такие важные, все в роскошных белых платьях! Красивые, как картинки!

— Меня зовут Айторн, — в ответ на мой вопрос сказала она. — Я ирландка.

— Как? — не понял я.

— Айторн, сэр, Айторн.

— Что за имя такое? Как оно пишется?

— Ну, «Хэйторн», а говорится «Айторн».

— О! — сказал я. — Значит, вы ирландская кокни?

— Да, сэр, я родилась здесь, в Лондоне.

Хэйторн мирно жила в родительском доме, пока не погиб от несчастного случая отец, и она осталась одна-одинешенька. Старший брат ее служил в солдатах, у другого — жена и восемь человек детей, а зарабатывает он двадцать шиллингов в неделю, да и то не всегда. Чем он ей поможет? Однажды она ездила на три недели куда-то в Эссекс, за двенадцать миль, собирать фрукты.

— Я вернулась оттуда черная-пречерная, ей-богу! Вы бы прямо не поверили!

Последнее время она работала в кофейне с семи утра до одиннадцати ночи за стол и пять шиллингов в неделю; потом заболела, попала в больницу, и с тех пор, как вышла оттуда, не может найти работы. Чувствует она себя все еще плоховато, а вот уже вторую ночь приходится проводить на улице.

И она, и старик уплетали за обе щеки, но не могли насытиться, пока не съели по второй и третьей порции.

Во время ужина женщина протянула руку через стол, пощупала материю моего пиджака и рубашки и заметила:

— Хорошие вещи носят янки!

Это мои-то тряпки хорошие! Я даже покраснел от неловкости, но, приглядевшись повнимательнее к себе и моим собеседникам, пришел к заключению, что я и в самом деле не так уж плохо одет и сравнительно прилично выгляжу.

— А что же вы думаете делать дальше? — спросил я у них. — Ведь старость-то не за горами.

— Ну, пойду в работный дом, — сказал мужчина.

— Нет уж, провалиться мне на этом месте, если я туда пойду! — заявила женщина. — Дело мое дрянь, но лучше сдохнуть на улице, чем идти

туда. Нет уж, спасибо! — На несколько минут воцарилось молчание. — Спасибо! — повторила она.

— Вот вы ходите так всю ночь по улице, — сказал я, — а как добываете себе еду утром?

— Стараюсь достать где-нибудь пенни, если не сберег от вчерашнего дня, — ответил старый грузчик. — Иду в кофейню, беру кружку чая.

— Ну, этим сыт не будешь, — возразил я.

Оба многозначительно улыбнулись.

— Сидишь и пьешь маленькими глоточками, — пояснил он, — чтобы подольше растянуть, да все поглядываешь, не оставил ли кто чего-нибудь на столе.

— Вы не поверите, сколько некоторые оставляют, — добавила женщина.

— Самое главное, — рассудительно закончил ее приятель, — это достать пенни.

Наконец-то я понял, на что он намекает.

Когда мы уходили, мисс Хэйторн собрала с соседних столов какие-то корочки и спрятала под свою рваную шаль.

— Нечего таким добром бросаться, — сказала она, и старик одобрительно закивал, тоже засовывая в карман какие-то объедки.

В три часа утра я шел по набережной. Эта ночь

была сущим праздником для бездомных, потому что полицию услали в другие места. Все скамейки были заняты спящими. Женщин оказалось здесь не меньше, чем мужчин, и большинство этих бездомных были старики и старухи. Видел я, правда, и нескольких мальчиков. На одной скамейке устроилась целая семья: муж сидел, держа на руках спящего младенца, жена его спала, положив голову ему на плечо, а ей в колени уткнулся головкой спящий мальчуган. Глаза мужчины были широко раскрыты: он глядел на воду и думал какую-то свою думу — занятие не очень полезное для бездомного человека, обремененного семьей. Неохота разгадывать его мысли, но я знаю, да и всему Лондону это хорошо известно, что случаи, когда безработный убивает жену и детей, не так уж редки.

Невозможно пройти в ночной час по набережной Темзы от парламента мимо обелиска Клеопатры до моста Ватерлоо и не вспомнить страданий, описанных две тысячи семьсот лет тому назад в книге Иова: «Межи передвигают, угоняют стада и пасут у себя; у сирот уводят осла, у вдовы берут в залог вола; бедных сталкивают с дороги, все уничиженные земли принуждены скрываться. Вот они, как дикие ослы в пустыне,

выходят на дело свое, вставая рано на добычу; степь дает хлеб для них и для детей их; жнут они на поле не своем и собирают виноград у нечестивца; нагие ночуют без покрова и без одеяния в стуже; мокнут от горных дождей и, не имея убежища, жмутся к скале; отторгают от сосцов сироту и с нищего берут залог; заставляют ходить нагими, без одеяния, и голодных кормят колосьями…»[146]

С тех пор миновало двадцать семь столетий! Но столь же правдиво звучат эти слова и сегодня в самом центре христианской цивилизации, где царствует король Эдуард VII.

[146] Примечания: 146
Иов — 24,2–10.

Глава XIII
Дэн Каллен, портовый грузчик

Величье жизни ты найдешь едва ли
В подворье смрадном и в сыром подвале.

Томас Эш

Вчера я посетил одну из комнат муниципальных жилых домов близ Леман-стрит. Если бы внезапно передо мной раскрылось безрадостное будущее и я узнал, что мне предстоит жить в этой комнате до самой смерти, то пошел бы и утопился в Темзе, чтобы раз и навсегда покончить с этим.

Да это была и не комната. Назвать ее комнатой так же невозможно, как невозможно назвать дворцом какую-нибудь хижину, не совершая грубого насилия над языком. Скорее нора, берлога — шесть шагов в длину и пять в ширину, с таким низким потолком, что воздуху тут было меньше, чем полагается на британского солдата в казармах. Половину комнаты занимала какая-то немыслимая кушетка, покрытая тряпьем; остальное место почти заполняли — колченогий стол,

стул и несколько ящиков. Все это имущество вместе взятое стоило от силы пять долларов. Ни коврика, ни дорожки на полу, зато стены и потолок обильно изукрашены кровавыми пятнами. Каждое такое пятно свидетельствовало о насильственной смерти насекомого, которыми забиты все щели в доме; бороться с ними в одиночку — непосильная задача.

Обитатель этой конуры, портовый грузчик Дэн Каллен, лежал при смерти в больнице. Однако жалкая обстановка его жилища сохранила какой-то отпечаток его личности, так что можно было получить некоторое представление о том, что за человек этот Дэн Каллен. Стены были увешаны дешевыми портретами Гарибальди, Энгельса, Джона Бернса[147] и других вождей рабочего класса, а на столе я заметил роман Уолтера Безанта[148]. Мне рассказали, что Дэн Каллен читал Шекспира и книги по истории, социоло-

[147] Примечания: 147

Бернс Джон (1858–1943) — участник английского рабочего движения, в дальнейшем отошел от него; в 1892 г. был избран в парламент, где выступал за сотрудничество с капиталистами. В. И. Ленин характеризовал Бернса как негодяя и одного из «прямых предателей рабочего класса, продавшихся буржуазии за министерское местечко».

[148] Примечания: 148

Безант Уолтер (1836–1901) — английский писатель и критик, автор книги «Люди и условия их жизни», в которой предлагал реформы по борьбе с нищетой.

гии и политической экономии, — все это будучи самоучкой.

Среди разного хлама на столе лежал листок бумаги, на котором было нацарапано: «М-р Каллен, прошу вернуть большой белый кувшин и пробочник, которые вы у меня одолжили». Видимо, когда Дэн Каллен заболел, соседка дала ему на время эти предметы, а теперь, испугавшись, что он умрет, требовала их обратно. Большой белый кувшин и пробочник — слишком ценные вещи для обитателя бездны, чтобы он мог позволить своему ближнему спокойно умереть без напоминания ему о них. До последнего вздоха душу Дэна Каллена должна терзать людская черствость, от которой он тщетно стремился найти избавление.

История Дэна Каллена коротка, но многое в ней можно прочесть между строк. Он родился плебеем в таком городе и в такой стране, где установлены строжайшие кастовые разграничения. Всю жизнь он ворочал тяжести, но потому, что пристрастился к чтению, увлекся пищей духовной и умел составить письмо, «как адвокат», его товарищи избрали его туда, где нужно было ворочать мозгами. Он стал руководителем организации грузчиков фруктовых товаров,

представлял ее в лондонском совете профсоюзов и писал острые корреспонденции в рабочие газеты.

Он не раболепствовал перед людьми, даже если эти люди являлись его хозяевами и от них зависело, получит ли он кусок хлеба. Он смело высказывал свои мысли и не боялся вступать в борьбу. Во время всеобщей стачки портовых грузчиков он был одним из ее руководителей, и это оказалось роковым для Дэна Каллена: с того дня он стал «меченым», и более десяти лет ему мстили за его деятельность.

Грузчик — это поденщик. В работе бывают приливы и отливы — в зависимости от того, сколько надо погрузить или выгрузить товаров. Дэна Каллена подвергали дискриминации. Окончательно его не выгнали — боялись скандала (хотя это было бы куда милосерднее), но работу давали не чаще двух-трех раз в неделю. Это то, что называется «проучить», «дисциплинировать» рабочего, иначе говоря — заморить голодом. Десять лет такой жизни надломили его душу, а после этого человек долго не протянет.

Он слег. Оттого что становился беспомощнее, его ужасная конура принимала все более ужасный вид. Одинокий старик без всякой родни,

обозленный и мрачный, он боролся с мучившими его насекомыми, а с грязных стен на него взирали портреты вождей. Никто из жителей этой густонаселенной муниципальной казармы не навещал его (он тут ни с кем не подружился), и Дэну Каллену была предоставлена полная свобода гнить заживо.

Но с далекой восточной окраины к нему пришли его единственные друзья — сапожник с сыном. Они прибрали в комнате, вытащили из-под больного почерневшие от грязи простыни, постелили чистое белье, которое принесли с собой; они же привели к нему сиделку из Олдгейтского королевского благотворительного общества.

Сиделка обмыла больному лицо, выбила пыль из постели и завела беседу с ним. Он слушал ее с интересом, пока она случайно не назвала свою фамилию.

— Да, моя фамилия Блэнк, — ничего не подозревая, сказала она, — и сэр Джордж Блэнк мой брат.

— Как, сэр Джордж Блэнк — ваш брат? — загремел старый грузчик, привскочив на постели.

Сэр Джордж Блэнк, поверенный администрации кардиффского порта, тот самый, который

больше всех постарался, чтобы разгромить кардиффский союз портовых грузчиков, и удостоился рыцарского звания? А она, стало быть, его сестра? Тут Дэн Каллен сел на своей страшной постели и изверг проклятия на нее и всю ее родню. И она бежала оттуда со всех ног, чтобы никогда больше не возвратиться, унося в сердце обиду на черную неблагодарность бедняков.

Ноги Дэна Каллена отекли от водянки. Целыми днями он сидел на постели, спустив их на пол (так сгонял отеки с тела); тоненькое одеяльце на коленях, на плечах старый пиджак. Миссионер принес ему бумажные комнатные туфли за четыре пенса (я их видел) и вознамерился прочитать с полсотни молитв за спасение его души, но Дэн Каллен был не из тех, кто позволяет первому встречному залезать к нему в душу и копаться в ней за какие-то четырехпенсовые шлепанцы. Он попросил миссионера оказать ему любезность — открыть окошко, чтобы можно было выбросить эти шлепанцы. И миссионер поспешил удалиться навсегда, как и сестра Блэнк, оскорбленный черной неблагодарностью бедняков.

Сапожник — тоже героический старик, хоть его подвиги никем не воспеты и нигде не записаны, — отправился на свой риск и страх в главную

контору крупного фруктового агентства, где Дэн Каллен работал поденщиком в течение тридцати лет. Эта фирма пользуется почти исключительно трудом поденных рабочих. Сапожник рассказал о безвыходном положении Дэна Каллена — старого, больного, умирающего, совершенно одинокого и без гроша; напомнил, что этот человек проработал в фирме три десятка лет, и попросил оказать ему какую-нибудь помощь.

— Нет, — сказал управляющий, который отлично помнил, кто такой Дэн Каллен, не заглядывая ни в какие списки, — нет, мы ничего не можем сделать. У нас, видите ли, существует твердое правило не помогать поденным рабочим.

Они и пальцем не пошевелили, даже не подписали ходатайства о помещении Дэна Каллена в больницу. А это непростое дело — устроиться в больницу в прекрасном городе Лондоне. Чтобы попасть в больницу в Хэмстеде, например, даже пройдя врачебную комиссию, Дэну Каллену пришлось бы ждать очереди на койку месяца четыре, не меньше. В конце концов сапожник поместил его в Уайтчепелский лазарет. Там он частенько навещал своего друга и обнаружил, что Дэн Каллен заразился общим настроением больных: уверился, что его, как и всех неизле-

чимых, спешат отправить на тот свет. Нельзя не согласиться, что в умозаключении, сделанном больным стариком, была своя логика: ведь его с такой настойчивостью «учили» и «дисциплинировали» последние десять лет! У него нашли нефрит и заставляли потеть, чтобы согнать жир с почек, но Дэн Каллен был совершенно убежден, что его просто-напросто хотят уморить: ведь нефрит — это распад почек, и какой там может быть вредный жир, — доктор просто-напросто врет. Врач был настолько разгневан поведением больного, что девять дней не подходил к нему.

Потом койку Дэна Каллена установили в наклонном положении, чтобы ноги были выше головы. Отеки немедленно перешли на тело, и больной решил, что это делается с единственной целью — доконать его. Он потребовал выписки из лазарета. Его предупредили, что он свалится на лестнице, но он кое-как дотащился до мастерской сапожника. Сейчас он умирает в другой больнице, куда верный друг сапожник поместил его, употребив на это нечеловеческие усилия.

Бедный Дэн Каллен! Джуд Незаметный[149],

[149] Примечания: 149

Джуд Незаметный — герой одноименного романа английского писателя Томаса Гарди (1840–1928), упорно стремившийся к знаниям, но так и не получивший образования.

стремившийся к знаниям! Занятый весь день физическим трудом, он ночи напролет просиживал за книгами; мечтал о светлом будущем и доблестно боролся за Идею; патриот, борец за свободу человека, бесстрашно вступал в сражения, и вот под конец у него не хватило духа, чтобы подняться над окружавшей его обстановкой. В предсмертные часы, лежа на койке для нищих в бесплатной палате, он стал циником и пессимистом. «Когда умирает человек, который мог стать мудрецом, но не стал им, — это я называю трагедией».

Глава XIV
Хмель и сборщики хмеля

Стране богатой, где в нужде народ,
Не избежать мучительных невзгод.
Пусть процветает или гибнет знать —
Всегда нетрудно новую создать.
Крестьян же, Англии живую кровь,
Сгубив, никак не возродите вновь.

Голдсмит[150]

Отделение трудящихся от земли зашло так далеко, что теперь во всех цивилизованных странах мира деревня не в состоянии убрать урожай без помощи города. Когда щедрые дары земли начинают уже гнить на корню, призывают обратно

---

[150] Примечания: 150

Голдсмит Оливер (1728–1774) — английский поэт и писатель-просветитель, один из крупнейших представителей сентиментализма.

в деревню изгнанных оттуда бедняков, ставших жителями городских трущоб. Но в Англии это не блудные сыны, возвращающиеся под отчий кров, это отщепенцы, бродяги, парии. Встречаемые с недоверием и презрением своими сельскими братьями, они вынуждены ночевать в тюрьмах и ночлежках, а нередко прямо под забором и жить так, как не приведи бог никому.

Подсчитано, что одному только Кенту для сбора хмеля требуется восемьдесят тысяч городских бедняков. И они устремляются туда из гетто, трущоб и притонов, этих страшных и никогда не иссякающих людских муравейников, послушные зову не только желудка, но и души, сохранившей еще тягу к приключениям. Они заполняют деревни, словно полчища мертвецов, восставших из могил, и все от них шарахаются: пришельцы там не к месту. Малорослые, безобразные, рассыпались они по дорогам и проселкам, словно ядовитая плесень. Присутствие их на земле, самый факт их существования — оскорбление яркому солнцу, зеленой траве, всему, что растет и цветет. Красивые, стройные деревья укоризненно глядят на чахлых уродцев, чья хилость оскверняет нетронутую прелесть природы.

Сгущаю ли я краски? С какой точки зрения

смотреть. Те, для кого самое главное в жизни — приобретать акции и стричь купоны, расценят это именно так, но те, для кого дороже человек и его здоровье, конечно, не сделают подобного вывода. Какая масса горя и нищеты, и все для того, чтобы миллионер — владелец пивоваренных заводов мог жить в своем дворце на Западной стороне, смотреть в раззолоченных лондонских театрах спектакли, дразнящие его чувственность, якшаться с титулованными ничтожествами и удостоиться от короля посвящения в рыцари. Будто он и впрямь заслужил эти рыцарские шпоры! В старину рослые белокурые бестии носились на своих скакунах в авангарде войск и зарабатывали себе рыцарское звание, рассекая врага от головы до пояса. И если на то пошло, так уж лучше сразу убить сильного человека одним ударом звонкой стали, чем на протяжении веков коварными паучьими приемами угнетать политически и экономически и тем низводить его, и его внуков, и правнуков до нечеловеческого состояния.

Но поговорим о хмеле. В этой отрасли, как и в остальных, резко сказывается отделение трудящихся от земли. В то время как производство пива непрерывно увеличивается, разведение хмеля идет на убыль. В 1835 году посевы его занимали

71 327 акров, а в нынешнем — 48 024, причем только по сравнению с прошлым годом площадь уменьшилась на 3103 акра.

Но даже и с этой сокращенной площади собрали меньше, чем предполагали, из-за скверного, дождливого лета. Недород бьет не только по владельцу плантации, но также и по сборщику. Волей-неволей владелец лишится какой-то части благ; но сборщику придется урезать себя в харчах, которых он и при хорошем урожае никогда не имел вдосталь. За последние недели в лондонских газетах бросались в глаза такого сорта заголовки: «*Бродяг избыток, а хмеля мало, и он еще не созрел*». Или заметки в таком духе: «С хмельников поступают печальные вести: внезапное прояснение погоды привлекло в Кент сотни сборщиков, но им приходится ждать, пока хмель созреет. В работном доме Дувра сегодня в три раза больше бродяг, чем было в это время в прошлом году, и в других городах по той же причине скопилось большое число безработных поденщиков».

В довершение бед, когда уже наконец приступили к сбору, разразилась страшная буря с грозой и градом, уничтожившая почти весь хмель и едва не погубившая людей. Хмель сорвало с жердей и

повалило на землю, а сборщиков, спасавшихся от крупного града в землянках и палатках на низине, едва не затопило. После бури на них жалко было смотреть: их положение было еще тяжелее, чем прежде, ибо, как ни плох урожай, все же каждый рассчитывал заработать хоть несколько пенсов, а тут пришлось несолоно хлебавши тащиться назад в Лондон.

— Подметать нам его, что ли? — говорили люди, не желая глядеть на землю, по щиколотку устеленную хмелем.

Те, кто остался обирать полуголые стебли, негодовали, что за шиллинг должны сдать семь бушелей[151] хмеля, как и в урожайный год, когда хмель первоклассный.

Я побывал в Тестоне, а также в Восточном и Западном Фарлее вскоре после бури, слышал, как роптали сборщики, и видел гниющий на земле хмель. В парниках Бархам-Корта градом выбило тридцать тысяч стекол и уничтожило все: персики, сливы, груши, яблоки, ревень, капусту, свеклу.

Это было, разумеется, довольно печально для предпринимателей, но, даже в худшем случае, ни

---

[151] Примечания: 151

Бушель — мера сыпучих и жидких тел, равная 36,3 л.

один из них не остался без обеда. Однако именно этим людям печать пространно выражала сочувствие, с нудными подробностями сообщая об их убытках. Например: «М-р Герберт Лени исчисляет свои потери в 8000 фунтов стерлингов; м-р Фремлин, владелец прославленного пивоваренного завода, арендующий всю землю в этом округе, потерпел убыток на сумму в 10 000 фунтов; столь же сильно пострадал брат Герберта Лени, владелец пивоваренного завода в Уотерингбюри». Что касается сборщиков хмеля, то о них никто даже и не вспомнил. Тем не менее я беру на себя смелость утверждать, что для вечно голодного м-ра Вильяма Баглса, его вечно голодной жены и вечно голодных детишек лишиться нескольких даже самых скудных обедов гораздо большее несчастье, чем для пивовара Фремлина потерять 10 000 фунтов стерлингов, тем более что трагедия Баглса может быть умножена на тысячи таких же, а трагедию Фремлина едва ли можно помножить на пять.

Желая собственными глазами увидеть, как идут дела у такого Баглса и его собратьев, я надел свой костюм кочегара и отправился на поиски работы. Компанию мне составил Берт — молодой сапожник из Восточного Лондона, большой охот-

ник до всяких приключений. По моему совету он обрядился в самое что ни на есть старье и всю дорогу от Мейдстона беспокоился, дадут ли нам, таким оборванцам, работу.

И не так уж он был не прав. Когда мы зашли перекусить в придорожный трактир, хозяин не спускал с нас подозрительного взгляда и, лишь убедившись, что у нас есть деньги, стал чуть любезнее. Местные жители, встречавшиеся на пути, поглядывали на нас с недоверием, а гуляки из Лондона, проносясь мимо в экипажах, с гиканьем и улюлюканьем выкрикивали оскорбления. Однако к концу пребывания в этом районе мой друг понял, что мы одеты ничуть не хуже, а, пожалуй, даже лучше любого сборщика хмеля. Нам довелось увидеть в тот день просто фантастические лохмотья.

— Отлив! — крикнула своим товаркам какая-то женщина, похожая на цыганку, когда мы подошли к ларям, куда сборщики сваливали хмель.

— Понял? — шепнул мне Берт. — Это она на твой счет проехалась.

Да, я понял. Сказано было метко. Во время отлива судно не выходит в море, и матросы вынуждены оставаться на берегу. Моя матросская фуфайка на хмелевой плантации в Кенте красно-

речиво доказывала, что я сел на мель, как садится лодка при морском отливе.

— Не найдется ли для нас работенки, хозяин? — спросил Берт у пожилого управляющего с добродушным лицом, который был чем-то очень занят.

Тот решительно ответил:

— Нет.

Но Берт не отставал от него, я тоже, и, куда бы он ни двинулся, мы следовали за ним. Так мы обошли чуть не все поле. То ли ему понравилась наша настойчивость, которую он принял за особое рвение к труду, то ли его тронул наш несчастный вид и рассказ о злоключениях, но, в конце концов, он смилостивился и указал на ларь для хмеля — единственный свободный, как оказалось, потому что двое рабочих ушли отсюда, не сумев заработать на пропитание.

— Но чтоб без хулиганства, слышите? — предупредил управляющий, оставляя нас работать в обществе женщин.

Была суббота. Мы знали, что рабочий день скоро кончится, и усердно принялись за дело, желая проверить, удастся ли нам заработать хотя бы на соль. Работа оказалась легкая, прямо-таки женская. Мы сидели на краю ларя, между шпалерами,

по которым вился хмель, и человек, обрывавший его, бросал нам сверху крупные душистые ветки. За час мы научились на ощупь находить шишки и срывать их разом по полдесятка. В этом и заключалась вся премудрость.

Мы действовали проворно, не отставая от женщин, и все же их лари наполнялись быстрее: им помогали стаи ребятишек, которые обрывали хмель обеими руками почти так же быстро, как и мы.

— Стебли обрывать не разрешается, — сказала нам какая-то женщина.

Мы поблагодарили ее и стали оставлять стебельки.

Скоро мы убедились, что мужчине, работая в одиночку, здесь не прокормиться. Женщины, даже дети, успевают сделать больше мужчины: ему не под силу соревноваться с матерью, окруженной выводком ребятишек; они работают артелью, и их совместные старания определяют заработок.

— Я голоден, как зверь, Берт, — сказал я. Мы в тот день еще не обедали.

— Я сам готов лопать хмель, черт побери, — отозвался он.

И мы принялись сетовать на то, что не поза-

ботились обзавестись потомством, — вот и нет у нас в столь трудную минуту помощников! Так мы коротали время, развлекая своей болтовней соседей. Мы даже завоевали расположение деревенского паренька, обязанностью которого было выдергивать жерди и подбирать с земли упавшие цветы, — он то и дело подбрасывал в наш ларь горсть шишек.

От этого парня мы узнали, на какой аванс можно тут рассчитывать. Рабочему платят шиллинг за семь бушелей хмеля, но чтобы получить этот шиллинг, нужно сдать двенадцать бушелей, то есть за пять бушелей деньги задерживаются. Так хозяева принуждают сборщика оставаться до конца работ независимо от того, хороший урожай хмеля или плохой, — особенно когда плохой.

Впрочем, сидеть на солнышке было приятно: золотистая цветочная пыльца сыпалась с рук, острый аромат хмеля щекотал ноздри; память о шумных городах, откуда пришли сюда все эти люди, затуманилась, отодвинулась куда-то далеко. Бедные, горемычные бродяги! Бедные обитатели трущоб! И они стремятся на простор полей, и их одолевает смутная тоска по земле, с которой их согнали, тоска по ветру, дождю, солнцу и вольному воздуху, не оскверненному

городским смрадом. Как море манит моряка, так манит их плодородная земля, и в каждом хилом, нерасцветшем теле живет душа далеких предков, которые не знали городов. Людей безотчетно волнуют и радуют звуки, краски и запахи земли, потому что в крови у них еще живут воспоминания, хоть памятью они давно утрачены.

— Хмель весь, приятель, — вздохнул Берт.

Было уже пять часов, и нам прекратили подачу ветвей, чтобы сборщики успели привести все в порядок, потому что по воскресеньям не работали. Целый час томились мы без дела в ожидании учетчиков. Как только село солнце, сразу похолодало, и ноги у нас изрядно застыли. Рядом с нами две женщины и шестеро ребятишек собрали девять бушелей хмеля. У нас же с Бертом по обмеру оказалось пять бушелей. Тоже неплохо, если принять во внимание, что дети наших конкуренток были в возрасте от девяти до четырнадцати лет.

Пять бушелей! Значит, за три с половиной часа мы вдвоем заработали восемь с половиной пенсов, по четыре с четвертью пенса на брата — чуть больше одного пенса в час! В виде аванса мы могли получить только пять пенсов; впрочем, за неимением мелочи учетчик вручил нам шестипенсовик. Он остался глух к нашим мольбам:

повесть о наших бедах не тронула его сердце, — он громко заявил, что мы и так получили на пенс больше, чем следовало, и с тем удалился.

Допустим на минуту, что мы и в самом деле те, за кого себя выдавали: бедняки без гроша за душой, — и посмотрим, как развертывались бы события дальше. Надвигалась ночь, а мы еще не ужинали, даже не обедали, и на двоих имели шесть пенсов. Я один легко проел бы не шесть пенсов, а в три раза больше, и Берт тоже. Ясно было, во всяком случае, что, удовлетворив шестью пенсами желудок на одну шестую, мы оставили бы его на пять шестых возмущенным такой несправедливостью. Далее. Очутившись снова без денег, мы должны были бы ночевать под забором, что, возможно, не так уж страшно, только, правда, пришлось бы пожертвовать частью тепла, полученного нами от еды. Завтра — воскресенье и вынужденный отдых. А глупый желудок не желает отдыхать! Стало быть, вот проблема: где взять деньги, чтобы набить его три раза в воскресенье и дважды в понедельник? (Ведь следующего аванса можно было ждать только в понедельник вечером!) Мы знали, что ночлежки переполнены, а если обратиться за подаянием к фермерам, то рискуем угодить в

тюрьму на четырнадцать суток. Что оставалось делать? Мы посмотрели друг на друга с отчаянием. Да нет же, вовсе не с отчаянием! Мы от души возблагодарили Бога за то, что он сотворил нас непохожими на других людей, особенно на сборщиков хмеля, и зашагали по дороге в Мейдстон, побрякивая серебряными монетами, которыми запаслись, выходя из Лондона.

Глава XV
Мать моряков

Эти глупые крестьяне, которые держат на своих плечах царские троны, приносят славу государственным деятелям, обеспечивают генералам прочные победы, оставаясь в то же время невежественными, апатичными или исполненными тупой ненависти; эти крестьяне, которые своим трудом движут мир, хотя их заставляют уничтожать друг друга во имя Бога, короля и биржи, – эти мечтатели, жалкие глупцы, заслужившие бессмертие, позволяют командовать собою какой-нибудь пышной марионетке и отдают свою жизнь в распоряжение денежного мешка.

***Стивен Крейн*[152]**

Меньше всего можно было рассчитывать на встречу с «Матерью моряков» в сердце Кента,

---

[152] Примечания: 152

Крейн Стивен (1871–1900) — американский писатель, автор повести «Мэгги, девушка улицы» и ряда рассказов, в которых освещалась жизнь социальных низов.

но именно там я ее нашел — на убогой улице, в бедном районе Мейдстона. На окне ее дома не виднелось объявления о сдаче внаем комнат, и мне пришлось долго ее уговаривать, прежде чем она согласилась пустить меня переночевать в своем зальце. Вечером того же дня я зашел в подвал, где у них была кухня, побеседовать с нею и с ее мужем — Томасом Магриджем.

Во время этой беседы тонкости и условности сложной цивилизации нашего машинного века перестали для меня существовать. Мне казалось, что я проникаю под кожу, добираюсь до тайников души удивительного островного племени, найдя какой-то сплав всех его черт в супружеской паре Магриджей. Я обнаружил и дух странствий, увлекавший сынов Альбиона за моря и океаны, и колоссальное безрассудство, заставлявшее англичан ввязываться в нелепые инциденты и бессмысленные войны, и слепую настойчивость, и упорство, приведшие их к имперскому величию; и наравне с этим я обнаружил огромное, непостижимое долготерпение этого народа, безропотно несущего тяжкое бремя труда от рождения до смерти и покорно посылающего лучших своих сынов на край света воевать и колонизировать чужие земли.

Томасу Магриджу семьдесят один год. Он мал ростом — из-за этого его и не взяли в солдаты. Он жил безвыездно на одном месте и работал. Все воспоминания его детства связаны с работой. Труд — единственное, что он знал всю свою жизнь, трудится он и сейчас. Каждое утро старик встает с петухами и спешит на поденную работу — он чуть ли не с пеленок поденщик. Жене его семьдесят три года. Семи лет она начала работать в поле — сначала наравне с мальчишками, потом — с мужчинами, и по сей день не перестает трудиться — убирает в доме, стирает, варит, печет, а теперь еще готовит и для меня и заставляет краснеть, застилая по утрам мою постель. Старики проработали более шестидесяти лет, но ничего не накопили, впереди их ничего, кроме работы, не ждет, тем не менее они довольны. Ни на что другое они и не рассчитывают, ни о чем другом и не мечтают.

Живут они скромно. Потребности их весьма ограниченны: кружка пива после рабочего дня за кухонным столом в подвале, еженедельная газета, которая читается семь вечеров подряд, и беседа — вялая и однообразная, как жвачка. Со стены смотрит на них с гравюры худенькая, ангелоподобная девушка, под гравюрой надпись:

«Наша будущая королева». А с пестрой литографии рядом глядит пожилая полная дама. «Наша королева в день шестидесятилетия пребывания на троне», — прочел я внизу.

— Слаще нет ничего, чем хлеб, добытый в поте лица, — изрекла миссис Магридж, когда я намекнул, что им пора, пожалуй, отдохнуть.

А муж ее в ответ на мой вопрос, есть ли им подмога от детей, сказал:

— Нет, да мы и не нуждаемся в помощи. Будем работать — я и мать, — пока нас Бог не приберет.

И миссис Магридж энергично закивала в знак полного согласия.

Старуха произвела на свет пятнадцать детей, но одни уехали, другие умерли. Только самая младшая живет в Мейдстоне, ей двадцать семь лет. Дети обзавелись семьями, своих забот по горло, как и положено семейным людям.

Где же дети? Спросите лучше, где их только нет! Лиззи в Австралии, Мери в Буэнос-Айресе, Полин в Нью-Йорке, Джо умер в Индии… В угоду гостю упомянули всех — и живых, и покойных, и солдата, и матроса, и жену колониста.

Мне показали фотографию, изображающую молодцеватого парня в солдатской форме.

— А это который из ваших сыновей? — спро-

сил я.

Они дружно рассмеялись. Да разве это сын? Это внук! Только что из Индии, солдат, королевский горнист. В одном полку с ним служит и его брат. И так оно шло и шло: сыновья и дочери, внуки и внучки — мировые путешественники, строители империи… Впрочем, и старики, не покидавшие родины, тоже помогали строить империю.

Стоит Богатой Морячки дом
У Северных ворот;
Она рождает на свет бродяг
И в земли заморские шлет.
Одни утонут у берегов,
Другие – от суши вдали;
Мать услышит и снова шлет сыновей
Во все концы земли.

Но «мать моряков» уже почти перестала давать потомство. Род ее пошел на убыль, меж тем как население земного шара увеличивается. Может быть, жены ее сыновей продолжат род, сама же она на это уже не способна. Выходцы из Англии ныне стали жителями Австралии, Африки, Америки. Англия так упорно усылала за океаны лучших сынов, а тех, кто не уехал,

столь безжалостно подвергала истреблению, что теперь ничего другого ей не остается, как только сидеть бессонными ночами да глядеть на своих королев.

Исчезла порода истых моряков британского торгового флота. Туда не вербуются больше такие морские волки, как те, кто сражался под водительством Нельсона при Трафальгаре и на Ниле. Теперь матросами на торговых судах служат все больше иностранцы, хотя командуют ими по-прежнему англичане, которые любят в случае чего гнать вперед представителей других наций. В Южной Африке буры показывают британцам, как надо воевать, а британские офицеры совершают глупости и попадают впросак, хотя у них на родине, в Англии, устраиваются грандиозные гулянья для городской бедноты в честь снятия осады с Мафекинга, а военное министерство под шумок снижает норму роста для новобранцев.

Да иначе и невозможно. Даже самый благодушный британец не может рассчитывать на долголетие, обескровливая себя полуголодной жизнью. Рядовые Магриджи вынуждены переселяться в города, и там они плодят малокровное, хилое потомство, для которого не хватает еды. Силы расы, говорящей на английском языке,

сосредоточены сегодня не на тесном маленьком британском острове, а в Новом Свете, за океаном, куда перекочевали сыновья и дочери миссис Магридж. «Морячка у Северных ворот» уже доигрывает свою роль на мировой арене, хоть она и не понимает этого. Пора ей на покой, пора дать отдых усталому телу, и если старческая немощь не приведет ее в ночлежку или в работный дом, то это потому, что она вырастила себе детей на черный день.

Глава XVI
Собственность против личности

Права частной собственности настолько расширились, что права общества почти полностью исчезли, и едва ли будет преувеличением сказать, что благосостояние, жизненные удобства и гражданские свободы большинства населения брошены к ногам кучки собственников, которые не занимаются никаким трудом.

***Джозеф Чемберлен*[153]**

При цивилизации, имеющей откровенно утилитарный характер и кладущей в основу собственность, а не душу, — собственность неизбежно начинает попирать личность, и всякое нарушение прав собственности карается строже, нежели нарушение прав личности. Человек, вынужденный спать под открытым небом из-за того, что ему нечем уплатить за койку в ночлежке,

---

[153] Примечания: 153

Чемберлен Джозеф (1836–1914) — английский политический деятель, один из идеологов британского империализма; проводил политику империалистической экспансии.

представляется куда более опасным преступником, чем тот, который в кровь избил жену и переломал ей ребра. Подростка, выкравшего полтора десятка груш из товарного вагона богатой железнодорожной компании, сочтут более серьезной угрозой для общества, чем молодого хулигана, напавшего без всякого повода на семидесятилетнего старика. Девушку, которая обманом сняла угол, сказав, что имеет работу, обязательно подвергнут суровому наказанию, — иначе она и ей подобные взорвут, чего доброго, всю систему частной собственности. Вот если бы она бесстыдно фланировала ночами по Пикадилли и Стрэнду, полиция не преследовала бы ее и уж она заработала бы себе на комнату.

Привожу в качестве образца выдержки, сделанные мною из судебных отчетов за одну неделю.

Полицейский суд, Уиднис. Судьи: Госсадж и Нийл. Обвинялся Томас Линч в том, что в пьяном виде нарушил общественный порядок и напал на полисмена. Обвиняемый похитил из-под стражи женщину, нанес побои полисмену и бросал в него камнями. Приговорен к штрафу: за нарушение общественного порядка — 3 шиллинга 6 пенсов и за оскорбление действием — 10 шиллингов плюс судебные издержки.

Полицейский суд в Куинс-парке, Глазго. Городской судья Норман Томсон. Джон Кейн признал себя виновным в избиении жены. Имел до этого пять судимостей. Приговорен к штрафу в 2 фунта 2 шиллинга.

Судебная коллегия Тонтонского графства. Джон Пейнтер, высокий здоровый мужчина, называющий себя рабочим, привлечен к ответственности за избиение жены. У нее обнаружены два больших кровоподтека под глазами, сильная опухоль лица. С Пейнтера взыскан штраф 1 фунт 8 шиллингов, включая судебные издержки, и взята подписка, что он будет соблюдать общественное спокойствие.

Полицейский суд, Уиднис. Рассматривалось дело Ричарда Бествика и Джорджа Хэнта, нарушивших границы чужого владения с целью охоты на дичь. Оба приговорены к штрафу: Хэнт — на 1 фунт плюс судебные издержки, Бествик — на 2 фунта плюс судебные издержки. Штраф заменен одним месяцем тюремного заключения ввиду неплатежеспособности обвиняемых.

Полицейский суд, Шафтсбери. Судья — мэр города мистер Карпентер. Обвиняемый Томас Бейкер приговорен к тюремному заключению на

14 суток за то, что спал на улице.

Центральный полицейский суд, Глазго. Судья Дэнлоп. Подросток Эдуард Моррисон обвинялся в краже 15 груш из железнодорожного вагона. Приговорен к тюремному заключению на 7 суток.

Полицейский суд, Донкастер. Судьи: Кларк и другие. На основе закона о борьбе с браконьерством рассматривалось дело Джеймса Мак-Гоуана. У обвиняемого найдены капканы и много кроликов. Приговор: штраф в 2 фунта стерлингов плюс судебные издержки или месяц тюрьмы.

Графство Данфермлайн. Шериф Джиллеспи. Шахтер Джон Йонг признал себя виновным в избиении Александра Сторрара. Ответчик избивал истца кулаками по голове и телу, потом повалил на землю и ударил крепежным бревном. Приговорен к штрафу в 1 фунт стерлингов.

Полицейский суд, Керкалди. Судья Дишарт. Саймон Уокер признал себя виновным в том, что ударил человека и сбил с ног без всякого повода. Судья охарактеризовал обвиняемого как личность, представляющую серьезную угрозу для всего района, и оштрафовал его на 30 шиллингов.

Полицейский суд, Мэнсфилд. Суд в составе мэра города и судебных заседателей Ф. Тернера, Дж. Уитекера, Ф. Тидсбери, Э. Холмса и д-ра Р. Несбитта слушал дело по обвинению Джозефа Джексона в нападении на Чарлза Нэнна. Джексон без каких-либо оснований напал на истца, повалил его на землю и нанес ногой удар в голову. Нэнн потерял сознание и находился после этого две недели на излечении. Джексон оштрафован на 21 шиллинг.

Графство Перт. Шериф Сим. Судился за браконьерство Дэвид Митчел, имевший две судимости, последнюю — три года назад. Перед шерифом возбуждено ходатайство о снисхождении ввиду преклонного возраста обвиняемого — 62 года, а также ввиду того, что он не сопротивлялся при аресте. Приговорен к тюремному заключению сроком на 4 месяца.

Графство Донди. Заместитель шерифа, достопочтенный Р. Уокер судил за браконьерство Джона Мэрея, Доналда Крэга и Джеймса Паркса. Крэг и Паркс приговорены каждый к штрафу в 1 фунт стерлингов, который может быть заменен 14 сутками тюрьмы, Мэрей — к штрафу в 5 фунтов стерлингов или к месяцу тюрьмы.

Полицейский суд, Ридинг. Суд в составе У. Мон-

ка, Ф. Парфитта, Х. Уолиса, Г. Гилэгэна рассмотрел дело Альфреда Мастерса, 16 лет, обвиняемого в том, что спал на пустыре и не имеет видимых средств к существованию. Приговор: 7 суток тюрьмы.

Город Салсбери. Судебная коллегия в составе мэра, С. Хоскинса, Г. Фулфорда, Э. Александра и У. Марлоу рассмотрела дело Джеймса Мора по обвинению в краже пары сапог со двора магазина. Приговор: тюремное заключение сроком на 21 день.

Полицейский суд, Хорнкасл. Судьи: его преосвященство У. Массингберд, его преосвященство Дж. Грэхем и м-р Лукас Колкрафт. Молодой рабочий Джордж Брекенбери обвинялся в том, что без малейших оснований совершил, как это квалифицировал суд, зверское нападение на Джеймса Фостера, старика 70 лет. Преступник оштрафован на 1 фунт 5 шиллингов 6 пенсов.

Уорксоп. Судебная коллегия в составе Ф. Фолжамбе, Р. Эдисона и С. Смита рассмотрела иск священника Лесли Грэхема к Джону Пристли, который нанес ему оскорбление действием. Обвиняемый в пьяном виде катил коляску с ребенком наперерез проезжавшей подводе; при столкновении коляска опрокинулась, и ребенок

выпал на мостовую. Подвода переехала коляску, но ребенок остался невредим. Пристли бросился избивать возчика, а когда священник Грэхем, наблюдавший эту сцену, выразил ему порицание, то Пристли избил и священника. Пострадавшему оказана медицинская помощь. Обвиняемый приговорен к штрафу в 40 шиллингов с оплатой судебных издержек.

Полицейский суд, Ротергам, Уэст-Райдинг. Судьи С. Райт, Г. Пью и полковник Стодарт слушали дело Бенджамена Стори, Томаса Браммера, Сэмюела Уилкока, обвиненных в браконьерстве. Приговор: тюремное заключение сроком на 1 месяц каждому.

Полицейский суд, графство Саутгемптон, в составе адмирала Дж. Раули, Х. Кэлм-Симора и др., рассмотрел дело Генри Торрингтона, привлеченного к ответственности за то, что спал на улице. По решению суда подсудимый заключен в тюрьму на 7 суток.

Полицейский суд, Экингтон. Суд в составе майора Л. Баудена, Р. Эйр, Х. Фаулера и д-ра Корта приговорил Джозефа Уотса, укравшего из сада 9 кустов папоротника, к тюремному заключению на 1 месяц.

Рипли. Судебная коллегия в составе Дж. Уилера, У. Бембриджа и М. Хупера рассмотрела в соответствии с законом о борьбе с браконьерством дело Винсента Аллена и Джорджа Холла, похитивших большое количество кроликов, и Джона Спархема, содействовавшего им. Холл и Спархем оштрафованы на 1 фунт 17 шиллингов 4 пенса, Ален — на 2 фунта 17 шиллингов 4 пенса с оплатой судебных издержек. Подсудимые заключены в тюрьму ввиду неплатежеспособности — первый и второй на 14 суток, третий — на 1 месяц.

Полицейский суд юго-западного района, Лондон. Судья м-р Роуз. Арестованный Джон Пробин обвинялся в нанесении тяжелого увечья полисмену. Пробин избил свою жену, а также постороннюю женщину, старавшуюся его остановить. Полисмен уговаривал его пойти домой, но Пробин внезапно сбил его с ног ударом в лицо и продолжал избивать и душить лежачего. Затем он преднамеренно ударил полисмена ногой по самому опасному месту, нанеся ему серьезное увечье, которое на долгий срок лишит его трудоспособности. Приговор суда: шесть недель тюремного заключения.

Полицейский суд, Ламбет, Лондон. Судья м-р

Хопкинс. Мисс Стюарт, 19 лет, назвавшая себя хористкой, заключена под стражу за то, что преднамеренно нанесла содержательнице пансиона Эмме Брейзер убыток в 5 шиллингов. Подсудимая сняла меблированную комнату в доме Эммы Брейзер на Атуэлл-роуд, заявив, что служит в театре «Краун». После того как Стюарт бесплатно пользовалась пансионом м-с Брейзер в течение трех дней, последняя навела справки и, узнав, что квартирантка солгала, потребовала ее ареста. Стюарт заявила суду, что хотела бы работать, но не может из-за тяжелой болезни. Приговор суда: «6 недель тяжелых принудительных работ».

Глава XVII
Непригодность

Я скорей уж согласился бы умереть на большой дороге под открытым небом. Я скорей бы согласился умереть с голоду на вольном воздухе, или утонуть в гордой морской пучине, или погибнуть от пули в упоении жестокой битвы, нежели влачить скотское существование в зловонном аду и после всего испустить дух на нищенской постели.

***Роберт Блэтчфорд*[154]**

Я приостановился на майлэндском пустыре, привлеченный спором в группе мужчин. Был вечер; спорщики, представлявшие, по-видимому, верхушку рабочего класса, окружили одного из своих — человека лет тридцати с приятным и открытым лицом — и довольно возбужденно отчитывали его.

— Ну а как насчет этой шантрапы иммигрант-

---

[154] Примечания: 154

Блэтчфорд Роберт (1851–1943) — английский журналист и писатель. Его работа «Веселая Англия» посвящена вопросам социалистического движения.

ской? — наскакивал один. — Как насчет евреев из Уайтчепела, которые душат нас, вырывают работу из-под носа?

— Да они разве виноваты? — следовал ответ. — Они такие же люди, как мы, и тоже жить хотят. Нельзя винить человека за то, что он продает свой труд дешевле, чем ты, и его берут на твое место.

— Понятно. А что же будут делать мои жена и дети? — не унимался собеседник.

— Ишь ты какой! А у него, что ли, нет жены и детей? Собственная семья для него дороже, чем твоя. Он не может допустить, чтобы она голодала, вот он и продает свой труд по дешевке. А ты катись куда хочешь. Но чем же он, бедняга, виноват? Какой у него выход? Плата всегда снижается, когда на одно место хотят попасть двое. Тут все дело в конкуренции, а не в человеке, который согласен работать дешевле.

— Но у тех, кто в профсоюзе, плата не снижается! — возразили ему.

— То-то и оно. Профсоюз не допускает конкуренции, зато там, где нет союза, становится еще труднее. Вот туда и проникают эти дешевые рабочие руки из Уайтчепела. Это все неквалифицированный народ, непрофсоюзный, они рвут

друг у друга работу, и нашу прихватят заодно, если у нас не будет защиты — сильного профсоюза.

Не углубляя спора, этот человек показал своим собеседникам, что, когда двое борются за одно место, заработок обязательно снижается. Если бы он проанализировал глубже, то пришел бы к выводу, что даже профсоюз с двадцатью тысячами членов не в состоянии удержать заработную плату на определенном уровне, когда двадцать тысяч безработных рвутся занять их место. Это превосходно подтверждается теперь, при возвращении демобилизованных солдат из Южной Африки. Положение их поистине отчаянное — десятками тысяч они вливаются в армию безработных. По всей Англии снижается заработная плата, и это вызывает трудовые конфликты и забастовки, а безработные ждут не дождутся подхватить инструменты, брошенные забастовщиками.

Потогонная система труда и нищенские заработки, сонмы безработных и бездомных людей, лишенных даже разового пристанища, — все это неизбежно, когда предложение труда превышает спрос. Женщины и мужчины, которых я встречал на улицах, в городских ночлежках и «обжорках» «Армии спасения», приходят туда вовсе не потому, что такую жизнь они считают «малиной».

Я достаточно подробно описал, какие мучения выпадают на их долю, и, думаю, для каждого ясно, что их житье — далеко не «малина».

Трезвый расчет показывает, что в Англии выгоднее работать за двадцать шиллингов в неделю и питаться регулярно и спать в постели, чем слоняться по улицам. Ведь бродяге куда труднее: и работа у него более тяжелая, и платят ему меньше. Я рассказал, как проводит он свои ночи и как, вконец измученный, плетется в «палату разового ночлега» отдохнуть. Ясно, что такая жизнь не сласть. Намять четыре фунта пеньки, раздробить двенадцать центнеров камня или проделать совершенно омерзительную работу за корку черствого хлеба и койку… да это же безрассудное расходование сил со стороны ночлежников! А со стороны властей — это чистый грабеж. Они платят людям значительно меньше, чем платил бы за такой труд капиталист-предприниматель. Делая то же самое для частного хозяина, рабочий имел бы лучшую постель и лучшую пищу, был бы в лучшем настроении и уж подавно свободнее. Итак, повторяю, посетители «палаты разового ночлега» безрассудно расходуют силы. И они это понимают — недаром так чураются подобных заведений и идут туда лишь чувствуя полное

изнеможение. Но все-таки идут. Почему? Вовсе не потому, что у них отбита охота к труду. Совсем наоборот — у них нет никакой охоты бродяжничать. В Соединенных Штатах бродяга — это почти всегда рабочий, которому неохота трудиться. Он считает, что бродяжничать легче, чем работать. В Англии же дело обстоит иначе. Здесь власти предержащие делают все возможное, чтобы отбить охоту бродяжить, — и, надо признать, весьма успешно добиваются своей цели. Бродяге ясно, что за два шиллинга, что равняется нашим пятидесяти центам, он ел бы три раза в день, имел постель да выкроил бы еще два-три пенни на мелкие расходы. И, конечно, он предпочел бы заработать эти два шиллинга, а не пользоваться милостью ночлежки, — ведь и работа была бы полегче, и не пришлось бы терпеть такого унижения. Почему же он не работает? Потому что людей, желающих работать, больше, чем есть на них спрос.

Когда предложение труда превышает спрос, начинается процесс отсева. Изо всех отраслей промышленности вытесняются менее работоспособные рабочие. Вытесненные по этой причине, они уже не в состоянии подняться, а обречены падать все ниже и ниже, пока не найдут такое место

в промышленной структуре, где они еще могут быть использованы. Самые же непригодные безжалостно и неумолимо вытесняются и отсюда летят на «дно», в бойню, где в муках погибают.

Достаточно одного взгляда на этих записанных в непригодные и попавших на «дно» людей, чтобы убедиться, какими они здесь становятся развалинами — и умственно, и физически, и морально. Исключение составляют новички — эти просто не выдержали наверху конкуренции, и разрушительный процесс пока только начинает делать свое страшное дело. Запомним, что все силы здесь губительные, иных нет. Человек со здоровым телом, попавший сюда из-за недостаточных умственных способностей, быстро теряет осанку и силы, другой, со здоровым духом, которого привела сюда физическая неполноценность, утрачивает ясность мысли и развращается. Смертность на «дне» особенно высока, и все же люди слишком долго страдают, прежде чем их постигнет конец.

Так создаются резервы бездны и бойни. Процесс непрерывного вытеснения происходит повсюду, во всех отраслях промышленности: менее пригодных вырывают, как сорную траву, и швыряют вниз. А непригодными люди становятся в силу

разных причин. Механик, лишенный чувства ответственности и почитающий постоянную работу тягостью, будет опускаться до тех пор, пока не очутится в рядах поденщиков — то есть там, где вообще не существует постоянной работы и где человек мало за что отвечает. Опускаются на «дно» — кто быстро, а кто постепенно — медлительные и неповоротливые, люди с неразвитым телом или умом, а также те, кто не обладает крепкими нервами и физической выносливостью. Непригодными становятся и хорошие рабочие, получившие увечья в результате какого-нибудь несчастного случая, и состарившиеся рабочие, утратившие былую энергию и смекалку, и для них начинается страшный, безостановочный спуск на «дно», где их уже не ждет ничего, кроме смерти.

Статистика Лондона рисует ужасающую картину. Население столицы — это одна седьмая часть всего населения Великобритании; по ежегодному подсчету, каждый четвертый из всех умерших здесь за год взрослых окончил свои дни в благотворительном учреждении: либо в работном доме, либо в больнице, либо в богадельне. Но ведь людей состоятельных не постигает подобный конец — значит, ясно, что смерть в благотво-

рительном учреждении — это удел примерно каждого третьего взрослого рабочего.

В качестве примера, как хороший рабочий может вдруг оказаться непригодным и что с ним тогда случается, я должен рассказать о судьбе тридцатидвухлетнего Мак-Гарри, обитателя работного дома. Цитирую выдержки из его сообщения о себе, приведенного в годовом отчете профессионального союза:

> «Я служил на заводе Сэлливена в Уиднисе, который больше известен под названием „Британский содовый завод“. В тот вечер я работал в сарае, и мне надо было пройти через заводской двор. Было десять часов, но там не горело ни одного фонаря. Иду я через двор и вдруг чувствую: чем-то зацепило мою ногу, прямо-таки отрывает ее. Не помню, что со мной было дальше, два дня я пролежал без сознания. Только в воскресенье вечером я пришел в себя и узнал, что нахожусь в больнице. „Что с моими ногами?“ – спросил я у сиделки, и она сказала, что обе ноги у меня отрезаны.
>
> Во дворе в заторной яме работала ме-

шалка со скоростью три оборота в минуту, но яму ничем не покрыли и не огородили. После несчастного случая со мной мешалкой перестали пользоваться и прикрыли яму листом железа. Они дали мне двадцать пять фунтов стерлингов, но не как компенсацию за увечье, а в виде пожертвования. Так мне было сказано. Из этих денег я купил себе за девять фунтов кресло на колесах.

Я потерял свои ноги на производстве. Я получал двадцать четыре шиллинга в неделю – побольше других, потому что соглашался работать в любую смену. На тяжелую работу всегда посылали меня. Управляющий мистер Мэнтон несколько раз навещал меня в больнице. Я попросил его подыскать мне работу, когда начал поправляться. Он сказал, чтоб я не беспокоился: директора, мол, не такие уж жестокосердные, так или иначе обеспечат меня. Потом мистер Мэнтон перестал приходить, а в последний раз, когда был, пообещал мне выхлопотать у дирекции пятьдесят фунтов, чтобы я мог уехать к моим друзьям в Ирландию».

Бедный Мак-Гарри! Ему платили побольше, чем другим рабочим, за его особое радение и постоянную готовность работать в любую смену. На всякую тяжелую работу посылали именно его. Но стряслась беда — и вот он в работном доме. Есть у него, впрочем, еще одна возможность: вернуться на родину в Ирландию и на всю жизнь стать обузой для друзей. Комментарии излишни.

Не надо забывать, что пригодность определяется не личными качествами рабочего, а спросом на труд. Если на одно место имеются три претендента, то работу получает один, а двое других, как бы способны они ни были, зачисляются в непригодные. Представим себе, что Германия, Япония и Соединенные Штаты захватят мировые рынки железа, угля и текстиля, — немедленно сотни тысяч английских рабочих окажутся выброшенными за борт. Кое-кто из них эмигрирует за границу, но большинство бросятся в другие отрасли промышленности и вызовут общее потрясение сверху донизу. Для установления равновесия на дно бездны будут сброшены сотни тысяч новых непригодных. Или, допустим, случилось другое — все рабочие увеличили производительность труда вдвое. Сразу половина их оказалась бы лишней и отнесенной к числу

непригодных, хотя каждый человек работал бы в два раза лучше прежнего и лучше многих умелых своих предшественников.

Когда работы не хватает на всех, то сколько есть лишних, незанятых рабочих, столько и будет непригодных, обрекаемых на медленную, мучительную гибель. Я ставлю себе целью показать в следующих главах своей книги не только то, как условия работы и образ жизни губят непригодных рабочих, но и то, как силами современной промышленной цивилизации непрерывно и бессмысленно создаются новые сонмы непригодных.

Глава XVIII
Заработная плата

Иной за хлеб свою жизнь продает,
За золото душу – иной.
Кто в доме работном приют найдет,
А кто в воде речной.
У нас богачи вершат дела,
И жребий наш хорош:
В Англии подешевели тела,
А души купишь за грош.

Когда я узнал, что в Лондоне сотни тысяч семейств живут на недельный заработок в двадцать один шиллинг или еще того меньше и эта часть населения составляет 1 292 737 человек, меня заинтересовал вопрос: как же надо составить бюджет на неделю, чтобы семья могла существовать и имела силы работать? Я не стал брать семью из шести, семи или десяти человек, а взял среднюю, состоящую из отца, матери и троих детей, и записал, как там тратится 21 шиллинг,

или приблизительно 5 долларов 25 центов на американские деньги.

	Стоимость в долларах	Стоимость в шиллингах
Квартирная плата	1,50	6,0
Хлеб.	1,00	4,0
Мясо.	0,87 1/2	3,6
Овощи.	0,62 1/2	2,6
Чай.	0,18	0,9
Сахар.	0,18	0,9
Масло.	0,20	0,10
Молоко.	0,12	0,6
Мыло.	0,08	0,4
Уголь.	0,25	1,0
Дрова.	0,08	0,4
Керосин.	0,16	0,8
И т о г о:	5,25	21/2

Достаточно вглядеться лишь во вторую графу, чтобы понять, как мало тут места для излишеств.

Один доллар (на наши деньги) в неделю на хлеб для пятерых — то есть два и шесть седьмых цента в день на человека, — значит, меньше одного цента на раз, если человек ест три раза в день! А между тем хлеб — у них самая большая статья расхода. Мяса они получают меньше, а овощей еще меньше. Что касается остальных продуктов, то их дозы настолько микроскопичны, что не заслуживают внимания. При этом надо еще сказать, что провизия покупается понемногу, а это самый дорогой и расточительный метод ведения хозяйства.

Хотя такой бюджет исключает какие бы то ни было излишества и охраняет семью от ожирения, лишних денег тоже, как видите, не остается: двадцать один шиллинг полностью уходит на еду и квартирную плату. Ни о каких карманных деньгах не может быть и речи. Если глава семьи выпьет кружку пива — это значит, что все члены семьи получат меньше еды, а чем меньше они будут есть, тем скорее станут непригодными. Эти люди не могут пользоваться ни омнибусом, ни трамваем; они не имеют денег даже на конверт с маркой, не говоря уж о воскресной поездке за город, посещении грошового кабаре, членстве в каком-нибудь клубе или покупке сладостей,

табака, книг и газет.

Но предположим, что одному из трех ребятишек понадобились башмаки. Тогда семья на целую неделю вынуждена отказаться от мяса. А ведь у них пять пар ног, которые нужно обуть, и всем пятерым членам семейства нужно что-то надеть на голову и как-то прикрыть тело, поскольку закон преследует хождение в непристойном виде. Словом, чтобы не замерзнуть на улице и не попасть в тюрьму, приходится снова и снова жертвовать своим здоровьем. А что так оно и бывает, это факт; отбросьте квартирную плату, уголь, керосин, дрова и мыло, и на пропитание останется по четыре с половиной пенса в день на человека. Если из этих четырех с половиной пенсов еще выгадывать на одежду, то где же взять силы работать?

Все это достаточно тяжко. Но случилось несчастье: отец сломал ногу или умер. И вот уже нет четырех с половиной пенсов на еду, а через неделю нечем уплатить за квартиру. Тогда путь на улицу, в работный дом или в какую-нибудь страшную лачугу, где мать будет биться из последних сил, стараясь прокормить семью на десять шиллингов, которые, может быть, ей удастся добывать.

Хотя в Лондоне 1 292 737 человек живут на заработок в двадцать один шиллинг и ниже того, мы анализировали только бюджет семьи из пяти человек. Но ведь есть семьи побольше, и есть такие, которые не располагают двадцатью одним шиллингом, а многие и вовсе не имеют постоянной работы. Естественно задать вопрос: как же живут те? На это можно ответить лишь одно: они не живут. Им неведомо, что такое жизнь. Они влачат полуживотное существование, пока над ними не смилуется смерть.

Прежде чем заглянуть в самые глубины нищеты, рассмотрим положение телефонисток. Для этих чистых, свежих английских девушек требуется более высокий уровень жизни, не такой скотский, иначе не сохранить им своей свежести и чистоты, этим молодым английским девушкам. Поступая работать на телефонную станцию, они получают для начала одиннадцать шиллингов в неделю. При уме и расторопности такая девушка может лет через пять дослужиться до фунта стерлингов в неделю. Недавно лорду Лоидондерри был представлен следующий расчет еженедельных затрат рядовой телефонистки:

Квартирная плата, топливо и освещение	шиллингов	7,6
Питание дома	»	3,6
Питание на работе	»	4,6
Проезд	»	1,6
Стирка белья	»	1
Итого:	»	18

Итак, ни на одежду, ни на театр, ни на лекарство в случае болезни не остается ничего. К тому же многие из этих девушек получают не восемнадцать шиллингов в неделю, а четырнадцать, двенадцать и даже одиннадцать! Но им ведь необходимо одеваться и хочется хоть немножко развлечься, а...

Мужчина с мужчиной часто жесток,
А с женщиной – неизменно.

На конгрессе профсоюзов, заседающем в настоящее время в Лондоне, союз рабочих газовых заводов внес предложение обратиться в парламент с требованием издать закон, запрещающий

наемный труд детей моложе пятнадцати лет. Против этой резолюции выступил представитель объединения ткачей северных графств, член парламента Шаклтон, заявив, что при существующих ставках ткачи не могут сводить концы с концами без заработка детей. За резолюцию голосовали представители пятисот тридцати пяти тысяч рабочих, против — представители пятисот четырнадцати тысяч. Если полмиллиона рабочих протестуют против запрещения детского труда, это говорит о том, какое огромное количество взрослых рабочих не обеспечено прожиточным минимумом.

Я беседовал в Уайтчепеле с женщинами, которые шьют пиджаки в потогонных мастерских, зарабатывая менее одного шиллинга за двенадцатичасовой рабочий день, и с женщинами, которые подшивают брюки, получая за это «по-царски» — от трех до четырех шиллингов в неделю.

Недавно промелькнуло сообщение об одном богатом торговом доме, который платит своим рабочим шесть шиллингов (со столом) за шесть шестнадцатичасовых рабочих дней. «Человек-реклама» зарабатывает четырнадцать пенсов в день, и этого должно ему хватить на все. Средний

недельный заработок уличного торговца от силы десять-двенадцать шиллингов. Рабочие средней квалификации всех профессий, за исключением портовых грузчиков, получают меньше шестнадцати шиллингов в неделю, а грузчики — от восьми до девяти шиллингов. Цифры эти точные, почерпнуты мною из отчета королевской комиссии.

Представьте себе такое: больная, умирающая старуха содержит себя и четверых детей (и платит три шиллинга в неделю за квартиру) тем, что клеит коробки для спичек по два с четвертью пенса за гросс. Два с четвертью пенса за двенадцать дюжин коробок, да еще покупай за свой счет клей и шпагат для увязки! Эта женщина никогда, ни на один день не прекращала работы — ни по болезни, ни ради отдыха или развлечения. Каждый день, включая воскресенье, она работает по четырнадцать часов, дабы выполнить норму — семь гроссов, — за что ей платят один шиллинг три и три четверти пенса. Стало быть, ее рабочая неделя — девяносто восемь часов, нормы труда — семь тысяч шестьдесят шесть спичечных коробок, и заработок — восемь шиллингов десять с четвертью пенсов за вычетом стоимости клея и шпагата.

Некто Томас Холмс, пользующийся известностью священник при полицейском суде, получил в прошлом году в качестве отклика на свою статью о положении женщин-работниц следующее письмо:

> «Сэр! Простите мою смелость, но, прочитав то, что вы пишете о бедных женщинах, работающих по четырнадцать часов в день за десять шиллингов в неделю, я хотела бы сообщить вам о своем положении. Я шью галстуки и за целую неделю получаю не больше пяти шиллингов, а у меня на руках больной муж, которого я должна кормить, так как сам он уже десять лет ничего не зарабатывает».

Понимаете? Женщина, способная написать такое толковое, грамотное письмо, живет вдвоем с мужем на пять шиллингов в неделю! М-р Холмс побывал у нее. Он с трудом мог протиснуться в ее комнатушку, где на кровати лежал больной муж и где целыми днями работала она. Тут же они ели, мылись и спали. Кровать больного оказалась единственным местом, где мистер Холмс мог присесть, да и та была завалена кусками шелка и галстуками. Больной находился в последней

стадии туберкулеза; он непрерывно кашлял, отхаркивая мокроту, и жене приходилось то и дело отрываться от работы и подбегать к нему. Шелковая пыль от галстуков попадала ему в легкие, а зараза из его легких — на галстуки. Нельзя сказать, что это очень полезно для тех, кто будет торговать этими галстуками или носить их.

М-р Холмс посетил еще один дом, где живет двенадцатилетняя девочка, которую судили за кражу чего-то съестного. Оказалось, что эта девочка заменяет мать двум братьям — девяти и семи лет (второй — калека) — и маленькой сестренке, а мать их, вдова-белошвейка, не разгибая спины, работает целый день. Она платит пять шиллингов в неделю за комнату. Вот запись ее последних хозяйственных расходов: чаю на полпенса, сахару на полпенса, хлеба на четверть пенса, маргарина на один пенс, керосина на полтора пенса, дров на полпенса. Милые, добрые хозяюшки, представьте себе, что это вы ходите за покупками и должны прокормить на такие гроши семью из пяти душ да еще следить за двенадцатилетней «мамой», как бы не стащила чего-нибудь для своих подопечных малышей, пока вы все шьете и шьете бесконечные блузки и этими блузками устилается дорога во мрак — туда, где ждет вас

зияющая яма нищенской могилы!

Глава XIX
Гетто

Можно ль славить наше время?
Чем оправдана хвала,
Если в городской клоаке гибнут
души и тела?
Там, в извилистых проулках, в
царстве рабского труда,
Женщин гонят на панели пре-
ступленье и нужда,
Там людская жизнь проходит в
тесноте и темноте,
Там хозяин отнимает хлеб по-
следний у детей,
Там гнилая лихорадка по сырой
ползет стене,
И с живым в одной постели
спит мертвец, окостенев.

Теннисон[155]

Было время, когда европейские нации обрека-

---

[155] Примечания: 155
Теннисон Альфред (1809–1892) — английский поэт.

ли нежеланных им евреев на жизнь в городских гетто. Сегодня господствующий класс при помощи менее грубых, но не менее жестоких средств обрекает нежеланных и все же необходимых ему рабочих на существование в гетто, поражающем своими гигантскими масштабами и невообразимо чудовищными условиями жизни. Восточный Лондон — не что иное, как гетто. Богатые и могущественные не обитают в подобных местах, туда не забредает случайный путешественник, там, сбившись в кучу, живут, плодятся и умирают два миллиона рабочих.

Не следует думать, что все рабочее население Лондона ютится на Восточной стороне; впрочем, дело явно идет к тому. В основной части города бедные кварталы один за другим уничтожаются, и лишившиеся крова перекочевывают главным образом на Восточную сторону. Только за последние двенадцать лет в одном из восточных районов, по ту сторону Олдгейта, Уайтчепела и Майл-Энда, число жителей увеличилось на двести шестьдесят тысяч, то есть больше чем на шестьдесят процентов. Кстати сказать, церкви в этом районе в состоянии вместить лишь одного молящегося из каждых тридцати семи «новоселов».

«Город убийственной монотонности» — так отзываются о Восточном Лондоне многие, в особенности упитанные, оптимистически настроенные, праздношатающиеся туристы, поражаясь однообразию и убожеству здешних мест. Было бы еще полбеды, если бы Восточный Лондон характеризовала только «убийственная монотонность», коль скоро рабочие не заслуживают, видно, красоты и многообразия впечатлений. Но Восточный Лондон достоин худшего наименования. Его следует назвать городом деградации.

Некоторые думают, что Восточный Лондон состоит из одних только трущоб. Это не так, хотя и не будет ошибкой сказать, что в целом Восточный Лондон — одна гигантская трущоба. В отношении элементарной пристойности и общепринятой нравственности любая из его ужасных улиц — трущоба. Если там можно увидеть и услышать такое, что не полезно видеть и слышать моему или вашему ребенку, то это также не полезно и другим детям. Если моей или вашей жене не подобает жить в подобных условиях, то это в равной мере не подобает и женам других мужчин. Ибо на Восточной стороне все грубое, все непристойное цветет пышным цветом. Здесь нет ничего интимного. Дурные портят хороших и

разлагаются вместе. Казалось бы, что может быть милее и прекраснее младенческой невинности? Но в Восточном Лондоне невинность улетучивается так быстро, что за младенцем в колыбели надо смотреть в оба, не то, начав ползать, он уже окажется посвященным во все дела житейские не меньше нас, грешных.

Следуя золотому правилу из Евангелия, нельзя никого заставлять жить в Восточном Лондоне. Вы считаете неподходящим для вашего ребенка расти, развиваться и набираться житейского опыта в таких местах? Значит, это неподходящее место и для ребенка других родителей расти, развиваться и набираться житейского опыта. Золотое правило — очень простая вещь, и если следовать ему, то больше ничего не требуется. К черту политическую экономию и теорию естественного отбора, если там это трактуется по-иному. Я говорю: то, что вредно для меня, столь же вредно для других. И точка.

Десятки тысяч семей в Лондоне, общим числом триста тысяч человек, занимают по одной комнате. Семей, живущих в двух-трех комнатах, еще больше, но у них так же тесно, и они так же сбиты все в одну кучу, без различия пола и возраста, как и те, кто ютится в одной комнате. По закону

требуется одиннадцать кубических метров на человека, в казармах на солдата отводится в полтора раза больше, а вот профессор Хаксли, в прошлом видный деятель здравоохранения Восточного Лондона, настаивал, что норма на каждого должна быть около двадцати кубических метров при наличии хорошей вентиляции. Тем не менее девятьсот тысяч человек из числа живущих в Лондоне не имеют минимальных одиннадцати.

По данным Чарлза Бута, в течение многих лет занимающегося экономическими исследованиями быта трудового населения Лондона, в этом городе миллион восемьсот тысяч *бедных и очень бедных* жителей. Любопытно отметить, что *бедными* он называет те семьи, которые живут на заработок от восемнадцати до двадцати одного шиллинга в неделю, а *очень бедными* — семьи, не имеющие даже такого заработка.

Капиталисты все с большим рвением изолируют рабочих как класс и все больше принуждают их жить в чудовищной тесноте, впритык друг к другу, что порождает не столько безнравственность, сколько полную аморальность. Привожу выдержку из протокола недавнего заседания совета лондонского графства, сухую и сжатую,

в которой между строк можно прочесть немало страшного.

> «М-р Брус задал вопрос председателю комиссии по народному здравоохранению: известны ли ему факты, свидетельствующие о чрезвычайной скученности населения на Восточной стороне. В Восточном Сент-Джордже отец, мать и восьмеро детей: дочери – двадцати, семнадцати, восьми, четырех лет и, самая младшая, грудного возраста, и сыновья – пятнадцати, тринадцати и двенадцати лет, – проживают все в одной маленькой комнате. В Уайтчепеле муж, жена, три дочери – шестнадцати, восьми и четырех лет, и два сына – двенадцати и десяти лет – занимают одну комнату еще меньших размеров. В Бетнал-Грине в одной каморке ютится семья из восьми человек: отец, мать, четыре сына – двадцати трех лет, двадцати одного года, девятнадцати и шестнадцати лет – и две дочери – четырнадцати и семи лет. М-р Брус спросил, не считают ли местные власти своим долгом бороться с такой непомерной скученно-

стью».

Когда девятьсот тысяч человек живут фактически в условиях, запрещаемых законом, для властей это, конечно, тоже изрядная морока. Например, выселяют жителей из битком набитого дома, и те перебираются в другую берлогу; переезд обычно совершается ночью (на ручной тележке умещается весь домашний скарб и спящие дети), и власти почти неизбежно теряют их след. Если бы власти вдруг решили полностью выполнить закон 1891 года о народном здравоохранении, то пришлось бы выселить девятьсот тысяч человек прямо на улицу, и чтобы водворить их опять под крышу, потребовалось бы построить пятьсот тысяч комнат.

На первый взгляд эти скверные, грязные улицы кажутся просто-напросто скверными, грязными улицами. Но загляните в дома — и вам откроются неслыханные нищета, убожество и трагедии.

Следующий факт, возможно, вызовет у читателя отвращение, но еще отвратительнее то, что такой факт мог произойти. На Девоншайр-плейс недавно скончалась старуха семидесяти пяти лет. Представитель следственных органов заявил, что все имущество покойной состояло из кучи

тряпья, усеянного насекомыми. Пока следователь находился в комнате, вши переползли и на него. Никогда еще он не видел ничего подобного: решительно все в комнате было усеяно вшами.

По свидетельству врача, покойная лежала в одной рубашке и чулках на поваленной решетке камина. Тело ее кишело вшами, и вся одежда, какая была в комнате, казалась серой от насекомых. Осмотр тела выявил предельное физическое истощение покойной. Ноги ее были покрыты язвами от укусов, и чулки прилипли к язвам.

Другой свидетель заявил следующее: «Я имел несчастье видеть труп бедной женщины в морге и до сих пор не могу без содрогания вспоминать это страшное зрелище. Она лежала в мертвецкой худая, как щепка, — кости да кожа. Волосы на голове свалялись, как войлок, и в них гнездилось несметное количество насекомых. По костлявой груди ползали сотни, тысячи, мириады вшей».

Я не желал бы такой смерти своей матери, а вы — своей, так не будем желать ее другим матерям тоже.

Священник Уилкинсон, побывавший в Зулуленде, недавно писал: «Никогда бы вождь африканского племени не разрешил столь непристойного смешения полов: молодых мужчин и

женщин, мальчиков и девочек». Он имел в виду детей гетто, которые спят вповалку со взрослыми и уже в пятилетнем возрасте знают такое, чего им лучше бы не знать, но только уже поздно их переучивать.

Общеизвестно и позорно то, что дома в гетто, населенные бедняками, приносят владельцам больше дохода, чем барские особняки. Мало того, что бедняк-рабочий вынужден жить в скотских условиях, он еще должен платить за свою конуру относительно более высокую плату, нежели богач за просторные апартаменты. Существует целая категория людей, выгодно эксплуатирующих трущобы: ведь для всех нуждающихся не хватает жилья и бедняки берут его с боя, а многие вынуждены волей-неволей идти в работный дом. В аренду сдается все: дома, квартиры, комнаты и углы.

«Сдается часть комнаты» — такое объявление я видел недавно в окне дома в пяти минутах ходьбы от Сент-Джеймс-холла[156]. Священник Хью Хьюз утверждает, что койки сдаются на основе трехсменной системы. Это значит, что на одну койку приходится по три жильца и каждый занимает

---

[156] Примечания: 156

Сент-Джеймс-холл — дворец в фешенебельном районе Лондона.

ее по восемь часов, — постель не успевает остыть. На три смены сдается даже пол под койкой. Санитарные инспектора нередко обнаруживают такую картину: в комнате площадью двадцать восемь кубических метров спят на одной кровати три женщины, а на полу под кроватью — еще две. В другой комнате, в сорок девять кубических метров, на кровати спит мужчина с двумя детьми, а под кроватью — две женщины.

А вот типичный образец более «респектабельного», двухсменного, пользования комнатой: днем ее занимает молодая женщина, работающая по ночам в гостинице, а с семи часов вечера, когда она уходит на работу, и до семи утра там располагается рабочий-каменщик.

У. Дайвис, настоятель храма Христа в Спайтелфилдзе, произвел перепись населения некоторых улиц своего прихода, и вот что отметил:

> «В одном переулке десять домов, и в них пятьдесят одна комната; все одинаковой площади, все крошечные. Общее число жильцов – двести пятьдесят четыре человека. Но по двое живут только в шести комнатах, в остальных помещается от трех до девяти человек. В соседнем

переулке шесть домов, в них двадцать две комнаты и восемьдесят четыре жильца, причем в некоторых комнатах проживают по шесть, восемь и девять человек. В одном доме на восемь комнат приходится сорок пять жильцов: девять в одной, восемь в другой, по семи в третьей и четвертой и шесть в пятой».

Гетто перенаселено не потому, что людям нравится так жить, а потому, что у них нет другого выхода. Почти половина рабочих платит за квартиру от двадцати пяти до пятидесяти процентов своего заработка. Средняя квартирная плата за комнату в Восточном Лондоне колеблется от четырех до шести шиллингов в неделю. Квалифицированный рабочий из своего заработка в тридцать пять шиллингов отдает домохозяину пятнадцать шиллингов за две крохотные клетушки, прилагая отчаянные усилия к тому, чтобы поддержать некое подобие семейной жизни. При этом квартирная плата непрерывно растет. На одной из улиц в Степни только за два года плата за жилище возросла с тринадцати до восемнадцати шиллингов, на другой улице — с одиннадцати до шестнадцати, на третьей — с одиннадцати до

пятнадцати, а в Уайтчепеле, где прежде за домик из двух комнат брали десять шиллингов, теперь берут двадцать один. На востоке, западе, севере и юге Лондона квартирная плата неуклонно ползет вверх. Когда акр земли ценится от двадцати до тридцати тысяч фунтов стерлингов, кто-то должен возмещать расходы домовладельцу!

Член палаты общин У. Стедмен, выступая по поводу положения своих избирателей района Степни, заявил следующее:

> «Сегодня утром меня остановила возле моего дома некая вдова. У нее шестеро детей, их надо кормить. Она арендует домик за четырнадцать шиллингов в неделю и в свою очередь сдает углы. Кроме того, занимается поденной стиркой и уборкой. Она с плачем рассказала мне, что домовладелец увеличил квартирную плату до восемнадцати шиллингов. Что ей остается делать? Свободных домов в районе Степни нет: каждый угол занят, все переполнено».

Господство одного класса зиждется на вырождении другого; когда рабочие согнаны в гетто, им трудно избежать процесса вырождения. В гетто

вырастает низкорослое, физически недоразвитое, слабовольное племя, резко отличающееся от племени хозяев. Мужчина здесь — это какая-то карикатура на физически здорового человека. А женщины? А дети? Они бледны и малокровны, сутулы и кривобоки, под глазами пролегли глубокие тени. Все женственно привлекательное гибнет здесь, не успев расцвести.

Хуже всего то, что только такие и остались в гетто — вырождающееся племя, которому предстоит дальнейшее вырождение. Уже полтора столетия, не меньше, истощаются людские резервы. Сильные, мужественные, инициативные, предприимчивые люди уезжали в новые, более свободные страны, строили новые государства, создавали новые нации. Те, кто не обладал этими качествами: люди слабовольные, неспособные, неумелые или безнадежно больные и отчаявшиеся, — оставались в Англии продолжать род. Но и дальше, из года в год, все, что они производили лучшего, отнималось у них: стоит юноше подняться здоровым и рослым, как его немедленно призывают в армию. По словам Бернарда Шоу, солдат — «это якобы героический, полный патриотических чувств защитник родины, а на самом деле — горемыка, которого нищета заставила

за дневной паек, крышу над головой и одежду продаться в качестве пушечного мяса».

Этот постоянный отсев всего лучшего, что родится в рабочей среде, истощил породу, а самые жалкие ее остатки опускаются в гетто на «дно». Лучшие жизненные соки высосаны и впрыснуты в кровь новых поколений в далеких заморских странах. В гетто остаются деклассированные элементы; их изолируют и предоставляют своей судьбе, и они теряют облик человеческий. Если они совершают убийства, то, убив, тупо отдают себя в руки палачей. Они грешат, не дерзая. Такой пырнет тупым ножом приятеля или размозжит ему голову чугунным горшком, а потом усядется ждать полицию. Бить жену — привилегия мужчины, которую дает ему брак. Мужчины носят здесь удивительные сапоги, подбитые железными гвоздями. Украсив мать своих детей синяком под глазом, супруг валит ее на землю и топчет подковами, как техасский жеребец гремучую змею.

Женщина из беднейших слоев гетто — такая же рабыня мужа, как индейская скво. И лично я, на месте такой женщины, предпочел бы быть индейской скво. Мужчины находятся в экономической зависимости от своих хозяев, женщины

— от своих мужей. В результате кулачная расправа, которую по справедливости заслужил хозяин, выпадает на долю жены. А она беспомощна: муж — кормилец семьи, и у них дети, — не сажать же его в тюрьму, чтобы самой с детьми помереть с голоду! При разборе в суде дела о рукоприкладстве почти невозможно бывает получить доказательства, которые позволили бы вынести приговор виновному: обычно пострадавшая от мужниных кулаков жена, истерически рыдая, молит судью отпустить ее мужа на свободу — ради детей.

Жены становятся сущими ведьмами или по-собачьи покорными, утрачивают самоуважение и те скудные понятия о приличиях, которые они имели во времена девичества, и все вместе, и мужчины, и женщины, безотчетно погружаются глубже и глубже в трясину.

Иногда я пугаюсь собственных обобщений относительно массовой нищеты в гетто и начинаю обвинять себя в преувеличении, боясь, что стою слишком близко от изображаемого предмета и мне не хватает перспективы. В такие минуты я нахожу полезным прибегнуть к свидетельству других людей для подтверждения того, что нервы у меня в порядке и голова на месте. Фредерик

Гаррисон[157] всегда производил на меня впечатление разумного, уравновешенного человека, однако вот что пишет он:

> «Для меня, во всяком случае, есть достаточно оснований сказать, что современный общественный строй едва ли представляет шаг вперед по сравнению с рабовладельческим или крепостным строем, если навсегда сохранится то положение, которое мы наблюдаем; девяносто процентов фактических производителей материальных благ владеют правом на свой угол только до конца недели, у них нет ни клочка земли, ни даже собственной комнаты и никаких ценностей вообще, за исключением домашнего хлама, целиком умещающегося на одной ручной тележке; они не уверены даже в своем скудном недельном заработке, которого едва хватает, чтобы поддержать душу в теле; они живут чаще всего в таких местах, где хороший хозяин не

[157] Примечания: 157

Гаррисон Фредерик (1831–1923) — английский философ-позитивист, биограф и критик, автор работ «Содержание истории», «Положение в обществе и прогресс» и др.

стал бы держать лошадь; они никак не застрахованы от нужды, ибо один месяц безработицы, болезни или любое другое несчастье приводит их на грань голода и нищеты… Если такое положение есть норма для рядового рабочего города и деревни, то еще хуже приходится огромной массе отщепенцев – безработных, этому резерву промышленной армии, составляющему минимум одну десятую часть всего пролетариата; для этих людей нормальное положение – полная обездоленность. Если такое устройство современного общества закрепится навсегда, мы должны будем признать, что цивилизация несет проклятие огромному большинству человечества».

Девяносто процентов! Страшное дело! Однако священник Стопфорд Брук, рисующий ужасную картину жизни одной лондонской семьи, считает необходимым помножить ее на полмиллиона. Цитирую Брука:

«В бытность мою помощником приходского священника в Кенсингтоне я часто видел, как люди целыми семьями дви-

гались в Лондон по Хаммерсмит-роуд. Я познакомился с одной из таких семей, состоящей из отца-рабочего, матери, сына и двух дочерей. Долгое время они жили в деревне, работали в чьем-то имении и кое-как кормились благодаря тому, что существовал общественный выгон. Но потом общественный выгон был ликвидирован, владелец имения перестал нуждаться в их услугах, и их преспокойно выселили из дома. Куда идти? В Лондон, разумеется, где, как они полагали, работы хватает на всех. Им удалось сберечь немного денег, и они надеялись снять две приличные комнаты. Но в Лондоне перед ними встал неумолимый жилищный вопрос: две комнаты в мало-мальски благоустроенном доме стоили десять шиллингов в неделю. Продукты в городе были дорогие и плохого качества, питьевая вода скверная. Все это очень быстро сказалось на здоровье приезжих. Работу найти было трудно, платили мало, и скоро появились долги. Отвратительные жилищные условия – грязь и темнота – и нескончаемая работа все больше подры-

вали их здоровье и сломили дух. Вскоре пришлось искать квартиру подешевле. Сняли одну комнату, тоже за безбожную цену, и очутились в самой настоящей клоаке. Мне это место хорошо знакомо. С таким адресом им стало еще труднее находить работу, и они попали в лапы людей, которые за гроши тянут из рабочих последние соки, не считаясь с тем, мужчина это, женщина или ребенок. На новом месте было еще темнее и грязнее, пища и вода еще хуже, и здоровье их все убывало, а дурная среда лишала последних остатков человеческого достоинства. Зеленый змий одолевал их. Само собой разумеется, что на каждом углу этой улицы было по кабаку. Туда и устремлялись эти несчастные – согреться, побыть среди людей, забыть на время свое горе. Оттуда они выходили отягощенные новыми долгами, с отуманенной головой, готовые ради выпивки на все. И не прошло и нескольких месяцев, как отец попал в тюрьму, мать слегла, чтобы больше не встать, сын сделался преступником, а дочки пошли по рукам. Помножьте этот

случай на полмиллиона, и тогда вы начнете только добираться до истины».

На всем свете нельзя найти более мрачного зрелища, чем этот «ужасный Восточный Лондон» с его районами Уайтчепел, Хокстон, Спайтелфилдз, Бетнал-Грин и Уоппинг до ост-индских доков. Жизненные краски здесь серые, тусклые. Вокруг — бедность, безнадежность, уныние, грязь. Ванны никто никогда и в глаза не видел — обитателям Восточного Лондона это представляется каким-то мифом о наслаждениях, которыми пользовались боги. Народ живет в грязи, а если кто и делает жалкие попытки поддерживать чистоту, то это выглядит и смешно, и трагично. Даже воздух здесь какой-то грязный, насыщенный гадкими запахами, и дождь больше похож на грязь, чем на чистую воду с неба. Каменные мостовые заросли грязью. Словом, кругом грязь без конца и края, и смыть ее может только извержение вулкана Пеле или Везувия.

Унылы и однообразны бесконечные мили кирпичных домов, и так же унылы и однообразны люди. Религия, по существу, обошла их стороной, и они с головой погрязли в земном, в грубом и пошлом, губительном для духа и возвышенных

чувств.

Когда-то англичане любили похваляться: «Мой дом — моя крепость». Сегодня эти слова звучат анахронизмом. У жителей гетто нет дома. Они не знают, что такое семейный очаг, и потому не чтут его святости. Даже муниципальные дома, где живут квалифицированные рабочие, — это лишь густонаселенные казармы. Здесь и не пахнет семейным очагом, что, кстати, проявляется даже в их лексиконе: например, отец, вернувшийся с работы, спрашивает на улице свою девочку, где мать, и та отвечает: «Мама в помещении».

Образовалась новая порода людей — люди улицы. Вся их жизнь проходит или на работе, или на улице. У них есть какие-то крысиные норы, куда можно заползти, чтобы переночевать, — и ничего больше. Мы не вправе оскорблять наш язык, называя подобную нору домом. Традиционный сдержанный, молчаливый англичанин исчез. Люди улицы шумны, крикливы, нервны, взвинченны — я имею в виду молодых. Те, кто постарше, выглядят угрюмыми, отупевшими от пива. Когда не заняты, они часто стоят, уставившись в одну точку, точно жующие жвачку коровы. Таких можно встретить на любой улице — они стоят и тупо смотрят перед собой. Последи-

те за любым из них, и вы увидите, что он способен часами не двигаться с места и после вашего ухода будет стоять все так же неподвижно, вперив пустой взгляд в пространство, точно завороженный. На пиво у него нет денег; в свою нору он забирается, только чтобы поспать. Куда же деваться? Он уже знает цену всему — и девичьей любви, и любви жены, и любви ребенка. По его мнению, все это притворство и обман и испаряется, как роса, бесследно исчезает под напором суровой жизненной правды.

Повторяю: молодые нервны, взвинченны и легко возбудимы; пожилые тупы, неповоротливы, флегматичны. Нелепо даже на миг предположить, что эти люди в состоянии конкурировать с рабочими Нового Света. Доведенные до нечеловеческого состояния, опустившиеся и отупевшие обитатели гетто не смогут быть полезными Англии в ее борьбе за мировое господство в области промышленности, в борьбе, которая, по свидетельству экономистов, уже началась. Они не сумеют достойным образом проявить себя ни в качестве рабочих, ни в качестве солдат, когда Англия в нужде обратится к ним, своим забытым сыновьям. А если положение их родины в мире индустрии пошатнется, они погибнут, как

осенние мухи. Или же, когда дела Англии примут скверный оборот, то обитатели гетто, доведенные до полного отчаяния, могут стать опасными: толпами ринутся они на Западную сторону, чтобы отомстить за все беды, причиненные ею жителям Восточной стороны. В этом случае под огнем скорострельных пушек и прочих современных средств ведения войны они погибнут еще быстрее и проще.

Глава XX
Кофейни и ночлежные дома

Во имя чего должны мы жить как сельди в бочке?

Роберт Блэтчфорд

Еще одно понятие сверкнуло и кануло в Лету, лишившись своей литературной, овеянной романтикой традиции и всего того, что делает иные слова дорогими нашему сердцу! Отныне слово «кофейня» будет порождать во мне самые неприятные ощущения. Там, за океаном, одного этого слова было достаточно, чтобы вызвать в памяти множество исторических персонажей — завсегдатаев кофеен: денди и острословов, памфлетистов и наемных бандитов и, разумеется, нищей богемы лондонской Граб-стрит.

Но здесь, на месте — увы! — само название бессмысленно. Кофейня — место, где люди пьют кофе. Неверно. Вы не раздобудете там кофе ни за какие блага. Правда, по вашему заказу принесут какую-то бурду, именуемую кофе, но, отхлебнув глоток, вы с разочарованием убедитесь, что это отнюдь не то, чего вы ждали.

И кофе не кофе, и кофейни не кофейни. Это грязные «обжорки», посещаемые главным образом рабочим людом, и тот, кто пришел сюда перекусить, не может после этого уважать себя. О скатертях и салфетках здесь и не слыхивали; на обеденных столах навалена грязная посуда с чужими объедками; чтобы очистить тарелку или кружку, содержимое вываливают прямо на стол или на пол. В дневные часы, когда там особенно людно, я буквально утопал в скользких помоях и если умудрялся проглотить кусок в такой обстановке, то лишь потому, что был зверски голоден и способен съесть что угодно.

Рабочий человек к этому, по-видимому, привык и недовольства не выражает: еда — необходимость, какие там еще для нее украшения! Он приходит, ест с жадностью троглодита и уходит, я полагаю, только раздразнив аппетит. Когда вы видите, что человек по пути на работу заказывает кружку водицы, именуемой чаем и столь же похожей на чай, как на амброзию, и запивает ею вытащенный из кармана ломоть черствого хлеба, будьте уверены, что после такого завтрака он много не наработает. И, разумеется, ни он, ни тысяча его собратьев не смогут дать столько продукции хорошего качества, сколько дают те люди,

которые плотно позавтракали добрым куском мяса с картофелем и выпили настоящего кофе.

Кружка чаю, кусок копченой сельди и два ломтика хлеба с маслом считаются для лондонского рабочего роскошным завтраком. Не было случая, чтобы хоть кто-нибудь заказал при мне в кофейне порцию мяса за пять-шесть пенсов (самая низкая цена), а когда я требовал себе бифштекс, то каждый раз должен был дожидаться, пока хозяин кофейни пошлет в мясную лавку за куском мяса.

Посаженный в калифорнийскую тюрьму за бродяжничество, я получал лучшую пищу, чем та, которую подают лондонскому рабочему в кофейнях, а когда был в Америке рабочим, то за двенадцать пенсов ел такой завтрак, какой британскому рабочему и не снился. Правда, его завтрак обходится только в три-четыре пенса, но соотношение одинаковое, ибо он зарабатывает два — два с половиной шиллинга, а мне платили шесть. Зато я и делал за рабочий день куда больше, чем он. Вот вам обе стороны медали. Человек, материально лучше обеспеченный, всегда работает производительнее того, чей материальный уровень низок.

Моряки говорят, что между службой в английском торговом флоте и в американском

существует вот какая разница: на английских пароходах дрянная кормежка, ничтожная плата, но работа легкая. На американских же кормежка хорошая и плата хорошая, зато заставляют много работать. То же самое можно сказать и вообще о положении рабочего люда обеих стран. Чтобы машины на океанском пароходе производили энергию, им необходимо топливо. С рабочим такая же картина. А если ему не на что приобретать питание, тогда у него не будет энергии, вот и все. Обратный пример: английский рабочий приезжает в Соединенные Штаты. Уже в Нью-Йорке он укладывает больше кирпичей, чем в Лондоне, в Сент-Луисе еще больше, а в Сан-Франциско больше, чем в Сент-Луисе[158]. Это потому, что уровень его жизни все время соответственно повышается.

По утрам, когда люди спешат на работу, на уличных тротуарах сидят торговки, которые выносят в мешках хлеб на продажу. Почти все рабочие покупают этот хлеб и едят тут же, всухомятку, даже не заходя в кофейню, чтобы запить его чаем по пенни за кружку. Ясно, что при таком

[158] Примечания: 158

Каменщики в Сан-Франциско получают двадцать шиллингов в день. В настоящий момент они бастуют, требуя повышения платы до двадцати четырех шиллингов. — *Примеч. авт.*

питании человек будет работать плохо, ясно также и то, что его наниматель — и вся нация заодно — потерпят убыток. Уже давно политические деятели кричат: «Англия, пробудись!» Право, они проявили бы больше здравого смысла, если бы изменили свой клич на «Англия, поешь досыта!».

Мало того, что пища рабочих плохая, она еще и грязная. Я стоял возле мясной лавки, где толпились озабоченные домашние хозяйки, и наблюдал, как они рылись в куче жалких обрезков говядины и баранины, какие в Америке покупают для собак. Не буду ручаться за чистоту рук этих женщин, как и за чистоту их жалких жилищ, а меж тем они перебрасывали мясо руками, поворачивали его так и этак, придирчиво рассматривая и прикидывая, как повыгоднее истратить свои медяки. Я видел, что один наиболее отвратительный кусок побывал по крайней мере в двадцати руках, покуда мясник не всучил его маленькой робкой женщине. Так продолжалось до вечера: вместо проданных обрезков добавлялись новые, уличная пыль оседала на мясе, по нему ползали мухи, и множество грязных рук шарило и шарило в этой куче.

На тележках торгуют битыми и гнилыми фруктами; очень часто торговцы хранят товар ночью

у себя в комнатах, где спят целой семьей, дышат, потеют, плюют, заражая фрукты всевозможными бациллами, а наутро опять выносят их на продажу.

Бедняк рабочий Восточного Лондона не знает вкуса свежего мяса или свежих фруктов, да и вообще-то мясо и фрукты почти для него недоступны. Даже квалифицированный рабочий не может похвастать своим столом. Если судить по тому, что едят в кофейнях — а это довольно показательно, — английский рабочий не имеет представления о настоящем кофе, чае, какао. Помои и бурда, подаваемые в кофейнях, могут еще кое-как отличаться по качеству в разных местах, но они даже отдаленно не напоминают того, что мы с вами привыкли называть кофе или чаем.

Вспоминается мне такой случай в кофейне неподалеку от Джюбили-стрит, на Майл-Энд-роуд.

— Дашь мне, доченька, чего-нибудь вот на эти деньги? Давай что хочешь, мне все равно, — с утра еще крошки во рту не было, сил больше нет.

То говорила старуха, облаченная в опрятное черное старье. «Доченька», которой она протягивала монетку в один пенс, была хозяйка кофейни, она же и подавальщица, — изможденная женщи-

на лет сорока.

Я ждал ответа хозяйки, волнуясь не меньше, пожалуй, чем старуха. Было четыре часа дня. Посетительница, казалось, вот-вот упадет от слабости. После минутного колебания хозяйка пошла на кухню и принесла порцию «рагу из барашка с молодым зеленым горошком». В тот момент я сам ел такое же блюдо, но у меня сложилось впечатление, что барашек окончил земное существование довольно-таки старым бараном, а горох, будь он даже помельче и помягче, все равно не оправдал бы названия «молодой». Но не в этом дело: блюдо это стоило шесть пенсов, а хозяйка взяла со старухи один пенс, лишний раз доказав извечную истину, что бедняки — самые щедрые люди на свете.

Старуха, рассыпаясь в благодарностях, присела напротив меня за маленький столик и принялась жадно поглощать горячее рагу. Оба мы молча, энергично ели. Вдруг она громко и весело воскликнула, обращаясь ко мне:

— Я продала коробку спичек! Да! — Радость просто бурлила в ней. — Я продала коробку спичек! Вот и заработала пенни!

— Вам уж, видно, порядочно лет? — высказал я предположение.

— Семьдесят четыре стукнуло вчера, — ответила она и снова склонилась над своей тарелкой.

— Эх, дьявол, я бы рад помочь старушке, да, поверишь ли, сам до сих пор не ел сегодня, — сказал парень, сидевший рядом. — Вот сейчас только случайно подработал шиллинг: черт знает сколько горшков заставили меня за это перемыть.

— Я уже шесть недель не работаю по своему делу, — ответил он на мои расспросы. — Время от времени попадается работа, да редко, очень редко.

Чего только не насмотришься в этих кофейнях! Я никогда не забуду воинственную официантку из кофейни близ Трафальгарской площади; я дал ей золотой соверен, чтобы расплатиться по счету. Кстати, в кофейнях полагается платить вперед, а уж для плохо одетых это правило совершенно обязательно!

Официантка попробовала монету на зуб, звякнула ею о стойку, потом окинула испепеляющим взглядом меня и мой оборванный костюм и, наконец, спросила:

— Где ты ее взял?

— Какой-то тип забыл на столе. Что, не верите?

Она посмотрела мне прямо в глаза.

— Ври больше!

— Ну, тогда я сам их делаю, — сказал я.

Она презрительно фыркнула и сдала мне одной мелочью, а я в отместку ей пробовал на зуб и на звук каждую серебряную монетку.

— Прибавьте кусок сахару в чай, я заплачу вам еще полпенни, — попросил я.

— Раньше ты издохнешь, — последовал любезный ответ, который она подкрепила выразительными, непристойными жестами.

Я никогда не был находчив и скор на язык, но тут почувствовал, что сражен окончательно, и кое-как, не помня себя от обиды, проглотил свой чай, а она продолжала злобствовать даже тогда, когда я уже выскочил на улицу.

Как уже говорилось, триста тысяч человек в Лондоне живут семьями в одной комнате, а девятьсот тысяч прозябают в отчаянных условиях, запрещаемых законом. Но есть еще один вид жилья для бедных — это частные ночлежные дома, и за ними числится еще тридцать восемь тысяч лондонцев. Таких заведений здесь множество — от маленьких, тонущих в грязи хибарок до предприятий-гигантов, приносящих пять процентов дохода и расхваливаемых самодовольными буржуа на все лады (хотя сами они никогда там не бывали). Но все они одинаково непри-

годны для человека. Не то чтобы там протекали крыши или дуло в окна, нет, — я имею в виду обстановку в них: нездоровую и унижающую человеческое достоинство.

Такие учреждения часто называют «гостиницами для бедных», но эти слова звучат как насмешка. Хороша гостиница, если человек не располагает отдельной комнатой, где он мог бы побыть наедине с собой, если его срывают с постели чуть свет и гонят вон, если он имеет право уплатить только за одну ночь и должен каждый вечер заново снимать койку!

Не подумайте, что я пытаюсь огульно предать анафеме все крупные частные и муниципальные заведения подобного рода и все дома для одиноких рабочих. Отнюдь нет. В таком общежитии рабочий избавлен от многих ужасов мелких ночлежных домов, он получает здесь на свои деньги то, чего не получит нигде, но все равно это не место для жилья; человек, который делает какое-то общественно полезное дело, не должен жить в таких условиях.

Мелкие ночлежные дома, как правило, — сплошной ужас: я это изведал на себе. Но не буду говорить о них, перейду сразу к «гигантам». Один такой дом находится неподалеку от Миддлэссекс-

стрит; его постояльцы — почти исключительно рабочие. Прямо с улицы вы по нескольким ступенькам спускаетесь в подвал. Две большие полутемные комнаты заполнены мужчинами, занятыми поглощением пищи, которую они тут же собственноручно готовят. Я тоже собирался приготовить что-нибудь для себя, но запах, ударивший мне в нос, отбил всякий аппетит, и я ограничился тем, что решил понаблюдать, как стряпают и едят другие.

Какой-то человек — видимо, только что вернувшийся с работы, — сел за некрашеный деревянный стол напротив меня и принялся за еду. Соль, насыпанная кучкой на довольно грязном столе, заменяла ему масло. Он макал в нее хлеб и уписывал свой «бутерброд», запивая чаем из большой кружки, а на закуску съел еще кусочек рыбы. Он ни с кем не разговаривал и ни на кого не смотрел. Так же безмолвно ужинали и другие. Никто в этой большой, скудно освещенной комнате не произносил ни слова, уныние и подавленность царили здесь. Люди мрачно размышляли о чем-то за своей убогой трапезой. И я, как рыцарь Роланд, подумал: за какие же грехи эти люди заслужили такое наказание?

Из кухни, однако, доносились оживленные

звуки, и я пошел туда — к плите, где мужчины готовили себе еду. Вонь, ударившая мне в нос при входе, была здесь еще сильнее, я почувствовал тошноту и выбежал на улицу глотнуть свежего воздуха.

Потом я вернулся в дом, заплатил пять пенсов за «кабину» для спанья (вместо квитанции мне вручили огромную медную бирку) и поднялся наверх, в курительную. Там я увидел два настольных бильярда и несколько шашечных досок. Вокруг толпились люди: одни играли, другие ждали своей очереди. Вдоль стен тоже сидел народ — кто курил, кто читал, кто занимался починкой одежды. Молодежь весело шумела, старики угрюмо молчали. Можно сказать, что здесь были люди двух типов: веселые и мрачные, — причем грань прокладывал их возраст.

Но как и подвальные помещения, этот зал не может сойти за «домашний очаг», особенно для нас с вами, познавших смысл этого выражения! На стенах висят чудовищные, оскорбительнейшие правила поведения постояльцев. В десять часов гасят свет, и людям не остается ничего другого, как идти спать. Для этого извольте снова спуститься в подвал, вручить свою бирку дородному сторожу и подняться по другой лестнице

в спальное отделение. Я вскарабкался на самую верхотуру и потом прошел вниз, обойдя несколько этажей, заполненных спящими. «Кабина» считается высшим разрядом, туда вдвинута узенькая кровать, и остается еще достаточно места, чтобы человек мог стоя раздеться. Постель неплохая, белье чистое, — в этом отношении претензий предъявить не могу, — но побыть одному и тут никак нельзя.

Чтобы представить себе помещение, заполненное «кабинами», вообразите пчелиные соты, увеличьте мысленно каждую ячейку до двух метров в высоту, остальное — пропорционально, потом поставьте эти увеличенные соты на пол большого сарая — и вот вам все, как в натуре. «Кабины» без потолков, они разделены тонкими перегородками, и вы слышите храп всех спящих, чувствуете каждое движение ваших соседей. Но и эта клетушка-уголок сдается вам на весьма короткий срок — рано утром вы обязаны покинуть ее. Вам не разрешается оставлять там вещи, приходить и уходить, когда заблагорассудится или, чего доброго, запирать дверь (впрочем, и двери-то никакой нет, имеется лишь дверной проем). Если вы согласны оставаться постояльцем «гостиницы для бедных», то придется мириться с этим, равно

как и с тюремными порядками, посредством которых все время подчеркивается, что вы нуль, ничтожество и нечего ерепениться.

А по-моему, человеку, который трудится целый день, необходимо иметь отдельную комнату с собственным ключом, где сохраняются в целости его пожитки, где он может почитать или поглядеть в окно, где он свободен бывать когда захочет, где он может завести какие-то собственные вещи помимо тех, которые носит на себе и в карманах, где может прибить на стенку фотографии матери, сестры, возлюбленной, балерин, собак по собственному усмотрению, — словом, человеку необходимо иметь такой уголок, про который он имел бы право сказать: «Это мое, это моя крепость, внешний мир кончается на пороге, здесь я царь и Бог!» Имея это, человек будет лучше относиться к своим гражданским обязанностям и будет лучше работать тоже.

Я стоял посреди спальни и слушал. Я переходил от койки к койке и вглядывался в лица спящих. По большей части это были люди молодые, в возрасте от двадцати до сорока лет, — старикам не по карману ночлежный дом, старики ходят в работный дом. Я смотрел на этих молодых мужчин и думал о том, что у них ведь красивые лица

— такие лица созданы для женских поцелуев, а тела — для объятий. Они достойны любви и сами способны на любовь. Влияние женщины благотворно, а этим людям не хватает облагораживающего и смягчающего влияния, — они, наоборот, с каждым днем становятся грубее и бесчувственнее. «Где же эти женщины?» — думал я. И мне послышался «блудницы пьяный смех». Эхом отозвались Леман-стрит, Ватерлоо-роуд, Пикадилли и Стрэнд, и я понял, где эти женщины.

Глава XXI
Необеспеченность

– Чем вы занимаетесь? Вы кажетесь больным.
– Это из-за моих легких. Я работаю на производстве серной кислоты.
– Вы работаете на производстве сернокислого натрия?
– Да.
– Трудная у вас работа?
– Дьявольски трудная.
– Зачем вы избрали себе такую каторжную профессию?
– Я женат. У меня дети. Не голодать же нам всем!
– Почему вы ведете такой образ жизни?
– У меня семья. В наших местах пропасть безработных.
– Какую работу вы называете тяжелой?
– Мою, какую же еще! Попробовали бы вы поворочать пятидесятифунтовым

ломом глыбы по три центнера каждая,
когда из печи так и полыхает!
– Мне-то не надо. Я философ.
– Ах, так? Тогда держитесь за свое дело.
Хуже нашего и в аду не сыщешь.

Из бесед Роберта Блэтчфорда с разными рабочими

Я разговорился с одним чрезвычайно озлобленным человеком. По его убеждению, жена обошлась с ним несправедливо и столь же несправедливо обошелся суд. Неважно, кто здесь прав, а кто виноват. Дело в том, что жена добилась развода, и его присудили к выплате десяти шиллингов в неделю на содержание ее и пятерых детей.

— Вы только подумайте, — жаловался он мне, — что будет с нею, если я перестану платить эти десять шиллингов? Вдруг какое-нибудь несчастье случится со мной и я не смогу работать или заболею грыжей, ревматизмом, холерой… Что с ней тогда будет, что? — Он уныло покачал головой. — Пропадет ведь, одна ей дорога — в работный дом, а там, знаете, какая собачья жизнь? А не захочет туда, так будет еще того хуже. Пойдемте, я покажу вам десяток женщин, спящих в подворотне. И это еще не самое страшное, что ее ждет, если не будет

меня и моих десяти шиллингов.

Уверенность, с какой этот человек предрекал судьбу своей семьи, заслуживает внимания. Умудренный жизнью, он понимал, как непрочно обеспечена его жена куском хлеба и пристанищем. Крышка ей, если бывший муж потеряет — окончательно или даже на время — способность работать. Раздвиньте рамки этого случая, и вы обнаружите, что точно в таком же положении находятся сотни тысяч и даже миллионы супружеских пар, которые не разводились, а вместе, полюбовно несут заботы о своей семье.

Факты действительно чудовищные. В одном только Лондоне миллион восемьсот тысяч человек относятся к разряду малоимущих, а частично даже неимущих; добавьте к ним еще миллион таких, которых недельная получка спасает от нищенства. Восемнадцать процентов населения Англии и Уэльса вынуждены пользоваться пособием, причем в Лондоне, по данным совета лондонского графства, эти лица составляют двадцать один процент. Разумеется, между получающими пособие и абсолютными нищими есть известная градация, но Лондон кормит и сто двадцать три тысячи полностью обездоленных тоже (цифра, равная населению целого города).

Каждый четвертый лондонец умирает в благотворительном учреждении, из каждой тысячи жителей Англии девятьсот тридцать девять человек умирают в бедности, восемь миллионов человек живут впроголодь и, наконец, двадцать миллионов не знают самых элементарных жизненных удобств.

Интересно более подробно рассмотреть данные о лондонцах, умерших в благотворительных учреждениях.

В период с 1886 по 1893 год процент нищих по отношению ко всему населению был в Лондоне ниже, чем по всей Англии в целом; в дальнейшем, однако, Лондон стал перегонять. Но даже из статистического отчета за 1886 год явствует, что в 1884 году в Лондоне скончалось 81 951 человек, из них: в работных домах — 9909, в больницах — 6559, в сумасшедших домах 278. Всего же в благотворительных учреждениях — 16 746 человек.

Один писатель, член Фабианского общества, комментировал эту таблицу так:

«Учитывая, что приведенные цифры включают сравнительно небольшое количество детей, можно предположить, что каждому третьему взрослому лондонцу суждено умереть в благотворительном учреждении, причем среди них явно

преобладают люди физического труда».

Эти цифры помогают понять, насколько близок рядовой трудящийся к нищете. Причины обнищания бывают разные. Вот, например, объявление из вчерашней газеты: «Требуется конторщик со знанием стенографии, машинописи и счетоводства. Жалованье 10 шиллингов в неделю. Обращаться письменно и т. д.».

А сегодня я прочитал в газете о том, что обитатель одного из лондонских работных домов, конторщик по профессии, тридцати пяти лет, был привлечен к судебной ответственности за отказ от трудовой повинности. Человек этот утверждал, что за время пребывания в работном доме беспрекословно выполнял все наряды, когда же надзиратель послал его дробить камень, не сумел кончить работу вовремя, ибо руки у него покрылись волдырями. Он признался, что никогда не держал в руках более тяжелого инструмента, чем перо. Судья вынес приговор ему и его несчастным рукам: семь дней тяжелых принудительных работ.

Одних людей приводит к нищете старость, других — несчастный случай, третьих — болезнь или смерть кормильца семьи. Возьмем семью, которая состоит из мужа, жены и троих детей

и еле-еле сводит концы с концами на двадцать шиллингов в неделю (а таких семей в Лондоне сотни тысяч). Заработок мужа уходит у них весь до последнего гроша, и если вдруг они его лишатся, то через неделю семья будет обречена на нищету и голод. А что, если с кормильцем семьи произойдет несчастный случай? Мать, обремененная тремя детьми, много не заработает. Перед ней выбор: либо отдать детей обществу по призрению малолетних нищих, а самой поступить куда-нибудь, либо приносить работу из потогонной мастерской в свою берлогу (куда придется перебраться, ибо прежняя комната будет уже ей не по карману). Но в потогонных мастерских основной контингент надомниц — замужние женщины, чей заработок в семье является не главным, а подсобным, да женщины-одиночки, которым нужно кормить лишь себя, и это определяет расценки. И они настолько ничтожны, что мать и трое ее детей вынуждены жить хуже животных, голодать и мучиться, пока смерть не положит конец их страданиям.

Два факта из газет подтверждают, что мать — кормилица троих детей — не может выдержать конкуренции тех, которые согласны на еще более мизерную плату, чем она.

Некий человек написал письмо в редакцию, в котором выразил свое возмущение. Его дочь вдвоем с товаркой делают коробки по восемь с половиной пенсов за гросс. Ежедневно они изготовляют четыре гросса. При этом восемь пенсов они должны расходовать на транспорт, два — на этикетки, два с половиной — на клей, и один — на шпагат для обвязывания коробок. Им остается один шиллинг девять пенсов, то есть по девять с половиной пенсов на каждую.

Второй случай: на днях в опекунский совет Лутона обратилась за вспомоществованием старушка семидесяти двух лет. По словам газеты, «она шила соломенные шляпы, но вынуждена была бросить это занятие, так как платили баснословно мало: два с четвертью пенса за шляпу, которую требовалось изготовить собственноручно от начала до конца и поставить за свой счет отделку».

Между тем мать и трое детей, о которых говорилось выше, ничем решительно не согрешили, чтобы заслужить подобное наказание. Просто стряслась беда — и все: вышел из строя кормилец семьи. Обезопасить себя на этот счет невозможно: кому как повезет. Каждая семья имеет столько же шансов избежать падения на дно бездны, сколько

и угодить туда. Возможности эти отражены в холодных, безжалостных цифрах. Некоторые из них уместно здесь привести.

Сэр А. Форвуд подсчитал, что ежегодно один рабочий из 1400 бывает убит, один из 2500 превращается в полного инвалида, один из 300 — в полуинвалида, и один из 8 выходит из строя на три-четыре недели по болезни.

Но это касается только несчастных случаев в промышленности. А ведь ужасную роль играет и общая высокая смертность в гетто. Средняя продолжительность жизни обитателей Западного Лондона — пятьдесят пять лет, жителей же Восточного Лондона — тридцать. Иными словами, обитателю Западного Лондона дается возможность прожить вдвое дольше, чем обитателю Восточного Лондона. А еще толкуют об ужасах войны! Да перед лондонскими цифрами меркнет все, что было в Южной Африке и на Филиппинских островах[159]. Вот где проливается кровь

[159] Примечания: 159

Имеется в виду Англо-бурская война (1899–1902), развязанная Англией в целях колониальных захватов в Южной Африке, и жестокое подавление американскими войсками национально-освободительного движения на Филиппинах. По мирному договору 10 декабря 1898 г. Испания отказалась от Филиппин в пользу США. После этого американские войска вероломно напали на филиппинцев. В 1901 г. героическое сопротивление народа новым колонизаторам было сломлено, и Филиппины стали американской колонией.

— здесь, в самой мирной обстановке! И в этой войне не соблюдается никаких гуманных правил: женщин и грудных детей убивают здесь с такой же жестокостью, как и мужчин. Нечего ссылаться на войну, если в Англии ежегодно убивают и превращают в инвалидов полмиллиона мужчин, женщин и детей, занятых в промышленности.

На Западной стороне умирают, не достигнув пяти лет, восемнадцать процентов детей. На Восточной стороне в том же возрасте погибнут пятьдесят пять процентов детей. В Лондоне есть такие кварталы, где из каждых ста младенцев пятьдесят умирают после года, а из пятидесяти оставшихся в живых двадцать пять гибнут, не дожив до пяти лет. Убийство — вот это что! Ирод посрамлен: ведь он истребил лишь половину младенцев!

О том, что из-за несчастных случаев в промышленности гибнет больше людей, чем на войне, свидетельствует следующая выдержка из недавнего отчета санитарного инспектора города Ливерпуля (это заявление верно и в отношении других городов):

«Во дворы здесь почти никогда не заглядывает солнце, а в домах постоянное зловоние, вызываемое главным образом тем, что стены и потолки,

сделанные из пористого материала, за многие годы насквозь пропитались всеми запахами. Убедительным доказательством того, что солнечные лучи не проникают в эти помещения, может служить такой факт: комитет садов и парков постановил подарить беднякам ящики с цветами для украшения их жилищ, но это ни к чему не привело, так как цветы чахли в столь нездоровой атмосфере».

М-р Джордж Хоу составил следующую таблицу, характеризующую положение в трех приходах Сент-Джордж в Лондоне.

	Процент населения, живущего в условиях скученности	Смертность на тысячу человек
В Западном	10	13,2
В Южном.	35	23,7
В Восточном.	40	26,4

А так называемые вредные профессии, в кото-

рых занято бесчисленное множество рабочих! Жизнь этих людей поистине висит на волоске и подвергается куда большей опасности, чем жизнь солдата двадцатого века. При обработке льна в полотняном производстве, где работать приходится с мокрыми ногами и в мокрой одежде, чрезвычайно многие болеют бронхитом, пневмонией и острым ревматизмом, а в чесальных и прядильных цехах мелкая пыль вызывает хронические легочные заболевания. Женщина, начавшая работать там с семнадцати-восемнадцати лет, к тридцати годам превращается в развалину. Рабочие химической промышленности (а на химические заводы обычно принимают самых крепких людей, с великолепным телосложением) в среднем не доживают до сорока восьми лет.

О труде гончаров доктор Арлидж говорит следующее: «Пыль в этом производстве убивает не сразу, но из года в год все плотнее оседает на легких, образуя в конце концов как бы панцирь. Дыхание становится все более затрудненным и, наконец, прекращается совсем».

Стальная пыль, каменная пыль, глиняная и известковая пыль, пыль от пуха и древесного волокна — все это уносит больше жизней, чем пулеметы и пушки. Страшнее всего свинцовое

отравление, которому люди подвергаются на производстве белил. Вот весьма типичная картина гибели молодой, здоровой, хорошо сложенной девушки-работницы с производства свинцовых белил:

«Соприкасаясь в течение некоторого времени с ядовитыми веществами, девушка заболевает малокровием. На деснах проступает синяя кайма. Но это необязательный признак — иногда десны и зубы сохраняются в хорошем состоянии. Развивается малокровие, и девушка худеет, но это происходит постепенно, и ни она, ни ее близкие не придают этому значения. Однако болезнь прогрессирует, ей сопутствуют головные боли, которые все нарастают и нередко сопровождаются ухудшением зрения, даже временной слепотой. Появляются симптомы, принимаемые родственниками, а иногда и врачом, за обыкновенную истерию. Внезапно возникают судороги. Сначала сводит половину лица, затем руку и ногу с той же стороны и, наконец, все тело. Больная, потеряв сознание, бьется в тяжелом эпилептическом припадке. Приступы следуют один за другим с нарастающей силой, и она умирает. Иногда же сознание возвращается на несколько минут, несколько часов или даже на несколько дней.

Больная жалуется все время на невыносимую головную боль или же крайне возбуждена, бредит; это напоминает картину острого маниакального состояния. В некоторых случаях у больной, наоборот, наблюдается подавленность, как при меланхолии. Сознание затемнено, больная перестает понимать, что с ней происходит, речь ее бессвязна. Внезапно (если не считать, что со стороны пульса уже имелись сигналы: до того мягкий и почти нормальный становится замедленным и твердым) начинается новый приступ судорог, и девушка умирает — сразу или после комы. Бывают случаи, когда судороги постепенно прекращаются, головная боль исчезает, и больная выздоравливает, но, к сожалению, слепнет — временно или навсегда».

Приведу несколько конкретных случаев свинцового отравления.

Шарлотта Рафферти, рослая красивая молодая женщина, пышущая здоровьем (за всю свою жизнь не болела ни одного дня), поступила на фабрику свинцовых белил. Первый приступ судорог случился в цеху, когда она стояла на стремянке. Доктор Оливер осмотрел ее и обнаружил кайму на деснах — свидетельство свинцового отравления. Для него было ясно, что судороги

скоро начнут повторяться. Так и случилось. Девушка умерла.

Мери Энн Толер, семнадцати лет, никогда в жизни не страдавшая припадками, поступив на фабрику, трижды заболевала и была вынуждена оставить работу. Ей еще не было девятнадцати лет, когда у нее обнаружились признаки свинцового отравления — припадки с пеной на губах. Вскоре она скончалась.

Мери А., необычайно выносливая женщина, сумела продержаться на свинцовом производстве двадцать лет. За все это время только один раз у нее были судороги. Она родила восьмерых детей, но все они умерли в младенчестве от эклампсии. Однажды утром, расчесывая волосы, она внезапно перестала владеть кистями обеих рук.

У Элизы Х., двадцати пяти лет, после пяти месяцев работы на фабрике свинцовых белил начались припадки. Ее уволили с работы. Она перешла на другую фабрику, где и проработала без перерыва два года, пока вдруг у нее не появились прежние симптомы болезни — судороги, и через два дня она умерла от острого отравления свинцом.

Вот что говорит м-р Воэн Нэш: «Дети, матери которых работают на производстве свинцовых

белил, появляются на свет лишь для того, чтобы умереть от эклампсии в результате свинцового отравления, — они родятся недоношенными или погибают, не прожив и года».

И, наконец, разрешите мне рассказать о Гарриет Уоркер, совсем юной девушке, которую убила безнадежная борьба за кусок хлеба. Работа Гарриет заключалась в том, что она покрывала посуду эмалью, вызывающей свинцовое отравление. Ее отец и брат были безработными. Девушка держала в тайне свою болезнь; ходила пешком на фабрику — шесть миль туда и шесть обратно, зарабатывала свои семь-восемь шиллингов в неделю, — и умерла семнадцати лет от роду.

Спады производства тоже играют немалую роль в том, что рабочие скатываются в бездну. Если недельная получка — единственная защита семьи рабочего от нищеты, то легко понять, что вынужденная безработица в течение одного месяца сопряжена с неописуемыми страданиями и муками, от последствий которых жертвы безработицы уже не могут избавиться, даже когда получают работу. Только что я прочел отчет о собрании Карлеильского отделения профсоюза портовых грузчиков, в котором говорится, что многие рабочие на протяжении ряда месяцев

зарабатывали четыре-пять шиллингов в неделю, не больше. Такое положение приписывают тому, что в лондонском порту наблюдается застой.

Молодой рабочий, молодая работница, холостые или женатые, не могут надеяться ни на счастливую здоровую жизнь в среднем возрасте, ни на безбедную старость. Как ни трудятся они, им не удается обеспечить свое будущее. Все зависит от случая, от того, произойдут ли события, над которыми они не властны. Никакая предосторожность, никакие увертки тут не помогут. Раз они решили остаться на этом поле битвы, именуемом промышленным производством, то пусть знают, что они идут на риск и шансы на успех у них ничтожны. Разумеется, человек может покинуть поле битвы, при условии, что он вообще удачливый и не связан никакими семейными узами. В таком случае мужчине лучше поступить на военную службу, а женщине стать сиделкой Красного Креста или постричься в монахини. Но тогда они вынуждены отказаться от семьи, от детей, от всего того, что придает жизни ценность и спасает от страшного одиночества в старости.

Глава XXII
Самоубийства

Англия – это рай для богатых, чистилище для мудрых и ад для бедняков.

***Теодор Паркер*[160]**

Когда человек так необеспечен и надежды его на счастье так несбыточны, жизнь, естественно, теряет ценность и самоубийства становятся заурядным явлением, причем настолько, что, какую газету ни открой, обязательно натолкнешься на заметку о том, что кто-то покончил с собой. Причем к неудачному покушению на самоубийство полиция проявляет не больше интереса, чем к делу какого-нибудь пьяного дебошира, решая его с одинаковой быстротой и равнодушием.

Такой случай произошел при мне в Темзенском полицейском суде. Я льщу себя мыслью, что у меня зоркий глаз, чуткий слух и неплохое знание жизни, но должен признаться, что, попав в зал суда, далеко не все улавливал — по причине

---

[160] Примечания: 160

Паркер Теодор (1810–1860) — американский проповедник, философ-моралист, выступавший по вопросам религии, воспитания, женской эмансипации и др.; противник рабства.

молниеносной быстроты, с которой машина правосудия обрабатывала пьяных хулиганов и скандалистов, драчливых мужей, бродяг, воров, укрывателей краденого, шулеров и проституток. В центре зала, на самом светлом месте, стояла скамья подсудимых, и по мере того как судья изрекал свой очередной приговор, на этой скамье непрерывным потоком появлялись все новые фигуры женщин, мужчин и детей.

Я еще находился под свежим впечатлением от последнего подсудимого — чахоточного укрывателя краденого, присужденного к году тяжелых принудительных работ, несмотря на его попытку добиться снисхождения ссылкой на то, что у него жена и ребятишки и что из-за болезни он не может работать, как на скамье подсудимых уже появился новый обвиняемый — юноша лет двадцати. Я расслышал его имя и фамилию — Альфред Фримен, но не мог разобрать, в чем его преступление. На свидетельское место поднялась добродушного вида толстуха — жена шлюзового сторожа на канале. Дело было ночью на шлюзе «Британия», — поведала она суду. Услышав всплеск воды, она кинулась к шлюзу и увидела вот этого самого парнишку в воде.

Я перевел взгляд на юношу. Так вот в чем он

обвиняется — в покушении на самоубийство! Он стоял неподвижно, точно утратив и слух, и зрение; прядь красивых темных волос свисала ему на лоб, в его лице, худом и изможденном, было что-то детское.

— Да, сэр, — тараторила свидетельница, — я тяну его что есть силы, хочу вытащить, а он рвется назад. Я давай кричать: «Помогите!» Спасибо, шли мимо рабочие, мы вместе вытащили его и передали констеблю.

Судья сделал комплимент толстухе, воздав хвалу ее мускулам, и в зале рассмеялись. А я не отводил взгляда от этого юноши, который, едва вступив в жизнь, уже страстно ищет смерти в грязных водах канала. Тут-то не до смеха!

Затем свидетельское место занял какой-то мужчина, очень лестно охарактеризовавший юношу и пытавшийся привести смягчающие вину обстоятельства. Он мастер в цехе, Альфред работал у него.

— Парень хороший, — сказал свидетель, — только очень уж заморочен домашними неприятностями денежного порядка. Да еще мать у него больная. Беспокойная натура у парня: все расстраивался, пока не довел себя до того, что уже не смог работать. Я побоялся, как бы мне самому

не влетело из-за его плохой работы, и вынужден был дать ему расчет, — закончил мужчина свои показания.

— Имеете что-нибудь сказать? — рявкнул судья.

Юноша что-то пробормотал; он явно все еще не пришел в себя.

— Констебль, что он говорит? — раздраженно спросил судья.

Дюжий человек в синей форме пригнулся к лицу подсудимого, затем произнес во всеуслышание:

— Он говорит, ваша честь, что очень сожалеет.

— Заключить под стражу, следствие продолжить, — изрек почтенный судья и тут же перешел к слушанию следующего дела, свидетеля по которому уже приводили к присяге.

А юношу, по-прежнему не замечавшего ничего вокруг, увел стражник. Вот и все. Дело Альфреда Фримена от начала до конца заняло пять минут. На скамье подсудимых уже находились два парня со зверскими физиономиями, которые пытались взвалить друг на друга вину за кражу какой-то удочки, ценой небось в десять центов.

Беда в том, что эти бедняки действуют весьма неумело, и только при втором или третьем по-

кушении им удается покончить с собой. Суду и полиции это, разумеется, доставляет массу беспокойства и ужасно их раздражает. Иные судьи не скрывают своего отношения к неумелым самоубийцам и откровенно бранят их за то, что они не довели дело до конца. М-р Р. Сэйкс, председатель суда в Стейлибридже, рассматривая несколько дней назад дело некоей Энн Вуд, пытавшейся утопиться в канале, спросил ее гневно:

— Если уж вы решили покончить с собой, так почему не сделали этого? Топиться так топиться, зачем же причинять людям хлопоты?

Нищета, обездоленность, страх перед работным домом — вот главные причины самоубийства людей из рабочего класса. «Утоплюсь, но в работный дом не пойду», — говорила Эллен Хьюз Хант пятидесяти двух лет. И в прошлую среду в Шордиче проводилось следствие и опознание ее трупа. Из Айлингтонского работного дома был вызван в качестве свидетеля муж покойной. Когда-то он торговал вразнос молочными продуктами, но банкротство и нищета погнали его в работный дом. Жена отказалась последовать за ним.

В последний раз Эллен Хант видели в час ночи. Через три часа на причале канала Риджент были обнаружены ее шляпка и жакет, а позднее был

вытащен из воды и труп. Заключение присяжных: «Самоубийство в состоянии временного умопомешательства».

Такие заключения — преступная ложь! Закон — воплощение лжи, и, пользуясь законом, люди лгут особенно бесстыдно. Например, обесчещенная женщина, отвергнутая всеми, отравляет себя и своего новорожденного ребенка настойкой опия. Младенец умирает, а мать, пробыв долгое время в больнице, остается в живых. После выздоровления ее судят за убийство, признают виновной и приговаривают к десяти годам каторжных работ. Она выжила, и закон считает ее ответственной за свои поступки. Умри она вместе с ребенком — тот же закон признал бы, что она находилась в «состоянии временного умопомешательства».

Но вернемся к делу Эллен Хант. С одинаковым основанием можно утверждать, что мужем этой женщины овладело временное умопомешательство, когда он пошел жить в Айлингтонский работный дом, как и то, что временное умопомешательство овладело Эллен, когда она пошла топиться. Какое из двух мест выбирать — это уж дело вкуса, и каждый его решает по-своему.

Если бы я очутился в подобном положении, то,

зная, что такое работный дом и что такое канал, я избрал бы последний. И я беру на себя смелость заявить, что я не больший психопат, чем Эллен Хант, ее муж или все остальное племя людское.

В наше время человек уже не находится в плену у слепых инстинктов. Он обладает способностью к мышлению, ум его достаточно развит, чтобы он мог сознательно выбирать между жизнью и смертью в зависимости от того, что обещает ему жизнь — радость или страдание. Смею утверждать, что Эллен Хант, обманутая во всех своих надеждах и полностью лишенная радостей жизни, которые она, несомненно, заслужила своим многолетним трудом, не видя впереди ничего, кроме ужасов работного дома, поступила весьма благоразумно и трезво, избрав смерть в водах канала. Далее, смею утверждать, присяжные вынесли бы куда более мудрое решение, если бы признали, что в состоянии «временного умопомешательства» находилась не она, а общество, допустившее, чтобы эта женщина после стольких лет труда на его благо была обманута в своих надеждах и лишена радостей жизни.

Временное умопомешательство! Ох, эти проклятые лживые слова, которыми сытые, тепло одетые люди хотят прикрыть свою вину перед

голодными братьями и сестрами, одетыми в рубище!

А вот несколько обыденных происшествий, описанных в одном номере газеты «Обсервер», издающейся на Восточной стороне:

«Джонни Кинг, по профессии пароходный кочегар, обвинялся в покушении на самоубийство. Явившись в среду в полицейский участок, Кинг заявил, что принял дозу фосфора, так как нигде не мог достать работу и находился в крайней нужде. Кинга задержали и дали ему рвотного; в рвоте было обнаружено большое количество яда. Привлеченный к суду Кинг заявил, что очень сожалеет о случившемся. Он нигде не мог устроиться на работу, хотя предъявлял отличные аттестации за шестнадцать лет службы. М-р Дикинсон распорядился увести подсудимого в камеру для беседы со священником.

Тимоти Уорнер, тридцати двух лет, был заключен под стражу для продолжения следствия в связи с аналогичным преступлением. Он спрыгнул в воду с пристани Лаймхауз, а когда его спасли, заявил: „Я сделал это преднамеренно“.

Молодая, приличного вида женщина, назвавшаяся Элен Грей, обвинялась в попытке покончить с собой. В воскресенье, в половине де-

вятого утра, постовой полисмен № 834-К нашел ее лежащей в подъезде одного из домов на Бенворт-стрит; с трудом удалось ее разбудить. В руке она сжимала пустой пузырек. Элен Грей призналась, что часа два-три назад выпила дозу опиума. Так как состояние женщины оказалось тяжелым, был вызван районный врач. Он велел напоить больную кофе и не давать ей спать. На суде Элен Грей заявила, что покушалась на жизнь потому, что совершенно одинока и не имеет пристанища».

Я не стану утверждать, что все самоубийцы — психически нормальные люди, но это отнюдь не значит, что психически нормален всякий, кто не наложил на себя рук. Кстати, очень часто люди сходят с ума от неуверенности в завтрашнем дне и тревоги за кусок хлеба. Если сравнить разные профессии, то уличные торговцы, специфика работы которых лишает их всякой обеспеченности, дают наивысший процент психических заболеваний. Из десяти тысяч уличных торговцев-мужчин ежегодно попадают в психиатрические больницы двадцать семь человек, и из такого же числа женщин — тридцать семь. В армии, среди солдат, которые уж едой-то и постелью всегда обеспечены, психически заболевают тринадцать человек на десять тысяч, а среди фермеров и скотоводов

— пять человек на десять тысяч. Таким образом, уличный торговец подвергается вдвое большей опасности сойти с ума, чем солдат, и в пять раз большей, чем фермер.

Неудачи и бедственное положение часто лишают людей рассудка, доводя одних до психиатрической больницы, других до морга или виселицы. Когда приходит беда и отец семейства, несмотря на любовь к жене и детям, несмотря на все свое трудолюбие, не в силах найти работу, нечего удивляться, что он теряет рассудок. И чем больше он истощен голодом и болезнью, чем сильнее исстрадалась его душа от жалости к семье, тем скорее это может случиться.

«Красивый густоволосый шатен с темными выразительными глазами, правильными тонкими чертами лица и пушистыми усами, одетый в очень потрепанный серый костюм, без воротничка» — так описал репортер Фрэнка Кавиллу, представшего перед судом в один пасмурный сентябрьский день.

Фрэнк Кавилла служил в Лондоне маляром-обойщиком. Его характеризуют как хорошего рабочего: старателен, трудолюбив, спиртного никогда в рот не берет. Все соседи Кавиллы в один голос утверждают, что это нежный отец и

любящий муж.

Жена Фрэнка Кавиллы, Ганна, рослая красивая жизнерадостная женщина, всегда заботилась, чтобы их дети ходили в школу чистенькие, аккуратно одетые, — все соседи заявили об этом в один голос. Довольство царило в этой семье, глава которой всегда имел работу и не пьянствовал.

И вдруг судьба переменилась. Фрэнк служил у подрядчика по фамилии Бэк и занимал квартиру в одном из его домов на Трэндли-роуд. М-ра Бэка выбросила из двуколки лошадь, и он был убит на месте. В данном случае судьба приняла обличье норовистой лошади. Фрэнк Кавилла очутился перед необходимостью искать другую работу и другую квартиру.

Это случилось полтора года назад. Кавилла мужественно боролся с обстоятельствами, переехал в маленький домишко на Батавия-роуд, но и тут не мог свести концы с концами. Постоянную работу найти было невозможно. Кавилла не отказывался ни от какой случайной работы, и все же жена и четверо детей голодали у него на глазах. Он и сам голодал, терял силы, и, наконец, три месяца назад болезнь свалила его. И тогда в доме совершенно нечего стало есть. Ни сам Кавилла, ни его жена никогда не жаловались, не говори-

ли никому о своих злоключениях, но бедняки — народ чуткий: соседки посылали семье еду, хотя, зная, какие это почтенные люди, делали это тайно, анонимно, чтобы не обидеть.

Стряслась беда, и выхода не было. Кавилла бился, недоедал и мучился полтора года. А потом, как-то сентябрьским утром, поднялся рано, взял карманный нож и перерезал горло жене Ганне, тридцати лет, сыну Фрэнку, двенадцати лет, сыну Уолтеру, восьми лет, дочери Нелли, четырех лет, и самому маленькому — Эрнсту, которому было год четыре месяца. После этого он сел сторожить убитых. Когда поздно вечером явилась полиция, Кавилла попросил полисменов бросить пенни в счетчик-автомат, чтобы можно было зажечь газовый рожок и осветить комнату.

Фрэнк Кавилла стоял перед судом в потрепанном сером костюме, без воротничка. Красивый густоволосый шатен с темными выразительными глазами, правильными тонкими чертами лица и пушистыми усами.

Глава XXIII
Дети

В лачугах тупеем, без солнца хиреем,
Забыв, что прекрасен мир.

Одно зрелище радует глаз на Восточной стороне, одно-единственное: это дети, пляшущие на улице под звуки шарманки. Стоишь и смотришь на них словно зачарованный — до чего же они хороши, эти малютки, наша подрастающая смена! Как непринужденны их движения, как легки и стремительны прыжки, как плавно они выступают, кружатся, приседают, подражая виденному и импровизируя, создавая собственные ритмы, каким не обучают в балетных школах.

Я вступал в разговор с этими детьми при всяком удобном случае, и у меня создалось впечатление, что они такие же смышленые, как и все прочие дети, а во многих отношениях даже смышленее. У них необыкновенно живое воображение и поразительная способность переноситься в мир романтики и фантазии. В их крови бурлит веселье, они наслаждаются музыкой, танцами,

пестрыми красками, и нередко сквозь грязь и лохмотья мне удавалось разглядеть удивительно красивое личико и прелестную фигурку.

Но злой колдун, живущий в Лондоне, похищает их. Они исчезают. Напрасно станете вы искать кого-нибудь, хоть отдаленно похожего на них, среди взрослых. Вы обнаружите лишь хилых недорослтков с уродливыми лицами, с вялым, неразвитым умом. Пропало все: грация, красота, фантазия, гибкость ума и эластичность мускулов. Порой, впрочем, можно увидеть на улице, как женщина, не старая еще, но уже утратившая всякую женственность, опухшая от пьянства, подхватит вдруг свои обтрепанные юбки и пустится отплясывать на панели какой-нибудь нелепый танец. Это в ней заговорил голос минувшего, когда она маленькой девчуркой плясала под звуки шарманки. Нелепый, неуклюжий танец — все, что осталось от надежд, которые сулило детство; в затуманенном мозгу женщины вдруг мелькнуло давно забытое воспоминание. Собирается толпа зрителей. Девочки, взявшись за руки, танцуют вокруг пьяной плавно и легко, и она смутно помнит, что сама плясала так когда-то, но теперь, увы, ее танец лишь пародия на былое. Вскоре женщина устает, начинает жадно ловить

воздух и, спотыкаясь, уходит из круга. А девочки продолжают танцевать.

Дети гетто обладают всеми качествами, которые необходимы для лепки благородных характеров, но гетто, как дикий зверь, набрасывается на своих детенышей, терзает молодое поколение, губит в нем эти качества, душит жизнерадостность и загоняет многих в могилу, а тех, кого не удается уничтожить, превращает мало-помалу в горьких, несчастных пропойц, огрубевших, опустившихся, низведенных до скотского состояния.

Как это происходит, я подробно описал в предшествующих главах, а теперь даю слово профессору Хаксли.

«Каждый, кто знаком с крупными промышленными центрами в Англии и за границей, — пишет он, — знает, что большая и все увеличивающаяся часть населения живет там в условиях, которые французы называют „la misere“[161]. В этих условиях человек лишен самого необходимого для нормальной жизнедеятельности его организма: пищи, тепла и одежды. В этих условиях мужчины, женщины и дети вынуждены ютиться в каких-то звериных логовах, жизнь в которых

---

[161] Примечания: 161
Глубокая нищета, обездоленность (*фр.*).

несовместима с понятием о приличии; люди лишены всяких средств для поддержания здоровья, а пьянство и драка — единственно доступные для них развлечения. Голод и болезни многократно увеличивают страдания, усугубляют физическое и нравственное вырождение, и даже упорный, честный труд не помогает в борьбе с голодом, не спасает от смерти в нищете».

При таких условиях положение детей безнадежно. Они мрут, как мухи, выживают лишь те, кто обладает исключительной выносливостью и чей организм приспосабливается к воздействию среды. Ребенок здесь не знает, что такое домашний очаг. В берлоге, где живет, он привыкает к бесстыдству и непристойностям; в бедности, тесноте и грязи чахнет его душа и хиреет тело. Если отец, мать и трое-четверо детей ютятся в одной комнатушке и дети должны по очереди дежурить ночью, чтобы отгонять крыс от спящих, жить постоянно впроголодь и буквально погибать от паразитов, легко себе представить, в каких мужчин и женщин превратится уцелевшая в гетто молодая поросль.

Жизни нищенских семей
Как не быть извечно грустной?

Гнусным смехом, бранью гнусной
Там баюкают детей.

Молодые поженились, сняли комнату. Денег стало уходить больше, хотя заработок не увеличился, — хорошо еще, что глава семьи здоров и не потерял работы! Рождаются дети. Пора бы, пожалуй, переменить квартиру, но это не по карману: ведь чем больше детей, тем больше расходов. А семья все растет, и скоро уже в маленькой комнатушке не повернуться. Большую часть времени дети проводят на улице, а лет в четырнадцать, когда теснота становится для них невыносимой, покидают родителей. Мальчику, возможно, удастся снять для себя угол, вообще у него какие-то перспективы имеются, но у девочки четырнадцати-пятнадцати лет, которую те же обстоятельства гонят из родительского дома, то бишь из одной комнаты, у девочки, способной в лучшем случае заработать жалких пять-шесть шиллингов в неделю, путь один. И конец этого пути весьма скорбный, как тот, который постиг неизвестную женщину, найденную мертвой в подъезде одного дома на Дорсет-стрит в Уайтчепеле. Ей было шестьдесят два года; она торговала спичками. Бездомная, больная, одна-одинешень-

ка в свой последний час, она умерла, как в лесу умирают звери.

У меня не выходит из головы мальчуган, которого я видел на скамье подсудимых в полицейском суде Восточной стороны. Его макушка едва доходила до барьера. Было установлено, что он украл два шиллинга у какой-то женщины. Деньги он истратил не на конфеты и пирожные и не на развлечения, а на еду.

— Почему ты не попросил у этой женщины поесть? — брюзгливо спросил его судья. — Она бы, наверное, тебя накормила.

— Станешь просить — посадят в тюрьму за попрошайничество, — ответил мальчик.

Судья нахмурился и молча принял упрек. Никто не знал ни мальчика, ни его родителей. Это был безродный оборвыш, в полном смысле слова дикий зверек, рыщущий в джунглях империи, чтобы хоть как-нибудь утолить свой голод; такой нападет на слабого, но и сам в свою очередь станет жертвой более сильного.

Благотворители собирают детей гетто и устраивают для них однодневные экскурсии за город. Они утверждают, что вряд ли найдется один десятилетний ребенок, не участвовавший хоть раз в подобной экскурсии. Некий автор пишет по

этому поводу: «Нельзя недооценивать перемену, происшедшую в сознании ребенка, который провел целый день за городом. Дети хотя бы узнают, что представляют собой лес и поле, и таким образом то, о чем они читали в книжках, приобретает для них новый смысл».

Итак, если счастье улыбнется ребенку, то он попадет в число тех, кого благотворители вывезут на денек за город! Но ведь эти бедняки плодят такое количество детей, что всех-то мудрено вытащить за город даже на один день. Один день! За всю жизнь единственный! А про остальное время неплохо сказал один мальчуган священнику: «В десять лет мы отлыниваем, в тринадцать норовим слямзить что-нибудь, а в шестнадцать подставляем фонари фараону». На обычном языке это означает, что в ребячестве они убегают с уроков, в тринадцать лет воруют, а в шестнадцать, став уже достаточно опытными хулиганами, избивают полисменов.

Священник Картмел Робинсон рассказывает о мальчике и девочке из его прихода, которые задумали пойти в лес. Дети долго брели по нескончаемым улицам в надежде когда-нибудь выбраться из города и, вконец измученные, присели отдохнуть. Какая-то добрая женщина

доставила их домой. Очевидно, про этих детей забыли щедрые филантропы.

Тот же Робинсон утверждает, что на одной из улиц Хокстона (так называется часть Восточного Лондона) в восьмидесяти домишках проживает более семисот детей в возрасте от пяти до тринадцати лет. «Лондон запер детей в лабиринты улиц и мышеловки домов и отнял у них законное право наслаждаться небом, полями и гладью реки. Вот откуда у нас столько хилых мужчин и женщин», — заключает Робинсон.

М-р Робинсон рассказывает также об одном прихожанине его церкви, который сдал комнату в подвале супружеской чете. «Эти люди заявили, что у них двое детей, — повествует его преподобие, — а когда въехали, оказалось, что ребят не двое, а четверо. Вскоре родился пятый, и домовладелец предложил квартирантам очистить помещение. Жильцы не послушались. Явился санитарный инспектор. Он привык смотреть сквозь пальцы на многие нарушения, но на сей раз пригрозил владельцу дома составить протокол. Хозяин оправдывался, что не в состоянии выселить жильцов, они не хотят выезжать, ибо за доступную им плату их никуда не пустят с такой кучей детей. Это, кстати, общий довод

большинства бедняков. Что тут будешь делать? Домовладелец очутился, что называется, между молотом и наковальней. Он подал заявление в суд, и оттуда тоже приходил инспектор. Но уже дней двадцать прошло с тех пор, а все остается без перемен. Вы думаете, это единственный случай? Наоборот — самый обыденный».

На прошлой неделе полиция совершила облаву на какой-то притон и в одной из комнат нашла двух девочек. Девочки были арестованы наравне со взрослыми, живущими в этом доме, проститутками. Отец их заявил на суде, что снимает там комнату со своим семейством, состоящим из жены и детей: двух старших и этих двух, посаженных на скамью подсудимых, — а живут они там потому, что другой комнаты за полкроны в неделю не найти. Судья освободил малолетних «преступниц», но прочел нотацию их отцу насчет того, что он воспитывает своих детей в нездоровой обстановке.

Можно было бы умножить подобные примеры. В Лондоне «избиение младенцев»[162] приняло

[162] Примечания: 162

Имеется в виду христианская история об избиении младенцев в Вифлееме иудейским царем Иродом Великим, которому сказали, что среди них находится новорожденный Иисус Христос, будущий «царь иудейский».

такие чудовищные размеры, каких еще не знала история. И поистине чудовищна бессердечность людей, которые молятся Иисусу Христу, верят в Бога и регулярно посещают по воскресеньям церковь, а остальные дни недели кутят на деньги, запятнанные кровью детей и выжимаемые у обитателей Восточной стороны в виде квартирной платы и прибылей от различных предприятий. А иной раз они способны выкинуть и такую штуку: возьмут полмиллиона накопленных таким путем денег да и пошлют куда-нибудь в Судан, чтобы учить грамоте детей негров.

Глава XXIV
Ночные призраки

Некогда все они были крошечными красными младенцами, с еще не затвердевшим костяком, и из них можно было вылепить кого угодно, придать им любую социальную форму.

Карлейль

Вчера поздно вечером я прошелся пешком по Коммершл-стрит от Спайтелфилдза до Уайтчепела и дальше на юг, по Леман-стрит, к пристани, и воочию убедился, чего стоят хвастливые заверения преисполненных гражданской гордости газет Восточного Лондона о том, что жители этого района живут как нельзя лучше.

Трудно описать хотя бы десятую долю того, что я увидел, — для многого просто не подыщешь слов. Могу сказать только, что это было нечто кошмарное — какое-то сборище отбросов человечества; я видел и слышал на улицах уйму непередаваемо непристойного, затмевавшего даже «ночные ужасы» Пикадилли и Стрэнда. Это был зверинец, где расхаживали двуногие в брю-

ках и юбках, лишь отдаленно похожие на людей, а в остальном — скорее звери. Картину дополняли стражи в мундирах с медными пуговицами, наводившие порядок, если в зверинце начинали вести себя слишком беспокойно.

Я был рад присутствию там блюстителей порядка, ибо не надел своего «матросского» костюма и мог послужить приманкой для хищников, шнырявших взад и вперед. Когда стражей не было поблизости, эти трущобные волки ощупывали меня голодным взглядом, и я боялся их рук, их страшных голых рук, похожих на обезьяньи лапы. Да и вообще эти люди были похожи на горилл — приземистые, сутулые, уродливые. Казалось, природа поскупилась, не дала им ни могучих играющих мускулов, ни мужественных широких плеч, а отпустила ровно столько всего, сколько требуется для пещерного человека. Но в их тощих телах заключена дикая, первобытная сила — такие руки могут вцепиться и терзать, рвать на части. Говорят, при нападении они так перегибают свою жертву, что у нее ломается позвоночник. Из-за десяти шиллингов они готовы без всякой жалости убить первого встречного, был бы только случай. Это новая порода дикарей — дикари больших городов. Место их охоты —

улицы и дома, переулки и дворы. Дома и улицы для них то же, что для дикаря горы и долины. Их джунгли — городские трущобы; здесь они живут, здесь рыскают в поисках добычи.

Благородные, изнеженные господа — обитатели роскошных особняков и завсегдатаи раззолоченных театров Западного Лондона — не видят подобных созданий и даже не подозревают об их существовании. Но дикари эти существуют, они здесь и готовы к прыжку. И горе Англии в тот день, когда она отступит на свои последние рубежи и все способные держать оружие мужчины окажутся на линии огня! Ибо в тот день дикари выползут из своих нор и берлог, и жители Западного Лондона увидят их, как увидели когда-то благородные, изнеженные аристократы феодальной Франции им подобных и спрашивали друг друга: «Откуда они? Неужели это люди?»

Но не только этими существами населен зверинец; они лишь появляются то тут, то там, выискивая уголки потемнее, скользя вдоль стен, подобно теням. Но женщины, женщины, давшие им жизнь, — те бродят повсюду! Они нахально приставали ко мне, назойливо выпрашивая пенни и делая непристойные предложения. Они пьянствовали во всех кабаках — грязные, кос-

матые и бесстыдные до предела, — бормотали похабные слова, подмигивая осоловелыми глазами. Напившись, они засыпали на скамьях, за стойками — где попало, и являли невыносимо омерзительное зрелище.

И были там еще другие: страшные, похожие на призраки существа, подлинные отбросы общества, чудовищные в своей уродливости, ходячие скелеты, живые трупы — женщины, доведенные недугами и пьянством до того, что, продаваясь с публичного торга, не могли получить за себя даже двух пенсов, и мужчины с искаженными лицами, в фантастических лохмотьях, утратившие всякое человеческое подобие, переступавшие с идиотической ухмылкой с ноги на ногу, как обезьяны, и, казалось, не имевшие сил сделать еще хоть шаг. Но были и юные девушки, восемнадцати-двадцати лет, стройные, красивые, с лицами, еще не испорченными пороком и пьянством, — эти, должно быть, внезапно и стремительно скатились в бездну. Заметил я также одного четырнадцатилетнего мальчика и другого — лет шести-семи; оба бледные, болезненные, явно бездомные, они сидели на тротуаре, прислонившись к ограде дома, и наблюдали за тем, что творилось вокруг.

Непригодные и лишние! Промышленность не нуждается в них. Нет таких предприятий, где ощущалась бы нехватка рабочих рук. Портовые грузчики толпятся у причалов и уходят оттуда с проклятиями, потому что их не берут. Механики, имеющие работу, отдают шесть шиллингов в неделю в пользу безработных товарищей. Пятьсот четырнадцать тысяч текстильщиков протестуют против предложения запретить использовать труд детей моложе пятнадцати лет. Женщины-работницы, которых избыток, трудятся на хозяев потогонных мастерских, получая десять пенсов за четырнадцатичасовой рабочий день. Альфред Фримен, лишившись работы, ищет смерти в грязных водах канала. Элен Хьюз Хант тоже предпочитает утопиться, лишь бы не идти в Айлингтонский работный дом. Фрэнк Кавилла, не найдя работы, которая дала бы ему возможность прокормить семью, перерезает горло жене и детям.

Непригодные и лишние, брошенные на произвол судьбы, окруженные презрением, эти несчастные гибнут в бездне. Они — порождение проституции, проституции мужчин, женщин и детей, вынужденных продавать предпринимателю плоть и кровь, ум и душу. Если это все, что

цивилизация может дать человеку, то уж лучше вернуться в дикое, первобытное состояние, лучше переселиться в пустыни и леса, жить в пещерах и кочевать с места на место, чем быть людьми машинного века и обитать на дне бездны.

Глава XXV
Вопль голодных

Мне кажется, если бы Всемогущий Господь задумал создать племя людей, которые должны были бы есть за всех и никогда не работать, он дал бы им только рты, но сделал бы их без рук; а пожелай он создать таких людей, которые должны были бы работать за всех и ничего не есть, он сделал бы их без ртов, но зато с большим количеством рук.

***Авраам Линкольн*[163]**

Один смышленый юноша с Восточной стороны, засучив рукав рубашки, жаловался мне на свою физическую недоразвитость:

— Мой отец куда сильнее меня, он ведь из деревни. Вот поглядите, какие у меня худые руки! И все от недоедания. Нет, сейчас-то я ем, что хочу. Но дела этим уже не поправишь. Теперь не восполнишь ту нехватку, которую я ощущал

---

[163] Примечания: 163

Линкольн Авраам (1809–1865) — 16-й президент США (1861–1865), один из организаторов Республиканской партии, выступавший против рабства.

в детстве. Отец приехал в Лондон из Ирландии. Мать умерла. Нас, детей, было шестеро, и жили мы с отцом в двух комнатушках.

Ну и туго же ему приходилось! Он мог бросить нас, но не захотел. Целый день, бывало, работает как вол, а вечером придет домой, варит обед, возится с нами, чтоб мы не чувствовали, что мы сироты. Старался, из кожи лез, а еды все равно не хватало. Мясо мы редко когда ели, да и то брали самый последний сорт. А разве это обед для ребенка — хлеб да кусочек сыра, и того не вдоволь?

И видите, что получилось. Потому я и щуплый такой, и нет у меня отцовской силы. Заморили в детстве голодом. Еще одно-два поколения, и от таких, как я, следа не останется. А вот младший мой братишка — тот выше и крепче; это потому, что у нас была дружная семья, понимаете?

— Нет, не понимаю, — сказал я. — Казалось бы, в таких условиях младшие дети должны быть еще слабее.

— Но только не в дружных семьях, — возразил он. — Походите по Восточной стороне, приглядитесь хорошенько. И когда увидите крупного, здорового ребенка лет восьми-десяти, двенадцати — так это уж наверняка один из младших, если не самый младший в семье. И очень просто

почему — старшим приходится голодать больше, чем младшим. Младшие родятся на свет, когда старшие уже работают, и денег в семье больше, и питание получше.

Он опустил рукав. Его тощая рука была наглядным доказательством того, что хроническое недоедание если и не убивает людей, то делает их заморышами. Я услышал здесь лишь одного из миллионов, чьи голоса сливаются в общий голодный вопль в величайшей империи мира.

Ежедневно более миллиона бедняков получают в Соединенном Королевстве государственное пособие. В течение года каждый одиннадцатый рабочий обращается за пособием в благотворительные учреждения. Тридцать семь с половиной миллионов англичан живут с семьями на месячный заработок менее двенадцати фунтов. И постоянная восьмимиллионная армия бедняков находится на грани голода.

Один из комитетов при Лондонском управлении школ выступил со следующим заявлением: «Только в Лондоне в те периоды, когда не ощущается особых экономических бедствий, насчитывается пятьдесят пять тысяч голодающих школьников, которых в силу этого обстоятельства бесполезно обучать». Слова «когда не

ощущается особых экономических бедствий» выделены мною, и сделал я это потому, что в устах англичан они означают хорошие времена, ибо просто «бедствия», то есть нужду и недоедание, они научились принимать как неотъемлемую часть существующего социального строя. Хроническое недоедание — заурядное явление для них. Только когда люди начинают гибнуть от голода массами, англичанам приходится признать это обстоятельством из ряда вон выходящим.

Никогда не забуду горькой повести, которую поведал мне на исходе пасмурного дня один слепой в лавчонке на Восточной стороне. Он был старшим из пятерых детей, выросших без отца. По долгу старшего работал и голодал, уступая свой кусок хлеба младшим, и по три месяца подряд он не видел мяса, за всю жизнь ни разу не поел досыта. Он считает, что до слепоты его довело вечное недоедание. Даже Королевская комиссия по делам слепых, сказал он, подтверждает это. И он процитировал наизусть из отчета комиссии: «Слепота чаще всего поражает бедняков, и чем беднее человек, тем скорее постигает его это несчастье».

Он еще многое говорил, этот слепой, и в его голосе звучала горькая обида человека, которого

общество обрекло на голод. Он был одним из громадной армии лондонских слепых и жаловался, что в специальных приютах они не получают даже половины минимально необходимой пищи. Вот их дневной рацион:

> Завтрак: миска похлебки с черствым хлебом.
>
> Обед: 3 унции мяса, полфунта картофеля, ломтик хлеба.
>
> Ужин: миска похлебки с черствым хлебом.

Оскар Уайльд — упокой, Господь, его душу! — поведал о страданиях ребенка в тюрьме[164]. Но это вопль не только детей, но и взрослых арестантов — мужчин и женщин. «Второе, что причиняет ребенку в тюрьме страдания, — пишет Уайльд, — это голод. В половине восьмого ему дают на завтрак ломоть скверно выпеченного тюремного хлеба и кружку воды, в полдень — обед: миску жидкой похлебки из грубо размолотой кукурузы, а в половине шестого — ужин: ломоть хлеба и кружку воды. Даже крепкий,

---

[164] Примечания: 164

Имеется в виду, что в его статье «Душа человека при социализме» отразился его интерес к учениям утопического социализма.

закаленный взрослый заболевает от подобной еды; особенно страдают арестанты от поносов, которые их обессиливают. В больших тюрьмах принято выдавать арестантам закрепляющие средства, не дожидаясь их просьб. Что касается детей, то они, как правило, просто не могут переварить такую пищу. Каждый, кто так или иначе соприкасается с детьми, знает, как легко нарушается пищеварение ребенка от всякого огорчения. Терзаемый страхом в темноте одиночной камеры, проплакавший весь день, иногда до глубокой ночи, ребенок не в состоянии есть эту грубую, мерзкую пищу. Один малыш проплакал во вторник все утро от голода — тюремный хлеб не лез ему в горло. Надзиратель Мартин сжалился над ним: окончив раздачу завтраков, он пошел и купил для него сладких галет. Мартин совершил добрый поступок, ребенок почувствовал это и, не зная тюремных порядков, рассказал одному из старших надзирателей о доброте младшего надзирателя. На Мартина был, разумеется, подан рапорт, и его уволили».

Роберт Блэтчфорд сравнивает паек работного дома с солдатским пайком, какой получал он сам в бытность свою солдатом. Паек этот считался не слишком сытным и все же был в два раза больше

того, что получает современный бедняк в работном доме.

Наименование продуктов	*Рацион бедняка в работном доме*	*Рацион солдата*
Мясо	$3^1/_4$ унции	12 унций
Хлеб	$15^1/_2$ »	24 »
Овощи.	6 »	8 »

Мужчина в работном доме получает порцию мяса, не считая супа на костном бульоне, лишь раз в неделю, и потому у всех, по словам Блэтчфорда, «бледные, землистые лица — явное следствие голодания».

А вот нормы продуктов на неделю обитателя работного дома и надзирателя этого же дома:

Наименование продуктов	*Норма надзирателя*	*Норма бедняка*
Хлеб	7 фунтов	$6^1/_4$ фунта
Мясо	5 »	1 фунт 2 унции
Бекон	12 унций	$2^1/_2$ унции
Сыр	8 »	2 »
Картофель	7 фунтов	$1^1/_2$ фунта
Овощи	6 »	0
Мука	1 »	0
Сало	2 унции	0
Масло	12 »	7 унций
Рисовый пудинг	0 »	1 фунт

Тот же Блэтчфорд пишет: «Норма надзирателя гораздо больше нормы бедняка, и все же, как видно, она не считается достаточной, поскольку под графой надзирателя имеется специальное примечание, что „обслуживающему персоналу и надзирателям, проживающим в работном доме, кроме того, выдается еженедельно по два с половиной шиллинга наличными“. Если бы

обитатель работного дома получал пищи вволю, зачем было бы тогда давать надзирателю больше? Но если даже увеличенной нормы надзирателю не хватает, то как может бедняк насытиться менее чем половинной долей?»

Но голодают не только жители гетто, арестанты и нищие. Сельский батрак тоже не знает, что значит есть досыта. Собственно говоря, именно пустой желудок и гонит жителей деревни в город. Посмотрим, как живет семья рабочего с двумя детьми в колонии для бедных в Беркшире. Предположим, что глава семьи имеет постоянную работу, за которую получает тринадцать шиллингов в неделю и пользуется бесплатным жильем. Вот его недельный бюджет[165]:

[165] Примечания: 165
Куртен — буханка хлеба весом около 1,7 кг.

	Шиллингов	*Пенсов*
Хлеб — 5 куртенов*	1	10
Мука (1/2 гал)	0	4
Чай (1/4 фунта)	0	6
Масло (1 фунт)	1	3
Сало (1 фунт)	0	6
Сахар (6 фунтов)	1	0
Бекон или другое мясо (около 4 фунтов)	2	8
Сыр (1 фунт)	0	8
Молоко (полбанки сгущенного молока)	0	$3\frac{1}{4}$
Керосин, свечи, синька, мыло, соль, перец и т.п.	1	0
Уголь	1	6
Пиво	0	0
Табак	0	0
Страхование от несчастного случая	0	3
Профсоюзные взносы	0	1
Дрова, инструменты, аптека и др.	0	6
Страхование от огня и остаток на одежду	1	$1\frac{3}{4}$
И т о г о:	13 шиллингов	0 пенсов

Опекуны работного дома в этой колонии похваляются своим умением экономно вести хозяйство. Их затраты на призрение бедняков составляют еженедельно:

На мужчину —	6	шиллингов	$1^1/_2$ пенса
На женщину —	5	»	$6^1/_2$ »
На ребенка —	5	»	$1^1/_4$ »

Значит, если человек, чей бюджет я привел выше, останется без работы и попадет в работный дом, то содержание его с семьей выразится в следующей сумме:

На главу семьи —	6	шиллингов	$1^1/_2$ пенса
На его жену —	5	»	$6^1/_2$ »
На двоих детей —	10	»	$2^1/_2$ »
		Итого:	21 шиллинг 10,5 пенса

Итак, содержание семьи, существовавшей на тринадцать шиллингов в неделю, обошлось бы в работном доме больше чем в двадцать один шиллинг. А ведь всем известно, что при оптовой закупке провизии и совместном питании большого количества людей это должно быть не дороже, а дешевле.

Кстати, когда составлялась смета расходов указанной семьи из четырех человек, я узнал, что в том же районе семья *из одиннадцати* человек существует на заработок не в тринадцать, а в двенадцать шиллингов (зимой даже одиннадцать) и не пользуется при этом бесплатным жильем, а расходует три шиллинга в неделю на аренду дома.

Запомним — и запомним твердо: все примеры нищеты и деградации в Лондоне относятся ко всей Англии в целом. Говорят, что Париж не Франция, но Лондон — это Англия. Ужасные условия, превращающие Лондон в ад, превращают в ад и все Соединенное Королевство. Утверждение, что разукрупнение Лондона улучшит якобы положение дел, лживо и ни на чем не основано. Если бы шестимиллионное население Лондона разделить на сто городов по шестьдесят тысяч человек в каждом, нищета, конечно, была бы

разукрупнена, но нисколько от этого не уменьшилась: общий итог остался бы прежним.

М-р Б. Раунтри в своем исчерпывающем исследовании пришел к тем же выводам в отношении провинции, что и Чарлз Бут в отношении столицы, то есть что и там и здесь четвертая часть населения обречена на нищету, губящую людей морально и физически; и там и здесь четвертая часть населения систематически недоедает, плохо одета, не обеспечена ни жильем, ни теплой одеждой в условиях сурового климата. В смысле же чистоты и соблюдения приличий эти англичане стоят ниже дикарей и обречены на нравственное вырождение.

Старик ирландец в Керри жаловался Роберту Блэтчфорду на свою горемычную жизнь.

— А чего бы ты хотел? — спросил его Блэтчфорд.

Опершись на заступ, крестьянин долго смотрел на мрачные тучи, нависшие над черными торфяными полями, потом переспросил:

— Чего бы хотел? — И сказал печально, точно беседуя с самим собой: — Самые лучшие наши парни уехали за море, хорошие девушки тоже, агент отнял у меня свинью, дожди погубили весь урожай картофеля, и я уже стар. Чего же мне

теперь хотеть? Только Страшного суда.

Он хочет увидеть Страшный суд! И не он один! Со всех концов страны доносятся вопли голодных — из гетто и деревень, из тюрем и ночлежек, из приютов для убогих и работных домов. Это голоса людей, которые никогда не едят досыта. Голодают миллионы: мужчины, женщины, дети и грудные младенцы; слепые, глухие, убогие, больные; бродяги и труженики, арестанты и нищие; ирландцы и англичане, шотландцы и валлийцы. И это так, несмотря на то что пять человек способны напечь хлеба для тысячи ртов, несмотря на то, что один рабочий способен произвести ситца на двести пятьдесят человек, шерсти — на триста, а обуви — на тысячу. Сорок миллионов человек живут как бы одним большим домом, но порядка в нем нет. Общий доход в стране не так уж мал, но управляется страна преступно плохо. Кто посмеет возразить против того, что она управляется преступно, если пять человек в состоянии напечь хлеба, чтобы накормить тысячу ртов, и тем не менее миллионы людей живут впроголодь?

Глава XXVI
Пьянство, трезвость и экономность

Иногда бедных хвалят за экономность. Но советовать бедняку быть экономным и нелепо и оскорбительно. Это то же самое, что советовать человеку, умирающему от голода, есть поменьше. Давать такие советы рабочему человеку – будь то сельскому или городскому – просто безнравственно. Человек не должен мириться с тем, что ему приходится жить как скотине, которую плохо кормят.

Оскар Уайльд

Не будет преувеличением сказать, что английские рабочие насквозь пропитаны пивом. Пиво делает их вялыми, тупыми и менее трудоспособными; они утрачивают находчивость, изобретательность и живость воображения, свойственные им от природы. Едва ли правильно назвать склонность англичан к пьянству благоприобретенной, ибо, зачатые пьяными родителями, они уже в утробе матери пропитываются алкоголем. Пиво — первое, что им дают

понюхать и отведать, едва они успевают появиться на свет, с ним же связаны все дальнейшие картины их детства.

Кабаки встречаются повсюду — на каждом углу и даже еще чаще. Женщин бывает там, пожалуй, не меньше, чем мужчин. Заходят туда и дети: ждут мать или отца. Малыши прихлебывают из стаканов взрослых, слушают грубости и непристойности, наблюдают пьяные скандалы и набираются ума-разума.

Миссис Грэнди так же властно диктует свои правила рабочим, как и буржуа, однако, когда дело касается пива, смотрит сквозь пальцы на пристрастие рабочих к питейным заведениям. Ни женщине, ни даже молоденькой девушке посещение кабака не грозит позором.

Одна подавальщица в кофейне говорила при мне своей товарке: «Я никогда не пью крепких напитков в пивной». Это была юная миловидная девушка, которая хотела дать почувствовать другой официантке, что такое благовоспитанность и скромность. Миссис Грэнди не дозволяет девушкам пить крепкие напитки, но пиво она считает вполне допустимым и посещение пивных тоже.

Дело не только в том, что пиво не годится для людей: сами люди очень часто непригодны для

пива, — но как раз это-то и гонит их в кабак. Истощенный дурным питанием, исстрадавшийся в тесноте, бедняк Восточного Лондона чувствует нездоровую тягу к алкоголю совершенно так же, как манчестерский текстильщик томится от жажды, наевшись с усталости и с голодухи соленых огурцов и прочей неудобоваримой пищи. Нездоровый труд и нездоровые условия жизни порождают и нездоровые желания. Не может человек, трудясь, как вол, и питаясь, как свинья, сохранять чистые идеалы и здоровые желания.

Когда рушатся надежды на семейное счастье, власть над человеком приобретает кабак. Жаждут напиться не только те, кто устал и замучен работой, кто болен желудком и страдает от тяжелых бытовых условий, не только те, кто уже без сопротивления тянет унылую лямку, но и живые, общительные мужчины и женщины из-за того, что лишены семейной жизни. Они спешат в ярко освещенный и шумный кабак, безуспешно пытаясь как-то отвести за разговорами душу. Ведь разве это семейная жизнь, если все ютятся в одной крохотной каморке!

Заглянем в любое из таких жилищ, и мы поймем одну из важных причин пьянства. По утрам вся семья встает в одно время и начинает одевать-

ся: мать, отец, сестры и братья совершают туалет, мешая друг другу в общей тесноте. Мать готовит завтрак, и здесь же, где они спали, в этой самой непроветренной комнатушке, отвратительно пропахшей потом, семья садится есть. Потом отец уходит на работу, старшие дети бегут в школу или на улицу, а мать, оставшись с маленькими, берется за хозяйственные дела. Устраивается стирка, и к общему «аромату» добавляется запах грязного белья и мыла. Мокрое белье развешивается для просушки здесь же, в комнате.

Настает вечер, и в этой провонявшей всеми запахами конуре начинаются приготовления ко сну. Это значит, что все, кто уместится, лягут на кровать (если таковая имеется!), остальные же прямо на пол. Так вот и живут они из месяца в месяц, из года в год, не зная, что такое свежий воздух, разве лишь когда их выселят на улицу… Если умирает ребенок — а это здесь не редкость, ибо пятьдесят пять процентов детей Восточной стороны гибнут, не достигнув пятилетнего возраста, — труп остается в комнате до тех пор, пока не наскребут денег на похороны, и чем беднее семья, тем дольше. Днем он лежит на кровати, ночью его перекладывают на стол, а утром — снова на кровать, так как за этим столом будут

завтракать. Иногда тело кладут на полку, которая служит для хранения продуктов. Недавно я узнал, что одна женщина, не имея средств на похороны, продержала трупик ребенка в комнате три недели.

Каждому понятно, что это не жизнь, а ужас, и те мужчины и женщины, которые бегут из такого «дома» в кабак, заслуживают не порицания, а сочувствия. В Лондоне триста тысяч человек ютятся целыми семьями в одной комнате, а еще девятьсот тысяч живут в запрещенных условиях, если иметь в виду закон о народном здравоохранении 1891 года. Вот что поддерживает торговлю спиртными напитками и поставляет завсегдатаев кабакам!

К этому присоединяются и другие мощные факторы, побуждающие к пьянству: полная неуверенность в завтрашнем дне и страх перед будущим — надо сказать, весьма обоснованный. Человек, чувствуя себя несчастным, ищет облегчения своим мукам, а алкоголь притупляет остроту чувств, дает временное забытье. Это вредно, но ведь так же вредно и все прочее в жизни обитателя бездны, и в кабаке он находит забвение, которого ему недостает. Там он приобретает даже какую-то уверенность в себе, возвышается

в собственных глазах, хотя на самом деле кабак затягивает его на «дно» и огрубляет еще больше. И несчастный бедняк всю жизнь старается размыкать здесь свое горе, пока не закроет глаза навеки.

Таким людям бесполезно проповедовать воздержание и трезвость. Привычка к пьянству порождает многие несчастья, но и сама она — результат тех или иных несчастий. Поборники трезвости могут сколько угодно надрывать глотки, распинаясь о зле, порождаемом пьянством, но до тех пор, пока не уничтожат зло, заставляющее людей пить, пьянство будет процветать и приносить зло.

Пока благотворители не поймут этого, все их добрые намерения останутся бесплодными и будут вызывать только смех. Как-то раз я посетил выставку японского искусства, устроенную для бедняков Уайтчепела, дабы облагородить их души и вселить в них жажду Красоты, Истины и Добра. Допустим (хотя на самом деле это не так!), что удалось таким путем привить беднякам стремление к Красоте, Истине и Добру. Но для них это явилось бы лишь новым проклятием, ибо совсем нестерпимой показалась бы тогда бедным людям та жалкая жизнь, на которую обрекает их

существующий социальный порядок, сулящий каждому третьему бедняку смерть в благотворительном учреждении. Ведь они почувствовали бы себя еще более обездоленными, чем прежде, когда еще ничего не познали и ни к чему не стремились! Если бы судьба превратила меня на всю жизнь в одного из рабов Восточного Лондона, обещая при этом выполнить последнее мое желание, я сказал бы, что хочу забыть о Красоте, Истине и Добре, забыть обо всем, что вычитал из книг или слышал, обо всех людях, которых когда-либо знал, обо всех странах, где побывал. А если судьба отказала бы мне в этом моем последнем желании, то почти наверняка я стал бы шляться по кабакам и пьянствовать, чтобы избавиться от воспоминаний.

Ох уж эти благотворители! Все их просветительные и религиозные миссии и разные филантропические затеи — это же чушь, бессмыслица! И ничего этим не будет достигнуто, ибо все это в корне неверно, даже если и задумано с искренним стремлением помочь. Эти жалостливые люди совершенно не понимают жизни. Они еще не раскусили Западную сторону, а уже спешат на Восточную — в качестве наставников и мудрецов. Не познав простого христианского учения, они

являются к несчастным отверженным беднякам в пышном обличье избавителей от социального зла. Они стараются как могут, но им удается облегчить лишь страдания незначительной части бедняков да записать кое-какие данные, которые можно было бы, кстати, собрать более научными путями и с меньшими затратами средств.

Как метко выразился кто-то, эти люди делают для бедняка все, за исключением одного, — не слезают с его шеи. Деньги, которые они тратят по капле на осуществление своих ребяческих затей, высосаны из бедняков. Удачливые хищные двуногие, они стоят между рабочим и его заработком и стараются научить рабочего, что он должен делать с той мизерной частью, которая остается на его долю. Объясните, ради всего святого, какая польза устраивать ясли для детей, матери которых, ну, скажем, делают бумажные фиалки в Айлингтонском работном доме по три фартинга за гросс, если и детей, и цветочниц становится все больше и больше и благотворителям все равно никак не управиться? Цветочница должна повернуть в руках каждую фиалку четыре раза и сделать пятьсот семьдесят шесть таких движений за три фартинга, а в день — шесть тысяч девятьсот двенадцать движений за девять пен-

сов. Эту женщину грабят. Кто-то плотно уселся у нее на шее, и никакие порывы к Красоте, Истине и Добру не облегчат ее участи. Ведь эти дилетанты ничего не делают для нее, а если что и делают для ее ребенка, то все это идет насмарку, когда мать приносит его домой на ночь.

И все они хором твердят одну главную, основную ложь. Они не ведают, что это ложь, но их неведение не превращает ее в правду. Ложь эта — проповедь «экономности». Докажу на примере. В перенаселенном Лондоне идет острая борьба за работу, поэтому оплата труда падает до самого низкого прожиточного минимума. Для рабочего быть экономным — значит тратить меньше, чем он зарабатывает, то есть снизить свой прожиточный минимум. Соревнуясь с другими в погоне за куском хлеба, человек, привыкший плохо жить, отобьет работу у человека, привыкшего жить получше. И везде, где в промышленности много свободных рук, кучка экономных рабочих будет систематически подрывать заработную плату. И вскоре эти экономные перестанут быть таковыми, ибо их заработок будет падать до тех пор, пока не сравняется с самыми наискромнейшими тратами.

Словом, экономность сама себе роет могилу. Ес-

ли каждый английский рабочий, наслушавшись проповедников экономности, сократит свои расходы вдвое, то (учитывая, что на всех не хватает работы) заработная плата тоже снизится вдвое. И тогда уже никому из рабочих в Англии нечего будет сберегать. Недальновидные проповедники, разумеется, придут в ужас от таких результатов. И эти результаты станут тем разительнее, чем успешнее будет их пропаганда. Да и вообще ведь это нелепость, вздор — проповедовать какую-то экономность среди миллиона восьмисот тысяч семейных рабочих, зарабатывающих меньше двадцати одного шиллинга в неделю да еще вынужденных от четверти до половины этого заработка отдавать за жилье.

Говоря о бесплодности благотворительной деятельности, я должен упомянуть все же об одном благородном исключении. Это доктор Барнардо[166] и его детские дома. Доктор Барнардо — «ловец» детей. Он подбирает их, пока они еще юны и не успели загрубеть в нездоровой социальной среде, и отсылает за границу, помещая в лучшую социальную среду. Он уже успел вывезти

[166] Примечания: 166

Барнардо Томас (1845–1905) — английский филантроп, организатор сиротских приютов, в которых детей воспитывали в строго религиозном духе и обучали ремеслам.

из Англии тринадцать тысяч триста сорок мальчиков — большинство в Канаду, — и лишь очень немногие обманули его ожидания: из каждых пятидесяти сорок девять сделались людьми. И это отличный результат, если помнить, что подобранные доктором дети были беспризорными бездомными сиротами, отвоеванными у бездны.

Ежесуточно доктор Барнардо подбирает с панели девять беспризорных ребят — отсюда уже можно понять, как велик размах его деятельности. Благотворителям есть чему поучиться у него. Он не забавляется полумерами, он доискался до истоков социальных бедствий. Он вырывает детей трущоб из губительной для них обстановки и переносит в иную, здоровую среду, где и происходит их дальнейшее формирование.

Когда благодетели бедных бросят свои дилетантские забавы, все эти детские ясли и японские выставки, а вместо этого постараются понять, что представляет собой Западная сторона и чему учил Христос, они сумеют с большей пользой взяться за дело. Если они всерьез займутся им, то последуют примеру доктора Барнардо уже в широком, общенациональном масштабе. Они не будут тогда призывать цветочницу, делающую фиалки по три фартинга за гросс, к Красоте,

Истине и Добру, но заставят кое-кого слезть с ее шеи и перестать обжираться, дабы не пришлось ему, как древним римлянам, спускать жир в горячей бане. И тогда, к их изумлению и ужасу, окажется, что на шее этой женщины и многих других женщин и детей сидят также они сами. А они-то, добрые люди, и не подозревали этого!

Глава XXVII
Система управления

Семь человек, работая шестнадцать часов на усовершенствованных машинах, могли бы накормить тысячу человек.

***Эдуард Аткинсон*[167]**

В этой последней главе следовало бы расширить понятие социальной бездны и поставить перед Цивилизацией некоторые вопросы, ответы на которые покажут, выстоит Цивилизация или погибнет. Зададим, например, такой вопрос: улучшила ли Цивилизация условия жизни человека? Слово «человек» я употребляю в его демократическом смысле, в значении «простой человек». Пожалуй, лучше спросить точнее: улучшила ли Цивилизация условия жизни простого человека?

Обратимся к фактам. На Аляске вдоль берегов Юкона, близ его устья, живут иннуиты. Это первобытное племя, имеющее весьма смутное представление о такой огромной махине, как Цивилизация. Его национальный доход составляет что-то около двух фунтов стерлингов на душу.

---

[167] Примечания: 167

Аткинсон Эдуард (1827–1905) — американский экономист.

Пропитание себе иннуиты добывают ловлей рыбы и охотой — для этого им служат стрелы и копья с костяными наконечниками. Они никогда не страдают из-за отсутствия крова, носят теплую одежду из звериных шкур. У них постоянно есть дрова для очага и лес для постройки жилищ, которые они делают наполовину в земле и спасаются в них во время зимней стужи. Летом они переселяются в палатки — прохладные, насквозь продуваемые свежим ветерком. Эти люди здоровы, сильны и счастливы. У них только одна забота — пища. Периоды изобилия сменяются периодами голодовок. В хорошие времена они пируют, в плохие — гибнут от голода, но массовый хронический голод им неведом. Кроме того, у них нет долгов.

В Великобритании, на островах Атлантического океана, проживает английский народ. Это в высшей степени цивилизованный народ. Его национальный доход составляет минимум триста фунтов стерлингов на душу населения. Англичане добывают себе пропитание не охотой и не рыбной ловлей, а трудом на колоссальных предприятиях. Подавляющая часть англичан страдают от нехватки жилья, живут в отвратительных условиях, не имеют топлива, чтобы

обогреться, и очень плохо одеты. Есть немало и таких, которые лишены вообще всякого крова и спят просто под открытым небом, причем количество их никогда не уменьшается. Многих можно увидеть летом и зимой на улицах одетыми в лохмотья и дрожащими от холода. Бывают у них хорошие времена, бывают и плохие. В хорошие большинство из них как-то умудряются прокормиться, в плохие гибнут от голода. Они гибнут от голода сегодня, гибли вчера и в прошлом году, будут гибнуть завтра и через год, ибо они пребывают в состоянии хронического голода, которого не знают иннуиты. Численность английского народа — сорок миллионов человек, и из каждой тысячи девятьсот тридцать девять умирают в бедности, а постоянная восьмимиллионная армия обездоленных находится на грани голодной смерти. Далее надо сказать, что каждый только что родившийся на свет младенец уже имеет долг в сумме двадцать два фунта стерлингов. За это он может благодарить тех, кто изобрел «национальный долг».

Сравнивая беспристрастно простого иннуита с простым англичанином, убеждаешься, что жизнь иннуита менее сурова, чем жизнь англичанина: первый страдает от голода только в тяжелые

времена, второй же — постоянно; у первого всегда имеется топливо, кров и одежда, второй же никогда не бывает этим надежно обеспечен. Здесь уместно привести мнение такого человека, как Хаксли. Будучи муниципальным врачом Восточного Лондона, а впоследствии изучая быт дикарей, Хаксли на основе своего опыта приходит к следующему выводу: «Если бы мне предстояло выбирать: жить ли, как дикарь, или прозябать, как эти люди в христианском Лондоне, — я, не колеблясь, выбрал бы первое».

Жизненные блага, которыми пользуются люди, являются продуктом человеческого труда. Поскольку Цивилизация не сумела обеспечить простого англичанина пищей и кровом даже в такой мере, в какой обеспечен иннуит, то встает вопрос, развивает ли Цивилизация производительные силы простого человека? Если нет, то такая Цивилизация не может существовать.

Но ведь Цивилизация развивает производительные силы человека, это факт! Пять человек могут напечь хлеба на тысячу человек. Один рабочий может произвести ситца на двести пятьдесят человек, шерсти — на триста, и обуви на тысячу. Однако, как показывает каждая страница этой книги, миллионы англичан не получают

ни пищи, ни одежды, ни обуви в достаточном количестве. И вот неизбежно возникает третий вопрос: если Цивилизация развивает производительные силы простого человека, почему же не улучшает условий его жизни?

Ответ один: *негодная система управления*. Цивилизация несет с собой всевозможные жизненные блага, но простой англичанин не получает своей доли. Если так будет и дальше, Цивилизация падет — система, столь явно не оправдавшая себя, не имеет права на существование. Но ведь не может же быть, чтобы возвели такое грандиозное здание совершенно зря! Это немыслимо. Признаться в таком страшном поражении значило бы нанести смертельный удар всякому прогрессу, всякому стремлению к лучшему будущему.

Есть только один выход, один-единственный: Цивилизацию нужно заставить служить интересам простого человека. А если это так, то сейчас же встает проблема управления страной. То, что полезно, должно быть оставлено, то, что вредно, — уничтожено. Приносит империя пользу Англии или вред? Если только вред — надо с империей покончить. Если же пользу — надо управлять ею так, чтобы простой человек полу-

чал свою долю благ.

Если борьба за рынки сбыта полезна, продолжайте ее. Если нет, если она наносит ущерб рабочему человеку и делает его жизнь тяжелее, чем у дикаря, то долой иностранные рынки заодно с индустриальной империей! Ибо не требует доказательств тот факт, что если сорокамиллионный народ, оснащенный Цивилизацией, достигает более высокого развития производительных сил, чем иннуиты, то этот народ должен пользоваться и большими жизненными благами, чем иннуиты.

Если четыреста тысяч английских джентльменов «без определенных занятий» (согласно их собственному признанию во время переписи 1881 года) не приносят пользы — долой их! Пошлите их работать: пахать землю, сажать картофель. Если вам выгодно их сохранить — что ж, пожалуйста, но только пусть и простой англичанин участвует в распределении прибылей, которые получают эти люди, не имея «определенных занятий».

Короче говоря, общество должно быть реорганизовано под надежным управлением. О том, что нынешнее никуда не годится, не может быть двух мнений: оно обескровило Великобританию, оно высосало жизненные соки из своих верных

подданных и лишило их способности бороться за то, чтобы Англия сохранила свое былое место среди соревнующихся государств. Всю Великобританию оно разделило на Западную сторону и Восточную сторону, из которых первая развращена и насквозь прогнила, а вторая страдает от болезней и голода.

Колоссальная империя идет к распаду при этом негодном управлении. Под словом «империя» подразумевается политическая машина, объединяющая все страны, говорящие на английском языке, за исключением Соединенных Штатов. И я к этому не отношусь пессимистически. Империя крови сильнее, чем политическая империя, а англичане в Новом Свете и в антиподах[168] по-прежнему сильны и жизнедеятельны. Но политическая империя, формально объединяющая этих англичан, идет к гибели. Политическая машина, носящая название Британской империи, катится в пропасть. При этой системе управления она утрачивает свою жизнеспособность с каждым днем.

Эта система, столь грубо и преступно попирающая права людей, будет неизбежно уничтожена.

---

[168] Примечания: 168

Под антиподами автор подразумевает Австралию и Новую Зеландию.

И надо сказать, что она не только расточительная и бездарная, но также и грабительская. Каждый изможденный бедняк без кровинки в лице, каждый слепой, каждый малолетний преступник, попавший в тюрьму, каждый человек, желудок которого сводят голодные спазмы, страдает потому, что богатства страны разграблены теми, кто ею управляет.

И ни один из представителей этого правящего класса не сумеет оправдаться перед судом Человека. Каждый младенец, гибнущий от истощения, каждая девушка, выходящая по ночам на панель Пикадилли после целого дня изнурительного труда на фабрике, каждый несчастный труженик, ищущий забвения в водах канала, требует к ответу «живых в домах и мертвых в могилах». Восемь миллионов человек, никогда не евшие досыта, и шестнадцать миллионов, никогда не имевшие теплой одежды и сносного жилья, предъявляют счет правящему классу за пищу, которую он пожирает, за вина, которые он пьет, за роскошь, которой он себя окружил, за дорогое платье, которое он носит.

Сомнений нет. Цивилизация увеличила во сто крат производительные силы человечества, но по вине негодной системы управления люди в

условиях Цивилизации живут хуже скотов. У них меньше пищи, меньше одежды, меньше возможностей укрыться от непогоды, чем у дикаря иннуита на Крайнем Севере, жизнь которого сегодня мало чем отличается от жизни его предков в каменном веке, десять тысяч лет тому назад.

Проклятие

Откуда-то преданье
Пришло на память мне —
Испанская легенда
О давней старине.

У Саморы король Санчес
Предательски был убит,
И рать его, осаждая,
Вкруг города стоит.

Дон Дьего де Ордоньес
Выезжает грозно вперед,
Он стражников на стенах
Обличает и клянет.

В измене уличает,
Клеймит позором он

Всех горожан Саморы,
Кто рожден и не рожден.

Клянет живых под кровом,
Покойников в земле.
Воду в ручьях и реках,
Яства на столе.

...Но есть иное войско:
Горшую из осад
Ведет голодное войско
У Жизни замкнутых врат.

Клянут миллионы нищих
Яства на нашем столе,
Обличают нас в измене —
Всех, кто жив и кто спит в земле.

И часто на шумном пире
Средь шуток весельчаков,
Сквозь музыку и хохот
Я слышу ужасный зов.

Изможденные, тощие лица
Мне видны в окно сквозь мглу.
Иссохшие тянутся руки

За крохами на полу.

Внутри – изобилье пира,
Благовонья, праздничный свет,
А снаружи – отчаянье, голод,
Во тьме надежды нет.

И там, во стане голодных,
Где ветер, мрак, мороз,
Мертв лежит средь долины
Той рати вождь – Христос.

Лонгфелло